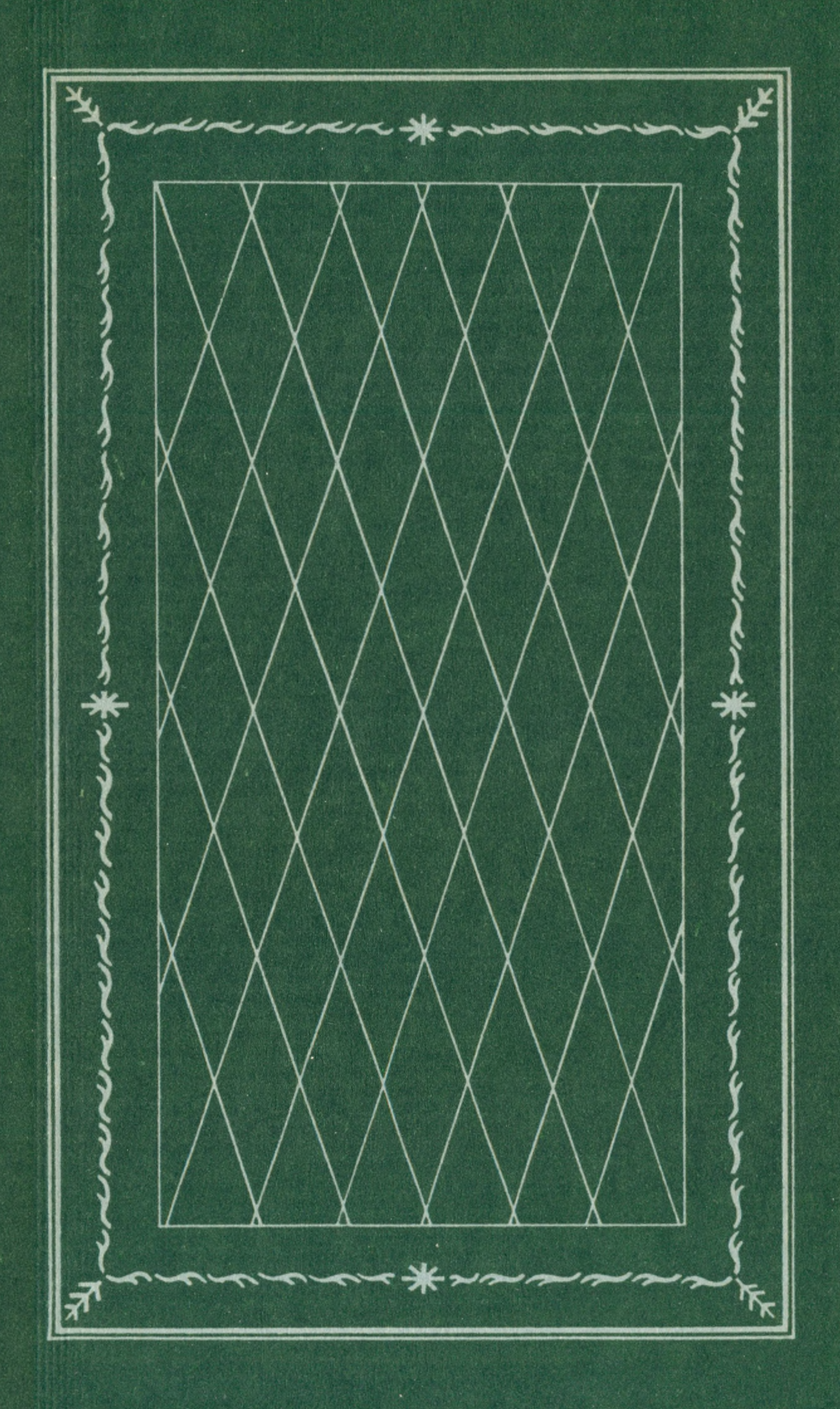
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ



М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА МАКСИМОМ ГОРЬКИМ В 1931 ГОДУ

БОЛЬШАЯ СЕРИЯ

✲

ИЗДАНИЕ
ТРЕТЬЕ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1989

ББК 84.Р1
Л49

*Составление, подготовка текста
и примечания
Э. Э. НАЙДИЧА*

Редактор В. С. Киселев

Л $\frac{4702010102-370}{083(02)-89}$ 428—89

ISBN 5-265-01559-0 (Т. 2)

ISBN 5-265-00974-4

СТИХОТВОРЕНИЯ

1837—1841

339. СМЕРТЬ ПОЭТА

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Погиб поэт! — невольник чести,—
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? Веселитесь... он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.

И что за диво?.. Издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока.
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И, прежний сняв венок,— они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него,
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело.
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью —
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

29 января — начало февраля 1837

340. БОРОДИНО

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»

«Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.

Погиб Поэт, — невольник чести
Пал, оклеветанный молвой,
Со свинцом во груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой.
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде — и убит!
Убит!... к чему теперь рыданья,
Похвал [illegible] ненужный хор
И жалкий лепет оправданья:
Судьбы свершился приговор.
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный чудный дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар....
Что ж? веселитесь — он мучений
Последних перенесть не мог:
Угас как светоч дивный гений,
Увял торжественный венок —

Его убийца хладнокровно
Навел удар....... спасенья нет

Пустое сердце бьется ровно
В руке не дрогнул пистолет

И что за диво?.. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Смеясь он дерзко презирал
[illegible] чужой язык и нравы
Не мог понять в сей миг кровавый
На что он руку поднимал,

[illegible] душа [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Кавказа..."

И он убит — и взят могилой
Как тот певец, неведомый но милой,
Добыча ревности, [illegible]
Воспетый им с такою чудной силой
Сраженный как и он безжалостной рукой

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Всё шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.

Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена́, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Не многие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!»

1837

341. МОЛИТВА

Я, матерь божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного,—
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Февраль 1837

342. ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ

Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Молитву ль тихую читали
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Всё так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Иль, божьей рати лучший воин,
Он был с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Заботой тайною хранима,
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, симво́л святой...
Всё полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.

20 февраля 1837

343. УЗНИК

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далёко,
В пышном тереме своем;
Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, по воле
Скачет весел и игрив,
Хвост по ветру распустив.

Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,

Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

Февраль 1837

344. СОСЕД

Кто б ни был ты, печальный мой сосед,
Люблю тебя, как друга юных лет,
Тебя, товарищ мой случайный,
Хотя судьбы коварною игрой
Навеки мы разлучены с тобой
Стеной теперь — а после тайной.

Когда зари румяный полусвет
В окно тюрьмы прощальный свой привет
Мне, умирая, посылает
И, опершись на звучное ружье,
Наш часовой, про старое житье
Мечтая, стоя засыпает,—

Тогда, чело склонив к сырой стене,
Я слушаю — и в мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они — не знаю, но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...

И лучших лет надежды и любовь —
В груди моей всё оживает вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит — и слезы из очей,
Как звуки, друг за другом льются.

Февраль 1837

345

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

Февраль 1837

346

Расстались мы, но твой портрет
Я на груди моей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.

И, новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный — всё храм,
Кумир поверженный — всё бог!

1837

347

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный.
Как сына, ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.

Еще ребенком, чуждый и любви
И дум честолюбивых, я беспечно
Бродил в твоих ущельях,— грозный, вечный,
Угрюмый великан, меня носил
Ты бережно, как пестун, юных сил
Хранитель верный, [и мечтою
Я страстно обнимал тебя порою.]

И мысль моя, свободна и легка,
Бродила по утесам, где, блистая
Лучом зари, сбирались облака,
Туманные вершины омрачая,
Косматые, как перья шишака.
А вдалеке, как вечные ступени
С земли на небо, в край моих видений,
Зубчатою тянулись полосой,
Таинственней, синей одна другой,
Всё горы, чуть приметные для глаза,
Сыны и братья грозного Кавказа.

1837

348

Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть:
Как я любил, за что страдал,—
Тому судья лишь бог да совесть!..

Им сердце в чувствах даст отчет,
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет тот,
Кто изобрел мои мученья.

Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит,—
Пускай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;

Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый,
И, кроме бури да громов,
Он никому не вверит думы...

1837

349

Не смейся над моей пророческой тоскою.
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений.
Но я без страха жду довременный конец,—
Давно пора мне мир увидеть новый.
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновый!..
Пускай! Я им не дорожил.

1837

350—351. ⟨ЭПИГРАММЫ НА Ф. В. БУЛГАРИНА⟩

1

Россию продает Фаддей
Не в первый раз, как вам известно,
Пожалуй, он продаст жену, детей
И мир земной, и рай небесный,
Он совесть продал бы за сходную цену,
Да жаль, заложена в казну.

2

Россию продает Фаддей
И уж не в первый раз, злодей.

1837

352

Се Маккавей-водопийца кудрявые речи раскинул,
как сети,
Злой сердцелов! ожидает добычи, рекая в пустыне,
Сухосплетенные мышцы расправил и, корпий
Вынув клоком из чутких ушей, уловить замышляет
Слово обидное, грозно вращая зелено-сереющим оком,
Зубом верхним о нижний, как уголь черный, щелкая.

1837

353

Остаться бéз носу — наш Маккавей боялся,
Приехал нá воды — и с носом он остался.

1837

354. ⟨А. ПЕТРОВУ⟩

Ну что скажу тебе я спросту?
Мне не с руки хвала и лесть:
Дай бог тебе побольше росту —
Другие качества все есть.

1837

355

Спеша на север издалёка,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принес я, странник, свой поклон.

Чалмою белою от века
Твой лоб наморщенный увит,
И гордый ропот человека
Твой гордый мир не возмутит.

Но сердца тихого моленье
Да отнесут твои скалы
В надзвездный край, в твое владенье
К престолу вечному Аллы.

Молю,— да снидет день прохладный
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной
На камне в полдень отдохнуть.

Молю, чтоб буря не застала,
Гремя в наряде боевом,
В ущелье мрачного Дарьяла
Меня с измученным конем.

Но есть еще одно желанье!
Боюсь сказать! — Душа дрожит!

Что, если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!

Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?

Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?

О, если так! Своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

Конец 1837

356. ⟨М. И. ЦЕЙДЛЕРУ⟩

Русский немец белокурый
Едет в дальную страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
Едет он, томим печалью,
На могучий пир войны,
Но иной, не бранной *сталью*
Мысли юноши полны.

3 марта 1838

357. КИНЖАЛ

Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза — жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мне,
Исполненны таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали.

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.

1838

358

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать — что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла.
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя;
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

1838

359

Она поет — и звуки тают,
Как поцелуи на устах,
Глядит — и небеса играют
В ее божественных глазах;

Идет ли — все ее движенья,
Иль молвит слово — все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной простоты.

1838

360

Как небеса, твой взор блистает
    Эмалью голубой,
Как поцелуй, звучит и тает
    Твой голос молодой.

За звук один волшебной речи,
    За твой единый взгляд
Я рад отдать красавца сечи,
    Грузинский мой булат;

И он порою сладко блещет
    И сладостней звучит,
При звуке том душа трепещет
    И в сердце кровь кипит.

Но жизнью бранной и мятежной
    Не тешусь я с тех пор,
Как услыхал твой голос нежный
    И встретил милый взор.

1838

361

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке,
Сердце запрыгает;

Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие,
Душа им навстречу
Из груди просится,

И как-то весело,
И хочется плакать,
И так на шею бы
Тебе я кинулся.

1838

362. ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА

П и л и г р и м

Аллах ли там среди пустыни
Застывших волн воздвиг твердыни,
Притоны ангелам своим,
Иль дивы, словом роковым,
Стеной умели так высоко
Громады скал нагромоздить,
Чтоб путь на север заградить
Звезда́м, кочующим с востока?
Вот свет всё небо озарил:
То не пожар ли Цареграда?
Иль бог ко сводам пригвоздил
Тебя, полночная лампада,
Маяк спасительный, отрада
Плывущих по́ морю светил?

М и р з а

Там был я, там, со дня созданья,
Бушует вечная метель;
Потоков видел колыбель.
Дохнул, и мерзнул пар дыханья.
Я проложил мой смелый след,
Где для орлов дороги нет,
И дремлет гром над глубиною,
И там, где над моей чалмою
Одна сверкала лишь звезда,
То Чатырдаг был...

П и л и г р и м

А!..

1838

363. ⟨К ПОРТРЕТУ СТАРОГО ГУСАРА⟩

Н. И. Б⟨ухаро⟩ву

Смотрите, как летит, отвагою пылая...
Порой обманчива бывает седина:
Так мхом покрытая бутылка вековая
Хранит струю кипучего вина.

1838

364. ⟨К Н. И. БУХАРОВУ⟩

Мы ждем тебя, спеши, Бухаров,
Брось царскосельских соловьев,
В кругу товарищей гусаров
Обычный кубок твой готов.
Для нас в беседе голосистой
Твой крик приятней соловья,
Нам мил и ус твой серебристый
И трубка плоская твоя.
Нам дорога твоя отвага,
Огнем душа твоя полна,
Как вновь раскупренная влага
В бутылке старого вина.
Столетья прошлого обломок,
Меж нас остался ты один,
Гусар прославленных потомок,
Пиров и битвы гражданин.

1838

365. ⟨А. Г. ХОМУТОВОЙ⟩

Слепец, страданьем вдохновенный,
Вам строки чудные писал,
И прежних лет восторг священный,
Воспоминаньем оживленный,
Он перед вами изливал.
Он вас не зрел, но ваши речи,
Как отголосок юных дней,
При первом звуке новой встречи
Его встревожили сильней.

Тогда признательную руку
В ответ на ваш приветный взор,
Навстречу радостному звуку
Он в упоении простер.

И я, поверенный случайный
Надежд и дум его живых,
Я буду дорожить, как тайной,
Печальным выраженьем их.
Я верю: годы не убили,
Изгладить даже не могли
Всё, что вы прежде возбудили
В его возвышенной груди.
Но да сойдет благословенье
На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умели снять венец мученья
С его преклонной головы.

1838

366. КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой — старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;

Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

1838

367. ПОЭТ

Отделкой золотой блистает мой кинжал,
Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене —
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
Никто с усердьем не читает...

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блёстки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

1838

368. ДУМА

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию — презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, боясь пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

1838

369—370. ⟨*ИЗ РОМАНА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»*⟩

1

⟨ПЕСНЬ КАЗБИЧА⟩

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз,
Сладко любить их, завидная доля,
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

2

Как по вольной волюшке —
По зелену морю
Ходят всё кораблики-
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащеная,
Двухвесельная.

Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылушки,
    По морю размечутся.
Стану морю кланяться
    Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
    Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
    Буйная головушка».

⟨1839⟩

371

Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!
Да будет он отца достоин,
Как мать его, прекрасен и любим;
Да будет дух его спокоен
И в правде тверд, как божий херувим.
Пускай не знает он до срока
Ни мук любви, ни славы жадных дум;
Пускай глядит он без упрека
На ложный блеск и ложный мира шум;
Пускай не ищет он причины
Чужим страстям и радостям своим,
И выйдет он из светской тины
Душою бел и сердцем невредим!

Февраль 1839

372. ⟨А. А. ОЛЕНИНОЙ⟩

Ах! Анна Алексевна,
Какой счастливый день!
Судьба моя плачевна,
Я здесь стою как пень,

И что сказать — не знаю,
А мне кричат: «Plus vite!» [1]
Я счастья вам желаю,
Et je vous félicite. [2]

11 августа 1839

373. НЕ ВЕРЬ СЕБЕ

Que nous font aprés tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?

A. Barbier [3]

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы, бойся вдохновенья...
Оно — тяжелый бред души твоей больной
Иль пленной мысли раздраженье.
В нем признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток!

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Отрыть в душе, давно безмолвной,
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный,—
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.

Закра́дется ль печаль в тайник души твоей,
Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой —

---

[1] Скорей! (фр.).— *Ред.*
[2] И я вас поздравляю (фр.).— *Ред.*
[3] Какое нам, в конце концов, дело до грубого крика всех этих шарлатанов, торговцев пафосом, мастеров напыщенности и всех плясунов, танцующих на фразе? *О. Барбье* (фр.).—*Ред.*

Не выходи тогда на шумный пир людей
С своею бешеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гневом, то тоской послушной
И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной.

Какое дело нам, страдал ты или нет?
На что́ нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной,
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.

А между тем из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,
С своим напевом заучённым,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным...

1839

374. ТРИ ПАЛЬМЫ

Восточное сказание

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый под сенью зеленых листов
От знойных лучей и летучих песков.

И многие годы неслышно прошли...
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»

И только замолкли — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.

Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров,
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плéчам фариса вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.

Вот к пальмам подходит, шумя, караван,
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сóрвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.

Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван,

И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный.
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.

И ныне всё дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом.
Напрасно пророка о тени он просит —
Его лишь песок раскаленный заносит
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.

1839

375. МОЛИТВА

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

1839

376. ДАРЫ ТЕРЕКА

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит:

«Расступись, о старец море,
Дай приют моей волне!
Погулял я на просторе,
Отдохнуть пора бы мне.
Я родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,
С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.
Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валу́нов им, на славу,
Стадо целое пригнал».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий стихнул, будто спит,
И опять, ласкаясь, Терек
Старцу на́ ухо журчит:

«Я привез тебе гостинец!
То гостинец не простой:
С поля битвы кабардинец,
Кабардинец удалой.
Он в кольчуге драгоценной,
В налокотниках стальных:
Из Корана стих священный
Писан золотом на них.
Он угрюмо сдвинул брови,
И усов его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взор открытый, безответный,
Полон старою враждой;
По затылку чуб заветный
Вьется черною космой».

Но, склонясь на мягкий берег,
Каспий дремлет и молчит,
И, волнуясь, буйный Терек
Старцу снова говорит:

«Слушай, дядя: дар бесценный!
Что другие все дары?
Но его от всей вселенной
Я таил до сей поры.

Я примчу к тебе с волнами
Труп казачки молодой,
С темно-бледными плечами,
С светло-русою косой.
Грустен лик ее туманный,
Взор так тихо, сладко спит,
А на грудь из малой раны
Струйка алая бежит.
По красотке молодице
Не тоскует над рекой
Лишь один во всей станице
Казачина гребенской.
Оседлал он вороного
И в горах, в ночном бою,
На кинжал чеченца злого
Сложит голову свою».

Замолчал поток сердитый,
И над ним, как снег бела,
Голова с косой размытой,
Колыхаяся, всплыла.

И старик во блеске власти
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.

Он взыграл, веселья полный,—
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

1839

377. ПАМЯТИ А. И. О⟨ДОЕВСКО⟩ГО

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах Востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой,
А он не дождался́ минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой

В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!

Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья... Но, безумный,
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил — и бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.

Но он погиб далёко от друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладби́ще памяти моей!
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...

И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга,—
Кто скажет нам?.. Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно. Дела твои, и мненья,
И думы — всё исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Куда они? зачем? откуда? — кто их спросит...

И после их на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной...

Что за нужда?.. Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья
И терния пустых его клевет?
Ты не служил ему. Ты с юных лет
Коварные его отвергнул цепи:
Любил ты моря шум, молчанье синей степи

И мрачных гор зубчатые хребты...
И вкруг твоей могилы неизвестной
Всё, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.

1839

378

На буйном пиршестве задумчив он сидел,
Один, покинутый безумными друзьями,
И в даль грядущую, закрытую пред нами,
Духовный взор его смотрел.
И помню я, исполнены печали,
Средь звона чаш, и криков, и речей,
И песен праздничных, и хохота гостей
Его слова пророчески звучали.

[Он говорил: «Ликуйте, о друзья!
Что вам судьбы́ дряхлеющего мира?..
Над вашей головой колеблется секира,
Но что ж!.. из вас один ее увижу я».]
. . . .

1839

379. ⟨Э. К. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ⟩

Графиня Эмилия —
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится.
И небо Италии
В глазах ее светится.
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.

1839

380

1-е января

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки,—
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться,— памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком, и кругом
Родные всё места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою;
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.

Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
И шум толпы людской спугнет мечту мою,
На праздник нéзванную гостью,
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Начало января 1840

381. И СКУЧНО И ГРУСТНО

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. На время — не стóит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — Там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...

Что страсти? — Ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,—
Такая пустая и глупая шутка...

Я́нварь 1840

382. ⟨М. А. ЩЕРБАТОВОЙ⟩

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла,

Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.

Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,

Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.

И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых,
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых.

И, следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на бога
Хранит она детскую веру.

Как племя родное,
У чуждых опоры не просит
И в гордом покое
Насмешку и зло переносит.

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

1840

383

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.

Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;

Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

1840

384. ЖУРНАЛИСТ, ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ

Les poètes ressemblent aux ours, qui se nourrissent en suçant leur patte.

Inédit.[1]

Комната Писателя; опущенные шторы. Он сидит в больших креслах перед камином. Читатель, с сигарой, стоит спиной к камину. Журналист входит.

Журналист

Я очень рад, что вы больны:
В заботах жизни, в шуме света

[1] Поэты похожи на медведей, которые кормятся тем, что сосут свою лапу. *Неизданное* (фр.).— *Ред.*

Теряет скоро ум поэта
Свои божественные сны.
Среди различных впечатлений
На мелочь душу разменяв,
Он гибнет жертвой общих мнений.
Когда ему в пылу забав
Обдумать зрелое творенье?..
Зато какая благодать,
Коль небо вздумает послать
Ему изгнанье, заточенье
Иль даже долгую болезнь:
Тотчас в его уединенье
Раздастся сладостная песнь!
Порой влюбляется он страстно
В свою нарядную печаль...
Ну, что́ вы пишете? Нельзя ль
Узнать?

Писатель

Да ничего...

Журналист

Напрасно!

Писатель

О чем писать? Восток и юг
Давно описаны, воспеты;
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг;
Все в небеса неслись душою,
Взывали, с тайною мольбою,
К N. N., неведомой красе,—
И страшно надоели все.

Читатель

И я скажу — нужна отвага,
Чтобы открыть... хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага,
Она, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток...
Читаешь — сотни опечаток!
Стихи — такая пустота:
Слова без смысла, чувства нету,

Натянут каждый оборот;
Притом — сказать ли по секрету?
И в рифмах часто недочет.
Возьмешь ли прозу? — перевод.
А если вам и попадутся
Рассказы на родимый лад —
То, верно, над Москвой смеются
Или чиновников бранят.
С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим...
Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти голос благородный?

Журналист

Я точно то же говорю.
Как вы, открыто негодуя,
На музу русскую смотрю я.
Прочтите критику мою.

Читатель

Читал я. Мелкие нападки
На шрифт, виньетки, опечатки,
Намеки тонкие на то,
Чего не ведает никто.
Хотя б забавно было свету!..
В чернилах ваших, господа,
И желчи едкой даже нету —
А просто грязная вода.

Журналист

И с этим надо согласиться.
Но верьте мне, душевно рад
Я был бы вовсе не браниться —
Да как же быть?.. Меня бранят!
Войдите в наше положенье!
Читает нас и низший круг:
Нагая резкость выраженья
Не всякий оскорбляет слух;
Приличье, вкус — всё так условно;
А деньги все ведь платят ровно!

Поверьте мне: судьбою несть
Даны нам тяжкие вериги.
Скажите, каково прочесть
Весь этот вздор, все эти книги,—
И всё зачем? — Чтоб вам сказать,
Что их не надобно читать!..

Читатель

Зато какое наслажденье,
Как отдыхает ум и грудь,
Коль попадется как-нибудь
Живое, свежее творенье!
Вот, например, приятель мой:
Владеет он изрядным слогом,
И чувств и мыслей полнотой
Он одарен всевышним богом.

Журналист

Всё это так, да вот беда:
Не пишут эти господа.

Писатель

О чем писать?.. Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум и сердце полны
И рифмы дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой
Несутся вольной чередой.
Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва;
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг нижутся слова...
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
Но эти странные творенья
Читает дома он один,
И ими после без зазренья
Он затопляет свой камин.

Ужель ребяческие чувства,
Воздушный, безотчетный бред
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет...

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце — жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлет;
Невольный страх власы подъемлет;
Болезненный, безумный крик
Из груди рвется — и язык
Лепечет громко, без сознанья
Давно забытые названья;
Давно забытые черты
В сиянье прежней красоты
Рисует память своевольно:
В очах любовь, в устах обман —
И веришь снова им невольно,
И как-то весело и больно
Тревожить язвы старых ран...
Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум;
Картины хладные разврата,
Преданья глупых юных дней,
Давно без пользы и возврата
Погибших в омуте страстей,
Средь битв незримых, но упорных,
Среди обманщиц и невежд,
Среди сомнений ложно-черных
И ложно-радужных надежд.
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору;
Неумолим я и жесток...
Но, право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решуся показать...
Скажите ж мне, о чем писать?..

К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью на́звали коварной
Мою пророческую речь?
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток?
О нет! преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю.

20 марта 1840

385. ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

Из Цедлица

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем,
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит.
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг,—
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию — только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один —

Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок,

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

Март 1840

386. СОСЕДКА

Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы,
И окно высокó над землей,
И у двери стоит часовой!

Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!..
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой.

Разлучив, нас сдружила неволя,
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно
Да с двойною решеткой окно,

У окна лишь поутру я сяду,
Волю дам ненасытному взгляду...
Вот напротив окошечко: стук!
Занавеска подымется вдруг.

На меня посмотрела плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А с плеча, будто сдул ветерок,
Полосатый скатился платок,

Но бледна ее грудь молодая,
И сидит она долго, вздыхая,—
Видно, буйную думу тая,
Всё тоскует по воле, как я.

Не грусти, дорогая соседка...
Захоти лишь — отворится клетка,
И, как божии птички, вдвоем
Мы в широкое поле порхнем.

У отца ты ключи мне укра́дешь,
Сторожей за пирушку усадишь,
А уж с тем, что поставлен к дверям,
Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.

Март или апрель 1840

387. ПЛЕННЫЙ РЫЦАРЬ

Молча сижу под окошком темницы,
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют всё вольные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно.

Нет на устах моих грешной молитвы,
Нету ни песни во славу любезной:
Помню я только старинные битвы,
Меч мой тяжелый да панцирь железный.

В каменный панцирь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.

Быстрое время — мой конь неизменный,
Шлема забрало — решетка бойницы,
Каменный панцирь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя,—
Слезу и сдерну с лица я забрало.

Март или апрель 1840?

388

Расписку просишь ты, гусар,—
Я получил твое посланье;
Родилось в сердце упованье,
И легче стал судьбы удар.
Твои пленительны картины
И дерзкой списаны рукой;
В твоих стихах есть запах винный —
А рифмы льются . . . .

Борделя грязная свобода
Тебя в пророки избрала,
Давно для глаз твоих природа
Покров обманчивый сняла.
Чуть тронешь ты жезлом волшебным
Хоть отвратительный предмет,
Стихи звучат ключом целебным,
И люди шепчут: он поэт!

Так некогда в степи безводной
Премудрый пастырь Аарон
Услышал плач и вопль народный,
И жезл священный поднял он,
И на челе его угрюмом
Надежды луч блеснул живой,
И тронул камень он немой —
И брызнул ключ с приветным шумом
Новорожденною струей.

Февраль — март 1837 или март — апрель 1840

389. ⟨М. П. СОЛОМИРСКОЙ⟩

Над бездной адскою блуждая,
Душа преступная порой
Читает на воротах рая
Узоры надписи святой

И часто тайную отраду
Находит муке неземной,
За непреклонную ограду
Стремясь завистливой мечтой.

Так, разбирая в заточенье
Досель мне чуждые черты,
Я был свободен на мгновенье
Могучей волею мечты.

Залогом вольности желанной,
Лучом надежды в море бед
Мне стал тогда ваш безымянный,
Но вечно памятный привет.

Апрель 1840

390. ОТЧЕГО

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.

1840

391. БЛАГОДАРНОСТЬ

За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За всё, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

1840

392. ИЗ ГЁТЕ

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

1840

393. РЕБЕНКУ

О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые,
И быстрые глаза, и кудри золотые,
И звонкий голосок! — Не правда ль, говорят,
Ты на нее похож? — Увы! года летят.
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебе непрошеные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне... К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит..

Но мне ты всё поверь. Когда в вечерний час,
Пред образом с тобой заботливо склонясь,
Молитву детскую она тебе шептала,
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые родные имена
Ты повторял за ней,— скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... Что имя? — звук пустой!

Дай бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его — ребяческие дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

1840

394. А. О. СМИРНОВОЙ

В простосердечии невежды
Короче знать вас я желал,
Но эти сладкие надежды
Теперь я вовсе потерял.
Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу,
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что делать?.. Речью безыскусной
Ваш ум занять мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...

1840

395. К ПОРТРЕТУ

Как мальчик кудрявый, резва,
Нарядна, как бабочка летом.
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом.

Ей нравиться долго нельзя:
Как цепь ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка.

Таит молодое чело
По воле — и радость и горе.
В глазах — как на небе светло,
В душе ее темно, как в море!

То истиной дышит в ней всё,
То всё в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.

1840

396. ТУЧИ

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания.
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Апрель 1840

397

Посреди небесных тел
    Лик луны туманный,
Как он кругл и как он бел,
    Точно блин с сметаной.

Кажду ночь она в лучах
    Путь проходит млечный.
Видно, там, на небесах,
    Масленица вечно!

16 мая 1840

398

Я к вам пишу случайно,— право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? — ничего!
Что помню вас? — но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, всё равно.

И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?

Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и притом, что пользы верить
Тому, чего уж больше нет?..
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок,
Но я вас помню — да и точно,
Я вас никак забыть не мог!

Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил,
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию,— но вас
Забыть мне было невозможно.

И к мысли этой я привык,
Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье? —
Не всё ль одно. Я жизнь постиг.
Судьбе, как турок иль татарин,
За всё я ровно благодарен,
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса Востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили. Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Всё, размышлению мешая,

Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И нет работы голове...
Зато лежишь в густой траве
И дремлешь под широкой тенью
Чинар иль виноградных лоз,
Кругом белеются палатки;
Казачьи тощие лошадки
Стоят рядком, повеся нос;
У медных пушек спит прислуга,
Едва дымятся фитили;
Попарно цепь стоит вдали;
Штыки горят под солнцем юга.
Вот разговор о старине
В палатке ближней слышен мне,
Как при Ермолове ходили
В Чечню, в Аварию, к горам;
Как там дрались, как мы их били,
Как доставалося и нам.
И вижу я неподалеку
У речки: следуя пророку,
Мирно́й татарин свой намаз
Творит, не подымая глаз.
А вот кружком сидят другие.
Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету ноговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.
Чу — дальний выстрел! Прожужжала
Шальная пуля... славный звук...
Вот крик — и снова всё вокруг
Затихло... Но жара уж спа́ла,
Ведут коней на водопой,
Зашевелилася пехота;
Вот проскакал один, другой!
Шум, говор: «Где вторая рота?»
— «Что, вьючить?» — «Что же капитан?»
— «Повозки выдвигайте живо!»
— «Савельич!» — «Ой ли!»
— «Дай огни́во!»
Подъем ударил барабан,
Гудит музы́ка полковая;

Между колоннами въезжая,
Звенят орудья. Генерал
Вперед со свитой поскакал...
Рассыпались в широком поле,
Как пчелы, с гиком казаки;
Уж показалися значки
Там на опушке — два и боле.
А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит,
Он машет, кличет — где отважный?
Кто выдет с ним на смертный бой!..
Сейчас, смотрите: в шапке черной
Казак пустился гребенской,
Винтовку выхватил проворно,
Уж близко... Выстрел... Легкий дым...
«Эй, вы, станичники, за ним...»
— «Что? ранен!..» — «Ничего, безделка...»
И завязалась перестрелка...

Но в этих сшибках удалых
Забавы много, толку мало.
Прохладным вечером, бывало,
Мы любовалися на них,
Без кровожадного волненья,
Как на трагический балет.
Зато видал я представленья,
Каких у вас на сцене нет...

Раз — это было под Гихами —
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом,
И дым их то вился столпом,
То расстилался облаками.
И оживилися леса,
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами.

Едва лишь выбрался обоз
В поляну, дело началось.
Чу! в арьергард орудья просят,
Вот ружья из кустов ⟨вы⟩носят,
Вот тащат за́ ноги людей
И кличут громко лекарей.
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки,
И градом пуль с вершин дерев
Отряд осыпан. Впереди же
Всё тихо — там между кустов
Бежал поток. Подходим ближе.
Пустили несколько гранат.
Еще подвинулись; молчат;
Но вот над бревнами завала
Ружье как будто заблистало,
Потом мелькнуло шапки две,
И вновь всё спряталось в траве.
То было грозное молчанье,
Недолго длилося оно,
Но ⟨в⟩ этом странном ожиданье
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп... Глядим: лежат рядами —
Что нужды? — здешние полки,
Народ испытанный... «В штыки,
Дружнее!» — раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы
Кто не успел спрыгну́ть с коня...
«Ура!» — и смолкло. «Вон кинжалы,
В приклады!» — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть
(И зной и битва утомили
Меня)... но мутная волна
Была тепла, была красна.

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат

Был на коленах. Мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью... На шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал.
В груди его едва чернели
Две ранки, кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась; взоры
Бродили страшно, он шептал:
«Спасите, братцы. Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал...
Не слышат...» Долго он стонал,
Но всё слабей, и понемногу
Затих и душу отдал богу.
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые...
И тихо плакали... Потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый,
Им вслед смотрел ⟨я⟩ недвижи́мый.
Меж тем товарищей, друзей
Со вздохом возле называли,
Но не нашел в душе моей
Я сожаленья, ни печали.
Уже затихло всё; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»
Галуб прервал мое мечтанье.
Ударив по плечу,— он был
Кунак мой,— я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «*Валерик,*
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми».
— «А сколько их дралось примерно
Сегодня?» — «Тысяч до семи».
— «А много горцы потеряли?»
— «Как знать? — зачем вы не считали!»
— «Да! будет,— кто-то тут сказал,—
Им в память этот день кровавый!»
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.

Но я боюся вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны.
Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце.
На вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам бог
И не видать: иных тревог
Довольно есть. В самозабвенье
Не лучше ль кончить жизни путь?
И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденье?

Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так?
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..

1840

399. ЗАВЕЩАНИЕ

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А если спросит кто-нибудь...
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был,
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю.

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... Всё равно
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей,—
Пускай она поплачет...
Ей ничего не значит!

1840

400. И. П. МЯТЛЕВУ

На наших дам морозных
С досадой я смотрю,
Угрюмых и серьезных
Фигур их не терплю.
Вот дама Курдюкова,
Ее рассказ так мил,
Я о́т слова до слова
Его бы затвердил.
Мой ум скакал за нею,
И часто был готов
Я броситься на шею
К madame de Курдюков.

1840 или 1841

401. ⟨ИЗ АЛЬБОМА С. Н. КАРАМЗИНОЙ⟩

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор,

Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
С⟨мирновой⟩ штучку, фарсу Саши
И Ишки М⟨ятлева⟩ стихи...

1840 или 1841

402

Из-под таинственной, холодной полумаски
Звучал мне голос твой отрадный, как мечта,
Светили мне твои пленительные глазки
И улыбалися лукавые уста.

Сквозь дымку легкую заметил я невольно
И девственных ланит и шеи белизну.
Счастливец! видел я и локон своевольный,
Родных кудрей покинувший волну!..

И создал я тогда в моем воображенье
По легким признакам красавицу мою;
И с той поры бесплотное виденье
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю.

И всё мне кажется: живые эти речи
В года минувшие слыхал когда-то я;
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи
Мы вновь увидимся, как старые друзья.

1840 или 1841

403

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

1840 или 1841

404. ОПРАВДАНИЕ

Когда одни воспоминанья
О заблуждениях страстей,
Наместо славного названья,
Твой друг оставит меж людей

И будет спать в земле безгласно
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролася любовь;

Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя,—

Того, кто страстью и пороком
Затмил твои младые дни,
Молю, язвительным упреком
Ты в оный час не помяни.

Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что судит нас иной
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.

⟨1841⟩

405. РОДИНА

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам,—
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям.
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,

Отчизна

Люблю отчизну я, но странною любовью.
Не побѣдитъ ее разсудокъ мой.
Ни слава купленная кровью,
Ни полный гордаго довѣрія покой,
Ни темной старины завѣтныя преданья
Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья.

Но я люблю — за что не знаю самъ?
Ее полей холодное молчанье,
Ее лѣсовъ дремучихъ колыханье
Разливы рѣкъ ее подобные морямъ....
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телѣгѣ
И, взоромъ медленно пронзая ночи тѣнь,
Встрѣчать по сторонамъ вздыхая о ночлегѣ,
Дрожащіе огни печальныхъ деревень;
Люблю дымокъ спалённой жнивы,
Въ степи ночующій обозъ
И на холмѣ средь желтой нивы
Чету бѣлѣющихъ березъ.
Съ отрадой многимъ незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно;
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ
Смотрѣть до полночи готовъ
На пляску съ топаньемъ и свистомъ
Подъ говоръ пьяныхъ мужичковъ.

М Ю Лермонтовъ

Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно.
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Начало 1841

406. ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА

Пускай холодною землею
Засыпан я,
О друг! всегда, везде с тобою
Душа моя.
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.

Без страха в час последней муки
Покинув свет,
Отрады ждал я от разлуки —
Разлуки нет.
Я видел прелесть бестелесных
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал.

Что мне сиянье божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой.
Ласкаю я мечту родную
Везде одну;
Желаю, плачу и ревную,
Как в старину.

Коснется ль чуждое дыханье
Твоих ланит,
Моя душа в немом страданье
Вся задрожит.

Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
По мне огнем.

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна,
Ты мертвецу святыней слова
Обручена.
Увы, твой страх, твои моленья —
К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне!

10 марта 1841

407

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей всё, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна, на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

1841

408. ПОСЛЕДНЕЕ НОВОСЕЛЬЕ

Меж тем как Франция, среди рукоплесканий
И кликов радостных, встречает хладный прах
Погибшего давно среди немых страданий
В изгнанье мрачном и цепях;
Меж тем как мир услужливой хвалою
Венчает позднего раскаянья порыв
И вздорная толпа, довольная собою,
Гордится, прошлое забыв,—
Негодованию и чувству дав свободу,
Поняв тщеславие сих праздничных забот,
Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!

Ты жалок потому, что вера, слава, гений,
Всё, всё великое, священное земли
С насмешкой глупою ребяческих сомнений
Тобой растоптано в пыли.
Из славы сделал ты игрушку лицемерья,
Из вольности—орудье палача,
И все заветные отцовские поверья
Ты им рубил, рубил сплеча,—
Ты погибал... И *он* явился, с строгим взором,
Отмеченный божественным перстом,
И признан за вождя всеобщим приговором,
И ваша жизнь слилася в нем,—
И вы окрепли вновь в тени его державы,
И мир трепещущий в безмолвии взирал
На ризу чудную могущества и славы,
Которой вас он одевал.
Один,— он был везде, холодный, неизменный,
Отец седых дружин, любимый сын молвы,
В степях египетских, у стен покорной Вены,
В снегах пылающей Москвы!

А вы что делали, скажите, в это время,
Когда в полях чужих он гордо погибал?
Вы потрясали власть избранную, как бремя,
Точили в темноте кинжал?
Среди последних битв, отчаянных усилий,
В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили
И, как рабы, вы предали его!
Лишенный прав и места гражданина,
Разбитый свой венец он снял и бросил сам,
И вам оставил он в залог родного сына —
Вы сына выдали врагам!
Тогда, отяготив позорными цепями,
Героя увезли от плачущих дружин,
И на чужой скале, за синими морями,
Забытый, он угас один —
Один,— замучен мщением бесплодным,
Безмолвною и гордою тоской,
И, как простой солдат в плаще своем походном,
Зарыт наемною рукой.

Но годы протекли, и ветреное племя
Кричит: «Подайте нам священный этот прах!

Он наш; его теперь, великой жатвы семя,
Зароем мы в спасенных им стенах!»
И возвратился он на родину. Безумно,
Как прежде, вкруг него теснятся и бегут
И в пышный гроб, среди столицы шумной,
Остатки тленные кладут.
Желанье позднее увенчано успехом!
И, краткий свой восторг сменив уже другим,
Гуляя, топчет их с самодовольным смехом
Толпа, дрожавшая пред *ним*.

И грустно мне, когда подумаю, что ныне
Нарушена святая тишина
Вокруг того, кто ждал в своей пустыне
Так жадно, столько лет спокойствия и сна!
И если дух вождя примчится на свиданье
С гробницей новою, где прах его лежит,
Какое в нем негодованье
При этом виде закипит!
Как будет он жалеть, печалию томимый,
О знойном острове, под небом дальних стран,
Где сторожил его, как он непобедимый,
Как он великий, океан!

1841

409. ⟨А. А. УГЛИЦКОЙ⟩

Ma chère Alexandrine,
Простите, же ву при,
За мой армейский чин
Всё, что je vous écris; [1]

Меж тем, же ву засюр,[2]
Ich wünsche счастья вам,[3]
Surtout beaucoup d'amour
Quand vous serez *Мадам.*[4]

Февраль — март 1841

---

[1] Я вам пишу (фр.).—*Ред.*
[2] Я вас уверяю (фр.).— *Ред.*
[3] Я желаю (нем.).— *Ред.*
[4] А главное, много любви, когда вы будете *Мадам* (фр.).— *Ред.*

410. ⟨ГРАФИНЕ Е. П. РОСТОПЧИНОЙ⟩

Я верю: под одной звездою
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною,
Нас обманули те же сны.
Но что ж! — от цели благородной
Оторван бурею страстей,
Я позабыл в борьбе бесплодной
Преданья юности моей.
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать,
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверять...

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер южный;
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои.

Апрель 1841

411. ДОГОВОР

Пускай толпа клеймит презреньем
Наш неразгаданный союз,
Пускай людским предубежденьем
Ты лишена семейных уз.

Но перед идолами света
Не гну колени я мои;
Как ты, не знаю в нем предмета
Ни сильной злобы, ни любви.

Как ты, кружусь в веселье шумном,
Не отличая никого:
Делюся с умным и безумным,
Живу для сердца своего.

Земного счастья мы не ценим,
Людей привыкли мы ценить;
Себе мы оба не изменим,
А нам не могут изменить.

В толпе друг друга мы узнали,
Сошлись и разойдемся вновь.
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали.

1841

412. УТЕС

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя.

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

1841

413. СПОР

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою [1]
Был великий спор.
«Берегись! — сказал Казбеку
Седовласый Шат.—
Покорился человеку
Ты недаром, брат!

[1] **Шат** — Элбрус.

Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден
Первый был скачок,
Берегися! многолюден
И могуч Восток!»
— «Не боюся я Востока! —
Отвечал Казбек.—
Род людской там спит глубоко
Уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин;
И, склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна.
Дальше, вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров
И поет, считая звезды,
Про дела отцов.
Всё, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя...
Нет! не дряхлому Востоку
Покорить меня!»

«Не хвались еще заране! —
Молвил старый Шат.—
Вот на севере в тумане
Что-то видно, брат!»

Тайно был Казбек огромный
Вестью той смущен.
И, смутясь, на север темный
Взоры кинул он,
И туда в недоуменье
Смотрит, полный дум;
Видит странное движенье,
Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки.
Веют белые султаны,
Как степной ковыль,
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль.
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамены,
В барабаны бьют.
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно медленны, как тучи,
Прямо на восток.

И, томим зловещей думой,
Полный черных снов,
Стал считать Казбек угрюмый —
И не счел врагов.

Грустным взором он окинул
Племя гор своих,
Шапку [1] на́ брови надвинул —
И навек затих.

1841

414. СОН

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я,
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины.
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той,
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

1841

---

[1] Горцы называют шапкою облака, постоянно лежащие на вершине Казбека.

Поэту Лермонтову
дается сия моя старая
и любимая книга с тем,
чтобы он возвратил
мне ее сам, и всю
исписанную. Кн. В. Одоевский

1841.
Апреля 13го
СПбург.

19го мая. — Буря

Сия книга покойного Лермонтова
возвращена мне Екимом Екимо-
вичем Хастатовым — 30го Декабря
1843го года — КВО.

415

Лилейной рукой поправляя
Едва пробившийся ус,
Краснеет, как дева младая,
Капгар, молодой туксус.
. . . .

1841

416

1

На бурке под тенью чинары
Лежал Ахмет Ибрагим,
И, руки скрестивши, татары
Стояли молчá пред ним.

2

И, брови нахмурив густые,
Лениво молвил Ага:
«О слуги мои удалые,
Мне ваша жизнь дорога!»

3

. . . .

1841

417

Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt'es dem andern gestehn.

Heine [1]

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

---

[1] Они любили друг друга, но ни один не желал признаться в этом другому. *Гейне* (нем.).— *Ред.*

Они расстались в безмолвном и гордом страданье
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

1841

418. ТАМАРА

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.

И там сквозь туман полуночи
Блистал огонек золотой,
Кидался он путнику в очи,
Манил он на отдых ночной.

И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть.

На голос невидимой пери
Шел воин, купец и пастух;
Пред ним отворялися двери,
Встречал его мрачный евну́х.

На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчу́г убрана,
Ждала она гостя... Шипели
Пред нею два кубка вина.

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавалися там:

Как будто в ту башню пустую
Сто юношей пылких и жен
Сошлися на свадьбу ночную,
На тризну больших похорон.

Но только что утра сиянье
Кидало свой луч по горам,
Мгновенно и мрак и молчанье
Опять воцарялися там.

Лишь Терек в теснине Дарьяла,
Гремя, нарушал тишину,
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну.

И с плачем безгласное тело
Спешили они унести.
В окне тогда что-то белело,
Звучало оттуда: прости.

И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свиданья
И ласки любви обещал.

1841

419. СВИДАНЬЕ

Уж за горой дремучею
    Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
    Сверкает жаркий ключ;
Сады благоуханием
    Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
    В ущелье мгла и дым.
Летают сны-мучители
    Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
    Беседуют с детьми.

Там за твердыней старою
    На сумрачной горе

Под свежею чинарою
   Лежу я на ковре.
Лежу один и думаю:
   «Ужели не во сне
Свиданье в ночь угрюмую
   Назначила ты мне?»
И в этот час таинственный,
   Но сладкий для любви,
Тебя, мой друг единственный,
   Зовут мечты мои.

Внизу огни дозорные
   Лишь на мосту горят,
И колокольни черные,
   Как сторожи, стоят;
И поступью несмелою
   Из бань со всех сторон
Выходят цепью белою
   Четы грузинских жен.
Вот улицей пустынною
   Бредут, едва скользя...
Но под чадрою длинною
   Тебя узнать нельзя!..

Твой домик с крышей гладкою
   Мне виден вдалеке;
Крыльцо с ступенью шаткою
   Купается в реке.
Среди прохлады, веющей
   Над синею *Курой,*
Он сетью зеленеющей
   Опутан плющевой;
За тополью высокою
   Я вижу там окно...
Но свечкой одинокою
   Не светится оно!

Я жду. В недоумении
   Напрасно бродит взор,
Кинжалом в нетерпении
   Изрезал я ковер.
Я жду с тоской бесплодною,
   Мне грустно, тяжело...

Вот сыростью холодною
    С востока понесло,
Краснеют за туманами
    Седых вершин зубцы,
Выходят с караванами
    Из города купцы...

Прочь, прочь, слеза позорная,
    Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
    Понятна мне, змея!
Я знаю, чем утешенный
    По звонкой мостовой
Вчера скакал как бешеный
    Татарин молодой.
Недаром он красуется
    Перед твоим окном
И твой отец любуется
    Персидским жеребцом.

Возьму винтовку длинную,
    Пойду я из ворот:
Там под скалой пустынною
    Есть узкий поворот.
До полдня за могильною
    Часовней подожду
И на дорогу пыльную
    Винтовку наведу.
Напрасно грудь колышется!
    Я лег между камней,—
Чу! близкий топот слышится...
    А! это ты, злодей!

1841

420. ЛИСТОК

Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот наконец докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая,
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская,

На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

«На что мне тебя? — отвечает младая чинара.—
Ты пылен и желт — и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше, о странник! Тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю.
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море».

1841

421

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,

Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

1841

422. МОРСКАЯ ЦАРЕВНА

В море царевич купает коня,
Слышит: «Царевич! взгляни на меня!»

Фыркает конь и ушами прядет,
Брызжет и плещет, и дале плывет.

Слышит царевич: «Я царская дочь!
Хочешь провесть ты с царевною ночь?»

Вот показалась рука из воды,
Ловит за кисти шелко́вой узды.

Вышла младая потом голова,
В косу вплелася морская трава.

Синие очи любовью горят,
Брызги на шее как жемчуг дрожат.

Мыслит царевич: «Добро же! постой!»
За́ косу ловко схватил он рукой.

Держит, рука боевая сильна:
Плачет, и молит, и бьется она.

К берегу витязь отважно плывет;
Выплыл; товарищей громко зовет:

«Эй вы! сходитесь, лихие друзья!
Гляньте, как бьется добыча моя...

Что ж вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?»

Вот оглянулся царевич назад:
Ахнул! Померк торжествующий взгляд.

Видит, лежит на песке золотом
Чудо морское с зеленым хвостом;

Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит.

Пена струями сбегает с чела,
Очи одела смертельная мгла.

Бледные руки хватают песок,
Шепчут уста непонятный упрек...

Едет царевич задумчиво прочь.
Будет он помнить про царскую дочь!

1841

423. ПРОРОК

С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья —
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи.

Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная.
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,

То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

1841

424

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором,
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых — уста давно немые,
В глазах — огонь угаснувших очей.

1841

Стихотворения неизвестных лет

425. ⟨ИЗ БАЙРОНА⟩

Ах! ныне я не тот совсем,
Меня друзья бы не узнали,
И на челе тогда моем
Власы седые не блистали.
Я был еще совсем не стар,

А иссушил мне сердце жар
Страстей, явилися морщины
И ненавистные седины,
Но и теперь преклонных лет
Я презираю тяготенье.
Я знал еще души волненье —
Любви минувшей грозный след.
Но говорю: краса Терезы...
Теперь среди полночной грезы
Мне кажется: идет она
Между каштанов и черешен;
Кати́тся по́ небу луна...
Как я доволен и утешен!
Я вижу кудри... взор живой
Горячей влагою оделся...
Как жемчуг перси белизной.
Так живо образ дорогой
В уме моем напечатлелся!
Стан невысокий помню я
И азиатские движенья,
Уста пурпурные ея,
Стыда румянец и смятенье...
Но полно! полно! Я любил,
Я чувств своих не изменил!..
. . . .
Любовь, сокрывшись в сердце диком,
В одних лишь крайностях горит
И вечно (тщетно рок свирепый
Восстал) меня не охладит,
И тень минувшего бежит
Поныне всюду за Мазепой...
. . . .

426

Он был в краю святом,
На холмах Палестины.
Стальной его шелом
Иссекли сарацины.

Понес он в край святой
Цветущие ланиты;
Вернулся он домой
Плешивый и избитый.

Неверных он громил
Обеими руками —
Ни жен их не щадил,
Ни малых с стариками.

Встречаясь с ним подчас,
Смущалися красотки;
Он п.... их не раз,
Перебирая четки.

Вернулся он в свой дом
Без славы и без злата;
Глядит — детей содом,
Жена его брюхата.

Пришибло старика...

427

Когда, надежде недоступный,
Не смея плакать и любить,
Пороки юности преступной
Я мнил страданьем искупить;
Когда былое ежечасно
Очам являлося моим
И всё, что свято и прекрасно,
Отозвалося мне чужим,—
Тогда молитвой безрассудной
Я долго богу докучал
И вдруг услышал голос чудный.
«Чего ты просишь? — он вещал.—
Ты жить устал? Но я ль виновен;
Смири страстей своих порыв,
Будь, как другие, хладнокровен,
Будь, как другие, терпелив.
Твое блаженство было ложно.
Ужель мечты тебе так жаль?
Глупец! Где посох твой дорожный?
Возьми его, пускайся в даль;
Пойдешь ли ты через пустыню
Иль город пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигде приют себе не строй.

[Когда тебя во имя бога
Кто пригласит на пир простой,
Страшися мирного порога
Коснуться грешною ногой;
Смотреть привыкни равнодушно...»]

428

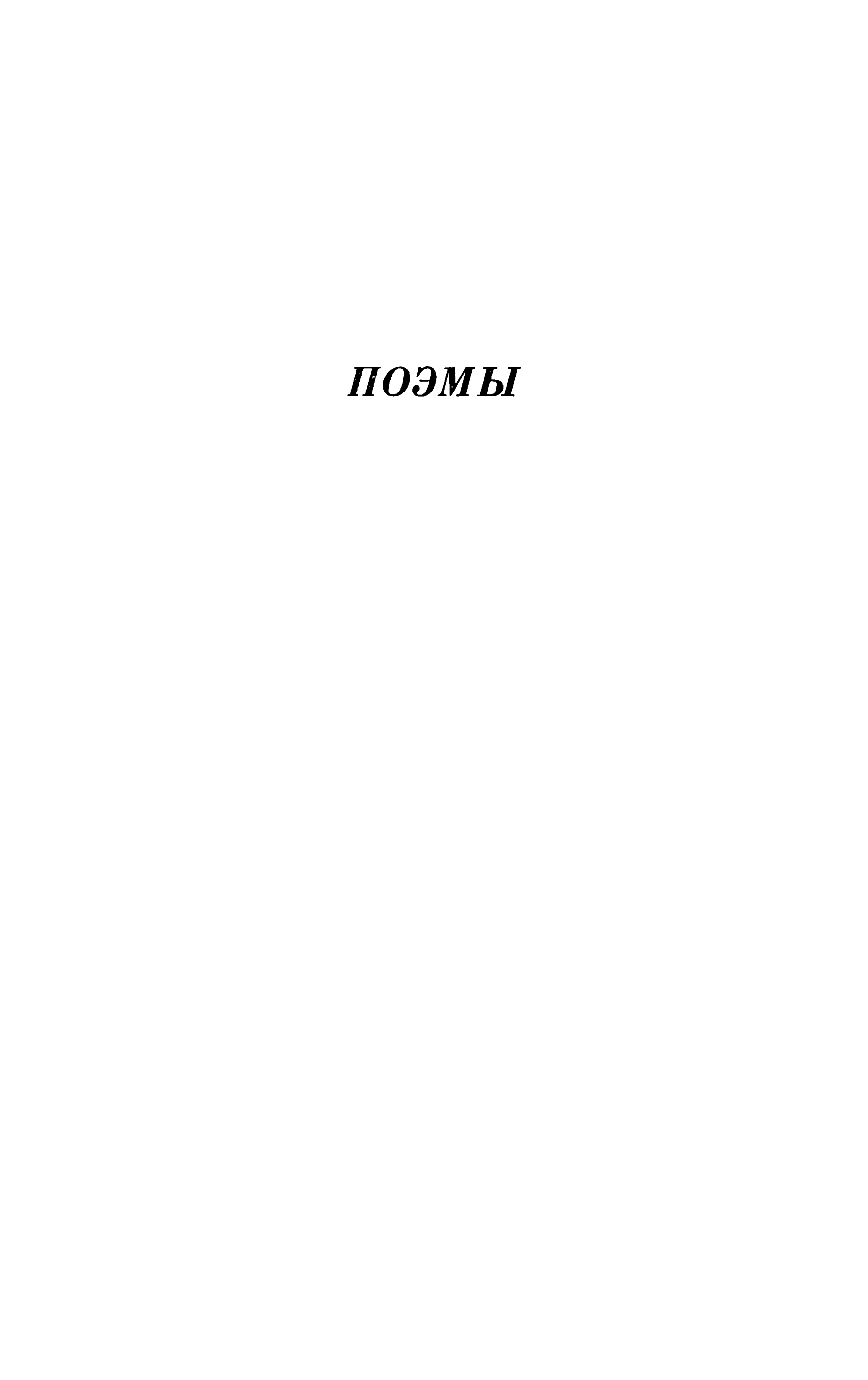
Это случилось в последние годы могучего Рима.
Царствовал грозный Тиверий и гнал христиан беспощадно,
Но ежедневно на месте отрубленных ветвей, у древа
Церкви Христовой юные вновь зеленели побеги.
В тайной пещере, над Тибром ревущим, скрывался в то время
Праведный старец, в посте и молитве свой век доживая;
Бог его в людях своей благодатью прославил.
Чудный он дар получил: исцелять от недугов телесных
И от страданий душевных. Рано утром однажды,
Горько рыдая, приходит к нему старуха простого
Звания, с нею и муж ее, грусти безмолвной исполнен.
Просит она воскресить ее дочь, внезапно во цвете
Девственной жизни умершую... «Вот уж два дня и две ночи,—
Так она говорила,— мы наших богов неотступно
Молим во храмах и жжем ароматы на мраморе хладном,
Золото сыплем жрецам их и плачем... но всё бесполезно!
Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б
Сердце твое, равнодушное к прелестям мира! Как часто
Дряхлые старцы, любуясь на белые плечи, волнистые кудри,
На темные очи ее, молодели, и юноши страстным
Взором ее провожали, когда, напевая простую
Песню, амфору держа над главой, осторожно тропинкой
К Тибру спускалась она за водою... иль в пляске
Перед домашним порогом подруг побеждала искусством,
Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая...
Только в последнее время приметно она изменилась:

Игры наскучили ей, и взор отуманился думой,
Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь
Вечером темным, и ночи без сна проводила... При свете
Поздней лампады я видела раз, как она, на коленах,
Тихо, усердно и долго молилась... кому?.. неизвестно!..
Сóзвали мы стариков и родных для совета; решили...»
. . . .

429

Не плачь, не плачь, мое дитя,
Не стоит он безумной муки.
Верь, он ласкал тебя шутя,
Верь, он любил тебя от скуки!
И мало ль в Грузии у нас
Прекрасных юношей найдется?
Быстрей огонь их черных глаз,
И черный ус их лучше вьется!

Из дальней, чуждой стороны
Он к нам заброшен был судьбою;
Он ищет славы и войны,—
И что ж он мог найти с тобою?
Тебя он золотом дарил,
Клялся, что вечно не изменит,
Он ласки дорого ценил —
Но слез твоих он не оценит!



ПОЭМЫ

430. ЧЕРКЕСЫ

1

Уж в го́рах солнце исчезает,
В долинах всюду мертвый сон,
Заря, блистая, угасает,
Вдали гудит протяжный звон,
Покрыто мглой туманно поле,
Зарница блещет в небесах,
В долинах стад не видно боле,
Лишь серны скачут на холмах.
И серый волк бежит чрез горы;
Его свирепо блещут взоры.
В тени развесистых дубов
Влезает он в свою берлогу.
За ним бежит через дорогу
С ружьем охотник, пара псов
На сворах рвутся с нетерпенья;
Всё тихо,— и в глуши лесов
Не слышно жалобного пенья
Пустынной иволги; лишь там
Весенний ветерок играет,
Перелетая по кустам,
В глуши кукушка занывает,
И на дупле как тень сидит
Полночный ворон и кричит.
Меж диких скал крути́т, сверкает
Подале Терек за горой;
Высокий берег подмывает,
Крутяся, пеною седой.

2

Одето небо черной мглою,
В тумане месяц чуть блестит;
Лишь на сухих скалах травою
Полночный ветер шевелит.
На хóлмах маяки блистают,—
Там стражи русские стоят,
Их копья острые блестят;
Друг друга громко окликают:
«Не спи, казак, во тьме ночной;
Чеченцы ходят за рекой!»
Но вот они стрелу пускают,
Взвилась! — и падает казак
С окровавлённого кургана;
В очах его смертельный мрак:
Ему не зреть родного Дона,
Ни милых сердцу, ни семью:
Он жизнь окончил здесь свою.

3

В густом лесу видна поляна,
Чуть освещенная луной,
Мелькают, будто из тумана,
Огни на крепости большой.
Вдруг слышен шорох за кустами,
Въезжают несколько людей,—
Обкинув всё кругом очами,
Они слезают с лошадей.
На каждом шашка, за плечами
Ружье заряжено висит,
Два пистолета, борзы кони;
По бурке на седле лежит.
Огонь черкесы зажигают,
И все садятся тут кругом.
Привязанные к деревам
В лесу конѝ траву щипают,
Клубится дым, огонь трещит,
Кругом поляна вся блестит.

4

Один черкес одет в кольчугу,
Из серебра его наряд,
Уздени вкруг него сидят,
Другие ж все лежат по лугу.
Иные чистят шашки остры
Иль навостряют стрелы быстры.
Кругом всё тихо, всё молчит.
Восстал вдруг князь и говорит:
«Черкесы, мой народ военный,
Готовы будьте всякий час
На жертву смерти — смерти славной
Не всяк достоин здесь из вас.
Взгляните: в крепости высокой
В цепях, в тюрьме, мой брат сидит,
В печали, в скорби, одинокой,—
Его спасу, иль мне не жить.

5

Вчера я спал под хладной мглой
И вдруг увидел будто брата,
Что он стоял передо мной —
И мне сказал: «Минуты трата,
И я погиб,— спаси меня»,
Но призрак легкий вдруг сокрылся.
С сырой земли поднялся я,
Его спасти я устремился,
И вот ищу и ночь и день.
И призрак легкий не являлся
С тех пор, как брата бледна тень
Меня звала, и я старался
Его избавить от оков;
И я на смерть всегда готов!
Теперь, клянуся Магометом,
Клянусь, клянуся целым светом!..
Настал неизбежимый час —
Для русских смерть или мученье —
Иль мне взглянуть в последний раз
На ярко солнца восхожденье».
Умолкнул князь. И все трикратно
Повто́рили его слова:

«Погибнуть русским невозвратно,
Иль с тела свалится глава».

6

Восток, алея, пламенеет,
И день заботливый светлеет.
Уже в села́х кричит петух;
Уж месяц в облаке потух.
Денница, тихо поднимаясь,
Златит холмы и тихий бор,
И юный луч, со тьмой сражаясь,
Вдруг показался из-за гор.
Колосья в поле под серпами
Ложатся желтыми рядами.
Всё утром дышит; ветерок
Играет в Тереке на волнах,
Вздымает зыблемый песок.
Свод неба синий тих и чист;
Прохлада с речки повевает,
Прелестный запах юный лист
С весенней свежестью сливает.
Везде, кругом сгустился лес,
Повсюду тихое молчанье.
Струей, сквозь темный свод древес
Прокравшись, дневное сиянье
Верхи и корни золотит.
Лишь ветра тихим дуновеньем
Сорва́н листок летит, блестит,
Смущая тишину паденьем.

Но вот, приметя свет дневной,
Черкесы на коней садятся,
Быстрее стрел по лесу мчатся,
Как пчел неутомимый рой,
Сокрылися в тени густой.

7

О, если б ты, прекрасный день,
Гнал так же горесть, страх, смятенья,
Как гонишь ты ночную тень
И снов обманчивых виденья!

Заутрень в граде дальний звон
По роще ветром разнесен;
И на горе стоит высокой
Прекрасный град, там слышен громкий
Стук барабанов, и войска,
Закинув ружья на плеча,
Стоят на площади в параде.
Народ весь в праздничном наряде
Идет из церкви. Стук карет,
Колясок, дрожек раздается;
На небе стая галок вьется;
Всяк в дом свой завтракать идет;
Там тихо ставни растворяют;
⟨И⟩ там по улице гуляют
Иль и́дут войско посмотреть
В большую крепость. Но чернеть
Уж стали тучи за горами,
И только яркими лучами
Блистало солнце с высоты,
И ветр бежал через кусты.

8

Уж войско хочет расходиться
В большую крепость на горе,
Но топот слышен в тишине.
Вдали густая пыль клубится.
И видят: кто-то на коне
С оглядкой боязливой мчится.
Но вот он здесь уж, вот слезает,
К начальнику он подбегает
И говорит: «Погибель нам!
Вели готовиться войскам,—
Черкесы мчатся за горами,
Нас было двое, и за нами
Они пустились на конях.
Меня объял внезапный страх,
Насилу я от них умчался,
Да конь хорош, а то б попался».

9

Начальник всем полкам велел
Сбираться к бою, зазвенел
Набатный колокол; толпятся,
Мятутся, строятся, деля́тся;
Вороты крепости сперлись.
Иные вихрем понеслись
Остановить черкесску силу
Иль с славою вкусить могилу.
И видно зарево кругом;
Черкесы поле покрывают,
Ряды, как львы, перебегают;
Со звоном сшибся меч с мечом —
И разом храброго не стало.
Ядро во мраке прожужжало,
И целый ряд бесстрашных пал,
Но все смешались в дыме черном.
Здесь бурный конь с копьем вонзенным,
Вскочивши на дыбы, заржал;
Сквозь русские ряды несется,
Упал на землю, сильно рвется,
Покрывши всадника собой.
Повсюду слышен стон и вой.

10

Пушек гром везде грохочет,
А здесь изрубленный герой
Воззвать к дружине верной хочет,
И голос замер на устах.
Другой бежит на поле ратном,
Бежит, глотая пыль и прах,
Трикрат сверкнул мечом булатным,
И в воздухе недвижим меч;
Звеня, падет кольчуга с плеч.
Копье рамена прободает,
И хлещет кровь из них рекой.
Несчастный раны зажимает
Холодной, трепетной рукой.
Еще ружье свое он ищет.
Повсюду стук, и пули свищут,
Повсюду слышен пушек вой,

Повсюду смерть и ужас мещет
В горах, и в долах, и в лесах.
Во граде жители трепещут;
И гул несется в небесах.
Иный черкеса поражает,
Бесплодно меч его сверкает.
Махнул еще, его рука,
Подъята вверх, окостенела.
Бежать хотел. Его нога
Дрожит недвижима, замлела.
Встает и пал. Но вот несется
На лошади черкес лихой
Сквозь ряд штыков, он сильно рвется
И держит меч над головой;
Он с казаком вступает в бой;
Их сабли остры ярко блещут;
Уж лук звенит, стрела трепещет,
Удар несется роковой.
Стрела блестит, свистит, мелькает
И вмиг каза́ка убивает.
Но вдруг, толпою окружен,
Копьями острыми пронзен,
Князь сам от раны издыхает,
Падет с коня — и все бегут
И бранно поле оставляют.
Лишь ядры русские ревут
Над их, ужасно, головой.
Помалу тихнет шумный бой,
Лишь под горами пыль клубится.
Черкесы побежденны мчатся,
Преследоваемы толпой
Сынов неустрашимых Дона,
Которых Рейн, Лоар и Рона
Видали на своих брегах,
Несут за ними смерть и страх.

11

Утихло всё: лишь изредка́
Услышишь выстрел за горою;
⟨И⟩ редко видно казака,
Несущегося прямо к бою,
И в стане русском уж покой.

Спасен и град, и над рекой
Маяк блестит, и сторож бродит,
В окружность быстрым оком смотрит
И на плече ружье несет.
Лишь только слышно: *«Кто идет»,*
Лишь громко *«слушай»* раздается;
Лишь только редко пронесется
Лихой казак чрез русский стан.
Лишь редко крикнет черный вран
Голодный, трупы пожирая;
Лишь изредка мелькнет, блистая,
Огонь в палатке у солдат.
И редко чуть блеснет булат,
Заржавый от крови в сраженье,
Иль крикнет вдруг в уединенье
Близ стана русский часовой.
Везде господствует покой.

Лето 1828

431. КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Genieße und leide!
Dulde und entbehre!
Liebe, hoff' und glaube!

Conz[1]

1

В большом ауле, под горою,
Близ саклей дымных и простых
Черкесы позднею порою
Сидят — о конях удалых
Заводят речь, о метких стрелах,
О разоренных ими селах,
И с ними как дрался казак,

---

[1] Наслаждайся и страдай!
Терпи и смиряйся!
Люби, надейся и верь!
Конц (нем.).— *Ред.*

И как на русских нападали,
Как их пленили, побеждали.
Курят беспечно свой табак,
И дым, виясь, летит над ними,
Иль, стукнув шашками своими,
Песнь горцев громко запоют.

Иные на коней садятся,
Но перед тем как расставаться,
Друг другу руку подают.

2

Меж тем черкешенки младые
Взбегают нá горы крутые
И в темну даль глядят — но пыль
Лежит спокойно по дороге,
И не шелóхнется ковыль,
Не слышно шума, ни тревоги.

Там Терек издали кружит,
Меж скал пустынных протекает
И пеной зыбкой орошает
Высокий берег; лес молчит;
Лишь изредка олень пугливый
Через пустыню пробежит,
Или коней табун игривый
Молчанье дола возмутит.

3

Лежал ковер цветов узорный
По той горе и по холмам,
Внизу сверкал поток нагорный
И тек струисто по кремням...
Черкешенки к нему сбежались,
Водою чистой умывались.
Со смехом младости простым
На дно прозрачное иные
Бросали кольца дорогие;
И к волосам своим густым
Цветы весенние вплетали;

Гляделися в зерцало вод,
И лица их в нем трепетали.
Сплетаясь в тихий хоровод,
Восточны песни напевали,
И близ аула под горой
Сидели резвою толпой,
И звуки песни произвольной
Ущелья вторили невольно.

4

Последний солнца луч златой
На льдах сребристых догорает,
И Эльборус своей главой
Его, как туча, закрывает.
. . . .
Уж раздалось мычанье стад
И ржанье табунов веселых;
Они с полей идут назад...
Но что за звук цепей тяжелых?
Зачем печаль сих пастухов?
Увы! то пленники младые,
Утратив годы золотые,
В пустыне гор, в глуши лесов,
Близ Терека пасут уныло
Черкесов тучные стада,
Воспоминая то, что было
И что не будет никогда!
Как счастье тщетно их ласкало,
Как оставляло наконец
И как оно мечтою стало!..
И нет к ним жалостных сердец!
Они в цепях, они рабами!
Сливалось всё как в мутном сне,
Души не чувствуя, оне
Уж видят гроб перед очами.
Несчастные! В чужом краю!
Исчезли сердца упованья;
В одних слезах, в одном страданье
Отраду зрят они свою.

Надежды нет им возвратиться,
Но сердце поневоле мчится
В родимый край. Они душой
Тонули в думе роковой.

. . . .

Но пыль взвивалась над холмами
От стад и борзых табунов;
Они усталыми шагами
Идут домой. Лай верных псов
Не раздавался вкруг аула;
Природа шумная уснула;
Лишь слышен дев издалека
Напев унылый. Вторят горы,
И нежен он, как птичек хоры,
Как шум приветный ручейка:

ПЕСНЯ

Как сильной грозою
Сосну вдруг согнет;
Пронзенный стрелою,
Как лев заревет,—
Так русский средь бою
Пред нашим падет,
И смелой рукою
Чеченец возьмет
Броню золотую
И саблю стальную
И в горы уйдет.

Ни конь, оживленный
Военной трубой,
Ни варвар, смятенный
Внезапной борьбой,
Страшней не трепещет,
Когда вдруг заблещет
Кинжал роковой.

Внимали пленники уныло
Печальной песни сей для них,
И сердце в грусти страшно ныло...
Ведут черкесы к сакле их;

И, привязавши у забора,
Ушли. Меж них огонь трещит,
Но не смыкает сон их взора,
Не могут горесть дня забыть.

6

Льет месяц томное сиянье.
Черкесы храбрые не спят,
У них шумливое собранье:
На русских нападать хотят.

Вокруг оседланные кони,
Серебряные блещут брони,
На каждом лук, кинжал, колчан
И шашка на ремнях наборных,
Два пистолета и аркан,
Ружье; и в бурках, в шапках черных,
К набегу стар и млад готов,
И слышен топот табунов.
Вдруг пыль взвилася над горами,
И слышен стук издалека.
Черкесы смотрят: меж кустами
Гирея видно, ездока!

7

Он понуждал рукой могучей
Коня, приталкивал ногой,
И влек за ним аркан летучий
Младого пленника с собой.
Гирей приблизился — веревкой
Был связан русский, чуть живой.
Черкес спрыгну́л, рукою ловкой
Разрезывал канат; но он
Лежал на камне — смертный сон
Летал над юной головою...

. . . .

Черкесы скачут уж — как раз
Сокрылись за горой крутою,
Уроком бьет полночный час.

8

От смерти лишь из сожаленья
Младого русского спасли,
Его к товарищам снесли.
Забывши про свои мученья,
Они, не отступая прочь,
Сидели близ него всю ночь...
. . . .
И бледный лик, в крови омытый,
Горел в щеках — он чуть дышал
И, смертным холодом облитый,
Протягшись, на траве лежал.

9

Уж полдень, прямо над аулом,
На светло-синей высоте,
Сиял в обычной красоте.
Сливалися с протяжным гулом
Стадов черкесских — по холмам
Дыханье ветерков проворных,
И ропот ручейков нагорных,
И пенье птичек по кустам.
Хребта Кавказского вершины
Пронзали синеву небес,
И оперял дремучий лес
Его зубчатые стремнины.
Обложен степенями гор,
Расцвел узорчатый ковер;
Там под столетними дубами,
В тени, окованный цепями,
Лежал наш пленник на траве.
В слезах склонясь к младой главе,
Товарищи его несчастья
Водой старались оживить.
(Но ах! утраченного счастья
Никто не мог уж возвратить.)
. . . .
Вот он, вздохнувши, приподнялся,
И взор его уж открывался!
Вот он взглянул!.. затрепетал.
...Он с незабытыми друзьями! —

Он, вспыхнув, загремел цепями.
Ужасный звук всё, всё сказал!!

Несчастный залился слезами,
На грудь к товарищам упал
И горько плакал и рыдал.

10

Счастлив еще: его мученья
Друзья готовы разделять
И вместе плакать и страдать...
Но кто сего уж утешенья
Лишен в сей жизни слез и бед,
Кто в цвете юных пылких лет
Лишен того, чем сердце льстило,
Чем счастье издали манило...
И если годы унесли
Пору цветов искать, как прежде,
Минутной радости в надежде,—
Пусть не живет тот на земли.

11

Так пленник мой с родной страною
Почти навек «прости» сказал!
Терзался прошлою мечтою,
Ее места воспоминал:
Где он провел златую младость,
Где испытал и жизни сладость,
Где много милого любил,
Где знал веселье и страданья,
Где он, несчастный, погубил
Святые сердца упованья...
. . . .

12

Он слышал слово *«навсегда!»*.
И, обреченный тяжкой долей,
Почти дружился он с неволей.

С товарищами иногда
Он пас черкесские стада.
Глядел он с ними, как лавины
Катя́тся с гор и как шумят;
Как лавой снежною блестят,
Как ими кроются долины;
Хотя цепями скован был,
Но часто к Тереку ходил.
И слушал он, как волны воют,
Подошвы скал угрюмых роют,
Текут средь дебрей и лесов...
Смотрел, как в высоте холмов
Блестят огни сторожевые
И как вокруг них казаки
Глядят на мутный ток реки,
Склонясь на копья боевые.
Ах! как желал бы там он быть,
Но цепь мешала переплыть.

13

Когда же полдень над главою
Горел в лучах, то пленник мой
Сидел в пещере, где от зною
Он мог сокрыться. Под горой
Ходили табуны. Лежали
В тени другие пастухи,
В кустах, в траве и близ реки,
В которой жажду утоляли...
И там-то пленник мой глядит:
Как иногда орел летит,
По ветру крылья простирает
И, видя жертвы меж кустов,
Когтьми хватает вдруг — и вновь
Их с криком кверху поднимает...
«Так! — думал он.— Я жертва та,
Котора в пищу им взята».

14

Смотрел он также, как кустами
Иль синей степью, по горам,

Сайгаки, с быстрыми ногами,
По камням острым, по кремням,
Летят, стремнины презирая...
Иль как олень и лань младая,
Услыша пенье птиц в кустах,
Со скал, не шевелясь, внимают —
И вдруг внезапно исчезают,
Взвивая вверх песок и прах.

15

Смотрел, как горцы мчатся к бою
Иль скачут смело над рекою;
Остановились — лошадей
Толкают смелою ногою...
И вдруг, припав к луке своей,
Близ берегов они мелькают,
Стремят — и, снова поскакав,
С утеса падают стремглав
И...
...шумно в брызгах исчезают —
Потом плывут — и достигают
Уже противных берегов,
Они уж там и в тьме лесов
Себя от казаков скрывают...
Куда глядите, казаки?
Смотрите, волны у реки
Седою пеной забелели!
Смотрите, враны на дубах
Вострепенулись, улетели,
Сокрылись с криком на холмах!
Черкесы путника арканом
В свои ущелья завлекут...
И, скрытые ночным туманом,
Оковы, смерть вам нанесут.

16

И часто, отгоняя сон,
В глухую полночь смотрит он,
Как иногда черкес чрез Терек
Плывет на верном тулуке,—

Бушуют волны на реке,
В тумане виден дальний берег,
На пне пред ним висят кругом
Его оружия стальные:
Колчан, лук, стрелы боевые,
И шашка острая, ремнем
Привязана, звенит на нем.
Как точка в волнах он мелькает,
То виден вдруг, то исчезает...
Вот он причалил к берегам.
Беда беспечным казакам!
Не зреть уж им родного Дона,
Не слышать колоколов звона!
Уже чеченец под горой,
Железная кольчуга блещет,
Уж лук звенит, стрела трепещет,
Удар несется роковой!...
Казак! казак! увы, несчастный!
Зачем злодей тебя убил?
Зачем же твой свинец опасный
Его так быстро не сразил?..

17

Так пленник бедный мой уныло,
Хоть сам под бременем оков,
Смотрел на гибель казаков.
Когда ж полночное светило
Восходит, близ забора он
Лежит в ауле — тихий сон
Лишь редко очи закрывает.
С товарищами — вспоминает
О милой той родной стране,
Грустит,— но больше, чем оне...
Оставив там залог прелестный,
Свободу, счастье, что любил,
Пустился он в край неизвестный,
И... всё в краю том погубил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

18

Однажды, погружась в мечтанье,
Сидел он позднею порой;
На темном своде без сиянья
Бесцветный месяц молодой
Стоял, и луч дрожащий, бледный
Лежал на зелени холмов,
И тени шаткие дерёв,
Как призраки, на крыше бедной
Черкесской сакли прилегли.
В ней огонек уже зажгли,—
Краснея, он, в лампаде медной,
Чуть освещал большой забор...
Всё спит: холмы, река и бор.

19

Но кто в ночной тени мелькает?
Кто легкой тенью меж кустов
Подходит ближе, чуть ступает,
Всё ближе... ближе... через ров
Идет бредучею стопою?..
Вдруг видит он перед собою:
С улыбкой жалости немой
Стоит черкешенка младая!
Дает заботливой рукой
Хлеб и кумыс прохладный свой,
Пред ним колена преклоняя.
И взор ее изобразил
Души порыв, как бы смятенной.
Но пищу принял русский пленный
И знаком ей благодарил.

20

И долго, долго, как немая,
Стояла дева молодая.
И взгляд как будто говорил:
«Утешь себя, невольник милый;
Еще не всё ты погубил».

И вздох нетяжкий, но унылый
В груди раздался молодой.
Потом чрез вал она крутой
Домой пошла тропою мшистой
И скрылась вдруг в дали тенистой,
Как некий призрак гробовой.
И только девы покрывало
Еще очам вдали мелькало,
И долго, долго пленник мой
Смотрел ей вслед — она сокрылась.
Подумал он: но почему
Она к несчастью моему
С такою жалостью склонилась?
Он ночь всю не смыкал очей;
Уснул за час лишь пред зарей.

21

Четверту ночь к нему ходила
Она и пищу приносила,
Но пленник часто всё молчал,
Словам печальным не внимал.
Ах! сердце, полное волнений,
Чуждалось новых впечатлений,—
Он не хотел ее любить.
И что за радости в чужбине,
В его плену, в его судьбине?
Не мог он прежнее забыть...
Хотел он благодарным быть,
Но сердце жаркое терялось
В его страдании немом
И, как в тумане зыбком, в нем
Без отголоска поглощалось!..
Оно и в шуме и в тиши
Тревожит сон его души.

22

Всегда он с думою унылой
В ее блистающих очах
Встречает образ вечно милый.
В ее приветливых речах
Знакомые он слышит звуки...

И к призраку стремятся руки.
Он вспомнил всё — ее зовет...
Но вдруг очнулся. Ах! несчастный,
В какой он бездне здесь ужасной;
Уж жизнь его не расцветет.
Он гаснет, гаснет, увядает,
Как цвет прекрасный на заре;
Как пламень юный, потухает
На освещенном алтаре!!!

23

Не понял он ее стремленья,
Ее печали и волненья;
Не думал он, чтобы она
Из жалости одной пришла,
Взглянувши на его мученья;
Не думал также, чтоб любовь
Точила сердце в ней и кровь,—
И в страшном был недоуменье...
. . . .
Но в эту ночь ее он ждал.
Настала ночь уж роковая;
И, сон от óчей отгоняя,
В пещере пленник мой лежал.

24

Поднялся ветер той порою,
Качал во мраке дерева,
И свист его подобен вою —
Как воет полночью сова.

Сквозь листья дождик пробирался;
Вдали на тучах гром катался;
Блистая, молния струей
Пещеру темну озаряла,
Где пленник бедный мой лежал,—
Он весь промок и весь дрожал...
. . . .
Гроза помалу утихала,
Лишь капала вода с дерёв.

Кой-где потоки меж холмов
Струею мутною бежали
И в Терек с брызгами впадали.
Черкесов в темном поле нет...
И тучи врозь уж разбегают,
И кой-где звездочки мелькают,—
Проглянет скоро лунный свет.

25

И вот над ним луна златая
На легком облаке всплыла
И в верх небесного стекла,
По сводам голубым играя,
Блестящий шар свой провела.
Покрылись пеленой сребристой
Холмы, леса и луг с рекой.
Но кто печальною стопой
Идет один тропой гористой?
Она... с кинжалом и пилой.
Зачем же ей кинжал булатный?
Ужель идет на подвиг ратный!
Ужель идет на тайный бой!..
Ах, нет! наполнена волнений,
Печальных дум и размышлений,
К пещере подошла она,
И голос раздался известный,—
Очнулся пленник как от сна,
И в глубине пещеры тесной
Садятся... Долго они там
Не смели воли дать словам...
Вдруг дева шагом осторожным
К нему, вздохнувши, подошла,
И, руку взяв, с приветом нежным,
С горячим чувством, но мятежным,
Слова печальны начала:

26

«Ах русский! русский! что с тобою!
Почто ты с жалостью немою
Печален, хладен, молчалив
На мой отчаянный призыв?..

Еще имеешь в свете друга —
Еще не всё ты потерял...
Готова я часы досуга
С тобой делить. Но ты сказал,
Что любишь, русский, ты другую.
Ее бежит за мною тень,
И вот об чем, и ночь и день,
Я плачу, вот об чем тоскую!..
Забудь ее, готова я
С тобой бежать на край вселенной!
Забудь ее, люби меня,
Твоей подругой неизменной...»
Но пленник сердца своего
Не мог открыть в тоске глубокой,
И слезы девы черноокой
Души не трогали его...
«Так, русский, ты спасен! Но прежде
Скажи мне: жить иль умереть?!!
Скажи, забыть ли о надежде?..
Иль слезы эти утереть?»

27

Тут вдруг поднялся он, блеснули
Его прелестные глаза,
И слезы крупные мелькнули
На них, как светлая роса:
«Ах нет! оставь восторг свой нежный,
Спасти меня не льстись надеждой,—
Мне будет гробом эта степь;
Не на остатках славных, бранных,
Но на костях моих изгна́нных
Заржавит тягостная цепь!»
Он замолчал, она рыдала,
Но ободри́лась, тихо встала,
Взяла пилу одной рукой,
Кинжал другою подавала.
И вот, под острою пилой
Скрыпит железо — распадает,
Блистая, цепь и чуть звенит.
Она его приподымает
И так, рыдая, говорит:

28

«Да!.. пленник... ты меня забудешь...
Прости!.. прости же... *навсегда:*
Прости! *навек!..* Как счастлив будешь,
Ах!.. вспомни обо мне тогда...
Тогда!.. быть может, уж могилой
Желанной скрыта буду я;
Быть может... скажешь ты уныло:
„Она любила и меня!..“»
И девы бледные ланиты,
Почти потухшие глаза,
Смущенный лик, тоской убитый,
Не освежит одна слеза!..
И только рвутся вопли муки...
Она берет его за руки
И в поле темное спешит,
Где чрез утесы путь лежит.

29

Идут, идут; остановились;
Вздохнув, назад оборотились;
Но роковой ударил час...
Раздался выстрел — и как раз
Мой пленник падает. Не муку,
Но смерть изображает взор;
Кладет на сердце тихо руку...
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Как вместе с ним поражена,
Без чувства падает она,—
Как будто пуля роковая
Одним ударом, в один миг
Обоих вдруг сразила их.
. . . .

30

Но очи русского смыкает
Уж смерть холодною рукой,
Он вздох последний испускает,

И он уж там — и кровь рекой
Застыла в жилах охладевших;
В его руках оцепеневших
Еще кинжал, блестя, лежит;
В его всех чувствах онемевших
Навеки жизнь уж не горит,
Навеки радость не блестит.

31

Меж тем черкес, с улыбкой злобной,
Выходит из глуши дерёв.
И, волку хищному подобный,
Бросает взор... стоит... без слов,
Ногою гордой попирает
Убитого... Увидел он,
Что тщетно потерял патрон
И вновь чрез горы убегает.

32

Но вот она очнулась вдруг
И ищет пленника очами.
Черкешенка! где, где твой друг...
Его уж нет.
                Она слезами
Не может ужас выражать,
Не может крови омывать.
И взор ее как бы безумный
Порыв любви изобразил;
Она страдала. Ветер шумный.
Свистя, покров ее клубил!..
Встает... и скорыми шагами
Пошла с потупленной главой,
Через поляну — за холмами
Сокрылась вдруг в тени ночной.

33

Она уж к Тереку подходит.
Увы, зачем, зачем она
Так робко взором вкруг обводит,
Ужасной грустию полна?..

И долго на бегущи волны
Она глядит. И взор безмолвный
Блестит звездой в полночной тьме.
Она на каменной скале:
«О, русский! русский!!!» — восклицает.
Плеснули волны при луне,
Об берег брызнули оне!..
И дева с шумом исчезает.
Покров лишь белый выплывает,
Несется по глухим волнам:
Остаток грустный и печальный
Плывет, как саван погребальный,
И скрылся к каменным скалам.

34

Но кто убийца их жестокой?
Он был с седою бородой.
Не видя девы черноокой,
Сокрылся он в глуши лесной.
Увы! то был отец несчастный!
Быть может, он ее сгубил
И тот свинец его опасный
Дочь вместе с пленником убил? —
Не знает он. Она сокрылась
И с ночи той уж не явилась.
Черкес! где дочь твоя? Глядишь,
Но уж ее не возвратишь!!.

35

Поутру труп оледенелый
Нашли на пенистых брегах.
Он хладен был, окостенелый;
Казалось, на ее устах
Остался голос прежней муки;
Казалось, жалостные звуки
Еще не смолкли на губах.
Узнали все. Но поздно было!
— Отец! убийца ты ее.
Где упование твое?
Терзайся век! Живи уныло!..

Ее уж нет. И за тобой
Повсюду призрак роковой.
Кто гроб ее тебе укажет?
Беги! Ищи ее везде!!!
«Где дочь моя?» — и отзыв скажет:
Где?..

1828

432. КОРСАР

Longtemps il eut le sort prospère
Dans ce métier si dangereux.
Las! il devient trop téméraire
Pour avoir été trop heureux.

La Harpe[1]

ЧАСТЬ I

Друзья, взгляните на меня!
Я бледен, худ, потухла радость
В очах моих, как блеск огня.
Моя давно увяла младость,
Давно, давно нет ясных дней,
Давно нет цели упованья!..
Исчезло всё!.. Одни страданья
Еще горят в душе моей.

Я не видал своих родимых —
Чужой семьей воскормлен я;
Один лишь брат был у меня,
Предмет всех радостей любимых.
Его я старе годом был,
Но он равно меня любил,
Равно мы слезы проливали,
Когда всё спит во тьме ночной,
Равно мы горе поверяли
Друг другу жаркою душой!..

---

[1] Долго счастье ему благоприятствовало
В его опасном ремесле.
Увы! он становится слишком дерзким,
Потому что был слишком счастливым.
Лагарп (фр.).— *Ред.*

Нам очарованное счастье
Мелькало редко иногда!..
Увы! — не зрели мы ненастья,
Нам угрожавшего тогда.

Мой умер брат! Перед очами
Еще теперь тот страшный час,
Когда в ногах его с слезами
Сидел! Ах! я не зрел ни раз
Столь милой смерти хладной муки:
Сложив крестообразно руки,
Несчастный тихо угасал
И бледны впалые ланиты
И смертный взор, тоской убитый,
В подушке бедный сокрывал.
«Он умер!» — страшным восклицаньем
Сражен я вдруг был с содроганьем,
Но сожаленье, не любовь
Согрели жизнь мою и кровь...

С тех пор с обманутой душою
Ко всем я недоверчив стал.
Ах! не под кровлею родною
Я был тогда — и увядал.
Не мог с улыбкою смиренья
С тех пор я всё переносить:
Насмешки, гордости презренья...
Я мог лишь пламенней любить.
Самим собою недоволен,
Желая быть спокоен, волен,
Я часто по лесам бродил
И только там душою жил,
Глядел в раздумии глубоком,
Когда на дереве высоком
Певец незримый напевал
Веселье, радость и свободу,
Как нежно вдруг ослабевал,
Как он, треща, свистал, щелка́л,
Как по лазоревому своду
На легких крылиях порхал,
И непонятное волненье
В душе я сильно ощущал.
Всегда любя уединенье,
Возненавидя шумный свет,

Узнав неверной жизни цену,
В сердцах людей нашед измену,
Утратив жизни лучший цвет,
Ожесточился я — угрюмой
Душа моя смутилась думой;
Не могши более страдать,
Я вдруг решился убежать.

Настала ночь... Я встал печально
С постели, грустью омрачен.
Во всем дому глубокий сон.
Хотелось мне хоть взор прощальный
На место бросить то, где я
Так долго жил в тиши безвестной,
Где жизни тень всегда прелестной
Беспечно встретила меня.
Я взял кинжал; два пистолета
На мне за кожаным ремнем
Звенели. Я страшился света
Луны в безмолвии ночном...

Но вихорь сердца молодого
Меня влачил к седым скалам,
Где между берега крутого
Дунай кипел, ревел; и там,
Склонясь на камень головою,
Сидел я, озарен луною...
Ах! как она, томна, бледна,
Лила лучи свои златые
С небес на рощи бреговые.
Везде знакомые места,
Всё мне напоминало младость,
Всё говорило мне, что радость
Навеки здесь погребена.
Хотел проститься с той могилой,
Где прах лежал столь сердцу милый.
Перебежавши через ров,
Пошел я тихо по кладби́щу,
Душе моей давало пищу
Спокойствие немых гробов.
И долго, долго я в молчанье
Стоял над камнем гробовым...
Казалось, веяло в страданье
Каким-то холодом сырым.

Потом... неверными шагами
Я удалился — но за мной,
Казалось, тень везде бежала...
Я ночь провел в глуши лесной;
Заря багряно освещала
Верхи холмов; ночная тень
Уже редела надо мною.
С отягощенною главою
Я там сидел, склонясь на пень...
Но встал, пошел к брегам Дуная,
Который издали ревел,
Я в Грецию идти хотел,
Чтоб турок сабля роковая
Пресéкла горестный удел.
(В душе сменялося мечтанье) —
Ярчее дневное сиянье,
И вот Дунай уж предо мной
Синел с обычной красотой.
Как он, прекрасный, величавый,
Играл в прибережных скалах.
Воспоминанье о делах
Живет здесь, и протекшей славой
Река гордится. Сев на брег,
Я измерял Дуная бег.
Потом бросаюсь в быстры волны,
Они клубятся под рукой
(Я спорил с быстрою рекой),
Но скоро нá берег безмолвный
Я вышел. Всё в душе моей
Мутилось пеною Дуная;
И бросив взор к стране своей:
«Прости, отчизна золотая! —
Сказал.— Быть может, в этот раз
С тобой навеки мне проститься,
Но этот миг, но этот час
Надолго в сердце сохранится!..»
Потом я быстро удалился...

Зачем вам сказывать, друзья,
Что было как потом со мною;
Скажу вам только то, что я
Везде с обманутой душою
Бродил один как сирота,
Не смея ввериться, как прежде,

Всё изменяющей надежде.
Мир был чужой мне, жизнь пуста —
Уж я был в Греции прекрасной,
А для души моей несчастной
Ее лишь вид отравой был.
День приходил — день уходил...
Уже с Балканския вершины
Открылись Греции долины,
Уж море синее, блестя
Под солнцем пламенным Востока,
Как шум нагорного потока,
Обрадовало вдруг меня...
Но как спастися нам от рока!
Я здесь нашел, здесь погубил
Почти всё то, что я любил.

ЧАСТЬ 2

Где Геллеспонт седой, широкий,
Плеская волнами, шумит,
Покрытый лесом, одинокий,
Афос задумчивый стоит.
Венчанный грозными скалами,
Как неприступными стенами
Он окружен. Ни быстрых волн,
Ни свиста ветров не боится.
Беда тому, чей бренный челн
Порывом их к нему домчится.
Его высокое чело
Травой и мохом заросло.
Между стремнин, между кустами,
Изрезан узкими тропами,
С востока ряд зубчатых гор
К подошве тянутся Афоса,
И башни гордые Лемоса
Встречает удивленный взор...
Порою корабли вода́ми
На быстрых белых парусах
Летали между островами
Как бы на лебедя крылах.
Воспоминанье здесь одною
Прошедшей истиной живет.
Там Цареградский путь идет
Чрез поле черной полосою.

(Я шел, не чувствуя себя;
Я был в стремительном волненье,
Увидев, Греция, тебя!)...
Кустарник дикий в отдаленье
Терялся меж угрюмых скал,
Меж скал, где в счастья упоенье
Фракиец храбрый пировал;
Теперь всё пусто. Вспоминанье
Почти изгладил ток времен,
И этот край обременен
Под игом варваров. Страданье
Осталось только в той стране,
Где прежде греки воспевали
Их храбрость, вольность, но оне
Той страшной участи не знали,
И дышит всё здесь стариной,
Минувшей славой и войной.

Когда ж народ ожесточенный
Хватался вдруг за меч военный —
В пещере темной у скалы,
Как будто горние орлы,
Бывало, греки в ночь глухую
Сбирали шайку удалую,
Чтобы на турок нападать,
Пленить, рубить, в морях летать —
И часто барка в тьме у брега
Была готова для побега
От неприятельских полков;
Не страшен был им плеск валов.
И, в той пещере отдыхая,
Как часто ночью я сидел,
Воспоминая и мечтая,
Кляня жестокий свой удел,
И что-то новое пылало
В душе неопытной моей,
И сердце новое мечтало
О легком вихре прежних дней.
Желал я быть в боях жестоких,
Желал я плыть в морях широких
(Любить кого, не находил).
Друзья мои, я молод был!
Зачем губить нам нашу младость,
Зачем стареть душой своей,

Прости навек тогда уж радость,
Когда исчезла с юных дней.

Нашед корсаров, с ними в море
Хотел я плыть. «Ах,— думал я,—
Война, могила, но не горе,
Быть может, встретят там меня».
Простясь с печальными брегами,
Я с маврским опытным пловцом
Стремил мой ⟨бег⟩ меж островами,
Цветущими над влажным дном
Святого старца океана;
Я видел их — но жребий мой
Где свел нас с буйною толпой,
Там власть дана мне атамана,
И так уж было решено,
Что жизнь и смерть — всё за одно!!!

Как весело водам предаться,
Друзья мои, в морях летать,
Но должен, должен я признаться,
Что я готов теперь бы дать
Всё, что имею, за те годы,
Которые уж я убил
И невозвратно погубил.
Прекрасней были бы мне воды,
Поля, леса, луга, холмы
И все, все прелести природы...
Но! — так себе неверны мы!! —
Живем, томимся и желаем,
А получивши — забываем
О том. Уже предмет другой
Играет в нашем воображенье
И — в беспрерывном так томленье
Мы тратим жизнь, о боже мой!

Мы часто нá берег сходили
И часто по степям бродили,
Где конь арабский вороной
Играл скачками подо мной,
Летая в даль степи широкой,
Уже терялся брег далекой,
И я с веселою толпой
Как в море был в степи сухой.

Или в лесу в ночи глубокой,
Когда всё спит, то мы одне,
При полной в облаках луне,
В пещере темной, припевая,
Сидим, и чаша между нас
Идет с весельем круговая;
За нею вслед за часом час,
И светит пламень, чуть блистая,
Треща, синея и мелькая...

Потом мы часто в корабли
Опять садились, в быстры волны
С отважной дерзостью текли,
Какой-то гордостию полны.
Мы правы были: дом царей
Не так велик, как зыбь морей.

Я часто, храбрый, кровожадный,
Носился в бурях боевых,
Но в сердце юном чувств иных
Таился пламень безотрадный.
Чего-то страшного я ждал,
Грустил, томился и желал.
Я слушал песни удалые
Веселой шайки средь морей,
Тогда, воспомнив золотые
Те годы юности моей,
Я слезы лил. Не зная бога,
Мне жизни дальная дорога
Была скользка; я был, друзья,
Несчастный прах из бытия.
Как бы сражаяся с судьбою,
Мятежной ярости полна,
Душа, терзанью предана,
Живет утратою самою.
Узнав лишь тень утраты сей,
Я ждал ее еще мятежней,
Еще печальней, безнадежней,
Как лишь начало страшных дней,
Опять пред мной всё исчезало,
Как свет пред тению ночной,
И сердце тяжко изнывало,
Исчез и кроткий мой покой,

Исчезло милое волненье
И благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых.

ЧАСТЬ 3

Однажды в ночь сошлися тучи,
Катился гром издалека
И гнал, стоная, вихрь летучий
Порывом бурным облака.
Надулись волны, море плещет,
И молния во мраке блещет.
Но наших храбрых удальцов
Ничто б тогда не испугало,
И море синее стонало
От резких корабля следов.
Шипящей пеною белеет
Корабль. Вдруг рвется к небесам
Волна, качается, чернеет
И возвращается волнам.
Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
С пределами небес сражалось,
Земля стонала от зыбей,
Что вихри в вихри ударялись,
И тучи с тучами слетались,
И устремлялся гром на гром,
И море билось с влажным дном,
И черна бездна загоралась
Открытой бездною громов,
И наше судно воздымалось
То вдруг до тяжких облаков,
То вдруг, треща, вниз опускалось.
Но храбрость я не потерял.
На палубе с моей толпою
Я часто гибель возвещал
Одною пушкой вестовою.
Мы скоро справились! Кругом
Лишь дождь шумел, ревел лишь гром.
Вдруг слышен выстрел отдаленный,
Блеснул фонарь как бы зажженный
На мачте в мрачной глубине...

И скрылся он в туманной мгле,
И небо страшно разразилось
И блеском молний озарилось,
И мы узрели: быстро к нам
Неслося греческое судно.
Всё различить мне было трудно.
Предавшися глухим волнам,
Они на помощь призывали,
Но ветры вопли заглушали.
«Скорей ладью, спасите их!» —
Раздался голос в этот миг.
О камень судно ударяет,
Трещит и с шумом утопает.

Но мы иных еще спасли,
К себе в корабль перенесли.
Они без чувств, водой покрыты,
Лежали все как бы убиты;
И ветер буйный утихал,
И гром почаще умолкал,
Лишь изредка волна вздымалась,
Как бы гора, и опускалась.

. . . .
. . . .

Всё смолкло! Вдруг корабль волной
Был брошен к мели береговой.

Хотел я видеть мной спасенных,
И к ним поутру я взошел.
Тогда на тучах озлащенных
Вскатилось солнце. Я узрел,
Увы, гречанку молодую.
Она почти без чувств, бледна,
Склонившись на руку главою,
Сидела, и с тех пор она
Доныне в памяти глубоко...
Она из стороны далекой
Была сюда привезена.
Свою весну, златые лета
Воспоминала. Томный взор
Чернее тьмы, ярчее света
Глядел, казалось, с давних пор
На небо. Там звезда, блистая,

Давала ей о чем-то весть
(О том, друзья, что в сердце есть).
Звезду затмила туча злая,
Звезда померкла, и она
С тех пор печальна и грустна.
С тех пор, друзья, и я стенаю,
Моя тем участь решена,
С тех пор покоя я не знаю,
Но с тех же пор я омертвел,
Для нежных чувств окаменел.

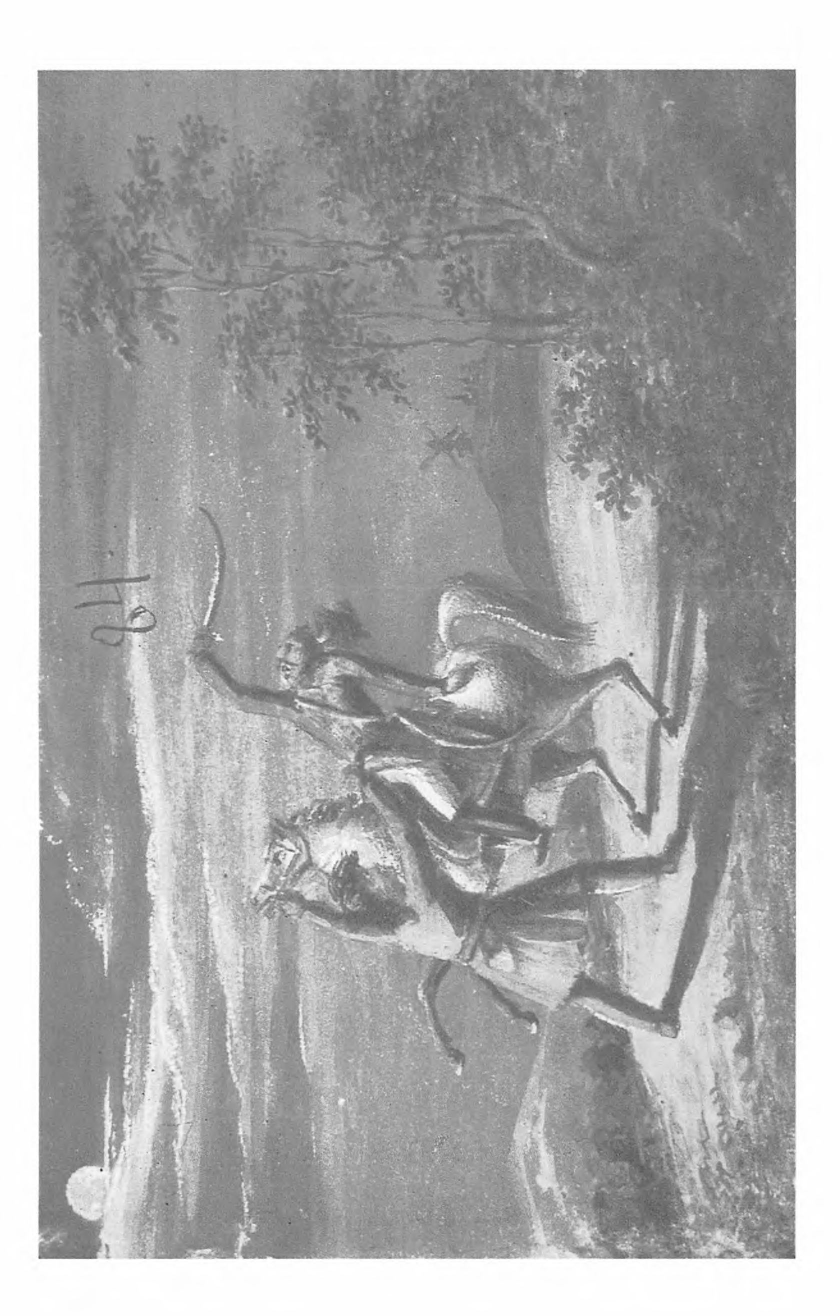
1828

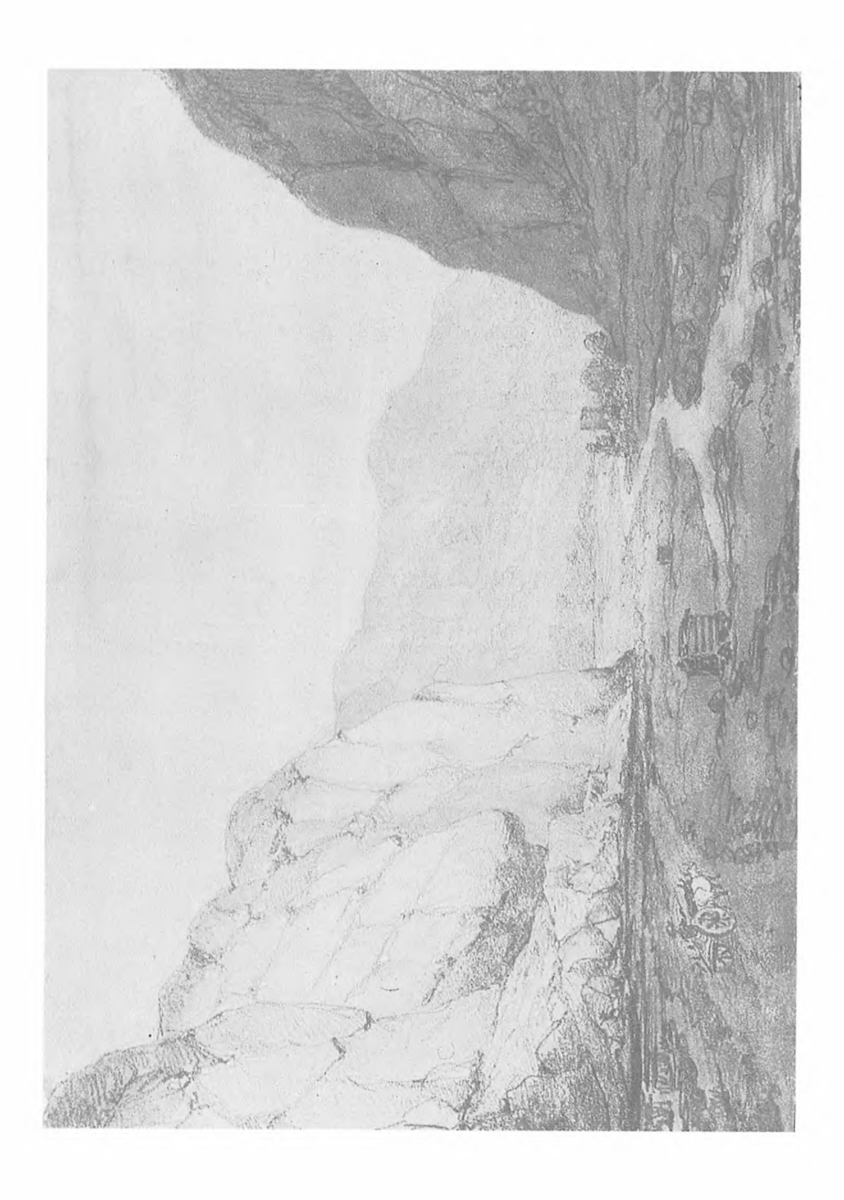
433. ПРЕСТУПНИК

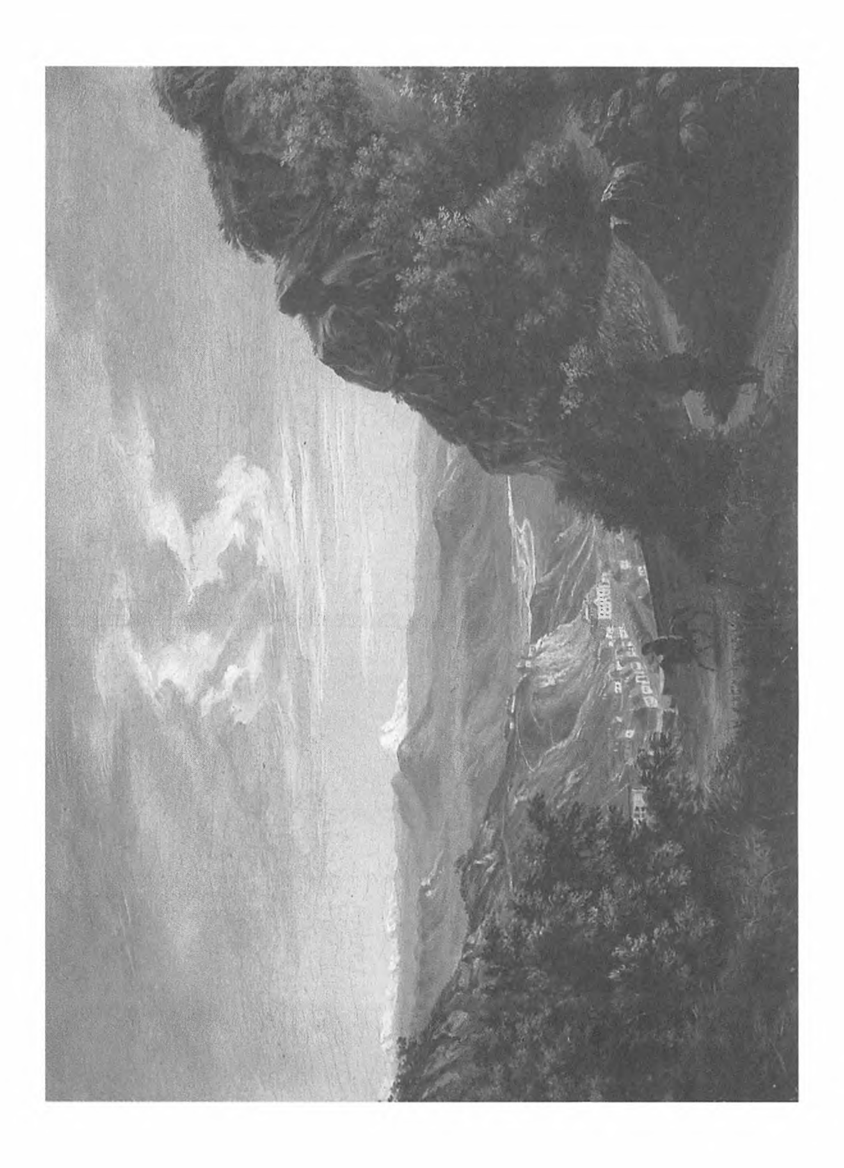
Повесть

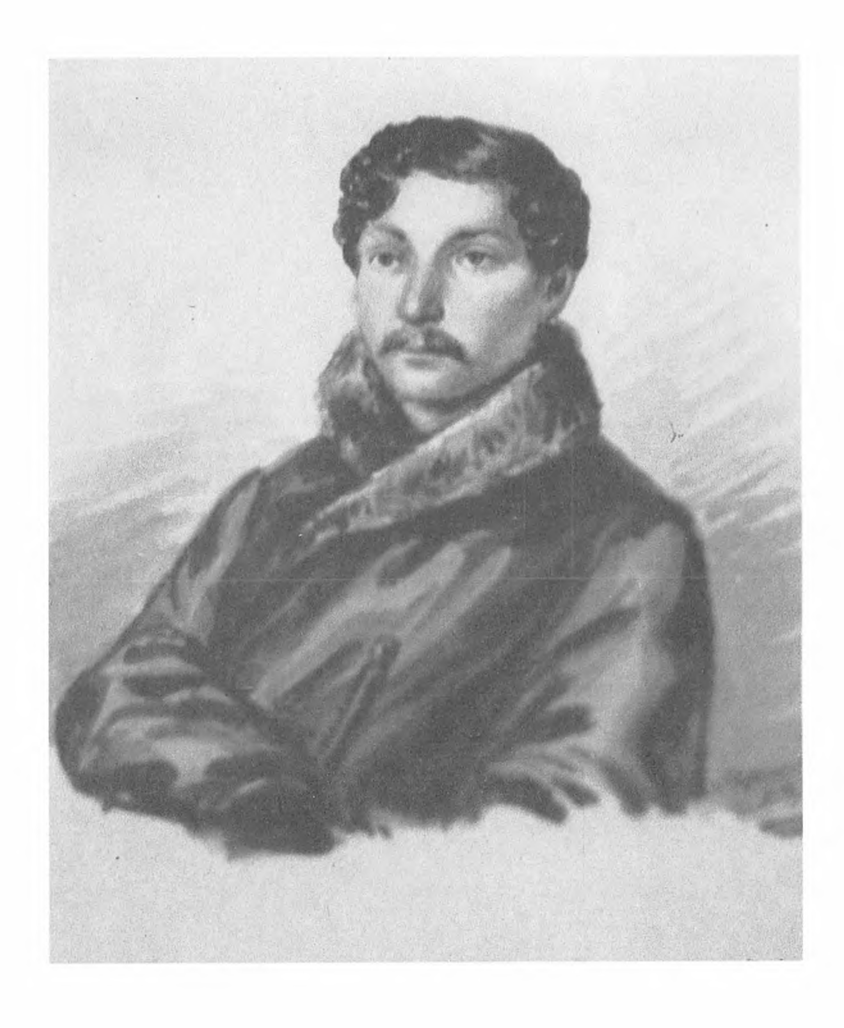
«Скажи нам, атаман честной,
Как жил ты в стороне родной,
Чай, прежний жар в тебе и ныне
Не остывает от годов?
Здесь под дубочком ты в пустыне
Потешишь добрых молодцов!»

«Отец мой, век свой доживая,
Был на второй жене женат;
Она красотка молодая,
Он был и знатен и богат...
Перетерпевши лет удары,
Когда захочет сокол старый
Подругу молодую взять,
Так он не думает, не чует,
Что после будет проклинать.
Он всё голубит, всё милует;
К нему ласкается она,
Его хранит в минуту сна.
Но вдруг увидела другого,
Не старого, а молодого.
Лишь первая приходит ночь,
Она без всякого зазренья
Клевком лишит супруга зренья
И от гнезда уж мчится прочь!
. . . .









Пиры, веселья забывая,
И златоструйное вино,
И дом, где, чашу наполняя,
Палило кровь мою оно,
Как часто я чело покоил
В коленах мачехи моей
И с нею вместе козни строил
Против отца, среди ночей.
Ее пронзительных лобзаний
Огонь впивал я в грудь свою.
Я помню ночь страстей, желаний,
Мольбы, угроз и заклинаний,
Но слезы злобы только лью!..
Бог весть: меня она любила
Иль это был притворный жар?
И мысль печально утаила,
Чтобы верней свершить удар?
Иль мнила, что она любима,
Порочной страстию дыша?
Кто знает: женская душа,
Как океан, неисследима!..

И дни летели. Час настал!
Уж греховодник в дни младые,
Я, как пред казнию, дрожал.
Гремят проклятья роковые.
Я принужден, как некий тать,
Из дому о́тчего бежать.
О, сколько мук! Потеря чести!
Любовь, и стыд, и нищета!
Вражда непримиримой мести
И гнев отца!.. За ворота
Бежал ⟨я⟩ сирый, одинокий,
И, обратившись, бросил взор
С проклятием на дом высокий,
На тот пустой, унылый двор,
На пруд заглохший, сад широкий!..
В безумье мрачном и немом
Желал, чтоб сжег небесный гром
И стол, за коим я с друзьями
Пил чашу радости и нег,
И речки безыменной брег,
Всегда покрытый табунами,
Где принял *он* удар свинца,

И возвышéнные стремнины,
И те коварные седины
Неумолимого отца;
И очи, очи неземные,
И грудь, и плечи молодые,
И сладость тайную отрад,
И уст неизлечимый яд;
И ту зеленую аллею,
Где я в лобзаньях утопал;
И ложе то, где я... и с нею,
И с этой мачехой лежал!..

В лесах, изгнанник своевольный,
Двумя жидами принят я:
Один, властями недовольный,—
Купец, обманщик и судья;
Другой служитель Аарона,
Ревнитель древнего закона,
Алмазы прежде продавал,
Как я, изгнанник, беден стал.
Как я, искал по миру счастья,
Бродяга пасмурный, скупой
На деньги, на удар лихой,
На поцелуи сладострастья.
Но скрытен, недоверчив, глух
Для всяких просьб, как адский дух!..

Придет ли ночи мрак печальный,
Идем к дороге столбовой,—
Там из страны проезжий дальный
Летит на тройке почтовой.
Раздастся выстрел. С быстротой
Свинец промчался непомерной,
Удар губительный и верный!..
С обезображенным лицом
Упал ямщик! Помчались кони!..
И редко лишь удар погони
Их не застигнет за леском.

Раз — подозрительна, бледна,
Катилась нá небе луна.
Вблизи дороги, перед нами,
Лежал застреленный прошлец,—

О, как ужасен был мертвец
С окровавлёнными глазами!
Смотрю... лицо знакомо мне —
Кого ж при трепетной луне
Я узнаю?.. Великий боже!
Я узнаю его... кого же?
Кто сей погубленный прошлец?
Кому же роется могила?
На чьих сединах кровь застыла?
О!.. други!..
Это мой отец!..
Я ослабел, упал на землю;
Когда ж потом очнулся, внемлю:
Стучат... Жидовский разговор.
Гляжу: сырой еще бугор,
Над ним лежит топор с лопатой,
И конь привязан под дубком,
И два жида считают злато
Перед разложенным костром!..
. . . .
. . . .

Промчались дни. На дно речное
Один товарищ мой нырнул.
С тех пор, как этот утонул,
Пошло житье-бытье плохое:
Приему не было в корчмах,
Жить было негде. Отовсюду
Гоняли наглого Иуду.
В далеких дебрях и лесах
Мы укрывалися. Без страха
Не мог я спать, мечтались мне:
Остроги, пытки в черном сне,
То петля гладная, то плаха!..

Исчезли средства прокормленья,
Одно осталось: зажигать
Дома господские, селенья
И в суматохе пировать.
В заре снедающих пожаров
И дом родимый запылал.
Я весь горел и трепетал,
Как в шуме громовых ударов!

Вдруг вижу, раздраженный жид
Младую женщину тащи́т.
Ее ланиты обгорели
И шелк каштановых волос;
И очи, полны, полны слез,
На похитителя смотрели.
Я не слыхал его угроз,
Я не слыхал ее молений;
И уж в груди ее торчал —
Кинжал, друзья мои, кинжал!..
Увы! дрожат ее колени,
Она бледнее стала тени,
И перси кровью облились,
И недосказанные пени
С уст посинелых пронеслись.

Пришло Иуде наказанье:
Он в ту же самую весну
Повешен мною на сосну,
На пищу вранам. Состраданья
Последний год меня лишил.
Когда ж я снова посетил
Родные мрачные стремнины,
Леса, и речки, и долины,
Столь крепко ведомые мне,
То я увидел на сосне:
Висит скелет полуистлевший,
Из глаз посыпался песок,
И коршун, тут же отлетевший,
Тащил руки его кусок...

Бегут года, умчалась младость —
Остыли чувства, сердца радость
Прошла. Молчит в груди моей
Порыв болезненных страстей.
Одни холодные остатки:
Несчастной жизни отпечатки,
Любовь к свободе золотой,
Мне сохранил мой жребий чудный.
Старик преступный, безрассудный,
Я всем далек, я всем чужой.
Но жар подавленный очнется,
Когда за волюшку мою
В кругу удалых приведется,

Что чашу полную налью,
Поминки юности забвенной
Прославлю я и шум крамол;
И нож мой, нож окровавле́нный
Воткну, смеясь, в дубовый стол!..»

1829

434. ОЛЕГ

⟨1⟩

Во мгле языческой дубравы
В года забытой старины
Когда-то жертвенник кровавый
Дымился божеству войны.
Там возносился дуб высокой,
Священный древностью глубокой.
Как неподвижный царь лесов,
Чело до самых облаков
Он подымал. На нем висели
Кольчуги, сабли и щиты,
Вокруг сожженные кусты
И черепа убитых тлели...
И песня Лады никогда
Не приносилася сюда!..

Поставлен веры теплым чувством,
Блестел кумир в тени ветвей,
И лик, расписанный искусством,
Был смыт усилием дождей.
Вдали лесистые равнины
И неприступные вершины
Гранитных скал туман одел,
И Волхов за́ лесом шумел.
Склонен невольно к удивленью,
Пришелец чуждый, в наши дни
Не презирай сих мест: они
Знакомы были вдохновенью!..
И скальдов северных не раз
Здесь раздавался смелый глас...

⟨2⟩

Утихло озеро. С стремниной
Молчат туманные скалы,
И вьются дикие орлы,
Крича над зе́ркальной пучиной.
Уж челнока с давнишних пор
Волна глухая не лелеет,
Кольцом вокруг угрюмый бор,
Подняв вершины, зеленеет,
Скрываясь за хребтами гор.

Давно ни пес, ни всадник смелый
Страны глухой и опустелой
Не посещал. Окрестный зверь
Забыл знакомый шум ловитвы.
Но кто и для какой молитвы
На берегу стоит теперь?..
С какою здесь он мыслью странной?
С мечом, в кольчуге, за спиной
Колчан и лук. Шишак стальной
Блестит насечкой иностранной...
Он тихо красный плащ рукой
На землю бросил, не спуская
Недвижных с озера очей,
И кольцы русые кудрей
Бегут, на плечи ниспадая.
В герое повести моей
Следы являлись кратких дней,
Но не приметно впечатлений:
Ни удовольствий, ни волнений,
Ни упоительных страстей.

И, став у пенистого брега,
Он к духу озера воззвал:
«Стрибог! я вновь к тебе предстал,
Не мог ты позабыть Олега.
Он приносил к тебе врагов,
Сверша опасные набеги.
Он в честь тебе их пролил кровь.
И тот опять средь сих лесов,
Пред кем дрожали печенеги.
Как в день разлуки роковой,
Явись опять передо мной!»

И шумно взволновались воды,
Растут свинцовые валы,
Как в час суровой непогоды,
Покрылись пеною скалы.
Восстал в средине столб туманный...
Тихонько вид меняя странный,
Ясней, ясней, ясней... и вот
Стрибог по озеру идет.
Глаза открытые сияли,
Подъялась влажная рука,
И мокрые власы бежали
По голым персям старика.

⟨3⟩

Ах, было время, время бóев
На милой нашей стороне.
Где ж те года? Прошли оне
С мгновенной славою героев.
Но тени сильных я видал
И громкий голос их слыхал:
В часы суровой непогоды,
Когда, бушуя, плещут воды,
И вихрь, клубя седую пыль,
Волнует по полям ковыль,
Они на темно-сизых тучах
Разнообразною толпой
Летят. Щиты в руках могучих,
Их тешит бурь знакомый вой.
Сплетаясь цепию воздушной,
Они вступают в грозный бой.
Я зрел их смутною душой,
Я им внимал неравнодушно.
На мне была тоски печать,
Бездействием терзалась совесть,
И я решился начертать
Времен былых простую повесть.

Жил-был когда-то князь Олег,
Владетель русского народа,
Варяг, боец (тогда свобода
Не начинала свой побег).
Его рушительный набег

Почти от Пскова до Онеги
Поля и веси покорил...
Он всем соседям страшен был:
Пред ним дрожали печенеги,
С ним от Каспийских берегов
Казары дружества искали,
Его дружины побеждали
Свирепых жителей дубров.
И он искал на греков мести,
Презреньем гордых раздражен...
Царь Византии был смущен
Молвой ужасной этой вести...
Но что замедлил князь Олег
Свой разрушительный набег?..

1829

435. ДВА БРАТА

«Ах, брат! ах, брат! стыдись, мой брат!
Обеты теплые с мольбами
Забыл ли? Год тому назад
Мы были нежными друзьями...
Ты помнишь, помнишь, верно, бой,
Когда рубились мы с тобой
Против врагов родного края
Или, заботы удаляя,
С новорожденною зарей
Встречали вместе праздник Лады.
И что ж? Волнение досады,
Неугомонная вражда
Нас разделили навсегда!..»
— «Не называй меня как прежде,
В благополучные года.
В те дни, как верил я надежде,
Любви и дружбе... Я знавал
Волненья сердца дорогие
И очи, очи голубые...
Я сердцем девы обладал:
Ты у меня его украл!..
Ты завладел моей прекрасной,
Ее любовью и красой,
Ты обманул меня... ужасно!
И посмеялся надо мной».

Умолкли. Но еще стоят,
В душе терзаемы враждою.
На каждом светлые блестят
Мечи с насечкой золотою,
На каждом панцирь и шелом,
Орлиным осенен крылом.
Всё пусто вкруг в дали туманной.
Пред ними жертвенник. На нем
Кумир белеет деревянный.
И только плющ, виясь, младой
Лелеет жертвенник простой.
Они колена преклонили,
Взаимной злобой поклялись.
Вот на коней своих вскочили
И врозь стрелою понеслись.

Давно ль? Давно ли друг без друга
Их край родимый не видал?
Давно ль, когда один страдал
В изнеможении недуга,
Другой прикованный стоял
Нежнейшей дружбой к изголовью?
Вдруг, горьким мщением дыша,
Кипят! Надменная душа
Чем раздражилася? — любовью!
Аскар, добычу бранных сил,
Финляндку юную любил.
Она лила в неволе слезы
И помнила средь грустных дней
Скалы Финляндии своей.

Скалы Финляндии пустой,
Озер стеклянные заливы
И бор печальный и глухой,
Как милы вы, как вы счастливы
Своею дикой красотой...
Дымятся низкие долины,
Где кучи хижин небольших
С дворами грязными. Вкруг их
Растут кудрявые рябины,
На высотах чернеют пни
Иль стебли обгорелых сосен.
В стране той кратки дни весны
И продолжительная осень...

1829

436. ДВЕ НЕВОЛЬНИЦЫ

Beware, my Lord, of jealousy.

«Othello». W. Shakespeare[1]

1

«Люблю тебя, моя Заира!
Гречанка нежная моя!
У ног твоих богатства мира
И правоверная земля.
Когда глазами голубыми
Ты водишь медленно кругом,
Я молча следую за ними,
Как раб с мечтами неземными
За неземным своим вождем.
Пусть пляшет бойкая Гюльнара,
Пускай под белою рукой
Звенит испанская гитара —
О, не завидуй, ангел мой!
Все песни пламенной Гюльнары,
Все звуки трепетной гитары,
Всех роз восточных аромат,
Топазы, жемчуг и рубины
Султан Ахмет оставить рад
За поцелуя звук единый
И за один твой страстный взгляд!»
— «Султан! Я в дикой, бедной доле,
Но с гордым духом рождена.
И в униженье и в неволе
Я презирать тебя вольна!
Старик, забудь свои желанья:
Другой уж пил мои лобзанья —
И первой страсти я верна!
Конечно, грозному султану
Сопротивляться я не стану,
Но знай: ни пыткой, ни мольбой
Любви из сердца ледяного
Ты не исторгнешь: я готова!
Скажи, палач готов ли твой?»

[1] Избави, боже, от ревности. *«Отелло». В. Шекспир* (англ.).— *Ред.*

2

Тиха, душиста и светла
Настала ночь. Она была
Роскошнее, чем ночь Эдема.
Заснул обширный Цареград,
Лишь волны дальные шумят
У стен крутых. Окно гарема
Отворено, и свет луны,
Скользя, мелькает вдоль стены;
И блещут стекла расписные
Холодным, радужным огнем;
И блещут стены парчевые,
И блещут кисти золотые,
Диваны мягкие кругом.
Дыша прохладою ночною,
Сложивши ноги под собою,
Облокотившись на окно,
Сидела смуглая Гюльнара.
В молчанье всё погружено,
Из белых рук ее гитара
Упала тихо на диван;
И взор чрез шумный океан
Летит: туда ль, где в кущах мира
Она ловила жизни сон?
Где зреет персик и лимон
На берегу Гвадалкивира?
Нет! Он боязненно склонен
К подножью стен, где пена дремлет!
Едва дыша, испанка внемлет,
И светит ей в лицо луна:
Не оттого ль она бледна?

Чу! томный крик... волной плеснуло...
И на кристалле той волны
Заколебалась тень стены...
И что-то белое мелькнуло —
И скрылось! Снова тишина.
Гюльнары нет уж у окна;
С улыбкой гордости ревнивой
Она гитару вновь берет
И песнь Испании счастливой
С какой-то дикостью поет;

И часто, часто слово «мщенье»
Звучит за томною струной,
И злобной радости волненье
Во взорах девы молодой!

1829 или 1830

437. ДЖЮЛИО

Повесть

ВСТУПЛЕНИЕ

Осенний день тихонько угасал
На высоте гранитных шведских скал.
Туман облек поверхности озер,
Так что едва заметить мог бы взор
Бегущий белый парус рыбака.
Я выходил тогда из рудника,
Где золото, земных трудов предмет,
Там люди достают уж много лет;
Здесь обратились страсти все в одну,
И вечный стук тревожит тишину,
Между столпов гранитных и аркад
Блестит огонь трепещущих лампад,
Как мысль в уме, подавленном тоской,
Кидая свет бессильный и пустой!..

Но если очи, в бесприветной мгле
Угасшие, морщины на челе,
Но если бледный, вялый цвет ланит
И равнодушный молчаливый вид,
Но если вздох, потерянный в тиши,
Являют грусть глубокую души,—
О! не завидуйте судьбе такой.
Печальна жизнь в могиле золотой.
Поверьте мне, немногие из них
Могли собрать плоды трудов своих.

Не нахожу достаточных речей,
Чтоб описать восторг души моей,
Когда я вновь взглянул на небеса,
И освежила голову роса.

Тянулись цепью острые скалы
Передо мной; пустынные орлы
Носилися, крича средь высоты.
Я зрел вдали кудрявые кусты
У озера спокойных берегов
И стебли черные сухих дубов.
От рудника вился, желтея, путь...
Как я желал скорей в себя вдохнуть
Прохладный воздух, вольный, как народ
Тех гор, куда сей узкий путь ведет.

Вожатому подарок я вручил.
Но, признаюсь, меня он удивил,
Когда не принял денег. Я не мог
Понять зачем, и снова в кошелек
Не смел их положить... Его черты
(Развалины минувшей красоты,
Хоть не являли старости оне),
Казалося, знакомы были мне.

И, подойдя, взяв за руку меня:
«Напрасно б,— он сказал,— скрывался я!
Так, Джюлио пред вами, но не тот,
Кто по струям венецианских вод
В украшенной гондоле пролетал.
Я жил, я жил и много испытал;
Не для корысти я в стране чужой:
Могилы тьма сходна с моей душой,
В которой страсти, лета и мечты
Изрыли бездну вечной пустоты...
Но я молю вас только об одном,
Молю: возьмите этот свиток. В нем,
В нем мир всю жизнь души моей найдет —
И, может быть, он вас остережет!»
Тут скрылся быстро пасмурный чудак,
И посмеялся я над ним; бедняк,
Я полагал, рассудок потеряв,
Не потерял еще свой пылкий нрав.
Но, пробегая свиток (видит бог),
Я много слез остановить не мог.

———

Есть край: его Италией зовут.
Как божьи птицы, мнится, там живут

Покойно, вольно и беспечно. И прошлец,
Германии иль Англии жилец,
Дивится часто счастию людей,
Скрывающих улыбкою очей
Безумный пыл и тайный яд страстей.
Вам, жителям холодной стороны,
Не перенять сей ложной тишины,
Хотя ни месть, ни ревность, ни любовь
Не могут в вас зажечь так сильно кровь,
Как в том, кто близ Неаполя рожден:
Для крайностей ваш дух не сотворен!..
Спокойны вы!.. На ваш унылый край
Навек я променял сей южный рай,
Где тополи, обвитые лозой,
Хотят шатер достигнуть голубой,
Где любят моря синие валы
Баюкать тень береговой скалы...

Вблизи Неаполя мой пышный дом
Белеется на берегу морском,
И вкруг него веселые сады;
Мосты, фонтаны, бюсты и пруды
Я не могу на память перечесть.
И там у вод, в лимонной роще, есть
Беседка, всех других она милей,
Однако вспомнить я боюсь об ней.
Она душистым запахом полна,
Уединенна и всегда темна.
Ах! здесь любовь моя погребена;
Здесь крест, нагнутый временем, торчит
Над холмиком, где Лоры труп сокрыт.

При верной помощи теней ночных,
Бывало, мы, укрывшись от родных,
Туманною озарены луной,
Спешили с ней туда рука с рукой,
И Лора, лютню взяв, певала мне...
Ее плечо горело как в огне,
Когда к нему я голову склонял
И пойманные кудри целовал...
Как гордо волновалась грудь твоя,
Коль, очи в очи томно устремя,
Твой Джюлио слова любви твердил;
Лукаво милый пальчик мне грозил,

Когда я, у твоих склоняясь ног,
Восторг в душе остановить не мог...

Случалось, после я любил сильней,
Чем в этот раз, но жалость лишь о сей
Любви живет, горит в груди моей.
Она прошла, таков судьбы закон,
Неумолим и непреклонен он,
Хотя щадит луны любезный свет,
Как памятник всего, чего уж нет.

О тень священная! простишь ли ты
Тому, кто обманул твои мечты,
Кто обольстил невинную тебя
И навсегда оставил, не скорбя?
Я страсть твою употребил во зло,
Но ты взгляни на бледное чело,
Которое изрыли не труды,—
На нем раскаянья и мук следы;
Взгляни на степь, куда я убежал,
На снежные вершины шведских скал,
На эту бездну смрадной темноты,
Где носятся, как дым, твои черты,
На ложе, где с рыданием, с тоской
Кляну себя с минутой роковой...
И сжалься, сжалься, сжалься надо мной!..
. . . .

Когда мы женщину обманем, тайный страх
Живет для нас в младых ее очах;
Как в зеркале, вину во взоре том
Мы различив, укор себе прочтем.
Вот отчего, оставя отчий дом,
Я поспешил, бессмысленный, бежать,
Чтоб где-нибудь рассеянье сыскать!
Но с Лорой я проститься захотел.
Я объявил, что мне в чужой предел
Отправиться на много должно лет,
Чтоб осмотреть великий божий свет.
«Зачем тебе! — воскликнула она.—
Что даст тебе чужая сторона,
Когда ты здесь не хочешь быть счастлив?..
Подумай, Джюлио! — тут, взор склонив,

Она меня рукою обняла.—
Ах, я почти уверена была,
Что не откажешь в просьбе мне одной:
Не покидай меня, возьми с собой,
Не преступи вторично свой обет...
Теперь... ты должен знать!..» — «Нет, Лора, нет! —
Воскликнул я.— Оставь меня, забудь;
Привязанность былую не вдохнуть
В холодную к тебе отныне грудь,—
Как странники на небе, облака,
Свободно сердце и любовь легка».
И, побледнев как будто бы сквозь сна,
В ответ сказала тихо мне она:
«Итак, прости навек, любезный мой;
Жестокий друг, обманщик дорогой,
Когда бы знал, что оставляешь ты...
Однако прочь безумные мечты,
Надежда! сердце это не смущай...
Ты более не мой... прощай!.. прощай!..
Желаю, чтоб тебя в чужой стране
Не мучила бы память обо мне...»

То был глубокой вещей скорби глас.
Так мы расстались. Кто жалчей из нас,
Пускай в своем уме рассудит тот,
Кто некогда сии листы прочтет.

Зачем цену утраты на земле
Мы познаем, когда уж в вечной мгле
Сокровище потонет и никак
Нельзя разгнать его покрывший мрак?
Любовь младых, прелестных женских глаз,
По редкости, сокровище для нас
(Так мало дев, умеющих любить),
Мы день и ночь должны его хранить,
И горе! если скроется оно:
Навек блаженства сердце лишено.
Мы только раз один в кругу земном
Горим взаимной нежности огнем.

Пять целых лет провел в Париже я.
Шалил, именье с временем губя;

Первоначальной страсти жар святой
Я называл младенческой мечтой.
Дорога славы, заманив мой взор,
Наскучила мне. Совести укор
Убить любовью новой захотев,
Я стал искать беседы юных дев;
Когда же охладел к ним наконец,
Представила мне дружба свой венец;
Повеселив меня немного дней,
Распался он на голове моей...
Я стал бродить, печален и один;
Меня уверили, что это сплин;
Когда же надоели доктора,
Я хладнокровно их согнал с двора.

Душа моя была пуста, жестка.
Я походил тогда на бедняка:
Надеясь клад найти, глубокий ров
Он ископал среди своих садов,
Испортить не страшась гряды цветов,
Рыл, рыл — вдруг что-то застучало — он
Вздрогну́л... предмет трудов его найден —
Приблизился... торопится... глядит:
Что ж? — перед ним гнилой скелет лежит!
«Заботы вьются в сумраке ночей
Вкруг ложа мягкого, златых кистей;
У изголовья совесть-скорпион
От вежд засохших гонит сладкий сон;
Как ветр преследует по небу вдаль
Оторванные тучки, так печаль,
В одну и ту же с нами сев ладью,
Не отстает ни в куще, ни в бою» —
Так римский говорит поэт-мудрец.
Ах! это испытал я наконец,
Отправившись, не зная сам куда,
И с Сеною простившись навсегда!..
Ни диких гор Швейцарии снега,
Ни Рейна вдохновенные брега
Ничем мне ум наполнить не могли
И сердцу ничего не принесли.
. . . .
. . . .

Венеция! о, как прекрасна ты,
Когда, как звезды спавши с высоты,
Огни по влажным улицам твоим
Скользят и с блеском синим, золотым
То затрепещут и погаснут вдруг,
То вновь зажгутся; там далекий звук,
Как благодарность в злой душе, порой
Раздастся и умрет во тьме ночной:
То песнь красавицы, с ней друг ея;
Они поют, и мчится их ладья.
Народ, теснясь на берегу, кипит.
Оттуда любопытный взор следит
Какой-нибудь красивый павильон,
Который бегло в во́лнах отражен.
Разнообразный плеск и вёсел шум
Приводят много чувств и много дум;
И много чудных случаев рождал
Ничем не нарушимый карнавал.

Я прихожу в гремящий маскерад,
Нарядов блеск там ослепляет взгляд;
Здесь не узна́ет муж жены своей.
Какой-нибудь лукавый чичисбей,
Под маской, близ него проходит с ней,
И муж готов божиться, что жена
Лежит в дому отчаянно больна...
Но если всё проник ревнивый взор —
Тотчас кинжал решит недолгий спор,
Хотя ненужно пролитая кровь
Уж не воротит женскую любовь!..
Так мысля, в зале тихо я блуждал
И разных лиц движенья наблюдал,
Но, как пустые грезы снов пустых,
Чтоб рассказать, я не запомню их.
И вижу маску: мне грозит она.
Огонь паров застольного вина
Смутил мой ум, волнуя кровь мою.
Я домино окутался, встаю,
Открыл лицо, за тайным чудаком
Стремлюсь и покидаю шумный дом.
Быстрее ног преследуют его
Мои глаза, не помня ничего;
Вослед за ним, хотя и не хотел,
На лестницу крутую я взлетел!..

Огромные покои предо мной,
Отделаны с искусственной красой;
Сияли свечи яркие в углах,
И живопись дышала на стенах.
Ни блеск, ни сладкий аромат цветов
Желаньем ускоряемых шагов
Остановить в то время не могли:
Они меня с предчувствием несли
Туда, где, на диване опустясь,
Мой незнакомец, бегом утомясь,
Сидел; уже я близко у дверей —
Вдруг (изумление души моей
Чьи краски на земле изобразят?)
С него упал обманчивый наряд —
И женщина единственной красы
Стояла близ меня. Ее власы
Катились на волнуемую грудь
С восточной негой... Я не смел дохнуть,
Покуда взор, весь слитый из огня,
На землю томно не упал с меня.
Ах! он стрелой во глубь мою проник!
Не выразил бы чувств моих в сей миг
Ни ангельский, ни демонский язык!..
Средь гор Кавказских есть, слыхал я, грот,
Откуда Терек молодой течет,
О скалы неприступные дробясь;
С Казбека в пропасть иногда скатясь,
Отверстие лавина завали́т,
Как мертвый, он на время замолчит...
Но лишь враждебный снег промоет он,
Быстрей его не будет Аквилон;
Беги сайгак от берега в тот час
И жаждущий табун — умчит он вас,
Сей ток, покрытый пеною густой,
Свободный, как чеченец удалой.
Так и любовь, покрыта скуки льдом,
Прорвется и мучительным огнем
Должна свою разрушить колыбель,
Достигнет или не достигнет цель!..
И беден тот, кому судьбина, дав
И влюбчивый и своевольный нрав,
Позволила узнать подробно мир,
Где человек всегда гоним и сир,

Где жизнь — измен взаимных вечный ряд,
Где память о добре и зле — всё яд
И где они, покорствуя страстям,
Приносят только сожаленье нам!

Я был любим, сам страстию пылал
И много дней Мелиной обладал,
Летучих наслаждений властелин.
Из этих дён я не забыл один:
Златило утро дальний небосклон,
И запах роз с брегов был разнесен
Далёко в море; свежая волна,
Играющим лучом пробуждена,
Отзы́вы песни рыбаков несла...
В ладье, при верной помощи весла,
Неслися мы с Мелиною сам-друг,
Внимая сладкий и небрежный звук;
За нами, в блеске утренних лучей,
Венеция, как пышный мавзолей
Среди песков Египта золотых,
Из волн поднявшись, озирала их.
В восторге я твердил любви слова
Подруге пламенной; моя глава,
Когда я спорить уставал с водой,
В колена ей склонялася порой.
Я счастлив был; не ведомый никем,
Казалось, я покоен был совсем
И в первый раз лишь мог о том забыть,
О чем грустил, не зная возвратить.
Но дьявол, сокрушитель благ земных,
Блаженство нам дарит на краткий миг,
Чтобы удар судьбы сразил сильней,
Чтобы с жестокой тягостью своей
Несчастье унесло от жадных глаз
Всё, что ему еще завидно в нас.

Однажды (ночь на город уж легла,
Луна как в дыме без лучей плыла
Между сырых туманов; ветр ночной,
Багровый запад с тусклою луной —
Всё предвещало бури, но во мне
Уснули, мнилось, навсегда оне)
Я ехал к милой. Радость и любовь
Мою младую волновали кровь,—

Я был любим Мелиной, был богат,
Всё вкруг мне веселило слух и взгляд:
Роптанье струй, мельканье челноков,
Сквозь окна освещение домов
И баркарола мирных рыбаков.
К красавице взошел я; целый дом
Был пуст и тих, как завоеван сном.
Вот проникаю в комнаты — и вдруг
Я роковой вблизи услышал звук,
Звук поцелуя... Праведный творец,
Зачем в сей миг мне не послал конец?
Зачем, затрепетав как средь огня,
Не выскочило сердце из меня?
Зачем, окаменевший, я опять
Движенье жизни должен был принять?..

Бегу, стремлюсь — трещит — и настежь
дверь!..
Кидаюся, как разъяренный зверь,
В ту комнату, и быстрый шум шагов
Мой слух мгновенно поразил — без слов,
Схватив свечу, я в темный коридор,
Где, ревностью пылая, встретил взор
Скользящую, как некий дух ночной,
По стенам тень. Дрожащею рукой
Схватив кинжал, машу перед собой!
И вот настиг; в минуту удержу —
Рука... рука... хочу схватить — гляжу:
Недвижная, как мертвая бледна,
Мне преграждает дерзкий путь она!
Подъемлю злобно очи... страшный вид!..
Качая головой, призра́к стоит.
Кого ж я в нем, встревоженный, узнал?
Мою обманутую Лору!..
...Я упал!

Печален степи вид, где без препон
Скитается летучий Аквилон
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречаете березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой,—
Так жизнь скучна, когда боренья нет;
В ней мало дел мы можем в цвете лет,

В минувшее проникнув, различить,
Она души не будет веселить,
Но жребий я узнал совсем иной;
Убит я не был раннею тоской...
Страстей огонь, неизлечимый яд,
Еще теперь в душе моей кипят...
И их следы узнал я в этот раз.
В беспамятстве, не открывая глаз,
Лежал я долго; кто принес меня
Домой, не мог узнать я. День от дня
Рассудок мой свежей и тверже был;
Как вновь меня внезапно посетил
Томительный и пламенный недуг.
Я был при смерти. Ни единый друг
Не приходил проведать о больном...
Как часто в душном сумраке ночном
Со страхом пробегал я жизнь мою,
Готовяся предстать пред судию;
Как часто, мучим жаждой огневой,
Я утолить ее не мог водой,
Задохшейся, и теплой, и гнилой;
Как часто хлеб перед лишенным сил
Черствел, хотя еще не тронут был;
И скольких слез, стараясь мужем быть,
Я должен был всю горечь проглотить!..

И долго я томился. Наконец,
Родных полей блуждающий беглец,
Я возвратился к ним.
В большом саду
Однажды я, задумавшись, иду,
И вдруг пред мной беседка. Узнаю
Зеленый свод, где я сказал «люблю»
Невинной Лоре (я еще об ней
Не спрашивал соседственных людей),
Но страх пустой мой ум преодолел.
Вхожу, и что ж бродящий взгляд узрел?
Могилу! — свежий, летний ветерок
Порою нес увялый к ней листок,
И, незабудками испещрена,
Дышала сыростью и мглой она.
Не ужасом, но пасмурной тоской
Я был подавлен в миг сей роковой!

Презренье, гордость в этой тишине
Старались жалость победить во мне.
Так вот что я любил!.. Так вот о ком
Я столько дум питал в уме моем!..
И стоило ль любить и покидать,
Чтобы стрaнáм чужим нести казать
Испорченное сердце (плод страстей),
В чем недостатка нет между людей?..
Так вот что я любил! Клянусь, мой бог,
Ты лучшую ей участь дать не мог;
Пресечь должна кончина бытие:
Чем раньше, тем и лучше для нее!

И блещут, дева, незабудки над тобой,
Хотя забвенья стали пеленой;
Сплела из них земля тебе венец...
Их вырастили матерь и отец,
На дерн роняя слезы каждый день,
Пока туманная, ложася, тень
С холодной сладкою росой ночей
Не освежала старых их очей...
. . . .
И я умру! — но только ветр степей
Восплачет над могилою моей!..

Преодолеть стараясь дум борьбу,
Так я предчувствовал свою судьбу...
. . . .
. . . .

И я оставил прихотливый свет,
В котором для меня веселья нет
И где раскаянье бежит от нас,
Покуда юность не оставит глаз.
Но я был стар, я многое свершил!
Поверьте: не одно лишенье сил,
Последствие толпой протекших дней,
Браздит чело и гасит жизнь очей!..
Я потому с досадой их кидал
На мир, что сам себя в нем презирал!
Я мнил: в моем лице легко прочесть,
Что в сей груди такое чувство есть.
Я горд был, и не снес бы, как позор,
Пытающий, нескромный, хитрый взор.

Как мог бы я за чашей хохотать
И яркий дар похмелья выпивать,
Когда всечасно мстительный металл
В больного сердца струны ударял?
Они меня будили в тьме ночной,
Когда и ум, как взгляд, подернут мглой,
Чтобы нагнать еще ужасней сон;
Не уходил с зарей багровой он.
Чем боле улыбалось счастье мне,
Тем больше я терзался в глубине,
Я счастие, казалося, привлек,
Когда его навеки отнял рок,
Когда любил в огне мучений злых
Я женщин мертвых более живых.

Есть сумерки души во цвете лет,
Меж радостью и горем полусвет;
Жмет сердце безотчетная тоска;
Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка.
Чтобы спастись от этой пустоты,
Воспоминаньем иль игрой мечты
Умножь одну или другую ты.
Последнее мне было легче! Я
Опять бежал в далекие края;
И здесь, в сей бездне, в северных горах,
Зароют мой изгнаннический прах.
Без имени в земле он должен гнить,
Чтоб никого не мог остановить.
Так я живу. Подземный мрак и хлад,
Однообразный стук, огни лампад
Мне нравятся. Товарищей толпу
Презреннее себя всегда я чту,
И самолюбье веселит мой нрав:
Так рад кривой, слепого увидав!

. . . .
. . . .

И я люблю, когда немая грусть
Меня кольнет, на воздух выйти. Пусть,
Пусть укорит меня обширный свод,
За коим в славе восседает тот,
Кто был и есть и вечно не прейдет.
Задумавшись, нередко я сижу
Над дикою стремниной и гляжу

В туманные поля передо мной,
Отдохшие под свежею росой.
⟨. . . . .⟩
Тогда, как я, воскликнешь к небесам,
Ломая руки: «Дайте прежним дням
Воскреснуть!» — но ничто их не найдет,
И молодость вторично не придет!..

Ах! много чувств и мрачных и живых
Открыть хотел бы Джюлио. Но их
Пускай обнимет ночь, как и меня!..
Уже в лампаде нет почти огня,
Страница кончена — и (хоть чудна)
С ней повесть жизни, прежде чем она...

Февраль — апрель 1830

438. ПОСЛЕДНИЙ СЫН ВОЛЬНОСТИ

Повесть

Посвящается Н. С. Шеншину

1

Бывало, для забавы я писал,
Тревожимый младенческой мечтой;
Бывало, я любовию страдал,
И, с бурною, пылающей душой,
Я в ветреных стихах изображал
Таинственных видений милый рой.
Но дни надежд ко мне не при́дут вновь,
Но изменила первая любовь!..

2

И я один, один был брошен в свет,
Искал друзей — и не нашел людей,
Но ты явился: нежный твой привет
Завязку снял с обманутых очей.
Прими ж, товарищ, дружеский обет,
Прими же песню родины моей,
Хоть эта песнь, быть может, милый друг,—
Оборванной струны последний звук!..

When shall such hero live again?

«The Giaour». Byron [1]

Приходит осень, золотит
Венцы дубов. Трава полей
От продолжительных дождей
К земле прижалась, и бежит
Ловец напрасно по холмам:
Ему не встретить зверя там.
А если даже он найдет,
То ветер стрелы разнесет.
На льдинах ветер тот рожден,
Порывисто качает он
Сухой шиповник на брегах
Ильменя. В сизых облаках
Станицы белых журавлей
Летят на юг до лучших дней,
И чайки озера кричат
Им вслед и вьются над водой,
И звезды ночью не блестят,
Одетые сырою мглой.

Приходит осень! Уж стада
Бегут в гостеприимну сень;
Краснея, догорает день
В тумане. Пусть он никогда
Не озарит лучом своим
Густой новогородский дым,
Пусть не надуется вовек
Дыханьем теплым ветерка
Летучий парус рыбака
Над волнами славянских рек!
Увы! пред властию чужой
Склонилась гордая страна,
И песня вольности святой
(Какая б ни была она)
Уже забвенью предана.
Свершилось! дерзостный варяг
Богов славянских победил;
Один неосторожный шаг
Свободный край поработил!

[1] Когда такой герой появится снова? *«Гяур» Байрон* (англ.).— *Ред.*

Но есть поныне горсть людей
В дичи лесов, в дичи степей,—
Они, увидев падший гром,
Не перестали помышлять
В изгнанье дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять.
Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны:
Так, меж грядами темных туч,
Сквозь слезы бури, солнца луч
Увеселяет утром взор
И золотит туманы гор.

На небо дым валит столбом!
Откуда он? Там, где шумит
Поток сердитый, над холмом,
Треща, большой огонь горит,
Пестреет частый лес кругом.
На волчьих кожах, без щитов,
Сидят недвижно у огня,
Молчанье мрачное храня,
Как тени грусти, семь бойцов:
Шесть юношей, один старик.
Они славяне! Бранный клик
Своих дружин им не слыхать
И долго, долго не видать
Им милых ближних... но они
Простились с озером родным,
Чтоб не промчалися их дни
Под самовластием чужим,
Чтоб не склоняться вечно в прах,
Чтоб тени предков, из земли
Восстав, с упреком на устах,
Тревожить сон их не пришли!..
О! если б только Чернобог
Удару мщения помог!..
Неравная была борьба...
И вот война! и вот судьба!..

«Зачем я меч свой вынимал
И душу веселила кровь? —
Один из юношей сказал.—
Победы мы не встретим вновь.
И наши имена покрыть

Должно забвенье, может быть;
И несвершенный подвиг наш
Изгладится в умах людей,—
Так недостроенный шалаш
Разносит буйный вихрь степей!»
— «О! горе нам,— сказал другой,—
Велик, ужасен гнев богов!
Но пусть и на главу врагов
Спадет он гибельной звездой,
Пусть в битве страх обымет их,
Пускай падут от стрел своих!»

Так говорили меж собой
Изгнанники. Вот встал один...
С руками, сжатыми крестом,
И с бледным пасмурным челом
На мглу волнистую долин
Он посмотрел, и наконец
Так молвил старику боец:
«Подобно ласке женских рук,
Смягчает горе песни звук.
Так спой же, добрый Ингелот,
О чем-нибудь! О чем-нибудь
Ты спой, чтоб облегчилась грудь,
Которую тоска гнетет.
Пой для других! Моя же месть
Их детской жалобы сильней:
Что было, будет и что есть —
Всё упадает перед ней!»
— «Вадим! — старик ему в ответ.—
Зачем не для тебя?.. иль нет!
Не надо! Чтó ты вверил мне,
Уснет в сердечной глубине!
Другую песню я спою:
Садись и слушай песнь мою!»

И в белых кудрях старика
Играли крылья ветерка,
И вдохновенный взор блеснул,
И песня громко раздалась.
Прерывисто она неслась,
Как битвы отдаленной гул.
Поток, вблизи холма катясь,
Срывая мох с камней и пней,

Согласовал свой ропот с ней,
И даже призраки бойцов,
Склонясь из дымных облаков,
Внимали с высоты порой
Сей песни дикой и простой!

ПЕСНЬ ИНГЕЛОТА

Собралися люди мудрые
Вкруг постели Гостомысловой.
Смерть над ним летает коршуном!
Но, махнувши слабою рукой,
Говорит он речь друзьям своим:

«Ах вы люди новгородские!
Между вас змея-раздор шипит.
Призовите князя чуждого,
Чтоб владел он краем родины!» —
Так сказал и умер Гостомысл.

Кривичи, славяне, весь и чудь
Шлют послов за море синее,
Чтобы звать князей варяжских стран.
«Край наш славен — но порядка нет!» —
Говорят послы князьям чужим.

Рурик, Трувор и Синав клялись
Не вести дружины за собой,
Но с зарей блеснуло множество
Острых копий, белых парусов
Сквозь синеющий туман морской!..

Обманулись вы, сыны славян!
Чей белеет стан под городом?
Завтра, завтра дерзостный варяг
Будет князем Новагорода,
Завтра будете рабами вы!..

Тридцать юношей сбираются,
Месть в душе, в глазах отчаянье...
Ночи мгла спустилась на холмы,
Полный месяц встал, и юноши
В спящий стан врагов являются!

На щиты склонясь, варяги спят,
Луч луны играет по́ кудрям.
Вот струею потекла их кровь,
Гибнет враг — но что за громкий звук?
Чье копье ударилось о щит?

И вскочили пробужденные,
Злоба в крике и движениях!
Долго защищались юноши.
Много пало... только шесть осталось...
Мир костям убитых в поле том!

Княжит Рурик в Новегороде,
В диких дебрях бродят юноши;
С ними есть один старик седой —
Он поет о родине святой,
Он поет о милой вольности!

«Ужель мы только будем петь
Иль с безнадежием немым
На стыд отечества глядеть,
Друзья мои? — спросил Вадим.—
Клянусь, великий Чернобог,
И в первый и в последний раз:
Не буду у варяжских ног.
Иль он, иль я: один из нас
Падет! в пример другим падет!..
Молва об нем из рода в род
Пускай передает рассказ;
Но до конца вражда!» Сказал,
И на колена он упал,
И руки сжал, и поднял взор,
И страшно взгляд его блестел,
И темно-красный метеор
Из тучи в тучу пролетел!

И встали и пошли они
Пустынной узкою тропой.
Курился долго дым густой
На том холме, и долго пни
Трещали в медленном огне,
Маня беспечных пастухов,

Пугая кроликов, и сов,
И ласточек на вышине!..

Скользнув между вечерних туч,
На море лег кровавый луч;
И солнце пламенным щитом
Нисходит в свой подводный дом.
Одни варяжские струи,
Поднявши головы свои,
Любуясь на его закат,
Теснятся, шепчут и шумят;
И серна на крутой скале,
Чернея в отдаленной мгле,
Как дух недвижима, глядит
Туда, где небосклон горит.

Сегодня с этих берегов
В ладью ступило семь бойцов:
Один старик, шесть молодых!
Вадим отважный был меж них.
И белый парус понесло
Порывом ветра, и весло
Ударилось о синий вал.
И в той ладье Вадим стоял
Между изгнанников-друзей,
Подобный призраку морей!
Что думал он, о чем грустил,
Он даже старцу не открыл.
В прощальном, мутном взоре том
Изобразилось то, о чем
Пересказать почти нельзя.
Так удалялася ладья,
Оставя пены белый след;
Всё мрачен в ней стоял Вадим;
Воспоминаньем прежних лет,
Быть может, витязь был томим...
В какой далекий край они
Отправились, чего искать?
Кто может это рассказать?
Их нет. Бегут толпою дни!..

На вышине скалы крутой
Растет порой цветок младой:
И в сердце грозного бойца

Любви есть место. До конца
Он верен чувству одному,
Как верен слову своему.
Вадим любил. Кто не любил?
Кто, вечно следуя уму,
Врожденный голос заглушил?
Как моря вид, как вид степей,
Любовь дика в стране моей...

Прекрасна *Леда*, как звезда
На небе утреннем. Она
Свежа, как южная весна,
И, как пустынный цвет, горда.
Как песня юности, жива,
Как птица вольности, резва,
Как вспоминание детей,
Мила и грустию своей
Младая Леда. И Вадим
Любил. Но был ли он любим?..
Нет! равнодушный Леды взор
Презренья холод оковал:
Отвергнут витязь, но с тех пор
Он всё любил, он всё страдал.
До униженья, до мольбы
Он не хотел себя склонить;
Мог презирать удар судьбы
И мог об нем не говорить.
Желал он на другой предмет
Излить огонь страстей своих,—
Но память, слезы многих лет!..
Кто устоит противу них?
И рана, легкая сперва,
Была всё глубже день со днем,
И утешения слова
Встречал он с пасмурным челом.
Свобода, мщенье и любовь —
Всё вдруг в нем волновало кровь.
Старался часто Ингелот
Тревожить пыл его страстей
И полагал, что в них найдет
Он пользу родины своей.
Я не виню тебя, старик!
Ты славянин: суров и дик,
Но и под этой пеленой

Ты воспитал огонь святой!..
Когда на челноке Вадим
Помчался по волнам морским,
То показал во взоре он
Души глубокую тоску,
Но ни один прощальный стон
Он не поверил ветерку,
И ни единая слеза
Не отуманила глаза.
И он покинул край родной,
Где игры детства, как могли,
Ему веселье принесли
И где лукавою толпой
Его надежды обошли,
И в мире может только месть
Опять назад его привесть.

———

Зима сребристой пеленой
Одела горы и луга.
Князь Рурик с силой боевой
Пошел недавно на врага.
Глубоки ранние снега;
На сучьях иней. Звучный лед
Сковал поверхность гладких вод.
Стадами волки по ночам
Подходят к тихим деревням;
Трещит мороз. Шумит метель;
Вершиною качает ель.
С полнеба день на степь глядит
И за туман уйти спешит,
И путник посреди полей
Неверный тщетно ищет путь,—
Ему не зреть своих друзей,
Ему холодным сном заснуть,
И должен сгнить в чужих снегах
Его непогребенный прах!..

Откуда зарево блестит?
Не град враждебный ли горит?
Тот город Руриком зажжен.
Но скоро ль возвратится он
С богатой данью? Скоро ль меч
Князь вложит в мирные ножны?

И не пора ль ему пресечь
Зловещий, буйный клик войны?

Ночь. Темен зимний небосклон.
В Новгóроде глубокий сон,
И всё объято тишиной,
Лишь лай домашних псов порой
Набегом ветра принесен.
И только в хижине одной
Лучина поздняя горит,
И Леда перед ней сидит
Одна; немолчное давно
Прядет, гудёт веретено
В ее руке. Старуха мать
Над снегом вышла погадать.
И наконец она вошла:
Морщины бледного чела
И скорый, хитрый взгляд очей —
Всё ужасом дышало в ней.
В движенье судорожном рук
Видна душевная борьба.
Ужель бедой грозит судьба?
Ужели ряд жестоких мук
Искусством тайным эту ночь
В грядущем видела она?
Трепещет и не смеет дочь
Спросить. Волшебница мрачна,
Сама в себя погружена.
Пока петух не прокричал,
Старухи бред и чудный стон
Дремоту Леды прерывал,
И краткий сон ей был не в сон[1].
И поутру перед окном
Приметили широкий круг,
И снег был весь истоптан в нем,
И долго в городе о том
Ходил тогда недобрый слух.
. . . .
. . . .
Шесть раз менялася луна;
Давно окончена война.
Князь Рурик и его вожди
Спокойно ждут, когда весна
Свое дыханье и дожди

Пошлет на белые снега,
Когда печальные луга
Покроют пестрые цветы,
Когда над озером кусты
Позеленеют, и струи
Заблещут пеной молодой,
И в роще Лады в час ночной
Затянут песню соловьи.
Тогда опять поднимут меч,
И кровь соседей станет течь,
И зарево, как метеор,
На тучах испугает взор.
Надеждою обольщена,
Вотще душа славян ждала
Возврата вольности: весна
Пришла, но вольность не пришла.
Их заговоры, их слова
Варяг-властитель презирал;
Все их законы, все права,
Казалось, он пренебрегал.
Своей дружиной окружен,
Перед народ являлся он;
Свои победы исчислял,
Лукавой речью убеждал!
Рука искусного льстеца
Играла глупою толпой.
И благородные сердца
Томились тайною тоской...

И праздник Лады настает:
Повсюду радость! Как весной
Из улья мчится шумный рой,
Так в рощу близкую народ
Из Новагорода идет.
Пришли. Из ветвей и цветов
Видны венки на головах,
И звучно песни в честь богов
Уж раздались на берегах
Ильменя синего. Любовь
Под тенью липовых ветвей
Скрывается от глаз людей.
С досадою, нахмуря бровь,
На игры юношей глядеть
Старик не смеет. Седина

Ему не запрещает петь
Про Диди-Ладо. Вот луна
Явилась, будто шар златой,
Над рощей темной и густой;
Она была тиха, ясна,
Как сердце Леды в этот час...
Но отчего в четвертый раз
Князь Рурик, к липе прислонен,
С нее не сводит светлых глаз?
Какою думой занят он?
Зачем лишь этот хоровод
Его внимание влечет?..

Страшись, невинная душа!
Страшися! Пылкий этот взор,
Желаньем, страстию дыша,
Тебя погубит, и позор
Подавит голову твою.
Страшись, как гибели своей,
Чтобы не молвил он: «Люблю!»
Опасен яд его речей.
Нет сожаленья у князей:
Их ненависть, как их любовь,
Бедою вечною грозит,—
Насытит первую лишь кровь,
Вторую лишь девичий стыд.

У закоптелого окна
Сидит волшебница одна
И ждет молоденькую дочь.
Но Леды нет. Как быть? Уж ночь;
Сияет в облаках луна!..
Толпа проходит за толпой
Перед окном. Недвижный взгляд
Старухи полон тишиной,
И беспокойства не горят
На ледяных ее чертах;
Но тайны чудной налегло
Клеймо на бледное чело,
И вид ее вселяет страх.
Она с луны не сводит глаз.
Бежит за часом скучный час!..

И вот у двери слышен стук,
И быстро Леда входит вдруг
И падает к ее ногам:
Власы катя́тся по плечам,
Испугом взор ее блестит.
«Погибла! — дева говорит.—
Он вырвал у меня любовь;
Блаженства не найду я вновь...
Проклятье на него! Злодей...
Наш князь!.. Мои мольбы, мой стон
Презрительно отвергнул он!
О! ты о мне хоть пожалей,
Мать! мать!.. убей меня!.. убей!..»

«Закон судьбы несокрушим;
Мы все ничтожны перед ним»,–
Старуха отвечает ей.
И встала бедная, и тих
Отчаянный казался взор,
И удалилась. И с тех пор
Не вылетал из уст младых
Печальный ропот иль укор.

Всегда с поникшей головой,
Стыдом томима и тоской,
На отуманенный Ильмень
Смотрела Леда целый день
С береговых высоких скал.
Никто ее не узнавал:
Надеждой не дышала грудь,
Улыбки гордой больше нет,
На щеки страшно и взглянуть:
Бледны, как утра первый свет.
Она увяла в цвете лет!..

С жестокой радостью детей
Смеются девушки над ней,
И мать сердито гонит прочь;
Она одна и день и ночь.
Так колос на́ поле пустом,
Забыт неопытным жнецом,
Стоит под бурей одинок,
И буря гнет мой колосок!..

И раз в туманный, серый день
Пропала дева. Ночи тень
Прошла; еще заря пришла —
Но что ж? заря не привела
Домой красавицу мою.
Никто не знал во всем краю,
Куда сокрылася она;
И смерть, как жизнь ее, темна!..

Жалели юноши об ней,
Проклятья тайные неслись
К властителю. Ах! не нашлись
В их душах чувства прежних дней,
Когда за отнятую честь
Мечом бойца платила месть.
Но на земле еще была
Одна рука, чтоб отомстить,
И было сердце, где убить
Любви чужбина не могла!..

Пока надежды слабый свет
Не вовсе тучами одет,
Пока невольная слеза
Еще пытается глаза
Коварной влагой омочить,
Пока мы можем позабыть
Хоть вполовину, хоть на миг
Измены, страсти лет былых,
Как мы любили в те года,
Как сердце билося тогда,
Пока мы можем как-нибудь
От страшной цели отвернуть
Не вовсе углубленный ум,—
Как много ядовитых дум
Боятся потревожить нас!
Но есть неизбежи́мый час...
И поздно или рано он
Разрушит жизни сладкий сон,
Завесу с прошлого стащи́т
И всё в грядущем отрави́т;
Осветит бездну пустоты,
И нас (хоть будет тяжело)
Презреть заставит, нам назло,
Правдоподобные мечты;

И с этих пор иной обман
Душевных не излечит ран!
Высокий дуб, краса холмов,
Перед явлением снегов
Роняет лист, но вновь весной
Покрыт короной листовой,
И, зеленея, в жаркий день
Прохладную он стелет тень,
И буря вкруг него шумит,
Но великана не свалит;
Когда же пламень громовой
Могучий корень опалит,
То листьев свежею толпой
Он не оденется вовек...
Ему подобен человек!..

———

Светает — побелел восход
И озарил вершины гор,
И стал синеть безмолвный бор.
На зеркало недвижных вод
Ложится тень от берегов;
И над болотом, меж кустов,
Огни блудящие спешат
Укрыться от дневных огней;
И птицы озера шумят
Между приютных камышей.
Летит в пустыню черный вран,
И в чащу кроется теперь
С каким-то страхом дикий зверь.
Грядой волнистою туман
Встает между зубчатых скал,
Куда никто не проникал,
Где камни темной пеленой
Уныло кроет мох сырой!..

Взошла заря — зачем? зачем?
Она одно осветит всем:
Она осветит бездну тьмы,
Где гибнем невозвратно мы;
Потери новые людей
Она лукаво озарит,
И сердце каждое лишит
Всех удовольствий прежних дней,

И сожаленья не возьмет,
И вспоминанья не убьет!..

Два путника лесной тропой
Идут под утреннею мглой
К ущелиям славянских гор.
Заря их привлекает взор,
Играя меж ветвей густых
Берез и сосен вековых.
Один еще во цвете лет,
Другой, старик, и худ и сед.
На них одежды чуждых стран.
На младшем с стрелами колчан
И лук, и ржавчиной покрыт
Его шишак, и меч звенит
На нем; тяжелых мук бразды
И битв давнишние следы
Хранит его чело, но взгляд
И все движенья говорят,
Что не погас огонь святой
Под сей кольчугой боевой...
Их вид суров, и шаг их скор,
И полон грусти разговор:

«Прошу тебя, не уменьшай
Восторг души моей! Опять
Я здесь, опять родимый край
Сужден изгнанника принять;
Опять, как алая заря,
Надежда веселит меня;
И я увижу милый кров,
Где длился пир моих отцов,
Где я мечом играть любил,
Хоть меч был свыше детских сил.
Там вырос я, там защищал
Своих богов, свои права,
Там за свободу я бы пал,
Когда бы не твои слова.
Старик! где ж замыслы твои?
Ты зрел ли, как легли в крови
Сыны свободные славян
На берегу далеких стран?
Чужой народ нам не помог,

Он принял правду за предлог,
Гостей врагами почитал.
Старик! старик! кто б отгадал,
Что прах друзей моих уснет
В земле безвестной и чужой,
Что под небесной синевой
Один Вадим да Ингелот
На сердце будут сохранять
Старинной вольности любовь,
Что им одним лишь увидать
Дано свою отчизну вновь?..
Но что ж?.. Быть может, наша весть
Не извлечет слезы из глаз,
Которые увидят нас,
Быть может, праведную месть
Судьба обманет в третий раз!..» —
Так юный воин говорил,
И влажный взор его бродил
По диким соснам и камням
И по туманным небесам.
«Пусть так! — старик ему в ответ.—
Но через много, много лет
Всё будет славиться Вадим;
И грозным именем твоим
Народы устрашат князей,
Как тенью вольности своей.
И скажут: он за милый край,
Не размышляя, пролил кровь,
Он пре́зрел счастье и любовь...
Дивись ему — и подражай!»
С улыбкой горькою боец
Спешил от старца отвернуть
Свои глаза: младую грудь
Печаль давила, как свинец;
Он вспомнил о любви своей,
Невольно сердце потряслось,
И всё волнение страстей
Из бледных уст бы излилось,
Когда бы не боялся он,
Что вместо речи только стон
Молчанье возмутит кругом.
И он, поникнувши челом,
Шаги приметно ускорял
И спутнику не отвечал.

Идут — и видят вдруг курган
Сквозь синий утренний туман.
Шиповник и репей кругом,
И что-то белое на нем
Недвижимо в траве лежит.
И дикий коршун тут сидит,
Как дух лесов, на пне большом —
То отлетит, то подлетит,
И вдруг, приметив меж дерев
Вдали нежданных пришлецов,
Он приподнялся на ногах,
Махнул крылом и полетел
И, уменьшаясь в облаках,
Как лодка нá море, чернел!..

На том холме в траве густой
Бездушный, хладный труп лежал,
Одетый белой пеленой;
Пустыни ветр ее срывал,
Кудрями длинными играл
И даже не боялся дуть
На эту девственную грудь,
Которая была белей,
Была нежней и холодней,
Чем снег зимы. Закрытый взгляд
Жестокой смертию объят,
И несравненная рука
Уж посинела и жестка...

И к мертвой подошел Вадим...
Но что за перемена с ним? —
Затрясся, побледнел, упал...
И раздался меж ближних скал
Какой-то длинный крик иль стон...
Похож был на последний он!
И кто бы крик сей услыхал,
Наверно б сам в себе сказал,
Что сердца лучшая струна
В минуту эту порвана!..
О! если бы одна любовь
В душе у витязя жила,
То он бы не очнулся вновь,
Но *месть* любовь превозмогла.
Он долго на земле лежал

И странные слова шептал,
И только мог понять старик,
Что то родной его язык.
И наконец, страдалец встал.
«Не всё ль я вынес? — он сказал.—
О Ингелот! любил ли ты?
Взгляни на бледные черты
Умершей Леды... посмотри...
Скажи... иль нет! не говори...
Свершилось! я на месть иду,
Я в мире ничего не жду:
Здесь я нашел, здесь погубил
Всё, что искал, всё, что любил!..»
И меч спешит он обнажить
И начал им могилу рыть.
Старик невольно испустил
Тяжелый сожаленья вздох
И безнадежному помог.
Готов уж смерти тесный дом,
И дерн готов, и камень тут,
И бедной Леды труп кладут
В сырую яму... И потом
Ее засыпали землей,
И дерн покрыл ее сырой,
И камень положен над ним.
Без дум, без трепета, без слез
Последний долг свершил Вадим,
И этот день, как легкий дым,
Надежду и любовь унес.
Он стал на свете сирота.
Душа его была пуста.
Он сел на камень гробовой
И по челу провел рукой,
Но грусть — ужасный властелин:
С чела не сгладил он морщин!
Но сердце билося опять —
И он не мог его унять!..

«Девица! мир твоим костям! —
Промолвил тихо Ингелот.—
Одна лишь цель богами нам
Дана — и каждый к ней придет.
И жалок и безумец тот,

Кто ропщет на закон судьбы:
К чему? — мы все его рабы!»

И оба встали и пошли
И скрылись в голубой дали!..
. . . .

Горит на небе ясный день,
Бегут златые облака,
Синеет быстрая река,
И ровен, как стекло, Ильмень.
Из Новагорода народ,
Тесняся, на берег идет.
Там есть возвышенный курган,
На нем священный истукан,
Изображая бога битв,
Белеет издали. Предмет
Благодарений и молитв,
Стоит он здесь уж много лет,
Но лишь недавно князь пред ним
Склонен почтением немым.
Толпой варягов окружен,
На жертву предлагает он
Добычу счастливой войны.
Песнь раздалася в честь богов,
И груды пышные даров
На холм святой положены!..

Рассыпались толпы людей,
Зажглися пни, и пир шумит,
И Рурик весело сидит
Между седых своих вождей!..
Но что за крик? откуда он?
Кто этот воин молодой?
Кто Рурика зовет на бой?
Кто для погибели рожден?..
В своем заржавом шишаке
Предстал Вадим — булат в руке,
Как змеи, кудри на плечах,
Отчаянье и месть в очах.
«Варяг! — сказал он.— Выходи!
Свободное в моей груди
Трепещет сердце... испытай,
Сверши злодейство до конца;

Паденье одного бойца
Не может погубить мой край,—
И так уж он у ног чужих,
Забыв победы дней былых!..
Новогородцы! обо мне
Не плачьте... Я родной стране
И жизнь и счастие принес...
Не требует свобода слез!»

И он мечом своим взмахнул —
И меч как молния сверкнул;
И речь все души потрясла,
Но пробудить их не могла!..
Вскочил надменный буйный князь
И мрачно также вынул меч,
Известный в буре грозных сеч;
Вскочил — и битва началась.
Кипя, с оружием своим,
На князя кинулся Вадим,—
Так над пучиной бурных вод
На легкий чёлн бежит волна —
И сразу лодку разобьет
Или сама раздроблена.

И долго билися они,
И долго ожиданья страх
Блестел у зрителей в глазах,—
Но витязя младого дни
Уж сочтены на небесах!..

Дружины радостно шумят,
И бросил князь довольный взгляд:
Над непреклонной головой
Удар спустился роковой.
Вадим на землю тихо пал,
Не посмотрел, не простонал.
Он пал в крови, и пал один —
Последний вольный славянин!

Когда росистой ночи мгла
На холмы темные легла,
Когда на небе чередой
Являлись звезды и луной
Сребрилась в озере струя,

Через туманные поля
Охотник поздний проходил
И вот что после говорил,
Сидя с женой, между друзей,
Перед лачугою своей:
«Мне чудилось, что за холмом,
Согнувшись, человек стоял,
С трудом кого-то поднимал,
Власы белели над челом;
И, что-то на плеча взвалив,
Пошел — и показалось мне,
Что труп чернелся на спине
У старика. Поворотив
С своей дороги, при луне
Я видел: в недалекий лес
Спешил с своею ношей он,
И наконец совсем исчез,
Как перед утром лживый сон!..»

Над озером видал ли ты,
Жилец простой окрестных сел,
Скалу огромной высоты,
У ног ее зеленый дол?
Уныло желтые цветы
Да можжевельника кусты,
Забыты ветрами, растут
В тени сырой. Два камня тут,
Увязши в землю, из травы
Являют серые главы:
Под ними спит последним сном,
С своим мечом, с своим щитом,
Забыт славянскою страной,
Свободы витязь молодой.

A tale of the times of old!..
The deeds of days of other years!..[1]

Вторая половина 1830 или
первая половина 1831

---

[1] Сказание седых времен!..
Деянья прежних лет и дней!..
(англ.) — *Ред.*

439. КАЛЛЫ [1]

Черкесская повесть

'T is the clime of the East: 't is the land of the Sun —
Can he smile on such deeds as his children have done?
Oh! wild as the accents of lovers' farewell
Are the hearts which they bear,
and the tales which they tell.

«The Bride of Abydos». Byron [2]

1

«Теперь настал урочный час,
И тайну я тебе открою.
Мои советы — божий глас;
Клянись им следовать душою.
Узнай: ты чудом сохранен
От рук убийц окровавлённых,
Чтоб неба оправдать закон
И отомстить за побежденных;
И не тебе принадлежат
Твои часы, твои мгновенья;
Ты на земле орудье мщенья,
Палач,— а жертва Акбулат!
Отец твой, мать твоя и брат,
От рук злодея погибая,
Молили небо об одном:
Чтоб хоть одна рука родная
За них разведалась с врагом!
Старайся быть суров и мрачен,
Забудь о жалости пустой,—
На грозный подвиг ты назначен
Законом, клятвой и судьбой.
За все минувшие злодейства
Из обреченного семейства

---

[1] По-черкесски: убийца.

[2] Вот край Востока: вот страна Солнца —
Может ли оно улыбаться деяниям своих детей?
О! неистовы, как возгласы любовников при расставании,
Сердца, ими носимые, повести, ими рассказываемые.
«Абидосская невеста». Байрон (англ.).— *Ред.*

Ты никого не пощади,—
Ударил час их истребленья!
Возьми ж мои благословенья,
Кинжал булатный — и поди!» —
Так говорил мулла жестокий,
И кабардинец черноокий
Безмолвно, чистя свой кинжал,
Уроку мщения внимал.
Он молод сердцем и годами,
Но, чуждый страха, он готов
Обычай дедов и отцов
Исполнить свято над врагами;
Он поклялся — своей рукой
Их погубить во тьме ночной.

2

Уж день погас. Угрюмо бродит
Аджи вкруг сакли... И давно
В горах всё тихо и темно;
Луна как желтое пятно
Из тучки в тучку переходит,
И ветер свищет и гудёт.
Как призрак, юноша идет
Теперь к заветному порогу;
Кинжал из кожаных ножон
Уж вынимает понемногу...
И вдруг дыханье слышит он!
Аджи не долго рассуждает:
Врагу заснувшему он в грудь
Кинжал без промаха вонзает
И в ней спешит перевернуть.
Кому убийцей быть судьбина
Велит — тот будь им до конца;
Один погиб; но с кровью сына
Смешать он должен кровь отца.
Пред ним старик: власы седые!
Черты открытого лица
Спокойны, и усы большие
Уста закрыли бахромой!
И для молитвы сжаты руки!
Зачем ты взор потупил свой,
Аджи? Ты мщенья слышишь звуки!

Ты слышишь!.. То отец родной!
И с ложа вниз, окровавлённый,
Свалился медленно старик,
И стал ужасен бледный лик,
Лобзаньем смерти искаженный;
Взглянул убийца молодой...
И жертвы ищет он другой!
Обшарил стены он, чуть дышит,
Но не встре⟨чает⟩ ничего —
И только сердца своего
Биенье трепетное слышит.
Ужели все погибли? нет!
Ведь дочь была у Акбулата!
И ждет ее в семнадцать лет
Судьба отца и участь брата...
И вот луны дрожащий свет
Проникнул в саклю, озаряя
Два трупа на полу сыром
И ложе, где роскошным сном
Спала девица молодая.

3

Мила, как сонный херувим,
Перед убийцею своим
Она, раскинувшись небрежно,
Лежала; только сон мятежный,
Волнуя девственную грудь,
Мешал свободно ей вздохнуть.
Однажды, полные томленья,
Открылись черные глаза,
И, тайный признак упоенья,
Блистала ярко в них слеза,
Но, испугавшись мрака ночи,
Мгновенно вновь закрылись очи...
Увы! их радость, и любовь,
И слезы не откроют вновь!
И он смотрел. И в думах тонет
Его душа. Проходит час.
Чей это стон? Кто так простонет,
И не последний в жизни раз?
Кто, услыхав такие звуки,
До гроба может их забыть?

О, как нетрудно различить
От крика смерти — голос муки!

4

Сидит мулла среди ковров,
Добытых в Персии счастливой,
В дыму табачных облаков
Кальян свой курит он лениво.
Вдруг слышен быстрый шум шагов,—
В крови, с зловещими очами,
Аджи вбегает молодой;
В одной руке кинжал, в другой...
Зачем он с женскими власами
Пришел? И что тебе, мулла,
Подарок с женского чела?
«О, как верны мои удары! —
Ужасным голосом сказал
Аджи.— Смотри! узнал ли, старый?»
— «Ну что же?» — «Вот что!» — и кинжал
В груди бесчувственной торчал...

5

На вышине горы священной,
Вечерним солнцем озаренной,
Как одинокий часовой
Белеет памятник простой:
Какой-то столбик округленный!
Чалмы подобие на нем,
Шиповник стелется кругом.
Оттуда синие пустыни
И гребни самых дальних гор —
Свободы вечные твердыни —
Пришельца открывает взор.
Забывши мир и им забытый,
Рукою дружеской зарытый,
Под этим камнем спит мулла,
И вместе с ним его дела.
Другого любит без боязни
Его любимая жена,
И не боится тайной казни
От злобной ревности она!..

6

И в это время слух промчался
(Гласит преданье), что в горах
Безвестный странник показался,
Опасный в мире и боях;
Как дикий зверь, людей чуждался;
И женщин он ласкать не мог!
⟨. . . . .⟩
Хранил он вечное молчанье,
Но не затем, чтоб подстрекнуть
Толпы болтливое вниманье;
И он лишь знает, почему
Каллы́ ужасное прозванье
В горах осталося ему.

1830 или 1831

440. ⟨АЗРАИЛ⟩

Речка, кругом широкие долины, курган, на берегу издохший конь лежит близ кургана, и вороны летают над ним. Всё дико.

Азраил

(сидит на кургане)

Дождуся здесь; мне не жестка
Земля кургана. Ветер дует,
Серебряный ковыль волнует
И быстро гонит облака.
Кругом всё дико и бесплодно.
Издохший конь передо мной
Лежит, и коршуны свободно
Добычу делят меж собой.
Уж хладные белеют кости,
И скоро пир кровавый свой
Незваные оставят гости.
Так точно и в душе моей:
Всё пусто, лишь одно мученье
Грызет ее с давнишних дней
И гонит прочь отдохновенье;
Но никогда не устает
Его отчаянная злоба,

И в темной, темной келье гроба
Оно вовеки не уснет.
Всё умирает, всё проходит.
Гляжу, за веком век уводит
Толпы народов и миров
И с ними вместе исчезает.
Но дух мой гибели не знает;
Живу один средь мертвецов,
Законом общим позабытый,
С своими чувствами в борьбе,
С душой, страданьями облитой,
Не зная равного себе.
Полуземной, полунебесный,
Гонимый участью чудесной,
Я всё мгновенное люблю,
Утрата мучит грудь мою.
И я бессмертен, и за что же!
Чем, чем возможно заслужить
Такую пытку? Боже, боже!
Хотя бы мог я не любить!

Она придет сюда, я обниму
Красавицу и грудь к груди прижму,
У сердца сердце будет горячей;
Уста к устам чем ближе, тем сильней
Немая речь любви. Я расскажу
Ей всё и мир и вечность покажу;
Она слезу уронит надо мной,
Смягчит творца молитвой молодой,
Поймет меня, поймет мои мечты
И скажет: «Как велик, как жалок ты».
Сей речи звук мне будет жизни звук,
И этот час последний долгих мук.
Клянусь воспоминание об нем
Глубоко в сердце схоронить моем,
Хотя бы на меня восстал весь ад.
Тот угол, где я спрячу этот клад,
Не осквернит ни ропот, ни упрек,
Ни месть, ни зависть. Пусть свирепый рок
Сбирает тучи, пусть моя звезда
В тумане вечном тонет навсегда,
Я не боюсь: есть сердце у меня,
Надменное и полное огня,

Есть в нем любви ее святой залог,
Последнего ж не отнимает бог...

Но слышен звук шагов, она, она.
Но для чего печальна и бледна?
Венок пестреет над ее челом,
Играет солнце медленным лучом
На белых персях, на ее кудрях,—
Идет. Ужель меня тревожит страх?

Дева входит, цветы в руках и на голове, в белом платье, крест на груди у нее.

Дева

Ветер гудёт,
Месяц плывет,
Девушка плачет,
Милый в чужбину скачет.
Ни дева, ни ветер
Не замолкнут.
Месяц погаснет,
Милый изменит.

Прочь печальная песня. Я опоздала, Азраил. Так ли тебя зовут, мой друг? *(Садится рядом.)*

Азраил. Что до названья? Зови меня твоим любезным, пускай твоя любовь заменит мне имя, я никогда не желал бы иметь другого. Зови как хочешь смерть — уничтожением, гибелью, покоем, тлением, сном,— она все равно поглотит свои жертвы.

Дева. Полно с такими черными мыслями.

Азраил. Так, моя любовь чиста, как голубь, но она хранится в мрачном месте, которое темнеет с вечностью.

Дева. Кто ты?

Азраил. Изгнанник, существо сильное и побежденное. Зачем ты хочешь знать?

Дева. Что с тобою? Ты побледнел приметно, дрожь пробежала по твоим членам, твои веки опустились к земле. Милый, ты становишься страшен.

Азраил. Не бойся, все опять прошло.

Дева. О, я тебя люблю, люблю больше блаженства. Ты помнишь, когда мы встретились, я покраснела; ты прижал меня к себе, мне было так хорошо, так тепло у груди твоей. С тех пор моя душа с твоей одно. Ты

несчастлив, вверь мне свою печаль, кто ты? откуда? ангел? демон?

Азраил. Ни то ни другое.

Дева. Расскажи мне твою повесть. Если ты потребуешь слез, у меня они есть; если потребуешь ласки, то я удушу тебя моими; если потребуешь помощи, о, возьми все, что я имею, возьми мое сердце и приложи его к язве, терзающей твою душу; моя любовь сожжет этого червя, который гнездится в ней. Расскажи мне твою повесть!

Азраил. Слушай, не ужасайся, склонись к моему плечу, сбрось эти цветы, твои губы душистее. Пускай эти гвоздики, фиалки унесет ближний поток, как некогда время унесет твою собственную красоту. Как, ужели эта мысль ужасна, ужели в столько столетий люди не могли к ней привыкнуть, ужели никто не может пользоваться всею опытностию предшественников? О люди! Вы жалки, но со всем тем я сменял бы мое вечное существованье на мгновенную искру жизни человеческой, чтобы чувствовать хотя все то же, что теперь чувствую, но иметь надежду когда-нибудь позабыть, что я жил и мыслил. Слушай же мою повесть.

РАССКАЗ АЗРАИЛА

Когда еще ряды светил
Земли не знали меж собой,
В те годы я уж в мире был,
Смотрел очами и душой,
Молился, действовал, любил.
И не один я сотворен,
Нас было много; чудный край
Мы населяли, только он,
Как ваш давно забытый рай,
Был преступленьем осквернен.
Я власть великую имел,
Летал, как мысль, куда хотел,
Мог звезды навещать порой
И любоваться их красой
Вблизи, не утомляя взор;
Как перелетный метеор,
Я мог исчезнуть и блеснуть.
Везде мне был свободный путь.

Я часто ангелов видал
И громким песням их внимал,
Когда в багряных облаках
Они, качаясь на крылах,
Все вместе славили творца,
И не было хвалам конца.
Я им завидовал: они
Беспечно проводили дни,
Не знали тайных беспокойств,
Душевных болей и расстройств,
Волнения враждебных дум
И горьких слез; их светлый ум
Безвестной цели не искал,
Любовью грешной не страдал,
Не знал пристрастия к вещам,
Он весь был отдан небесам.
Но я, блуждая много лет,
Искал — чего, быть может, нет:
Творенье, сходное со мной
Хотя бы мукою одной.
И начал громко я роптать,
Мое рожденье проклинать
И говорил: «Всесильный бог,
Ты знать про будущее мог,
Зачем же сотворил меня?
Желанье глупое храня,
Везде искать мне суждено
Призра́к, видение одно.
Ужели мил тебе мой стон?
И если я уж сотворен,
Чтобы игрушкою служить,
Душой, бессмертной может быть,
Зачем меня ты одарил?
Зачем я верил и любил?»

И наказание в ответ
Упало на главу мою.
О, не скажу какое, нет!
Твою беспечность не убью,
Не дам понятия о том,
Что лишь с возвышенным умом
И с непреклонною душой
Изведать велено судьбой.
Чем дольше мука тяготит,

Тем глубже рана от нее;
Обливши смертью бытие,
Она опять его живит.
И эта жизнь пуста, мрачна,
Как пропасть, где не знают дна:
Глотая всё, добро и зло,
Не наполняется она.
Взгляни на бледное чело,
Приметь морщин печальный ряд,
Неровный ход моих речей,
Мой горький смех, мой дикий взгляд
При вспоминанье прошлых дней,
И если тотчас не прочтешь
Ты ясно всех моих страстей,
То вечно, вечно не поймешь
Того, кто за безумный сон,
За миг столетьями казнен.

Я пережил звезду свою,—
Как дым рассыпалась она,
Рукой творца раздроблена;
Но смерти верной на краю,
Взирая на погибший мир,
Я жил один, забыт и сир.
По беспредельности небес
Блуждал я много, много лет
И зрел, как старый мир исчез
И как родился новый свет;
И страсти первые людей
Не скрылись от моих очей.
И ныне я живу меж вас,
Бессмертный, смертную люблю
И с трепетом свиданья час,
Как пылкий юноша, ловлю.
Когда же род людей пройдет
И землю вечность разобьет,
Услышав грозную трубу,
Я в новый удалюся мир
И стану там, как прежде сир,
Свою оплакивать судьбу.

Вот повесть чудная моя.
Поверь иль нет — мне всё равно:

Доверчивое сердце я
Привык не находить давно.
Однако ж я молю: поверь
И тем тоску мою умерь.
Никто не мог тебя любить
Так пламенно, как я теперь.
Что сердце попусту язвить,
Зачем вдвойне его казнить?
Но нет, ты плачешь. Я любим,
Хоть только существом одним,
Хоть в первый и последний раз.
Мой ум светлей отныне стал,
И, признаюсь, лишь в этот час
Я умереть бы не желал.

Дева. Я тебя не понимаю, Азраил, ты говоришь так темно. Ты видел другой мир, где ж он? В нашем законе ничего не сказано о людях, живших прежде нас.

Азраил. Потому что закон Моисея не существовал прежде земли.

Дева. Полно, ты меня хочешь только испугать.

Азраил бледнеет.

Я пришла сюда, чтобы с тобой проститься, мой милый. Моя мать говорит, что покамест это должно, я иду замуж. Мой жених славный воин, его шлем блестит как жар, и меч его опаснее молнии.

Азраил. Вот женщина! Она обнимает одного и отдает свое сердце другому!

Дева. Что сказал ты? О, не сердись.

Азраил. Я не сержусь, *(горько)* и за что сердиться?

1831

441. АНГЕЛ СМЕРТИ

Посвящается А. М. В⟨ерещагино⟩й

Тебе — тебе мой дар смиренный,
Мой труд безвестный и простой,
Но пламенный, но вдохновенный
Воспоминаньем и — тобой!

Я дни мои влачу, тоскуя
И в сердце образ твой храня,
Но об одном тебя прошу я:
Будь ангел смерти для меня.

Явись мне в грозный час страданья,
И поцелуй пусть будет твой
Залогом близкого свиданья
В стране любви, в стране другой!

Златой Восток, страна чудес,
Страна любви и сладострастья,
Где блещет роза — дочь небес,
Где всё обильно, кроме счастья;
Где чище катится река,
Вольнее мчатся облака,
Пышнее вечер догорает
И мир всю прелесть сохраняет
Тех дней, когда печатью зла
Душа людей, по воле рока,
Не обесславлена была,
Люблю тебя, страна Востока!
Кто знал тебя, тот забывал
Свою отчизну; кто видал
Твоих красавиц, не забудет
Надменный пламень их очей
И без сомненья верить будет
Печальной повести моей.

Есть ангел смерти; в грозный час
Последних мук и расставанья
Он крепко обнимает нас,
Но холодны его лобзанья,
И страшен вид его для глаз
Бессильной жертвы; и невольно
Он заставляет трепетать,
И часто сердцу больно, больно
Последний вздох ему отдать.
Но прежде людям эти встречи
Казались — сладостный удел.
Он знал таинственные речи,
Он взором утешать умел,
И бурные смирял он страсти,

И было у него во власти
Больную душу как-нибудь
На миг надеждой обмануть!

Равно во все края вселенной
Являлся ангел молодой;
На всё, что только прах земной,
Глядел с презрением нетленный.
Его приход благословенный
Дышал небесной тишиной.
Лучами тихими блистая,
Как полуночная звезда,
Манил он смертных иногда,
И провожал он к дверям рая
Толпы́ освобожденных душ,
И сам был счастлив. Почему ж
Теперь томит его объятье
И поцелуй его — проклятье?
. . . .

Недалеко от берегов
И волн ревущих океана,
Под жарким небом Индостана
Синеет длинный ряд холмов.
Последний холм высок и страшен,
Скалами серыми украшен
И вдался в море, и на нем
Орлы да коршуны гнездятся,
И рыбаки к нему боятся
Подъехать в сумраке ночном.
Прикрыта дикими кустами,
На нем пещера есть одна —
Жилище змей — хладна, темна,
Как ум, обманутый мечтами,
Как жизнь, которой цели нет,
Как не досказанный очами
Убийцы хитрого привет.
Ее лампада — месяц полный,
С ней говорят морские волны,
И у отверстия стоят
Сторожевые пальмы в ряд.

Давным-давно в ней жил изгнанник,
Пришелец, юный Зораим.

Он на земле был только странник,
Людьми и небом был гоним,
Он *мог* быть счастлив, но блаженства
Искал в забавах он пустых,
Искал он в людях совершенства,
А сам — сам не был лучше их;
Искал великого в ничтожном,
Страшась надеяться, жалел
О том, что было счастьем ложным,
И, став без пользы осторожным,
Поверить никому не смел.
Любил он ночь, свободу, горы,
И всё в природе, и людей,
Но избегал их. С ранних дней
К презренью приучил он взоры,
Но сердца пылкого не мог
Заставить так же охладиться:
Любовь насильства не боится,
Она — хоть презренна — всё бог.
Одно сокровище — святыню
Имел под небесами он;
С ним раем почитал пустыню...
Но что ж? всегда ли верен сон?..

На гордых высотах Ливана
Растет могильный кипарис,
И ветви плющ обвились
Вокруг его прямого стана.
Пусть вихорь мчится и шумит
И сломит кипарис высокой —
Вкруг кипариса плющ обвит:
Он не погибнет одиноко!..
Так, миру чуждый, Зораим
Не вовсе беден — Ада с ним!
Она резва, как лань степная,
Мила, как цвет душистый рая;
Всё страстно в ней: и грудь и стан,
Глаза — два солнца южных стран.
И деве было всё забавой,
Покуда не явился ей
Изгнанник бледный, величавый,
С холодной дерзостью очей;
И ей пришло тогда желанье —
Огонь в очах его родить

И в мертвом сердце возбудить
Любви безумное страданье,
И удалось ей. Зораим
Любил — с тех пор, как был любим.
Судьбина их соединила,
А разлучит — одна могила!

На синих небесах луна
С звезда́ми дальными сияет,
Лучом в пещеру ударяет;
И беспокойная волна,
Ночной прохладою полна,
Утес, белея, обнимает.
Я помню — в этот самый час
Обыкновенно нежный глас,
Сопровождаемый игрою,
Звучал, теряясь за горою:
Он из пещеры выходил.
Какой же демон эти звуки
Волшебной властью усыпил?..

Почти без чувств, без дум, без сил
Лежит на ложе смертной муки
Младая Ада. Ветерок
Не освежит ее ланиты,
И томный взор, полуоткрытый,
Напрасно смотрит на восток,
И утра ждет она напрасно:
Ей не видать зари прекрасной,
Она до утра будет там,
Где солнца уж не нужно нам.
У изголовья, пораженный
Боязнью тайной, Зораим
Стоит — коленопреклоненный,
Тоской отчаянья томим.
В руке изгнанника белеет
Девицы хладная рука,
И жизни жар ее не греет.
«Но смерть,— он мыслит,— не близка!
Рука — не жизнь; болезнь простая —
Всё не кончина роковая!»
Так иногда надежды свет
Являет то, чего уж нет;
И нам хотя не остается

Для утешенья ничего,
Она над сердцем всё смеется,
Не исчезая из него.

В то время смерти ангел нежный
Летел чрез южный небосклон,
Вдруг слышит ропот он мятежный,
И плач любви, и слабый стон,
И, быстрый как полет мгновенья,
К пещере подлетает он.
Тоску последнего мученья
Дух смерти усладить хотел
И на устах покорной Ады
Свой поцелуй напечатлел:
Он дать не мог другой отрады!
Или, быть может, Зораим
Еще замечен не был им...
Но скоро при огне лампады
Недвижный, мутный встретив взор,
Он в нем прочел себе укор;
И ангел смерти сожаленье
В душе почувствовал святой.
Скажу ли? — даже в преступленье
Он обвинял себя порой.
Он отнял всё у Зораима:
Одна была лишь им любима,
Его любовь была сильней
Всех дум и всех других страстей.
И он не плакал,— но понятно
По цвету бледному чела,
Что мука смерть превозмогла,
Хоть потерял он невозвратно.
И ангел знал,— и как не знать? —
Что безнадежности печать
В спокойном холоде молчанья,
Что легче плакать, чем страдать
Без всяких признаков страданья.

И ангел мыслью поражен,
Достойною небес: желает
Вознаградить страдальца он.
Ужель создатель запрещает
Несчастных утешать людей?

И девы труп он оживляет
Душою ангельской своей.
И, чудо! кровь в груди остылой
Опять волнуется, кипит,
И взор, волшебной полон силой,
В тени ресниц ее горит.
Так ангел смерти съединился
Со всем, чем только жизнь мила,
Но ум границам подчинился,
И власть — не та уж, как была,
И только в памяти туманной
Хранит он думы прежних лет;
Их появленье Аде странно,
Как ночью метеора свет,
И ей смешна ее беспечность,
И ей грядущее темно,
И чувства, вечные как вечность,
Соединились все в одно.
Желаньям друга посвятила
Она все радости свои,
Как будто смерть и не гасила
В невинном сердце жар любви!..

Однажды на скале прибрежной,
Внимая плеск волны морской,
Задумчив, рядом с Адой нежной,
Сидел изгнанник молодой.
Лучи вечерние златили
Широкий синий океан,
И видно было сквозь туман,
Как паруса вдали бродили.
Большие черные глаза
На друга дева устремляла,
Но в диком сердце бушевала,
Казалось, тайная гроза.
Порой рассеянные взгляды
На красный запад он кидал
И вдруг, взяв тихо руку Ады
И обратившись к ней, сказал:
«Нет! не могу в пустыне доле
Однообразно дни влачить;
Я волен — но душа в неволе:
Ей должно цепи раздробить...
Что жизнь? — давай мне чашу славы,

Хотя бы в ней был смертный яд,
Я не вздрогну́ — я выпить рад:
Не все ль блаженства — лишь отравы?
Когда-нибудь всё должен я
Оставить ношу бытия...
Скажи, ужель одна могила
Ничтожный в мире будет след
Того, чье сердце столько лет
Мысль о ничтожестве томила?
И мне покойну быть — о нет!..
Взгляни: за этими горами
С могучим войском под шатрами
Стоят два грозные царя;
И завтра, только что заря
Успеет в облаках проснуться,
Труба войны и звук мечей
В пустыне нашей раздадутся.
И к одному из тех царей
Идти как воин я решился,
Но ты не жди, чтоб возвратился
Я побежденным. Нет, скорей
Волна, гонимая волнами
По бесконечности морей,
В приют родимых камышей
Воротится. Но если с нами
Победа будет, я принесть
Клянусь тебе жемчу́г и злато,
Себе одну оставлю честь...
И буду счастлив, и тогда-то
Мы заживем с тобой богато...
Я знаю: никогда любовь
Геройский меч не презирала,
Но если б даже ты желала...
Мой друг, я должен видеть кровь!
Верь: для меня ничто угрозы
Судьбы коварной и слепой.
Как? ты бледнеешь?.. слезы? слезы?
Об чем же плакать, ангел мой?»
И ангел-дева отвечает:
«Видал ли ты, как отражает
Ручей склонившийся цветок?
Когда вода не шевелится,
Он неподвижно в ней глядится,
Но, если свежий ветерок

Волну зеленую встревожит
И всколебается волна,
Ужели тень цветочка может
Не колебаться, как она?
Мою судьбу с твоей судьбою
Соединил так точно рок,
Волна — твой образ, мой — цветок.
Ты грустен — я грустна с тобою.
Как знать? — быть может, этот час
Последний счастливый для нас!..»

Зачем в долине сокровенной
От миртов дышит аромат?
Зачем?.. Властители вселенной,
Природу люди осквернят.
Цветок измятый обагрится
Их кровью, и стрела промчится
На место птицы в небесах,
И солнце отуманит прах.
Крик победивших, стон сраженных
Принудят мирных соловьев
Искать в пределах отдаленных
Иных долин, других кустов,
Где красный день, как ночь, спокоен,
Где их царицу, их любовь,
Не стопчет розу мрачный воин
И обагрить не может кровь.

Чу!.. топот... пыль клубится тучей,
И вот звучит труба войны,
И первый свист стрелы летучей
Раздался с каждой стороны!
Новорожденное светило
С лазурной неба вышины
Кровавым блеском озарило
Доспехи ратные бойцов.
Меж тем войска еще сходились
Всё ближе, ближе — и сразились,
И треску копий и щитов,
Казалось, сами удивились.
Но мщенье — царь в душах людей
И удивления сильней.

Была ужасна эта встреча,
Подобно встрече двух громов
В грозу меж дымных облаков.
С успехом равным длилась сеча,
И всё теснилось. Кровь рекой
Лилась везде, мечи блистали,
Как тени знамена блуждали
Над каждой темною толпой,
И с криком смерти роковой
На трупы трупы упадали...
Но отступает наконец
Одна толпа, и побежденный
Уж не противится боец,
И по траве окровавле́нной
Скользит испуганный беглец.
Один лишь воин, окруженный
Враждебным войском, не хотел
Еще бежать. Из мертвых тел
Вокруг него была ограда...
И тут остался он один.
Он не был царь иль царский сын,
Хоть одарен был силой взгляда
И гордой важностью чела.
Но вдруг коварная стрела
Пронзила витязя младого,
И шумно навзничь он упал,
И кровь струилась... и ни слова
Он, упадая, не сказал,
Когда победный крик раздался,
Как погребальный крик, над ним,
И мимо смелый враг промчался,
Огнем пылая боевым.

На битву издали взирая
С горы кремнистой и крутой,
Стояла Ада молодая,
Одна, волнуема тоской,
Высоко перси подымая,
Боязнью сердце билось в ней,
Всечасно слезы набегали
На очи, полные печали...
О боже! — Для таких очей
Кто не пожертвовал бы славой?
Но Зораиму был милей

Девичьей ласки путь кровавый!
Безумец! ты цены не знал
Всему, всему, чем обладал,
Не ведал ты, что ангел нежный
Оставил рай свой безмятежный,
Чтоб сердце Ады оживить;
Что многих он лишил отрады
В последний миг, чтоб усладить
Твое страданье. Бедной Ады
Мольбу отвергнул хладно ты,—
Возможно ль? ангел красоты
Тебе, изгнанник, не дороже
Надменной и пустой мечты?..
Она глядит и ждет... но что же?
Давно уж в поле тишина,
Враги умчались за врагами,
Лишь искаженными телами
Долина битвы устлана...
Увы! где ангел утешенья?
Где вестник рая молодой?
Он мучим страстию земной
И не услышит их моленья...
Уж солнце низко — Ада ждет...
Всё тихо вкруг... *он* всё нейдет!..

Она спускается в долину
И видит страшную картину.
Идет меж трупов чуть дыша;
Как у невинного пред казнью,
Надеждой, смешанной с боязнью,
Ее волнуется душа.
Она предчувствовать страшится,
И с каждым шагом воротиться
Она желала б, но любовь
Превозмогла в ней ужас вновь;
Бледны ланиты девы милой,
На грудь склонилась голова...
И вот недвижна! Такова
Была б лилея над могилой!
Где Зораим? Что, если он
Убит? — Но чей раздался стон?
Кто этот раненный стрелою
У ног красавицы? Чей глас
Так сильно душу в ней потряс?

Он мертвых окружен грядою,
Но час кончины и над ним...
Кто ж он? — Свершилось! — Зораим.

«Ты здесь? теперь? — и ты ли, Ада?
О! твой приход мне не отрада!
Зачем? — Для ужасов войны
Твои глаза не созданы,
Смерть не должна быть их предметом.
Тебя излишняя любовь
Вела сюда — что пользы в этом?..
Лишь я хотел увидеть кровь
И вижу... и приход мгновенья,
Когда усну без сновиденья.
Никто — я сам тому виной...
Я гибну! Первою звездой
Нам возвестит судьба разлуку.
Не бойся крови, дай мне руку:
Я виноват перед тобой...
Прости! Ты будешь сиротой,
Ты не найдешь родных, ни крова,
И даже — на груди другого
Не будешь счастлива опять:
Кто может дважды счастье знать?

Мой друг! к чему твои лобзанья
Теперь, столь полные огня?
Они не оживят меня
И увеличат лишь страданья,
Напомнив, как я счастлив был.
О, если б, если б я забыл,
Что в мире есть воспоминанья!
Я чувствую, к груди моей
Всё ближе, ближе смертный холод.
О, кто б подумал, как я молод!
Как много я провел бы дней
С тобою, в тишине глубокой,
Под тенью пальм береговых,
Когда б сегодня рок жестокой
Не обманул надежд моих!..
Еще в стране моей родимой
Гадатель мудрый, всеми чтимый,
Мне предсказал, что час придет —
И громкий подвиг совершу я,

И глас молвы произнесет
Мое названье, торжествуя,
Но...» Тут, как арфы дальней звон,
Его слова невнятны стали,
Глаза всю яркость потеряли
И ослабел приметно он...

Страдальцу Ада не внимала,
Лишь молча крепко обнимала,
Забыв, что у нее уж нет
Чудесной власти прежних лет;
Что поцелуй ее бессильный,
Ничтожный, как ничтожный звук,
Не озаряет тьмы могильной,
Не облегчит последних мук.
Меж тем на своде отдаленном
Одна алмазная звезда
Явилась в блеске неизменном,
Чиста, прекрасна, как всегда,
И мнилось: луч ее не знает,
Что́ на земле он озаряет:
Так он игриво нисходил
На жертву тленья и могил.
И Зораим хотел напрасно
Последним ласкам отвечать.
Всё, всё, что может он сказать,—
Уныло, мрачно, но не страстно!
Уж пламень слез ее не жжет
Ланиты, хладные как лед,
Уж тихо каплет кровь из раны.
И с криком, точно дух ночной,
Над ослабевшей головой
Летает коршун, гость незваный.
И грустно юноша взглянул
На отдаленное светило,
Взглянул он в очи деве милой,
Привстал — и вздрогнул — и вздохнул —
И умер. С синими губами
И с побелевшими глазами,
Лик — прежде нежный — был страшней
Всего, что страшно для людей.

Чья тень, прозрачной мглой одета,
Как заблудившийся луч света,

С земли возносится туда,
Где блещет первая звезда?
Венец играет серебристый
Над тихим, радостным челом,
И долго виден след огнистый
За нею в сумраке ночном...
То ангел смерти, смертью тленной
От уз земных освобожденный!..
Он тело девы бросил в прах:
Его отчизна в небесах.
Там всё, что он любил земного,
Он встретит и полюбит снова!..

Всё тот же он, и власть его —
Не изменилась ничего;
Прошло печали в нем волненье,
Как улетает призрак сна,
И только хладное презренье
К земле оставила она:
За гибель *друга* в нем осталось
Желанье миру мстить всему;
И ненависть к другим, казалось,
Была любовию *к нему*,
Всё тот же он — и бесконечность,
Как мысль, он может пролетать
И может взором измерять
Лета, века и даже вечность.
Но ангел смерти молодой
Простился с прежней добротой;
Людей узнал он: «Состраданья
Они не могут заслужить;
Не награжденье — наказанье
Последний миг их должен быть.
Они коварны и жестоки,
Их добродетели — пороки,
И жизнь им в тягость с юных лет...»
Так думал он — зачем же нет?..

Его неизбежимой встречи
Боится каждый с этих пор;
Как меч — его пронзает взор;
Его приветственные речи
Тревожат нас, как злой укор,
И льда хладней его объятье,
И поцелуй его — проклятье!..

4 сентября 1831

442. ИСПОВЕДЬ

1

День гас; в наряде голубом,
Крутясь, бежал Гвадалквивир,
И, не заботяся о том,
Что есть под ним какой-то мир,
Для счастья чуждый, полный злом,
Светило южное текло,
Беспечно, пышно и светло,
Но в монастырскую тюрьму
Игривый луч не проникал.
Какую б радость одному
Туда принес он, если б знал.
Главу склоня, в темнице той
Сидел отшельник молодой,
Испанец родом и душой;
Таков был рок! Зачем, за что,—
Не знал и знать не мог никто,
Но, в преступленье обвинен,
Он оправданья не искал;
Он знал людей и знал закон...
И ничего от них не ждал.
Но вот по лестнице крутой
Звучат шаги, открылась дверь,
И старец дряхлый и седой
Взошел в тюрьму,— зачем теперь,
Что сожаленья и привет
Тому, кто гибнет в цвете лет?

⟨2⟩

«Ты здесь опять! Напрасный труд!..
Не говори, что божий суд
Определяет мне конец.
Всё люди, люди, мой отец...
Пускай погибну, смерть моя
Не продолжи́т их бытия,
И дни грядущие мои
Им не присвоить — и в крови,
Неправой казнью пролитой,
В крови безумца молодой,

Согреть им вновь не суждено
Сердца, увядшие давно;
И гроб без камня и креста,
Как жизнь их ни была свята,
Не будет слабым их ногам
Ступенью новой к небесам.
И тень невинного, поверь,
Не отопрет им рая дверь.
Меня могила не страшит.
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине,
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод,— знал ли ты,
Что значит молодость, мечты?
Или не знал — или забыл,
Как ненавидел и любил,
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой!
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл — ты слеп, ты сед
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? — ты жил, старик;
Тебе есть в мире что забыть!
Ты жил! Я также мог бы жить!

3

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел — благодарю;
Не понимаю: что была
У них за мысль? Мои дела
И без меня ты должен знать —
А душу можно ль рассказать?
И если б мог я эту грудь
Перед тобою развернуть,
Ты, верно, не прочел бы в ней,
Что я преступник иль злодей.

Пусть монастырский ваш закон
Рукою неба утвержден,
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой;
Он оправдал меня — один
Он сердца полный властелин.
И тайну страшную мою
Я неизменно сохраню,
Пока земля в урочный час
Как двух друзей не примет нас.
Доселе жизнь была мне плен
Среди угрюмых этих стен,
Где детства ясные года
Я проводил — бог весть куда!
Как сон, без радости и бед,
Промчались тени лучших лет,
И воскресить те дни едва ль
Желал бы я — а всё их жаль!
Зачем, молчание храня,
Так грозно смотришь на меня?
Я волен... я не брат живых.
Судей бесчувственных моих
Не проклинаю... но, старик,
Я признаюся, мой язык
Не станет их благодарить
За то, что прежде, может быть,
Чем луч зари на той стене
Погаснет в мирной тишине,
Я, свежий, пылкий, молодой,
Который здесь перед тобой
Живу, как жил тому пять лет,
Весь превращуся в слово «нет»!
И прах, лишенный бытия,
Уж будет прах один — не я!

4

И мог ли я во цвете лет,
Как вы, душой оставить свет
И жить, не ведая страстей,
Под солнцем родины моей?
Ты позабыл, что седина
Меж этих кудрей не видна,

Что пламень в сердце молодом
Не остудить мольбой, постом!
Когда над бездною морской
Свирепой бури слышен вой
И гром гремит по небесам,
Вели не трогаться волнам
И сердцу бурному вели
Не слушать голоса любви!..
Да если б черный сей наряд
Не допускал до сердца яд,
Тогда я был бы виноват,
Но под одеждой власяной
Я человек, как и другой!
И ты, бесчувственный старик,
Когда б ее небесный лик
Тебе явился хоть во сне,
Ты позавидовал бы мне
И в исступленье, может быть,
Решился б также согрешить,
Отвергнув всё — закон и честь,
Ты был бы счастлив перенесть
За слово, ласку или взор
Мое страданье, мой позор!..

5

Я о спасенье не молюсь,
Небес и ада не боюсь;
Пусть вечно мучусь: не беда!
Ведь с ней не встречусь никогда!
Разлуки первый, грозный час
Стал веком, вечностью для нас!
И если б рай передо мной
Открыт был властью неземной,
Клянусь, я, прежде чем вступил,
У врат священных бы спросил,
Найду ли там, среди святых,
Погибший рай надежд моих?
Нет, перестань, не возражай...
Что без нее земля и рай?
Пустые звонкие слова,
Блестящий храм без божества!
Увы! отдай ты мне назад

Ее улыбку, милый взгляд,
Отдай мне свежие уста
И голос сладкий, как мечта...
Один лишь слабый звук отдай...
О! старец! что такое рай?..

6

Смотри, в сырой тюрьме моей
Не видно солнечных лучей,
Но раз на мрачное окно
Упал один — давным-давно;
И с этих пор между камней,
Ничтожный след веселых дней,
Забыт, как узник одинок,
Растет бледнеющий цветок,
Но вовсе он не расцветет
И где родился — там умрет.
И не сходна ль, отец святой,
Его судьба с моей судьбой?
Знай, может быть, ее уж нет...
И вот последний мой ответ:
Поди, беги, зови скорей
Окровавлéнных палачей:
Судить и медлить вам начто?
Она не тут — и всё ничто!
Прощай, старик; вот казни час:
За них молись... В последний раз
Тебе клянусь перед творцом,
Что не виновен я ни в чем.
Скажи, что умер я как мог,
Без угрызений и тревог,
Что с тайной гибельной моей
Я не расстался для людей...
Забудь, что жил я... что любил
Гораздо более, чем жил!
Кого любил? Отец святой,
Вот что умрет во мне, со мной.
За жизнь, за мир, за вечность вам
Я тайны этой не продам!»
. . . .
. . . .

7

...И он погиб — и погребен.
И в эту ночь могильный звон
Был степи ветром принесен
К стенам обители другой,
Объятой сонной тишиной,
И в храм высокий он проник...
Там, где сиял мадонны лик
В дыму трепещущих лампад,
Как призраки стояли в ряд
Двенадцать дев, которых свет
Причел к умершим с давних лет.
Неслась мольба их к небесам,
И отвечал старинный храм
Их песни мирной и святой,
И пели все, кроме одной.
Как херувим, она была
Обворожительно мила.
В ее лице никто б не мог
Открыть печали и тревог.
Но что такое женский взгляд?
В глазах был рай, а в сердце ад!
Прилежным ухом у окна
Шум ветра слушала она,
Как будто должен был принесть
Он речь любви иль смерти весть!..
Когда ж унылый звон проник
В обширный храм — то слабый крик
Раздался, пролетел и вмиг
Утих. Но тот, кто услыхал,
Подумал, верно, иль сказал,
Что дважды из груди одной
Не вылетает звук такой!..
Любовь и жизнь он взял с собой.

Вторая половина 1831

443. МОРЯК

Отрывок

O'er the glad waters of the dark blue sea,
Our thoughts as boundless, and our souls as free,
Far as the breeze can bear, the billows foam,
Survey our empire, and behold our home.

«The Corsair». L. Byron [1]

В семье безвестной я родился,
Под небом северной страны,
И рано, рано приучился
Смирять усилия волны!
О детстве говорить не стану.
Я подарён был океану,
Как лишний в мире, в те года
Беспечной смелости, когда
Нам всё равно — земля иль море,
Родимый или чуждый дом;
Когда без радости поём
И, как раба, мы топчем горе;
Когда мы ради всё отдать,
Чтоб вольным воздухом дышать.

Я волен был в моей темнице,
В полуживой тюрьме моей;
Я всё имел, что надо птице:
Гнездо на мачте меж снастей!
Как я могущ себе казался,
Когда на воздухе качался,
Держась упругою рукой
За парус иль канат сырой.
Я был меж небом и волнами,
На облака и вниз глядел,
И не смущался, не робел,

---

[1] Над радостными волнами синего моря
Наши мысли так же безграничны, а души так же свободны, как оно;
Куда бы ни занес нас ветер и где бы ни пенились волны —
Там наши владения, там наша родина.
«Корсар». Л⟨орд⟩ Байрон (англ.).— *Ред.*

И, всё окинувши очами,
Я мчался выше — о! тогда
Я счастлив был, да, счастлив, да!

Найдите счастье мне другое!
Родными был оставлен я.
Мой кров стал — небо голубое,
Корабль стал — родина моя:
Я с ним тогда не расставался,
Я, как цепей, земли боялся;
Не ведал счету я друзьям:
Они всегда теснились к нам,
Катились следом, забегали,
Шумя, толкаяся, вперед
И нам нестись по лону вод,
Казалось, запретить желали;
Но это шутка лишь была,
Они не делали нам зла.

Я их угадывал движенья,
Я понимал их разговор,
Живой и полный выраженья;
В нем были ласки и укор,
И был звучней тот звук чудесный,
Чем ветра вой и шум древесный!
И каждый вечер предо мной
Они в одежде парчевой,
Как люди, гордые являлись.
Обворожен, я начал им
Молиться, как богам морским,
И чувства прежние умчались
С непостижимой быстротой
Пред этой новою мечтой!..
Мир обольстительный и странный,
Мир небывалый, но живой,
Блестящий вместе и туманный,
Тогда открылся предо мной,
Всё оживилось: без значенья
Меж тучек не было движенья,
И в море каждая волна
Была душой одарена.
Безумны были эти лета!
Но что ж? Ужели был смешней
Я тех неопытных людей,

Которые, в пустыне света
Блуждая, думают найти
Любовь и душу на пути?

Все чувства тайной мукой полны,
И всякий плакал, кто любил:
Любил ли он морские волны
Иль сердце женщинам дарил!
Покрывшись пеною рядами,
Как серебром и жемчугами,
Несется гордая волна,
Толпою слуг окружена,—
Так точно дева молодая
Идет, гордясь, между рабов,
Их скромных просьб, их нежных слов
Не слушая, не понимая!
Но вянут девы в тишине,
А волны, волны всё одне.

Я обожатель их свободы!
Как я в душе любил всегда
Их бесконечные походы
Бог весть откуда и куда;
И в час заката молчаливый
Их раззолоченные гривы,
И бесполезный этот шум,
И эту жизнь без дел и дум,
Без родины и без могилы,
Без наслажденья и без мук;
Однообразный этот звук,
И, наконец, все эти силы,
Употребленные на то,
Чтоб малость обращать в ничто!

Как я люблю их дерзкий шепот
Перед летучим кораблем;
Их дикий плеск, упрямый ропот,
Когда утес, склонясь челом,
Все их усилья презирает,
Не им грозит, не им внимает.
Люблю их рев, и тишину,
И эту вечную войну
С другой стихией, с облаками,
С дождем и вихрем! Сколько раз

На корабле, в опасный час,
Когда летала смерть над нами,
Я в ужасе творца молил,
Чтоб океан мой победил!

1832

444. ИЗМАИЛ-БЕЙ

Восточная повесть

Опять явилось вдохновенье
Душе безжизненной моей
И превращает в песнопенье
Тоску, развалину страстей.
Так, посреди чужих степей,
Подруг внимательных не зная,
Прекрасный путник, птичка рая
Сидит на дереве сухом,
Блестя лазоревым крылом.
Пускай ревет, бушует вьюга —
Она поет лишь об одном,
Она поет о солнце юга!..

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

So moved on earth Circassia's
daughter,
The loveliest bird of Franguestan!

«The Giaour». Byron [1]

1

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.
И долго мне мечталось с этих пор
Всё небо юга да утесы гор.

---

[1] Так шествовала по земле дочь Черкесии,
Прелестнейшая птица Франгистана!
«Гяур». Байрон (англ.).— *Ред.*

Прекрасен ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы,
Когда, как дым синея, облака
Под вечер к вам летят издалека,
Над вами вьются, шепчутся, как тени,
Как над главой огромных привидений
Колеблемые перья,— и луна
По синим сводам странствует одна.

2

Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенных, громких бурь,
Когда пещеры и холмы крутые
Как стражи окликаются ночные;
И вдруг проглянет солнце, и поток
Озолотится, и степной цветок,
Душистую головку поднимая,
Блистает, как цветы небес и рая...
В вечерний час дождливых облаков
Я наблюдал разодранный покров;
Лиловые, с багряными краями,
Одни еще грозят, и над скалами
Волшебный замок, чудо древних дней,
Растет в минуту, но еще скорей
Его рассеет ветра дуновенье!
Так прерывает резкий звук цепей
Преступного страдальца сновиденье,
Когда он зрит холмы своих полей...
Меж тем белей, чем горы снеговые,
Идут на запад облака другие
И, проводивши день, теснятся в ряд,
Друг через друга светлые глядят
Так весело, так пышно и беспечно,
Как будто жить и нравиться им вечно!..

3

И дики тех ущелий племена,
Им бог — свобода, их закон — война,
Они растут среди разбоев тайных,

Жестоких дел и дел необычайных;
Там в колыбели песни матерей
Пугают русским именем детей;
Там поразить врага не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.

4

Темны преданья их. Старик чеченец,
Хребтов Казбека бедный уроженец,
Когда меня чрез горы провожал,
Про старину мне повесть рассказал.
Хвалил людей минувшего он века,
Водил меня под камень Росламбека;
Повисший над извилистым путем,
Как будто бы удержанный аллою
На воздухе в падении своем,
Он весь оброс зеленою травою,
И, не боясь, что камень упадет,
В его тени, храним от непогод,
Пленительней, чем голубые очи
У нежных дев ледя́ной полуночи,
Склоняясь в жар на длинный стебелек,
Растет воспоминания цветок!..
И под столетней мшистою скалою
Сидел чечен однажды предо мною;
Как серая скала, седой старик,
Задумавшись, главой своей поник...
Быть может, он о родине молился!
И, странник чуждый, я прервать страшился
Его молчанье и молчанье скал:
Я их в тот час почти не различал!

5

Его рассказ, то буйный, то печальный,
Я вздумал перенесть на север дальный:
Пусть будет странен в нашем он краю,
Как слышал, так его передаю!
Я не хочу, не знаемый толпою,
Чтобы как тайна он погиб со мною;

Пускай ему не внемлют, до конца
Я доскажу! Кто с гордою душою
Родился, тот не требует венца.
Любовь и песни — вот вся жизнь певца;
Без них она пуста, бедна, уныла,
Как небеса без туч и без светила!..

6

Давным-давно, у чистых вод,
Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает,
А за крутым Бешту садится,[1]
Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели,
Гордились дружбою взаимной.
Там каждый путник находил
Ночлег и пир гостеприимный;
Черкес счастлив и волен был.
Красою чудной за горами
Известны были девы их,
И старцы с белыми власами
Судили распри молодых,
Весельем песни их дышали!
Они тогда еще не знали
Ни золота, ни русской стали!

7

Не всё судьба голубит нас —
Всему свой день, всему свой час.
Однажды — солнце закатилось,
Туман белел уж под горой,
Но в эту ночь аулы, мнилось,
Не знали тишины ночной.
Стада теснились и шумели,
Арбы тяжелые скрыпели,
Трепéща, жены близ мужей
Держали плачущих детей,
Отцы их, бурками одеты,

[1] Две главные горы.

Садились молча на коней,
И заряжали пистолеты,
И на костре высоком жгли,
Что взять с собою не могли!
Когда же день новорожденный
Заветный озарил курган
И мокрый утренний туман
Рассеял ветер пробужденный,
Он обнажил подошвы гор,
Пустой аул, пустое поле,
Едва дымящийся костер
И свежий след колес — не боле.

8

Но что могло заставить их
Покинуть прах отцов своих
И добровольное изгнанье
Искать среди пустынь чужих?
Гнев Магомета? Прорицанье?
О нет! Примчалась как-то весть,
Что к ним подходит враг опасный,
Неумолимый и ужасный,
Что всё громам его подвластно,
Что сил его нельзя и счесть.
Черкес удалый в битве правой
Умеет умереть со славой,
И у жены его младой
Спаситель есть — кинжал двойной.
И страх насильства и могилы
Не мог бы из родных степей
Их удалить: позор цепей
Несли к ним вражеские силы!
Мила черкесу тишина,
Мила родная сторона,
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя.
«В насмешку русским и в укор
Оставим мы утесы гор;
Пусть на тебя, Бешту суровый,
Попробуют надеть оковы» —
Так думал каждый; и Бешту
Теперь их мысли понимает,

На русских злобно он взирает
Иль облаками одевает
Вершин кудрявых красоту.

9

Меж тем летят за годом годы,
Готовят мщение народы,
И пятый год уж настает,
А кровь джяуров не течет.
В необитаемой пустыне
Черкес бродящий отдохнул,
Построен новый был аул
(Его следов не видно ныне).
Старик и воин молодой
Кипят отвагой и враждой.
Уж Росламбек с брегов Кубани
Князей союзных поджидал;
Лезгинец, слыша голос брани,
Готовит стрелы и кинжал;
Скопилась месть их роковая
В тиши над дремлющим врагом,—
Так летом глыба снеговая,
Цветами радуги блистая,
Висит, прохладу обещая,
Над беззаботным табуном...

10

В тот самый год, осенним днем,
Между Железной и Змеиной,[1]
Где чуть приметный путь лежал,
Цветущей узкою долиной
Тихонько всадник проезжал.
Кругом, налево и направо,
Как бы остатки пирамид,
Подъемлясь к небу величаво,
Гора из-за горы глядит;
И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугает чудной вышиной.

---

[1] Две горы, находящиеся рядом с Бешту.

11

Еще небесное светило
Росистый луг не обсушило.
Со скал гранитных над путем
Склонился дикий виноградник,
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник.
Но вот остановился он.
Как новой мыслью поражен,
Смущенный взгляд кругом обводит,
Чего-то, мнится, не находит;
То пустит он коня стремглав,
То остановит и, привстав
На стремена, дрожит, пылает.
Всё пусто! Он с коня слезает,
К земле сырой главу склоняет
И слышит только шелест трав.
Всё одичало, онемело.
Тоскою грудь его полна...
Скажу ль? За кровлю сакли белой,
За близкий топот табуна
Тогда он мир бы отдал целый!..

12

Кто ж этот путник? Русский? — нет.
На нем чекмень, простой бешмет,
Чело под шапкою косматой;
Ножны кинжала, пистолет
Блестят насечкой небогатой;
И перетянут он ремнем,
И шашка чуть звенит на нем;
Ружье, мотаясь за плечами,
Белеет в шерстяном чехле.
И как же горца на седле
Не различить мне с казаками?
Я не ошибся — он черкес!
Но смуглый цвет почти исчез
С его ланит; снега и вьюга
И холод северных небес,
Конечно, смыли краску юга,
Но видно всё, что он черкес!

Густые брови, взгляд орлиный,
Ресницы длинны и черны,
Движенья быстры и вольны́.
Отвергнул он обряд чужбины,
Не сбрил бородки и усов,
И блещет белый ряд зубов,
Как брызги пены у брегов.
Он, сколько мог, привычек, правил
Своей отчизны не оставил...
Но горе, горе, если он,
Храня людей суровых мненья,
Развратом, ядом просвещенья
В Европе душной заражен!
Старик для чувств и наслажденья,
Без седины между волос,
Зачем в страну, где всё так живо,
Так неспокойно, так игриво,
Он сердце мертвое принес?..

13

Как наши юноши, он молод,
И хладен блеск его очей.
Поверхность темную морей
Так покрывает ранний холод
Корой ледя́ною своей
До первой бури. Чувства, страсти,
В очах навеки догорев,
Таятся, как в пещере лев,
Глубоко в сердце, но их власти
Оно никак не избежит.
Пусть будет это сердце камень —
Их пробужденный адский пламень
И камень углем раскалит!

14

И всё прошедшее явилось,
Как тень умершего, ему;
Всё с этих пор переменилось,
Бог весть и как и почему!
Он в поле выехал пустое,
Вдруг слышит выстрел — что такое?

Как будто на смех, звук один,
Жилец ущелий и стремнин,
Трикраты отзыв повторяет.
Кинжал свой путник вынимает,
И вот, с винтовкой без штыка,
В кустах он видит казака;
Пред ним фазан окровавлéнный,
Росою с листьев окропленный,
Блистая радужным хвостом,
Лежал в траве, пробит свинцом.
И ближе путник подъезжает
И чистым русским языком:
«Казак, скажи мне,— вопрошает,—
Давно ли пусто здесь кругом?»
— «С тех пор, как русских устрашился
Неустрашимый твой народ!
В чужих горах от нас он скрылся.
Тому сегодня пятый год».

15

Казак умолк, но что с тобою,
Черкес? Зачем твоя рука
Подъята с шашкой роковою?
Прости улыбку казака!
Увы! свершилось наказанье...
В крови, без чувства, без дыханья
Лежит насмешливый казак.
Черкес глядит на лик холодный,
В нем пробудился дух природный —
Он пощадить не мог никак,
Он удержать не мог удара.
Как в тучах зарево пожара,
Как лава Этны по полям,
Больной румянец по щекам
Его разлился, и блистали,
Как лезвиё кровавой стали,
Глаза его, и в этот миг
Душа и ад — всё было в них.
Оборотясь, с улыбкой злобной
Черкес на север кинул взгляд;
Ничто, ничто смертельный яд
Перед улыбкою подобной!

Волною поднялася грудь,
Хотел он и не мог вздохнуть,
Холодный пот с чела крутого
Катился,— но из уст ни слова!

16

И вдруг очнулся он, вздрогну́л,
К луке припал, коня толкнул.
Одно мгновенье на кургане
Он черной птицею мелькнул
И скоро скрылся весь в тумане.
Чрез камни конь его несет,
Он не глядит и не боится.
Так быстро скачет только тот,
За кем раскаяние мчится!..

17

Куда черкес направил путь?
Где отдохнет младая грудь
И усмирится дум волненье?
Черкес не хочет отдохнуть —
Ужели отдыхает мщенье?
Аул, где детство он провел,
Мечети, кровы мирных сел —
Всё уничтожил русский воин.
Нет, нет, не будет он спокоен,
Пока из белых их костей,
Векам грядущим в поученье,
Он не воздвигнет мавзолей
И так отмстит за униженье
Любезной родины своей.
«Я знаю вас,— он шепчет,— знаю,
И вы узнаете меня;
Давно уж вас я презираю,
Но вашу кровь пролить желаю
Я только с нынешнего дня!»
Он бьет и дергает коня,
И конь летит, как ветер степи,
Надулись ноздри, блещет взор.
И уж в виду зубчаты цепи
Кремнистых бесконечных гор,

И Шат подъемлется за ними
С двумя главами снеговыми,
И путник мнит: «Недалеко,
В час прискачу я к ним легко!»

18

Пред ним, с оттенкой голубою,
Полувоздушною стеною
Нагие тянутся хребты;
Неверны, странны как мечты,
То разойдутся — то сольются...
Уж час прошел, и двух уж нет!
Они над путником смеются,
Они едва меняют цвет!
Бледнеет путник от досады,
Конь непривычный устает.
Уж солнце к западу идет,
И больше в воздухе прохлады,
А всё пустынные громады,
Хотя и выше и темней,
Еще загадка для очей.

19

Но вот его, подобно туче,
Встречает крайняя гора;
Пестрей восточного ковра
Холмы кругом, всё выше, круче;
Покрытый пеной до ушей,
Здесь начал конь дышать вольней.
И детских лет воспоминанья
Перед черкесом пронеслись,
В груди проснулися желанья,
Во взорах слезы родились.
Погасла ненависть на время,
И дум неотразимых бремя
От сердца, мнилось, отлегло.
Он поднял светлое чело,
Смотрел и внутренно гордился,
Что он черкес, что здесь родился!
Меж скал незыблемых один,

Забыл он жизни скоротечность,
Он, в мыслях мира властелин,
Присвоить бы желал их вечность.
Забыл он всё, что испытал,
Друзей, врагов, тоску изгнанья
И, как невесту в час свиданья,
Душой природу обнимал!..

20

Краснеют сизые вершины,
Лучом зари освещены;
Давно расселины темны;
Катясь чрез узкие долины,
Туманы сонные легли,
И только топот лошадиный,
Звуча, теряется вдали.
Погас, бледнея, день осенний;
Свернув душистые листы,
Вкушают сон без сновидений
Полузавядшие цветы;
И в час урочный молчаливо
Из-под камней ползет змея,
Играет, нежится лениво,
И серебрится чешуя
Над перегибистой спиною —
Так сталь кольчуги иль копья
(Когда забыты после бою
Они на поле роковом),
В кустах найде́нная луною,
Блистает в сумраке ночном.

21

Уж поздно, путник одинокий
Оделся буркою широкой.
За дубом низким и густым
Дорога скрылась, ветер дует;
Конь спотыкается под ним,
Храпит, как будто гибель чует,
И встал!.. Дивится, слез седок
И видит пропасть пред собою,

А там, на дне ее, поток
Во мраке бешеной волною
Шумит. (Слыхал я этот шум,
В пустыне ветром разнесенный,
И много пробуждал он дум
В груди, тоской опустошенной.)
В недоуменье над скалой
Остался странник утомленный.
Вдруг видит он, в дали пустой
Трепещет огонек, и снова
Садится на коня лихого;
И через силу скачет конь
Туда, где светится огонь.

22

Не дух коварства и обмана
Манил трепещущим огнем,
Не очи злобного шайтана
Светилися в ущелье том —
Две сакли белые, простые
Таятся мирно за холмом,
Чернеют крыши земляные,
С краев ряды травы густой
Висят зеленой бахромой,
А ветер осени сырой
Поет им песни неземные.
Широкий окружает двор
Из кольев и ветвей забор,
Уже нагнутый, обветшалый.
Всё в мертвый сон погружено —
Одно лишь светится окно!..
Заржал черкеса конь усталый,
Ударил о́ землю ногой,
И отвечал ему другой...
Из сакли кто-то выбегает,
Идет — великий Магомет
К нам гостя, верно, посылает.
«Кто здесь?» — «Я странник!» — был ответ.
И больше спрашивать не хочет,
Обычай прадедов храня,
Хозяин скромный. Вкруг коня
Он сам заботится, хлопочет,

Он сам снимает весь прибор
И сам ведет его на двор.

23

Меж тем приветно в сакле дымной
Приезжий встречен стариком;
Сажая гостя пред огнем,
Он руку жмет гостеприимно.
Блистает по стенам кругом
Богатство горца: ружья, стрелы,
Кинжалы с набожным стихом,
В углу башлык убийцы белый
И плеть меж буркой и седлом.
Они заводят речь — о воле,
О прежних днях, о бранном поле.
Кипит, кипит беседа их,
И носятся в мечтах живых
Они к грядущему, к былому.
Проходит неприметно час —
Они сидят! И в первый раз,
Внимая странника рассказ,
Старик дивится молодому.

24

Он сам лезгинец; уж давно
(Так было небом суждено)
Не зрел отечества. Три сына
И дочь младая с ним живут.
При них молчит еще кручина,
И бедный мил ему приют.
Когда горят ночные звезды,
Тогда пускаются в разъезды
Его лихие сыновья:
Живет добычей вся семья!
Они повсюду страх приносят:
Украсть, отнять — им всё равно;
Чихирь и мед кинжалом просят
И пулей платят за пшено,
Из табуна ли, из станицы
Любого уведут коня.

Они боятся только дня,
И их владеньям нет границы!
Сегодня дома лишь один
Его любимый старший сын.
Но слов хозяина не слышит
Пришелец! Он почти не дышит,
Остановился быстрый взор,
Как в миг паденья метеор:
Пред ним, под видом девы гор,
Создание земли и рая,
Стояла пери молодая!

25

И кто б, ее увидев, молвил: нет!
Кто прелести небес иль даже след
Небесного, рассеянный лучами
В улыбке уст, в движенье черных глаз,
Всё, что так дружно с первыми мечтами,
Всё, что встречаем в жизни только раз,
Не отличит от красоты ничтожной,
От красоты земной, нередко ложной?
И кто, кто скажет, совесть заглуша:
«Прелестный лик, но хладная душа!»,
Когда он вдруг увидит пред собою
То, что сперва почел бы он душою,
Освобожденной от земных цепей,
Слетевшей в мир, чтоб утешать людей!
Пусть, подойдя, лезгинку он узнает:
В ее чертах земная жизнь играет,
Восточная видна в ланитах кровь;
Но только удалился образ милый —
Он станет сомневаться в том, что было,
И заблужденью он поверит вновь!

26

Нежна — как пери молодая,
Создание земли и рая,
Мила — как нам в краю чужом
Меж звуков языка чужого
Знакомый звук, родных два слова!

Так утешительно мила,
Как древле узнику была
На сумрачном окне темницы
Простая песня вольной птицы,
Стояла Зара у огня!
Чело немножко наклоня,
Она стояла гордо, ловко.
В ее наряде простота —
Но также вкус! Ее головка
Платком прилежно обвита,
Из-под него до груди нежной
Две косы темные небрежно
Бегут,— уж, верно, час она
Их расплетала, заплетала!
Она понравиться желала:
Как в этом женщина видна!

27

Рукой дрожащей, торопливой
Она поставила стыдливо
Смиренный ужин пред отцом
И улыбнулась; и потом
Уйти хотела; и не знала,
Идти ли? Грудь ее порой
Покров приметно поднимала;
Она послушать бы желала,
Что скажет путник молодой.
Но он молчит, блуждают взоры:
Их привлекает лезвиё
Кинжала, ратные уборы;
Но взгляд последний на нее
Был устремлен! Смутилась дева,
Но, не боясь отцова гнева,
Она осталась — и опять
Решилась путнику внимать...
И что-то ум его тревожит;
Своих неконченых речей
Он оторвать от уст не может,
Смеется — но больших очей
Давно не обращает к ней;
Смеется, шутит он,— но хладный,
Печальный смех нейдет к нему.

Замолкнет он — ей вновь досадно,
Сама не знает почему.
Черкес ловил сначала жадно
Движенье глаз ее живых.
И наконец остановились
Глаза, которые резвились,
Ответа ждут, к нему склонились,
А он забыл, забыл о них!
Довольно! Этого удара
Вторично дева не снесет:
Ему мешает, видно, Зара?
Она уйдет! Она уйдет!..

28

Кто много странствовал по свету,
Кто наблюдать его привык,
Кто затвердил страстей примету,
Кому известен их язык,
Кто рано брошен был судьбою
Меж образованных людей
И, как они, с своей рукою
Не отдавал души своей,—
Тот пылкой женщины пристрастье
Не почитает уж за счастье,
Тот с сердцем диким и простым
И с чувством некогда святым
Шутить боится. Он улыбкой
Слезу старается встречать,
Улыбке хладно отвечать;
Коль обласкает — так ошибкой!
Притворством вечным утомлен,
Уж и себе не верит он;
Душе высокой не довольно
Остатков юности своей.
Вообразить еще ей больно,
Что для огня нет пищи в ней.
Такие люди в жизни светской
Почти всегда причина зла,
Какой-то робостию детской
Их отзываются дела:
И обольстить они не смеют
И вовсе кинуть не умеют!

И часто думают они,
Что их излечит край далекой,
Пустыня, вид горы высокой
Иль тень долины одинокой,
Где юности промчались дни,
Но ожиданье их напрасно:
Душе всё внешнее подвластно!

29

Уж милой Зары в сакле нет.
Черкес глядит ей долго вслед
И мыслит: «Нежное созданье!
Едва из детских вышла лет,
А есть уж слезы и желанья!
Бессильный, светлый луч зари,
На темной туче не гори:
На ней твой блеск лишь помрачится,
Ей ждать нельзя, она умчится!

30

Еще не знаешь ты, кто я.
Утешься! Нет, не мирной доле,
Но битвам, родине и воле
Обречена судьба моя.
Я б мог нежнейшею любовью
Тебя любить, но над тобой
Хранитель, верно, неземной:
Рука, обрызганная кровью,
Должна твою ли руку жать?
Тебя ли греть моим объятьям?
Тебя ли станут целовать
Уста, привыкшие к проклятьям?»
. . . .

31

Пора! Яснеет уж восток,
Черкес проснулся, в путь готовый.
На пепелище огонек
Еще синел. Старик суровый

Его раздул, пшено сварил,
Сказал, где лучшая дорога,
И сам до ветхого порога
Радушно гостя проводил.
И странник медленно выходит,
Печалью тайной угнетен:
О юной деве мыслит он...
И кто ж коня ему подводит?

32

Уныло Зара перед ним
Коня походного держала
И тихим голосом своим,
Подняв глаза к нему, сказала:
«Твой конь готов! Моей рукой
Надета бранная уздечка,
И серебристой чешуей
Блестит кубанская насечка,
И бурку черную ремнем
Я привязала за седлом,—
Мне это дело ведь не ново.
Любезный странник, всё готово!
Твой конь прекрасен: не страшна
Ему утесов крутизна,
Хоть вырос он в краю далеком;
В нем дикость гордая видна,
И ло́снится его спина,
Как камень, сглаженный потоком;
Как уголь, взор его блестит,
Лишь наклонись — он полетит;
Его я гладила, ласкала,
Чтобы тебя он, путник, спас
От вражей шашки и кинжала
В степи глухой, в недобрый час!

33

Но погоди в стальное стремя
Ступать поспешною ногой.
Послушай, странник молодой,
Как знать? — быть может, будет время,

И ты на милой стороне
Случайно вспомнишь обо мне.
И если чаша пированья
Кипит, блестит в руке твоей,
То не ласкай воспоминанья,
Гони от сердца поскорей,
Но если эта мысль родится,
Но если образ мой приснится
Тебе в страдальческую ночь —
Услышь, услышь мое моленье!
Не презирай то сновиденье,
Не отгоняй те мысли прочь!

34

Приют наш мал, зато спокоен;
Его не тронет русский воин,—
И что им взять? — пять-шесть коней
Да наши грубые одежды?
Поверь ты скромности моей,
Откройся мне: куда надежды
Тебя коварные влекут?
Чего искать? — Останься тут,
Останься с нами, добрый странник!
Я вижу ясно — ты изгнанник,
Ты от земли своей отвык,
Ты позабыл ее язык.
Зачем спешишь к родному краю
И что там ждет тебя? — не знаю.
Пусть мой отец твердит порой,
Что без малейшей укоризны
Должны мы жертвовать собой
Для непризнательной отчизны:
По мне, отчизна только там,
Где любят нас, где верят нам!

35

Еще туман белеет в поле,
Опасен ранний хлад вершин...
Хоть день один, хоть час один,
Послушай, час один, не боле,
Пробудь, жестокий, близ меня!

Я покормлю еще коня,
Моя рука его отвяжет,
Он отдохнет, напьется, ляжет,
А ты у сакли здесь, в тени,
Главу мне на руку склони;
Твоих речей услышать звуки
Еще желала б я хоть раз:
Не удержу ведь счастья час,
Не прогоню ведь час разлуки?..»
И Зара с трепетом в ответ
Ждала напрасно два-три слова;
Скрывать печали силы нет,
Слеза с ресниц упасть готова.
Увы! молчание храня,
Садится путник на коня.
Уж ехать он приготовлялся,
Но обернулся — испугался,
И, состраданьем увлечен,
Хотел ее утешить он:

36

«Не обвиняй меня так строго!
Скажи, чего ты хочешь? — слез?
Я их имел когда-то много:
Их мир из зависти унес!
Но не решусь судьбы мятежной
Я разделять с душою нежной,—
Свободный, раб иль властелин,
Пускай погибну я один.
Всё, что меня хоть малость любит,
За мною вслед увлечено:
Мое дыханье радость губит,
Щадить — мне власти не дано!
И не простого человека
(Хотя в одежде я простой),
Утешься, Зара! Пред собой
Ты видишь брата Росламбека!
Я в жертву счастье должен принести...
О! не жалей о том! — прости, прости!..»

Сказал, махнул рукой, и звук подков
Раздался, в отдаленье умирая.
Едва дыша, без слез, без дум, без слов
Она стоит, бесчувственно внимая,
Как будто этот дальний звук подков
Всю будущность ее унес с собою.
О Зара, Зара! Краткою мечтою
Ты дорожила; где ж твоя мечта?
Как очи полны, как душа пуста!
Одно мгновенье тяжелей другого,
Всё, что прошло, ты оживляешь снова!..
По целым дням она глядит туда,
Где скрылася любви ее звезда,
Везде, везде она его находит:
В вечерних тучах милый образ бродит;
Услышав ночью топот, с ложа сна
Вскочив, дрожит и ждет его она,
И, постепенно ветром разносимый,
Всё ближе, ближе топот — и всё мимо!
Так метеор порой летит на нас,
И ждешь — и близок он — и вдруг погас!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

High minds, of native pride and force,
Most deeply feel thy pangs, Remorse!
Fear, for their scourge, mean villains have,
Thou art the torturer of the brave!

«Marmion». S. Walter-Scott [1]

1

Шумит Аргуна мутною волной;
Она коры не знает ледяной,
Цепей зимы и хлада не боится;
Серебряной покрыта пеленой,
Она сама между снегов родится,

[1] Высокие души, по природной гордости и силе,
Глубже всех чувствуют твои угрызения, Совесть!
Страх, словно бич, повелевает низкой чернью,
Ты же — истязатель смелого!
«Мармион». С⟨эр⟩ Вальтер-Скотт (англ.).— *Ред.*

И там, где даже серна не промчится,
Дитя природы, с детской простотой,
Она, резвясь, играет и кати́тся!
Порою, как согну́тое стекло,
Меж длинных трав прозрачно и светло
По гладким камням в бездну ниспадая,
Теряется во мраке, и над ней
С прощальным воркованьем вьется стая
Пугливых сизых вольных голубей...
Зеленым можжевельником покрыты,
Над мрачной бездной гробовые плиты
Висят и ждут, когда замолкнет вой,
Чтобы упасть и всё покрыть собой.
Напрасно ждут они! Волна не дремлет
Пусть темнота кругом ее объемлет,
Прорвет Аргуна землю где-нибудь
И снова полетит в далекий путь!

2

На берегу ее кипучих вод
Недавно новый изгнанный народ
Аул построил свой — и ждал мгновенье,
Когда свершить придуманное мщенье.
Черкес готовил дерзостный набег,
Союзники сбирались потаенно,
И умный князь, лукавый Росламбек,
Склонялся перед русскими смиренно,
А между тем с отважною толпой
Станицы разорял во тьме ночной,
И, возвратясь в аул, на пир кровавый
Он пленников дрожащих приводил,
И уверял их в дружбе, и шутил,
И головы рубил им для забавы.

3

Легко народом править, если он
Одною общей страстью увлечен,
Не должно только слишком завлекаться,
Пред ним гордиться или с ним равняться,
Не должно мыслей открывать своих

Иль спрашивать у подданных совета
И забывать, что лучше гор златых
Иному ласка и слова привета!
Старайся первым быть везде, всегда,
Не забывайся, будь в пирах умерен,
Не трогай суеверий никогда
И сам с толпой умей быть суеверен.
Страшись сначала много успевать,
Страшись народ к победам приучать,
Чтоб в слабости своей он признавался,
Чтоб каждый миг в спасителе нуждался,
Чтоб он тебя не сравнивал ни с кем
И почитал нуждою — принужденья.
Умей отважно пользоваться всем
И не проси никак вознагражденья!
Народ — ребенок: он не хочет дать,
Не покушайся вырвать — но украдь!

4

У Росламбека брат когда-то был,
О нем жалеют шайки удалые:
Отцом в Россию послан Измаил,
И их надежду отняла Россия.
Четырнадцати лет оставил он
Края, где был воспитан и рожден,
Чтоб знать законы и права чужие!
Не под персидским шелковым ковром
Родился Измаил, не песнью нежной
Он усыплен был в сумраке ночном:
Его баюкал бури вой мятежный!
Когда он в первый раз открыл глаза,
Его улыбку встретила гроза!
В пещере темной, где, гонимый братом,
Убийцею коварным, Бей-Булатом,
Его отец таился много лет,
Изгнанник новый, он увидел свет!

5

Как лишний меж людьми, своим рожденьем
Он душу не обрадовал ничью
И, хоть невинный, начал жизнь свою,
Как многие кончают,— преступленьем.

Он материнской ласки не знавал:
Не у груди, под буркою согретый,—
Один провел младенческие леты,
И ветер колыбель его качал,
И месяц полуночи с ним играл!
Он вырос меж землей и небесами,
Не зная принужденья и забот.
Привык он тучи видеть под ногами,
А над собой один лазурный свод,
И лишь орлы да скалы величавы
С ним разделяли юные забавы.
Он для великих создан был страстей,
Он обладал пылающей душою,
И бури юга отразились в ней
Со всей своей ужасной красотою!..
Но к русским послан он своим отцом,
И с той поры известья нет об нем...

6

Горой от солнца заслоненный,
Приют изгнанников смиренный,
Между кизиловых дерев
Аул рассыпан над рекою;
Стоит отдельно каждый кров,
В тени под дымной пеленою.
Здесь в летний день, в полдневный жар,
Когда с камней восходит пар,
Толпа детей в траве играет,
Черкес усталый отдыхает;
Меж тем сидит его жена
С работой в сакле одиноко,
И песню грустную она
Поет о родине далекой:
И облака родных небес
В мечтаньях видит уж черкес!
Там луг душистей, день светлее!
Роса перловая свежее;
Там разноцветною дугой,
Развеселясь, нередко дивы
На тучах строят мост красивый,
Чтоб от одной скалы к другой
Пройти воздушною тропой;

Там в первый раз, еще несмелый,
На лук накладывал он стрелы...

7

Дни мчатся. Начался байран.
Везде веселье, ликованья;
Мулла оставил алкоран,
И не слыхать его призванья;
Мечеть кругом освещена;
Всю ночь над хладными скалами
Огни краснеют за огнями,
Как над земными облаками
Земные звезды, но луна,
Когда на землю взор наводит,
Себе соперниц не находит,
И, одинокая, она
По небесам в сиянье бродит!

8

Уж скачка кончена давно,
Стрельба затихнула: темно.
Вокруг огня, певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.
На сером камне, безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
Наряд войны ему не нужен:
Он горд и беден — он певец!
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает: три струны
Уж забренчали под рукою,
И живо, с дикой простотою
Запел он песню старины.

9

ЧЕРКЕССКАЯ ПЕСНЯ

Много дев у нас в горах,
Ночь и звезды в их очах;
С ними жить завидна доля,
Но еще милее воля!
Не женися, молодец,
    Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
    Ты купи коня!

Кто жениться захотел,
Тот худой избрал удел,
С русским в бой он не поскачет;
Отчего? — жена заплачет!
Не женися, молодец,
    Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
    Ты купи коня!

Не изменит добрый конь:
С ним — и в воду и в огонь;
Он как вихрь в степи широкой,
С ним — всё близко, что далёко.
Не женися, молодец,
    Слушайся меня:
На те деньги, молодец,
    Ты купи коня!

10

Откуда шум? Кто эти двое?
Толпа в молчанье раздалась.
Нахмурив бровь, подходит князь,
И рядом с ним лицо чужое.
Три узденя за ними вслед.
«Велик Алла́ и Магомет! —
Воскликнул князь. — Сама могила
Покорна им! В стране чужой
Мой брат храним был их рукой:
Вы узнаете ль Измаила?
Между врагами он возрос,

Но не признал он их святыни,
И в наши синие пустыни
Одну лишь ненависть принес!»

11

И по долине восклицанья
Восторга дикого гремят;
Благословляя час свиданья,
Вкруг Измаила стар и млад
Теснятся, шепчут; поднимая
На плечи маленьких ребят,
Их жены смуглые, зевая,
На князя нового глядят.
Где ж Росламбек, кумир народа?
Где тот, кем славится свобода?
Один, забыт, перед огнем,
Поодаль, с пасмурным челом,
Стоял он, жертва злой досады.
Давно ли привлекал он сам
Все помышления, все взгляды?
Давно ли по его следам
Вся эта чернь, шумя, бежала?
Давно ль, дивясь его делам,
Их мать ребенку повторяла?
И что же вышло? — Измаил,
Врагов отечества служитель,
Всю эту славу погубил
Своим приездом? — И властитель,
Вчерашний гордый полубог,
Вниманья черни бестолковой
К себе привлечь уже не мог!
Ей всё пленительно, что ново!
«Простынет!» — мыслит Росламбек.
Но если злобный человек
Узнал уж зависть, то не может
Совсем забыть ее никак;
Её насмешливый призрáк
И днем и ночью дух тревожит.

12

Война!.. Знакомый людям звук
С тех пор, как брат от братних рук
Пред алтарем погиб невинно...

Гремя, через Кавказ пустынный
Промчался клик: война! война!
И пробудились племена.
На смерть идут они охотно.
Умолк аул, где беззаботно
Недавно слушали певца;
Оружья звон, движенье стана —
Вот ныне песни молодца,
Вот удовольствия байрана!..
«Смотри, как всякий биться рад
За дело чести и свободы!..
Так точно было в наши годы,
Когда нас вел Ахмат-Булат!» —
С улыбкой гордою шептали
Между собою старики,
Когда дорогой наблюдали
Отважных юношей полки.
Пора! кипят они досадой,
Что русских нет, — им крови надо!

13

Зима проходит, облака
Светлей летят по дальним сводам,
В реке глядятся мимоходом,
Но с гордым бешенством река,
Крутясь, как змей, не отвечает
Улыбке неба своего
И белых путников его
Меж тем упорно обгоняет.
И ровны, прямы, как стена,
По берегам темнеют горы;
Их крутизна, их вышина
Пленяют ум, пугают взоры.
К вершинам их прицеплена
Нагими красными корнями,
Кой-где кудрявая сосна
Стоит печальна и одна,
И часто мрачными мечтами
Тревожит сердце: так порой
Властитель, полубог земной,
На пышном троне, окруженный
Льстецов толпою униженной,

Грустит о том, что одному
На свете равных нет ему!

14

Завоевателю преграда
Положена в долине той, —
Из камней и дерев громада
Аргуну давит под собой.
К аулу нет пути иного,
И мыслят горцы: «Враг лихой!
Тебе могила уж готова!»
Но прямо враг идет на них,
И блеск орудий громовых
Далёко сквозь туман играет.
И Росламбек совет сзывает.
Он говорит: «В тиши ночной
Мы нападем на их отряды,
Как упадают водопады
В долину сонную весной...
Погибнут молча наши гости,
И их разбросанные кости,
Добыча вранов и волков,
Сгниют, лишенные гробов.
Меж тем с боязнию лукавой
Начнем о мире договор
И втайне местию кровавой
Омоем долгий наш позор».

15

Согласны все на подвиг ратный,
Но не согласен Измаил.
Взмахнул он шашкою булатной,
И шумно с места он вскочил;
Окинул вмиг летучим взглядом
Он узденей, сидевших рядом,
И, опустивши свой булат,
Так отвечает брату брат:
«Я не разбойник потаенный,
Я видеть, видеть кровь люблю,
Хочу, чтоб мною пораженный
Знал руку грозную мою!

Как ты, я русских ненавижу,
И даже более, чем ты,
Но под покровом темноты
Я чести князя не унижу!
Иную месть родной стране,
Иную славу надо мне!..»
И поединка ожидали
Меж братьев молча уздени;
Не смели тронуться они.
Он вышел — все еще молчали!..

16

Ужасна ты, гора Шайтан,
Пустыни старый великан.
Тебя злой дух, гласит преданье,
Построил дерзостной рукой,
Чтоб хоть на миг свое изгнанье
Забыть меж небом и землей.
Здесь три столетья, очарован,
Он тяжкой цепью был прикован,
Когда надменный с новых скал
Стрелой пророку угрожал.
Как буркой ельником покрыта,
Соседних гор она черней.
Тропинка желтая прорыта
Слезой отчаянья по ней;
Она ни мохом, ни кустами
Не зарастает никогда;
Пестрея чудными следами,
Она ведет... бог весть куда?
Олень с ветвистыми рогами,
Между высокими цветами,
Одетый хмелем и плющом,
Лежит, полуобъятый сном,
И вдруг знакомый лай он слышит
И чует близкого врага:
Поднявши медленно рога,
Минуту свежестью подышит,
Росу с могучих плеч стряхнет
И вдруг одним прыжком махнет
Через утес; и вот он мчится,
Тернов колючих не боится
И хмель коварный грудью рвет:

Но, вольный путь пересекая,
Пред ним тропинка роковая...
Никем не зримая рука
Царя лесов остановляет,
И он, как гибель ни близка,
Свой прежний путь не продолжает!..

17

Кто ж под ужасною горой
Зажег огонь сторожевой?
Треща, краснея и сверкая,
Кусты вокруг он озарил.
На камень голову склоняя,
Лежит поодаль Измаил:
Его приверженцы хотели
Идти за ним — но не посмели!

18

Вот что ему родной готовил край?
Сбылись мечты! Увидел он свой рай,
Где мир так юн, природа так богата,
Но люди, люди... Что природа им?
Едва успел обнять изгнанник брата,
Уж клевета и зависть — всё над ним!
Друзей улыбка, нежное свиданье,
За что б другой творца благодарил,
Всё то ему дается в наказанье,
Но для терпенья ль создан Измаил?
Бывают люди: чувства — им страданья;
Причуда злой судьбы — их бытие;
Чтоб самовластье показать свое,
Она порой кидает их меж нами, —
Так древле в море кинул царь алмаз,
Но гордый камень в свой урочный час
Ему обратно отдан был волнами!
И детям рока места в мире нет,
Они его пугают жизнью новой,
Они блеснут — и сгладится их след,
Как в темной туче след стрелы громóвой.
Толпа дивится часто их уму,

Но чаще обвиняет, потому
Что в море бед, как вихри их ни носят,
Они пособий от рабов не просят,
Хотят их превзойти в добре и зле,
И власти знак на гордом их челе.

19

«Бессмысленный! зачем отвергнул ты
Слова любви, моленья красоты?
Зачем, когда так долго с ней сражался,
Своей судьбы ты детски испугался?
Всё прежнее, незнаемый молвой,
Ты б мог забыть близ Зары молодой,
Забыть людей близ ангела в пустыне,
Ты б мог любить, но не хотел! — и ныне
Картины счастья живо пред тобой
Проходят укоряющей толпой:
Ты жмешь ей руку, грудь ее ⟨и⟩ плечи
Целуешь в упоенье; ласки, речи,
Исполненные счастья и любви,
Ты чувствуешь, ты слышишь; образ милый,
Волшебный взор — всё пред тобой, как было
Еще недавно. Все мечты твои
Так вероятны, что душа боится,
Не веря им, вторично ошибиться!
А чем ты это счастье заменил?» —
Перед огнем так думал Измаил.
Вдруг выстрел, два и много! — он вскочил
И слушает, но всё утихло снова.
И говорит он: «Это сон больного!»

20

Души волненьем утомлен,
Опять на землю князь ложится.
Трещит огонь, и дым клубится, —
И что же? — призрак видит он!
Перед огнем стоит, спокоен,
На саблю опершись рукой,
В фуражке белой русский воин,
Печальный, бледный и худой.

Спросить хотелось Измаилу,
Зачем оставил он могилу!
И свет дрожащего огня,
Упав на смуглые ланиты,
Черкесу придал вид сердитый:
«Чего ты хочешь от меня?»
— «Гостеприимства и защиты! —
Пришлец бесстрашно отвечал.—
Свой путь в горах я потерял,
Черкесы вслед за мной спешили
И казаков моих убили,
И верный конь под мною пал!
Спасти, убить врага ночного
Равно ты можешь! Не боюсь
Я смерти: грудь моя готова.
Твоей я чести предаюсь!»
— «Ты прав, на честь мою надейся!
Вот мой огонь: садись и грейся».

21

Тиха, прозрачна ночь была,
Светила на́ небе блистали,
Луна за облаком спала,
Но люди ей не подражали.
Перед огнем враги сидят,
Хранят молчанье и не спят.
Черты пришельца возбуждали
У князя новые мечты,
Они ему напоминали
Давно знакомые черты,—
То не игра воображенья.
Он должен разрешить сомненья...
И так пришельцу говорил
Нетерпеливый Измаил:
«Ты молод, вижу я! За славой
Привыкнув гнаться, ты забыл,
Что славы нет в войне кровавой
С необразованной толпой!
За что завистливой рукой
Вы возмутили нашу долю?
За то, что бедны мы и волю
И степь свою не отдадим

За злато роскоши нарядной;
За то, что мы боготворим,
Что презираете вы хладно!
Не бойся, говори смелей:
Зачем ты нас возненавидел,
Какою грубостью своей
Простой народ тебя обидел?»

22

«Ты ошибаешься, черкес! —
С улыбкой русский отвечает. —
Поверь: меня, как вас, пленяет
И водопад и темный лес;
С восторгом ваши льды я вижу,
Встречая пышную зарю,
И ваше племя я люблю,
Но одного я ненавижу!
Черкес он родом, не душой,
Ни в чем, ни в чем не схож с тобой!
Себе иль князю Измаилу
Клялся я здесь найти могилу...
К чему опять ты мрачный взор
Мохнатой шапкой закрываешь?
Твое молчанье мне укор;
Но выслушай, ты всё узнаешь...
И сам досадой запылаешь...

23

Ты знаешь, верно, что служил
В российском войске Измаил,
Но, образованный, меж нами
Родными бредил он полями,
И всё черкес в нем виден был.
В пирах и битвах отличался
Он перед всеми! Томный взгляд
Восточной негой отзывался:
Для наших женщин он был яд!
Воспламенив их воображенье,
Повелевал он без труда,
И за проступок наслажденье
Не почитал он никогда;

Не знаю — было то презренье
К законам стороны чужой
Или испорченные чувства!..
Любовью женщин, их тоской
Он веселился как игрой,
Но избежать его искусства
Не удалося ни одной.

24

Черкес! видал я здесь прекрасных,
Свободы нежных дочерей,
Но не сравню их взоров страстных
С приветом северных очей.
Ты не любил! Ни слов опасных,
Ни уст волшебных не знавал:
Кудрями девы золотыми
Ты в упоенье не играл,
Ты клятвам страсти не внимал,
И не был ты обманут ими!
Но я любил! Судьба меня
Блестящей радугой манила,
Невольно к бездне подводила...
И ждал я сча́стливого дня!
Своей невестой дорогою
Я смел уж ангела назвать,
Невинным ласкам отвечать
И с райской девой забывать,
Что рая нет уж под луною.
И вдруг ударил страшный час,
Причина долголетней муки:
Призыв войны, отчизны глас,
Раздался вестником разлуки.
Как дым рассеялись мечты!
Тот день я буду помнить вечно...
Черкес! черкес! ни с кем, конечно,
Ни с кем не расставался ты!

25

В то время Измаил случайно
Невесту увидал мою,
И страстью запылал он тайно!

Меж тем как в дальном я краю
Искал в боях конца иль славы,
Сластолюбивый и лукавый,
Он сердце девы молодой
Опутал сетью роковой.
Как он умел слезой притворной
К себе доверенность вселять!
Насмешкой — скромность побеждать
И, побеждая, вид покорный
Хранить иль весь огонь страстей
Мгновенно открывать пред ней!
Он очертил волшебным кругом
Ее желанья; ведал он,
Что быть не мог ее супругом,
Что разделял их наш закон,
И обольщенная упала
На грудь убийцы своего!
Кроме любви, она не знала,
Она не знала ничего...

26

Но скоро скуку пресыщенья
Постиг виновный Измаил!
Таиться не было терпенья,
Когда погас минутный пыл.
Оставил жертву обольститель
И удалился в край родной,
Забыв, что есть на небе мститель,
А на земле еще другой!
Моя рука его отыщет
В толпе, в лесах, в степи пустой,
И казни грозной меч просвищет
Над непреклонной головой.
Пусть лик одежда изменяет:
Не взор — душа врага узнает!

27

Черкес, ты понял, вижу я,
Как справедлива месть моя!
Уж на устах твоих проклятья!
Ты, внемля, вздрагивал не раз...

О, если б мог пересказать я,
Изобразить ужасный час,
Когда прелестное созданье
Я в униженье увидал
И безотчетное страданье
В глазах увядших прочитал!
Она рассудок потеряла:
Рядилась, пела ⟨и⟩ плясала
Иль, сидя молча у окна,
По целым дням, как бы не зная,
Что изменил он ей, вздыхая,
Ждала изменника она.
Вся жизнь погибшей девы милой
Остановилась на былом;
Ее безумье даже было
Любовь к нему и мысль об нем...
Какой душе не знал он цену!..»
И долго русский говорил
Про месть, про счастье, про измену,—
Его не слушал Измаил.
Лишь знает он да бог единый,
Что под спокойною личиной
Тогда происходило в нем.
Стеснив дыханье, вверх лицом
(Хоть сердце гордое и взгляды
Не ждали от небес отрады)
Лежал он на земле сырой,
Как та земля и мрачный и немой!

28

Видали ль вы, как хищные и злые
К оставленному трупу в тихий дол
Слетаются наследники земные —
Могильный ворон, коршун и орел?
Так есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце — и грызут!
Века печали стоят тех минут.
Лишь дунет вихрь — и сломится лилея,
Таков с душой кто слабою рожден,
Не вынесет минут подобных он,
Но мощный ум, крепясь и каменея,

Их превращает в пытку Прометея!
Не сгладит время их глубокий след:
Всё в мире есть — забвенья только нет!

29

Светает. Горы снеговые
На небосклоне голубом
Зубцы подъемлют золотые;
Слилися с утренним лучом
Края волнистого тумана,
И на верху горы Шайтана
Огонь, стыдясь перед зарей,
Бледнеет; тихо приподнялся,
Как перед смертию больной,
Угрюмый князь с земли сырой.
Казалось, вспомнить он старался
Рассказ ужасный и желал
Себя уверить он, что спал;
Желал бы счесть он всё мечтою...
И по челу провел рукою,
Но грусть — жестокий властелин!
С чела не сгладил он морщин.

30

Он встал, он хочет непременно
Пришельцу быть проводником.
Не зная думать что о нем,
Согласен юноша смущенный.
Идут они глухим путем,
Но их тревожит всё: то птица
Из-под ноги у них вспорхнет,
То краснобокая лисица
В кусты цветущие нырнет.
Они всё ниже, ниже сходят
И рук от сабель не отводят.
Через опасный переход
Спешат, нагнувшись, без оглядки,
И вновь на холм крутой взошли,
И цепью русские палатки,
Как на ночлеге журавли,
Белеют смутно уж вдали!

Тогда черкес остановился,
За руку путника схватил
И — кто бы, кто не удивился? —
По-русски с ним заговорил.

31

«Прощай! ты можешь безопасно
Теперь идти в шатры свои,
Но, если веришь мне, напрасно
Ты хочешь потопить в крови
Свою печаль! Страшись: быть может,
Раскаянье прибавишь к ней.
Болезни этой не поможет
Ни кровь врага, ни речь друзей!
Напрасно здесь, в краю далеком,
Ты губишь прелесть юных дней;
Нет, не достать вражде твоей
Главы, постигнутой уж роком!
Он палачам судей земных
Не уступает жертв своих!
Твоя б рука не устрашила
Того, кто борется с судьбой:
Ты худо знаешь Измаила;
Смотри ж, он здесь, перед тобой!»
И с видом гордого презренья
Ответа князь не ожидал.
Он скрылся меж уступов скал —
И долго русский без движенья
Один как вкопанный стоял.

32

Меж тем, перед горой Шайтаном
Расположась военным станом,
Толпа черкесов удалых
Сидела вкруг огней своих.
Они любили Измаила,
С ним вместе слава иль могила —
Им всё равно! лишь только б с ним!
Но не могла б судьба одним
И нежным чувством меж собою

Сковать людей с умом простым
И с беспокойною душою:
Их всех обидел Росламбек!
(Таков повсюду человек.)

33

Сидят наездники беспечно,
Куря́т турецкий свой табак,
И князя ждут они. «Конечно,
Когда исчезнет ночи мрак,
Он к нам сойдет, и взор орлиный
Смирит враждебные дружины,
И вздрогнут перед ним они,
Как Росламбек и уздени!» —
Так, песню воли напевая,
Шептала шайка удалая.

34

Безмолвно, грустно, в стороне,
Подняв глаза свои к луне,
Подруге дум любви мятежной,
Прекрасный юноша стоял —
Цветок, для смерти слишком нежный!
Он также Измаила ждал,
Но не беспечно. Трепет тайный
Порывам сердца изменял,
И вздох тяжелый, не случайный,
Не раз из груди вылетал.
И он явился к Измаилу,
Чтоб разделить с ним — хоть могилу!
Увы! такая ли рука
В куски изрубит казака?
Такой ли взор, стыдливый, скромный,
Глядит на мир, чтоб видеть кровь?
Зачем он здесь, и ночью темной,
Лицом прелестный, как любовь,
Один в кругу черкесов праздных,
Жестоких, буйных, безобразных?
Хотя страшился он сказать,
Нетрудно было б отгадать,

Когда б... Но сердце, чем моложе,
Тем боязливее, тем строже
Хранит причину от людей
Своих надежд, своих страстей.
И тайна юного Селима,
Чуждаясь уст, ланит, очей,
От любопытных, как от змей,
В груди сокрылась невредима!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

She told nor whence, nor why she left behind
Her all for one who seem'd but little kind.
Why did she love him? Curious fool! — be still —
Is human love the growth of human will?..

«Lara». L. Byron [1]

1

Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и запад и восток,
Быть может, скоро твой разделят рок.
Настанет час — и скажешь сам надменно:
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час — и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!

2

Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор.
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель,

[1] Она не сказала, ни откуда она, ни почему оставила
Всё ради того, кто не был, казалось, даже ласков с нею.
За что она любила его? Пытливый глупец! Молчи:
Разве по воле человека рождается человеческая любовь?..
«Лара». Л⟨орд⟩ Байрон (англ.). — *Ред.*

Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою,
Но жены гор не с женскою душою!
За поцелуем вслед звучит кинжал,
Отпрянул русский — захрипел — и пал!
«Отмсти, товарищ!» — и в одно мгновенье
(Достойное за смерть убийцы мщенье!)
Простая сакля, веселя их взор,
Горит — черкесской вольности костер!..

3

В ауле дальном Росламбек угрюмый
Сокрылся вновь, не ужасом объят,
Но у него коварные есть думы,
Им помешать теперь не может брат.
Где ж Измаил? — Безвестными горами
Блуждает он, дерется с казаками,
И, заманив полки их за собой,
Пустыню усыпает их костями,
И манит новых по дороге той.
За ним устали русские гоняться,
На крепости природные взбираться,
Но отдохнуть черкесы не дают:
То скроются, то снова нападут.
Они, как тень, как дымное виденье,
И далеко и близко в то ж мгновенье.

4

Но в бурях битв не думал Измаил
Сыскать самозабвенья и покоя.
Не за отчизну, за друзей он мстил —
И не пленялся именем героя;
Он ведал цену почестей и слов,
Изобретенных только для глупцов!
Недолгий жар погас! Душой усталый,
Его бы не желал он воскресить,
И не родной аул — родные скалы
Решился он от русских защитить!

5

Садится день, одетый мглою,
Как за прозрачной пеленою...
Ни ветра на земле, ни туч
На бледном своде! Чуть приметно
Орла на вышине бесцветной;
Меж скал блуждая, желтый луч
В пещеру дикую прокрался,
И гладкий череп озарил,
И сам на жителе могил
Перед кончиной разыгрался,
И по разбросанным костям,
Травой поросшим, здесь и там
Скользнул огнистой полосою,
Дивясь их вечному покою.
Но прежде встретил он двоих,
Недвижных также, но живых...
И, как немые жертвы гроба,
Они беспечны были оба!

6

Один... так точно! — Измаил!
Безвестной думой угнетаем,
Он солнце тусклое следил,
Как мы нередко провожаем
Гостей докучливых; на нем
Черкесский панцирь и шелом,
И пятна крови омрачали
Местами блеск военной стали.
Младую голову Селим
Вождю склоняет на колени;
Он всюду следует за ним,
Хранительной подобно тени;
Никто ни ропота, ни пени
Не слышал на его устах...
Боится он или устанет,
На Измаила только взглянет —
И весел труд ему и страх!

7

Он спит — и длинные ресницы
Закрыли очи под собой,
В ланитах кровь, как у девицы,
Играет розовой струей;
И на кольчуге боевой
Ему не жестко. С сожаленьем
На эти нежные черты
Взирает витязь, и мечты
Его исполнены мученьем:
«Так светлой каплею роса,
Оставя край свой, небеса,
На лист увядший упадает;
Блистая райским жемчугом,
Она покоится на нем
И, беззаботная, не знает,
Что скоро лист увядший тот
Пожнет коса иль конь сомнет!»

8

С полуоткрытыми устами,
Прохладой вечера дыша,
Он спит, но мирная душа
Взволнована! Полусловами
Он с кем-то говорит во сне!
Услышал князь и удивился.
К устам Селима в тишине
Прилежным ухом он склонился:
Быть может, через этот сон
Его судьбу узнает он...
«Ты мог забыть? — любви не нужно
Одной лишь нежности наружной...
Оставь же!» — сонный говорил.
«Кого оставить?» — князь спросил.
Селим умолк, но на мгновенье;
Он продолжал: «К чему сомненье?
На всем лежит его презренье...
Увы! что значат перед ним
Простая дева иль Селим?
Так будет вечно между нами...
Зачем бесценными устами
Он это имя освятил?»

— «Не я ль?» — подумал Измаил.
И, погодя, он слышит снова:
«Ужасно, боже! для детей
Проклятие отца родного,
Когда на склоне поздних дней
Оставлен ими... но страшней
Его слеза!..» Еще два слова
Селим сказал, и слабый стон
Вдруг поднял грудь, как стон прощанья,
И улетел. Из состраданья
Князь прерывает тяжкий сон.

9

И, вздрогнув, юноша проснулся,
Взглянул вокруг и улыбнулся,
Когда он ясно увидал,
Что на коленях друга спал.
Но, покрасневши, сновиденье
Пересказать стыдился он,
Как будто бы лукавый сон
Имел с судьбой его сношенье.
Не отвечая на вопрос
(Примета явная печали),
Щипал он листья диких роз,
И наконец две капли слез
В очах склоненных заблистали;
И, с быстротой отворотясь,
Он слезы осушил рукою...
Всё примечал, всё видел князь,
Но не смутился он душою,
И приписал он простоте,
Затеям детским слезы те.
Конечно, сам давно не знал он
Печалей сладостных любви?
И сам давно не предавал он
Слезам страдания свои? —

10

Не знаю!.. Но в других он чувства
Судить отвык уж по своим.

Не раз личиною искусства,
Слезой и сердцем ледяным,
Когда обманов сам чуждался,
Обманут был он; и боялся
Он верить только потому,
Что верил некогда всему!
И презирал он этот мир ничтожный,
Где жизнь — измен взаимных вечный ряд,
Где радость и печаль — всё призрак ложный!
Где память о добре и зле — всё яд!
Где льстит нам зло, но более тревожит,
Где сердца утешать добро не может,
И где они, покорствуя страстям,
Раскаянье одно приносят нам...

11

Селим встает, на гору всходит.
Сребристый стелется ковыль
Вокруг пещеры; сумрак бродит
Вдали... Вот топот! вот и пыль,
Желтея, поднялась в лощине!
И крик черкесов по заре
Гудит, теряяся в пустыне!
Селим всё слышал на горе;
Стремглав в пещеру он вбегает.
«Они! они!» — он восклицает,
И князя нежною рукой
Влечет он быстро за собой.
Вот первый всадник показался,
Он, мнилось, из земли рождался,
Когда въезжал на холм крутой,
За ним другой, еще другой,
И вереницею тянулись
Они по узкому пути:
Там, если б два коня столкнулись,
Назад бы оба не вернулись
И не могли б вперед идти.

12

Толпа джигитов[1] удалая,
Перед горой остановясь,
С коней измученных слезая,
Шумит. Но к ним подходит князь,
И всё утихло! Уваженье
В их выразительных чертах,
Но уважение — не страх;
Не власть его основа — мненье!
«Какие вести?» — «Русский стан
Пришел к Оссаевскому полю,
Им льстит и бедность наших стран!
Их много!» — «Кто не любит волю?»
Молчат. «Так дайте ж отдохнуть
Своим коням, — с зарею в путь.
В бою мы ради лечь костями;
Чего ⟨же⟩ лучшего нам ждать?
Но в цвете жизни умирать...
Селим, ты не поедешь с нами!..»

13

Бледнеет юноша, и взор
Понятно выразил укор.
«Нет, — говорит он, — я повсюду,
В изгнанье, в битве спутник твой.
Нет, клятвы я не позабуду —
Угаснуть или жить с тобой!
Не робок я под свистом пули,
Ты видел это, Измаил.
Меня враги не ужаснули,
Когда ты, князь, со мною был!
И с твоего чела не я ли
Смывал так часто пыль и кровь?
Когда друзья твои бежали,
Чьи речи, ласки прогоняли
Суровый мрак твоей печали?
Мои слова! моя любовь!
Возьми, возьми меня с собою!
Ты знаешь, я владеть стрелою
Могу... И что мне смерть? — о нет!

[1] Наездники.

Красой и счастьем юных лет
Моя душа не дорожила;
Всё, всё оставлю, жизнь и свет,
Но не оставлю Измаила!»

14

Взглянул на небо молча князь,
И наконец, отворотясь,
Он протянул Селиму руку,
И крепко тот ее пожал
За то, что смерть, а не разлуку
Печальный знак сей обещал!
И долго витязь так стоял;
И под нависшими бровями
Блеснуло что-то; и слезами
Я мог бы этот блеск назвать,
Когда б не скрылся он опять!..

15

По косогору ходят кони;
Колчаны, ружья, седла, брони
В пещеру на́ ночь снесены;
Огни у входа зажжены.
На князе яркая кольчуга
Блестит, краснея; погружен
В мечтанье горестное он,
И от страстей, как от недуга,
Бежит спокойствие и сон.
И говорит Селим: «Наверно,
Тебя терзает дух пещерный!
Дай песню я тебе спою, —
Нередко дева молодая
Ее поет в моем краю,
На битву друга отпуская!
Она печальна, но другой
Я не слыхал в стране родной.
Ее певала мать родная
Над колыбелию моей.
Ты, слушая, забудешь муки,
И на глаза навеют звуки

Все сновиденья детских дней!»
Селим запел, и ночь кругом внимает,
И песню ей пустыня повторяет.

ПЕСНЯ СЕЛИМА

Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша-воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
И дева ему говорит:

«Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Любви будь вернее!

Всегда награжден,
Кто любит до гроба,
Ни зависть, ни злоба
Ему не закон;
Пускай его смерть и погубит;
Один не погибнет, кто любит!

Любви изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы;
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют!»

Месяц плывет
И тих и спокоен;
А юноша-воин
На битву идет!

«Прочь эту песню! — как безумный
Воскликнул князь. — Зачем упрек?..
Тебя ль послушает пророк?..
Там, облит кровью, в битве шумной
Твои слова я заглушу
И разорву ее оковы...

И память в сердце удушу!..
Вставайте! — Как? — вы не готовы?..
Прочь песни! — Крови мне!.. Пора!..
Друзья! коней!.. Вы не слыхали...
Удары, топот, визг ядра,
И крик, и треск разбитой стали?..
Я слышал!.. О, не пой, не пой!
Тронь сердце — как дрожит, и что же?
Ты недовольна?.. Боже! боже!..
Зачем казнить ее рукой?..»
Так речь его оторвалася
От бледных уст и пронеслася
Невнятно, как далекий гром.
Неровным, трепетным огнем
До половины освещенный,
Ужасен, с шашкой обнаженной,
Стоял недвижим Измаил,
Как призрак злой, от сна могил
Волшебным словом пробужденный.
Он взор всей силой устремил
В пустую степь, грозил рукою,
Чему-то страшному грозил:
Иначе как бы Измаил
Смутиться твердой мог душою?
И понял наконец Селим,
Что витязь говорил не с ним!
Неосторожный! он коснулся
Душевных струн — и звук проснулся,
Расторгнув хладную тюрьму...
И сам искусству своему
Селим невольно ужаснулся!

16

Толпа садится на коней,
При свете гаснущих огней
Мелькают сумрачные лица.
Так опоздавшая станица
Пустынных белых журавлей
Вдруг поднимается с полей...
Смех, клики, ропот, стук и ржанье!
Всё дышит буйством и войной!
Во всем приличия незнанье,
Отвага дерзости слепой.

17

Светлеет небо полосами,
Заря меж синими рядами
Ревнивых туч уж занялась.
Вдоль по лощине едет князь,
За ним черкесы цепью длинной.
Признаться: конь по седоку!
Бежит — и будто ветр пустынный,
Скользящий шумно по песку,
Крутится, вьется на скаку;
Он бел как снег: во мраке ночи
Его заметить могут очи.
С колчаном звонким за спиной,
Отягощен своим нарядом,
Селим проворный едет рядом
На кобылице вороной.
Так белый облак, в полдень знойный,
Плывет отважно и спокойно,
И вдруг по тверди голубой
Отрывок тучи громовой,
Грозы дыханием гонимый,
Как черный лóскут мчится мимо;
Но, как ни бейся, в вышине
Он с тем не станет наравне!

18

Уж близко роковое поле.
Кому-то пасть решит судьба?
Вдруг им послышалась стрельба,
И каждый миг всё боле, боле,
И пушки голос громовой
Раздался скоро за горой.
И вспыхнул князь, махнул рукою.
«Вперед! — воскликнул он. — За мною!»
Сказал и бросил повода.
Нет! так прекрасен никогда
Он не казался! Повелитель,
Герой по взорам и речам,
Летел к опасным он врагам,
Летел, как ангел-истребитель.
И в этот миг, скажи, Селим,
Кто б не последовал за ним?

19

Меж тем с беспечною отвагой
Отряд могучих казаков
Гнался за малою ватагой
Неустрашимых удальцов.
Всю эту ночь они блуждали
Вкруг неприязненных шатров;
Их часовые увидали,
И пушка грянула по ним,
И казаки спешат навстречу!
Едва с отчаяньем немым
Они поддерживали сечу,
Стыдясь и в бегстве показать,
Что смерть их может испугать.
Их круг тесней уж становился:
Один под саблею свалился,
Другой, пробитый в грудь свинцом,
Был в поле унесен конем
И, мертвый, на седле всё бился!..
Оружье брось, надежды нет,
Черкес! читай свои молитвы!
В крови твой шелковый бешмет,
Тебе другой не видеть битвы!
Вдруг пыль! и крик! — он им знаком:
То крик родной, не бесполезный!
Глядят и видят: над холмом
Стоит их князь в броне железной!..

20

Недолго Измаил стоял:
Вздохнуть коню он только дал,
Взглянул, и ринулся, и смял
Врагов, и путь за ним кровавый
Меж их рядами виден стал!
Везде, налево и направо,
Чертя по воздуху круги,
Удары шашки упадают;
Не видят блеск ее враги
И беззащитно умирают!
Как юный лев разгорячась,
В средину их врубился князь;

Кругом свистят и реют пули,
Но что ж? Его хранит пророк!
Шелом удары не согнули,
И худо метится стрелок.
За ним, погибель рассыпая,
Вломилась шайка удалая,
И чрез минуту шумный бой
Рассыпался в долине той...

21

Далёко от сраженья, меж кустов,
Питомец смелый трамских табунов,
Расседланный, хладея постепенно,
Лежал издохший конь, и перед ним,
Участием исполненный живым,
Стоял черкес, соратника лишенный.
Крестом сжав руки и кидая взгляд
Завистливый туда, на поле боя,
Он проклинать судьбу свою был рад,
Его печаль была печаль героя!
И, весь в поту, усталостью томим,
К нему в испуге подскакал Селим
(Он лук не напрягал еще, и стрелы
Все до одной в колчане были целы).

22

«Беда! — сказал он. — Князя не видать!
Куда он скрылся?» — «Если хочешь знать,
Взгляни туда, где бранный дым краснее,
Где гуще пыль и смерти крик сильнее,
Где кровью облит мертвый и живой,
Где в бегстве нет надежды никакой:
Он там! — смотри: летит, как с неба пламя;
Его шишак и конь — вот наше знамя!
Он там! — как дух, разит и невредим,
И всё бежит иль падает пред ним!» —
Так отвечал Селиму сын природы —
А лесть была чужда степей свободы!..

23

Кто этот русский? с саблею в руке,
В фуражке белой? Страха он не знает!
Он между всех отличен вдалеке
И казаков примером ободряет;
Он ищет Измаила — и нашел,
И вынул пистолет свой, и навел,
И выстрелил! — напрасно! — обманулся
Его свинец! — но выстрел роковой
Услышал князь, и мигом обернулся,
И задрожал. «Ты вновь передо мной!
Свидетель бог: не я тому виной!..» —
Воскликнул он, и шашка зазвенела,
И, отделясь от трепетного тела,
Как зрелый плод от ветки молодой,
Скатилась голова; и конь ретивый,
Встав на дыбы, заржал, мотая гривой,
И скоро обезглавленный седок
Свалился на растоптанный песок.
Недолго это сердце увядало,
И мир ему! — в единый миг оно
Любить и ненавидеть перестало:
Не всем такое счастье суждено!

24

Всё жарче бой; главы валя́тся
Под взмахом княжеской руки;
Спасая дни свои, теснятся,
Бегут в расстройстве казаки!
Как злые духи, горцы мчатся
С победным воем им вослед,
И никому пощады нет!
Но что ж! победа изменила!
Раздался вдруг нежданный гром,
Всё в дыме скрылося густом,
И пред глазами Измаила
На землю с бешеных коней
Кровавой грудою костей
Свалился ряд его друзей.
Как град посыпалась картеча;
Пальбу услышав издалеча,

Направя синие штыки,
Спешат ширванские полки.
Навстречу гибельному строю
Один, с отчаянной душою,
Хотел пуститься Измаил,
Но за повод коня схватил
Черкес и в горы за собою,
Как ни противился седок,
Коня могучего увлек.
И ни малейшего движенья
Среди всеобщего смятенья
Не упустил младой Селим;
Он бегство князя примечает!
Удар судьбы благословляет
И быстро следует за ним.
Не стыд — но горькая досада
Героя медленно грызет:
Жизнь побежденным не награда!
Он на друзей не кинул взгляда
И, мнится, их не узнает.

25

Чем реже нас балует счастье,
Тем слаще предаваться нам
Предположеньям и мечтам.
Родится ль тайное пристрастье
К другому миру, хоть и там
Судьбы приметно самовластье,
Мы всё свободнее дари́м
Ему надежды и желанья
И украшаем как хотим
Свои воздушные созданья!
Когда забота и печаль
Покой душевный возмущают,
Мы забываем свет, и вдаль
Душа и мысли улетают,
И ловят сны, в которых нет
Следов и теней прежних лет.
Но ум, сомненьем охлажденный
И спорить с роком приученный,
Не усладить, не позабыть
Свои страдания желает;

И если иногда мечтает,
То он мечтает победить!
И, зная собственную силу,
Пока не сбросит прах в могилу,
Он не оставит гордых дум...
Такой непобедимый ум
Природой дан был Измаилу!

26

Он ранен, кровь его течет,
А он не чувствует, не слышит;
В опасный путь его несет
Ретивый конь, храпит и пышет!
Один Селим не отстает.
За гриву ухватясь руками,
Едва сидит он на седле;
Боязни бледность на челе;
Он очи, полные слезами,
Порой кидает на того,
Кто всё на свете для него,
Кому надежду жизни милой
Готов он в жертву принести,
И чье последнее «прости»
Его бы с жизнью разлучило!
Будь перед миром он злодей,
Что для любви слова людей?
Что ей небес определенье?
Нет! охладить любовь гоненье
Еще ни разу не могло;
Она сама свое добро и зло!

27

Умолк докучный крик погони.
Дымясь и в пене скачут кони
Между провалом и горой,
Кремнистой, тесною тропой.
Они дорогу знают сами
И презирают седока,
И бесполезная рука
Уж не владеет поводами.

Направо темные кусты
Висят, за шапки задевая,
И с неприступной высоты
На новых путников взирая,
Чернеет серна молодая;
Налево — пропасть; по краям
Ряд красных камней, здесь и там
Всегда обрушиться готовый.
Никем не ведомый поток
Внизу, свиреп и одинок,
Как тигр Америки суровой,
Бежит гремучею волной,
То блещет бахромой перловой,
То изумрудною каймой;
Как две семьи — враждебный гений,
Два гребня разделяет он.
Вдали на синий небосклон
Нагих, бесплодных гор ступени
Ведут желание и взгляд
Сквозь облака, которых тени
По ним мелькают и спешат.
Сменяя в зависти друг друга,
Они бегут вперед, назад,
И мнится, что под солнцем юга
В них страсти южные кипят!

28

Уж полдень. Измаил слабеет;
Пылает солнце высоко.
Но есть надежда! Дым синеет,
Родной аул недалеко...
Там, где, кустарником покрыты,
Встают красивые граниты
Каким-то пасмурным венцом,
Есть поворот и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом.
Оттуда кровы земляные,
Мечеть, белеющий забор,
Аргуны воды голубые,
Как под ногами, встретит взор!
Достигнут поворот желанный;
Вот и венец горы туманной;

Вот слышен речки рев глухой;
И белый конь сильней рванулся...
Но вдруг переднею ногой
Он оступился, спотыкнулся
И на скаку, между камней,
Упал всей тягостью своей.

29

И всадник, кровью истекая,
Лежал без чувства на земле,
В устах недвижность гробовая,
И бледность муки на челе, —
Казалось, час его кончины
Ждал знак условный в небесах,
Чтобы слететь и в миг единый
Из человека сделать — прах!
Ужель степная лишь могила
Ничтожный в мире будет след
Того, чье сердце столько лет
Мысль о ничтожестве томила?
Нет! нет! ведь здесь еще Селим...
Склонясь в отчаянье над ним,
Как в бурю ива молодая
Над падшим гнется алтарем,
Снимал он панцирь и шелом,
Но, сердце к сердцу прижимая,
Не слышит жизни ни в одном!
И если б страшное мгновенье
Все мысли не убило в нем,
Судиться стал бы он с творцом
И проклинал бы провиденье!..

30

Встает, глядит кругом Селим:
Всё неподвижно перед ним!
Зовет — и тучка дождевая
Летит на зов его одна,
По ветру крылья простирая,
Как смерть темна и холодна.
Вот наконец сырым покровом
Одела путников она,
И юноша в испуге новом!

Прижавшись к другу с быстротой:
«О, пощади его!.. постой! —
Воскликнул он. — Я вижу ясно,
Что ты пришла меня лишить
Того, кого люблю так страстно,
Кого слабей нельзя любить!
Ступай! Ищи других по свету...
Все жертвы бога твоего!
Ужель меня несчастней нету?
И нет виновнее его?»

31

Меж тем, подобно дымной тени,
Хотя не понял он молений,
Угрюмый облак пролетел.
Когда ж Селим взглянуть посмел,
Он был далёко! Освеженный
Его прохладою мгновенной,
Очнулся бледный Измаил,
Вздохнул, потом глаза открыл.
Он слаб: другую ищет руку
Его дрожащая рука;
И, каждому внимая звуку,
Он пьет дыханье ветерка,
И всё, что близко, отдаленно,
Пред ним яснеет постепенно...
Где ж друг последний? Где Селим?
Глядит! — и что же перед ним?
Глядит — уста оледенели,
И мысли зреньем овладели...
Не мог бы описать подобный миг
Ни ангельский, ни демонский язык!

32

Селим... и кто теперь не отгадает?
На нем мохнатой шапки больше нет,
Раскрылась грудь; на шелковый бешмет
Волна кудрей, черней, ниспадает,
В печали женщин лучший их убор!
Молитва стихла на устах!.. А взор...

О небо! небо! есть ли в кущах рая
Глаза, где слезы, робость и печаль
Оставить страшно, уничтожить жаль?
Скажи мне, есть ли Зара молодая
Меж дев твоих? и плачет ли она,
И любит ли? Но понял я молчанье!
Не встретить мне подобное созданье:
На небе неуместно подражанье,
А Зара на земле была одна.

33

Узнал, узнал он образ позабытый
Среди душевных бурь и бурь войны;
Поцеловал он нежные ланиты —
И краски жизни им возвращены.
Она чело на грудь ему склонила,
Смущают Зару ласки Измаила,
Но сердцу как ума не соблазнить!
И как любви стыда не победить?
Их речи — пламень! Вечная пустыня
Восторгом и блаженством их полна.
Любовь для неба и земли святыня,
И только для людей порок она!
Во всей природе дышит сладострастье,
И только люди покупают счастье!

———

Прошло два года, всё кипит война.
Бесплодного Кавказа племена
Питаются разбоем и обманом,
И в знойный день и под ночным туманом
Отважность их для русского страшна.
Казалося, двух братьев помирила
Слепая месть и к родине любовь, —
Везде, где враг бежит и льется кровь,
Видна рука и шашка Измаила.
Но отчего ни Зара, ни Селим
Теперь уже не следуют за ним?
Куда лезгинка нежная сокрылась?
Какой удар ту грудь оледенил,
Где для любви такое сердце билось,
Каким владеть он недостоин был?

Измена ли причина их разлуки?
Жива ль она иль спит последним сном?
Родные ль в гроб ее сложили руки?
Последнее «прости» с слезами муки
Сказали ль ей на языке родном?
И если смерть щадит ее поныне —
Между каких людей, в какой пустыне?
Кто б Измаила смел спросить о том?

Однажды, в час, когда лучи заката
По облакам кидали искры злата,
Задумчив на кургане Измаил
Сидел: еще ребенком он любил
Природы дикой пышные картины,
Разлив зари и льдистые вершины,
Блестящие на небе голубом, —
Не изменилось только это в нем!
Четыре горца близ него стояли
И мысли по лицу узнать желали,
Но кто проникнет в глубину морей
И в сердце, где тоска — но нет страстей?
О чем бы он ни думал — запад дальный
Не привлекал мечты его печальной;
Другие вспоминанья и другой,
Другой предмет владел его душой.

Но что за выстрел? — дым взвился́, белея.
Верна рука, и верен глаз злодея!
С свинцом в груди, простертый на земле,
С печатью смерти на крутом челе,
Друзьями окружен, любимец брани
Лежал, навеки нем для их призваний!
Последний луч зари еще играл
На пасмурных чертах и придавал
Его лицу румянец; и казалось,
Что в нем от жизни что-то оставалось,
Что мысль, которой угнетен был ум,
Последняя его тяжелых дум,
Когда душа отторгнулась от тела,
Его лица оставить не успела!
Небесный суд да будет над тобой,
Жестокий брат, завистник вероломный!
Ты сам наметил выстрел роковой,
Ты не нашел в горах руки наемной!

Гремучий ключ катился невдали.
К его струям черкесы принесли
Кровавый труп; расстегнут их рукою
Чекмень, пробитый пулей роковою,
И грудь обмыть они уже хотят...
Но почему их омрачился взгляд?
Чего они так явно ужаснулись?
Зачем, вскочив, так хладно отвернулись?
Зачем? — какой-то локон золотой
(Конечно, талисман земли чужой),
Под грубою одеждою измятый,
И белый крест на ленте полосатой
Блистали на груди у мертвеца!..
«И кто бы отгадал? Джяур проклятый!
Нет, ты не стоил лучшего конца!
Нет, мусульманин, верный Измаилу,
Отступнику не выроет могилу!
Того, кто презирал людей и рок,
Кто смертию играл так своенравно,
Лишь ты низвергнуть смел, святой пророк!
Пусть, не оплакан, он сгниет бесславно,
Пусть кончит жизнь, как начал, — одинок»

1832

445. ЛИТВИНКА

Повесть

1

Чей старый терем на горе крутой
Рисуется с зубчатою стеной?
Бессменный царь синеющих полей,
Кого хранит он твердостью своей?
Кто темным сводам поверять привык
Молитвы шепот и веселья клик?
Его владельца назову я вам:
Под именем Арсения друзьям
И недругам своим он был знаком
И не мечтал об имени другом.
Его права оспоривать не смел
Еще никто, — он больше не хотел!

Не ведал он владыки и суда,
Не посещал соседей никогда.
Богатый в мире, славный на войне,
Когда к нему являлися оне —
Он убегал доверчивых бесед,
Презрением дышал его привет;
Он даже лаской гостя унижал,
Хотя, быть может, сам того не знал;
Не потому ль, что слишком рано он
Повелевать толпе был приучен?

2

На ложе наслажденья и в бою
Провел Арсений молодость свою.
Когда звучал удар его меча
И красная являлась епанча,
Бежал татарин и бежал литвин;
И часто стоил войска он один!
Вся в ранах грудь отважного была,
И посреди морщин его чела,
Приличнейший наряд для всяких лет,
Краснел рубец, литовской сабли след!

3

И, возвратясь домой с полей войны,
Он не прижал к устам уста жены,
Он не привез парчи ей дорогой,
Отбитой у татарки кочевой,
И даже для подарка не сберег
Ни жемчугов, ни золотых серег.
И, возвратясь в забытый старый дом,
Он не спросил о сыне молодом,
О подвигах своих в чужой стране
Он не хотел рассказывать жене.
И в час свиданья радости слеза
Хоть озарила нежные глаза,
Но прежде чем упасть она могла —
Страдания слезою уж была.
Он изменил ей! Что святой обряд
Тому, кто ищет лишь земных наград?

Как путники небесны, облака,
Свободно сердце, и любовь легка...

4

Два дня прошло — и юная жена
Исчезла, и старуха лишь одна
Изгнанье разделить решилась с ней
В монастыре, далёко от людей
(И потому не ближе к небесам).
Их жизнь — одна молитва будет там!
Но женщины обманутой душа,
Для света умертвясь и им дыша,
Могла ль забыть того, кто столько лет
Один был для нее и жизнь и свет?
Он изменил! увы! Но потому
Ужель ей должно изменить ему?
Печаль несчастной жертвы и закон —
Всё презирал для новой страсти он,
Для пленницы, литвинки молодой,
Для гордой девы из земли чужой.
В угодность ей, за пару сладких слов
Из хитрых уст, Арсений был готов
На жертву принести жену, детей,
Отчизну, душу — всё в угодность ей!

5

Светило дня, краснея сквозь туман,
Садится горделиво за курган,
И, отделив ряды дождливых туч,
Вдоль по земле скользит прощальный луч
Так сладостно, так тихо и светло,
Как будто мира мрачное чело
Его любви достойно! Наконец
Оставил он долину и, венец
Горы высокой, терем озарил
И пламень свой негреющий разлил
По стеклам расписным светлицы той,
Где так недавно с радостью живой,
Облокотясь на столик, у окна,
Ждала супруга верная жена,
Где с детскою досадой сын ее
Чуть поднимал отцовское копье.

Теперь... где сын и мать? На месте их
Сидит литвинка, дочь степей чужих.
Безмолвная подруга лучших дней,
Расстроенная лютня перед ней;
И, по струне оборванной скользя,
Блестит зари последняя струя.
Устала Клара от душевных бурь...
И очи голубые, как лазурь,
Она сидит, на запад устремив,
Но не зари пленял ее разлив:
Там родина! Певец и воин там
Не раз к ее склонялися ногам!
Там вольны девы! Там никто бы ей
Не смел сказать: хочу любви твоей!..

6

Она должна с покорностью немой
Любить того, кто грозною войной
Опустошил поля ее отцов;
Она должна приветы нежных слов
Затверживать и ненависть, тоску
Учить любви святому языку;
Младую грудь к волненью принуждать
И страстью небывалой объяснять
Летучий вздох и влажный пламень глаз;
Она должна... Но мщенью будет час!

7

Вечерний пир готов; рабы шумят.
В покоях пышных блещет свет лампад;
В серебряном ковше кипит вино;
К его парам привыкнувший давно,
Арсений пьет янтарную струю,
Чтоб этим совесть потопить свою!
И пленница, его встречая взор,
Читает в нем к веселью приговор,
И ложная улыбка, громкий смех,
Кроме ее, обманывают всех.
И, веря той улыбке, восхищен
Арсений, и литвинку обнял он, —

И кудри золотых ее волос,
Нежнее шелка и душистей роз,
Скатилися прозрачной пеленой
На грубый лик, отмеченный войной.
Лукаво посмотрев, принявши вид
Невольной грусти, Клара говорит:
«Ты любишь ли меня?» — «Какой вопрос? —
Воскликнул он. — Кто ж больше перенес
И для тебя так много погубил,
Как я? — и твой Арсений не любил?
И, — человек, — я б мог обнять тебя,
Не трепеща душою, не любя?
О, шутками меня не искушай!
Мой ад среди людских забот — мой рай
У ног твоих! — и если я не тут,
И если рук моих твои не жмут,
Дворец и плаха для меня равны,
Досадой дни мои отравлены́!
Я непорочен у груди твоей,
Суров и дик между других людей!
Тебе в колена голову склонив,
Я, как дитя, беспечен и счастлив,
И теплое дыханье уст твоих
Приятней мне курений дорогих!
Ты рождена, чтобы повелевать:
Моя любовь то может доказать.
Пусть я твой раб — но лишь не раб судьбы!
Достойны ли тебя ее рабы?
Поверь, когда б меня не создал бог,
Он ниспослать бы в мир тебя не мог».

8

«О, если б точно ты любил меня! —
Сказала Клара, голову склоня.—
Я не жила бы в тереме твоем.
Ты говоришь: он мой! — а что мне в нем?
Богатством дивным, гордой высотой
Очам он мил, но сердцу он чужой.
Здесь в роще воды чистые текут —
Но речку ту не Вилией зовут;
И ветер, здесь колеблющий траву,
Мне не приносит песни про Литву!

Нет! русский, я не верую любви!
Без милой воли что́ дары твои?»
И отвернулась Клара, и укор
Изобразил презренья хладный взор.
Недвижим был Арсений близ нее,
И, кроме воли, отдал бы он всё,
Чтоб получить один, один лишь взгляд
Из тех, которых всё блаженство — яд.

9

Но что за гость является ночной?
Стучит в ворота сильною рукой,
И сторож, быстро пробудясь от сна,
Кричит: «Кто там?» — «Впустите! ночь темна!
В долине буря свищет и ревет,
Как дикий зверь, и тмит небесный свод,
Впустите обогреться хоть на час,
А завтра, завтра мы оставим вас,
Но никогда в молениях своих
Гостеприимный кров степей чужих
Мы не забудем!» Страж не отвечал,
Но ключ в замке упрямом завизжал,
Об доски тяжкий загремел затвор,
Расхлопнулись ворота — и на двор
Два странника въезжают. Фонарем
Озарены, идут в господский дом.
Широкий плащ на каждом, и порой
Звенит и блещет что-то под полой.

10

Арсений приглашает их за стол
И с ними речь приветную завел,
Но странники, хоть им владелец рад,
Не много пьют и меньше говорят.
Один из них еще во цвете лет,
Другой, согбенный жизнью, худ и сед,
И по речам заметно, что привык
Употреблять не русский он язык.
И младший гость по виду был смелей:
Он не сводил пронзительных очей
С литвинки молодой, и взор его
Для многих бы не значил ничего...

Но, видно, ей когда-то был знаком
Тот дикий взор с возвышенным челом!
Иль что-нибудь он ей о прошлых днях
Напоминал! — Как знать? — Не женский страх
Ее заставил вздрогнуть, и вздохнуть,
И голову поспешно отвернуть,
И белою рукой закрыть глаза,
Чтоб изменить не смела ей слеза!..

11

«Ты побледнела, Клара?» — «Я больна!»
И в комнату свою спешит она.
Окно открывши, села перед ним,
Чтоб освежиться воздухом ночным.
Туман в широком поле, огонек
Блестит вдали, забыт и одинок;
И ветер, нарушитель тишины,
Шумит, скользя во мраке вдоль стены;
То лай собак, то колокола звон
Его дыханьем в поле разнесен.
И Клара внемлет. О, как много дум
Вмещал в себе беспечный, резвый ум;
О! если б кто-нибудь увидеть мог
Хоть половину всех ее тревог,
Он на себя, не смея измерять,
Всю тягость их решился бы принять,
Чтобы чело, где радость и любовь
Сменялись прежде, прояснилось вновь,
Чтоб заиграл румянец на щеках,
Как радуга в вечерних облаках...
И что могло так деву взволновать?
Не пришлецы ль? Но где и как узнать?
Чем для души страдания сильней,
Тем вечный след их глубже тонет в ней,
Покуда всё, что небом ей дано,
Не превратят в страдание одно.

12

Раздвинул тучи месяц золотой,
Как херувим духо́в враждебных рой,

Как упованья сладостный привет
От сердца гонит память прошлых бед.
Свидетель равнодушный тайн и дел,
Которых день узнать бы не хотел,
А тьма укрыть, он странствует один,
Небесной степи бледный властелин.
Обрисовав литвинки юный лик,
В окно светлицы луч его проник
И, придавая чудный блеск стеклу,
Беспечно разыгрался на полу,
И озарил персидский он ковер,
Высоких стен единственный убор.
Но что за звук раздался за стеной?
Протяжный стон, исторгнутый тоской,
Подобный звуку песни... если б он
Неведомым певцом был повторен...
Но вот опять! Так точно... Кто ж поет?
Ты, пленница, узнала! верно, тот,
Чей взор туманный, с пасмурным челом,
Тебя смутил, тебе давно знаком!
Несбыточным мечтаньям предана,
К окну склонившись, думает она:
В одной Литве так сладко лишь поют!
Туда, туда меня они зовут,
И им отóзвался в груди моей
Такой же звук, залог счастливых дней!

13

Минувшее дышало в песни той,
Как вольность — вольной, как она — простой;
И всё, чем сердцу родина мила,
В родимой песни пленница нашла.
И в этом наслажденье был упрек;
И всё, что женской гордости лишь мог
Внушить позор, явилось перед ней,
Хладней презренья, мщения страшней.
Она схватила лютню, и струна
Звенит, звенит... и вдруг, пробуждена
Восторгом и надеждою, в ответ
Запела дева!.. Этой песни нет
Нигде. Она мгновенна лишь была,
И в чьей груди родилась — умерла.

И понял, кто внимал! Не мудрено:
Понятье о небесном нам дано,
Но слишком для земли нас создал бог,
Чтоб кто-нибудь ее запомнить мог.

14

Взошла заря, и отделился лес
Стеной зубчатой на краю небес.
Но отчего же сторож у ворот
Молчит и в доску медную не бьет?
Что терем не обходит он кругом?
Ужель он спит? Он спит — но вечным сном!
Тяжелый кинут нá землю затвор;
И близ него старик: закрытый взор,
Уста и руки сжаты навсегда,
И вся в крови седая борода.
Сбежалась куча боязливых слуг;
С бездействием отчаянья вокруг
Убитого, при первом свете дня,
Они стояли, головы склоня;
И каждый состраданием пылал,
Но что начать, никто из них не знал.
И где ночной убийца? Чья рука
Не дрогнула над сердцем старика?
Кто растворил высокое окно
И узкое оттуда полотно
Спустил на двор? Чей пояс голубой
В песке затоптан маленькой ногой?
Где странники? К воротам виден след...
Понятно всё... их нет! — и Клары нет!

15

И долго неожиданную весть
Никто не смел Арсению принесть.
Но наконец решились: он внимал,
Хотел вскочить и неподвижен стал,
Как мраморный кумир, как бы мертвец,
С открытым взором встретивший конец!
И этот взор, не зря, смотрел вперед,
Блестя огнем, был холоден как лед,

Рука, сомкнувшись, кверху поднялась,
И речь от синих губ оторвалась:
На клятву походила речь его,
Но в ней никто не понял ничего;
Она была на языке родном —
Но глухо пронеслась, как дальний гром!..

16

Бежали дни, Арсений стал опять,
Как прежде, видеть, слышать, понимать,
Но сердце, пораженное тоской,
Уж было мёртво — хоть в груди живой.
Умел изгнать он из него любовь.
Но, что прошло, небывшим сделать вновь
Кто под луной умеет? Кто мечтам
Назначит круг заветный, как словам?
И от души какая может власть
Отсечь ее мучительную часть?
Бежали дни, ничем уж не был он
Отныне опечален, удивлен;
Над ним висеть, чернеть гроза могла,
Не изменив обычный цвет чела.
Но если он, не зная отвести,
Удар судьбы умел перенести,
Но если показать он не желал,
Что мог страдать, как некогда страдал,
То язва, им презренная, потом
Всё становилась глубже — день за днем! —
Он Клару не умел бы пережить,
Когда бы только смерть... но изменить?
И прежде презирал уж он людей,
Отныне из безумца — стал злодей.
И чем же мог он сделаться другим,
С его умом и сердцем огневым?

17

Есть сумерки души, несчастья след,
Когда ни мрака в ней, ни света нет.
Она сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна ей и смерть страшна;

И небо обвинить нельзя ни в чем,
И как назло всё весело кругом!
В прекрасном мире — жертва тайных мук,
В созвучии вселенной — ложный звук,
Она встречает блеск природы всей,
Как встретил бы улыбку палачей
Приговоренный к казни! И назад
Она кидает беспокойный взгляд,
Но след волны потерян в бездне вод,
И лист отпавший вновь не зацветет!
Есть демон, сокрушитель благ земных,
Он радость нам дари́т на краткий миг,
Чтобы удар судьбы сразил скорей.
Враг истины, враг неба и людей,
Наш слабый дух ожесточает он,
Пока страданья не умчат как сон
Всё, что мы в жизни ценим только раз,
Всё, что ему еще завидно в нас!..

18

Против Литвы пошел великий князь.
Его дружины, местью воспалясь,
Грозят полям и рощам той страны,
Где загорится пламенник войны.
Желая защищать свои права,
Дрожит за вольность гордая Литва,
И клевы хищных птиц, и зуб волков
Скользят уж по костям ее сынов.

19

И в русский стан, осенним, серым днем,
Явился раз, один, без слуг, пешком,
Боец, известный храбростью своей, —
И сделался предметом всех речей.
Давно не поднимал он щит и шлем,
Заржавленный покоем! И зачем
Явился он? Не честь страны родной
Он защищать хотел своей рукой;
И между многих вражеских сердец
Одно лишь поразить хотел боец.

20

Вдоль по реке с бегущею волной
Разносит ветер бранный шум и вой!
В широком поле цвет своих дружин
Свели сегодня русский и литвин.
Чертой багряной серый небосклон
От голубых полей уж отделен,
Темнеют облака на небесах,
И вихрь несет в глаза песок и прах:
Всё бой кипит; и гнется русский строй,
И, окружен отчаянной толпой,
Хотел бежать... но чей знакомый глас
Все души чудной силою потряс?
Явился воин: красный плащ на нем,
Он без щита, он уронил шелом;
Вооружен секирою стальной,
Предстал — и враг вали́тся, и другой,
С запекшеюся кровью на устах,
Упал с ним рядом. Обнял тайный страх
Сынов Литвы: ослушные конѝ
Браздам не верят! Тщетно бы они
Хотели вновь победу удержать:
Их гонят, бьют, они должны бежать!
Но даже в бегстве, обратясь назад,
Они ударов тяжких сыплют град.

21

Арсений был чудесный тот боец.
Он кровию решился наконец
Огонь в груди проснувшийся залить.
Он ненавидит мир, чтоб не любить
Одно созданье! Кучи мертвецов
Кругом него простерты без щитов,
И радостью блистает этот взор,
Которым месть владеет с давных пор.
Арсений шел, опередив своих,
Как метеор меж облаков ночных.
Когда ж заметил он, что был один
Среди жестоких, вражеских дружин,
То было поздно! «Вижу, час настал!» —
Подумал он, и меч его искал

Своей последней жертвы. «Это он!» —
За ним воскликнул кто-то. Поражен,
Арсений обернулся — и хотел
Проклятье произнесть, но не умел.
Как ангел брани, в легком шишаке,
Стояла Клара с саблею в руке,
И юноши теснилися за ней,
И, словом и движением очей
Распоряжая пылкою толпой,
Она была, казалось, их судьбой.
И, встретивши Арсения, она
Не вздрогнула, не сделалась бледна,
И тверд был голос девы молодой,
Когда, взмахнувши белою рукой,
Она сказала: «Воины! вперед!
Надежды нет, покуда не падет
Надменный этот русский! Перед ним
Они бегут — но мы не побежим.
Кто первый мне его покажет кровь,
Тому моя рука, моя любовь!»

22

Арсений отвернул надменный взор,
Когда он услыхал свой приговор.
«И ты против меня!» — воскликнул он,
Но эта речь была скорее стон,
Как будто сердца лучшая струна
В тот самый миг была оборвана.
С презреньем меч свой бросил он потом
И обернулся медленно плащом,
Чтобы из них никто сказать не смел,
Что в час конца Арсений побледнел.
И три копья пронзили эту грудь,
Которой так хотелось отдохнуть,
Где столько лет с добром боролось зло,
И наконец оно превозмогло.
Как царь дубровы, гордо он упал,
Не вздрогнул, не взглянул, не закричал.
Хотя б молитву или злой упрек
Он произнес! Но нет! он был далек
От этих чувств: он век счастливый свой
Опередил неверящей душой;

Он кончил жизнь с досадой на челе,
Жалея, мысля об одной земле,—
Свой ад и рай он здесь умел сыскать.
Других не знал и не хотел он знать!..

23

И опустел его высокий дом,
И странников не угощают в нем;
И двор зарос зеленою травой,
И пыль покрыла серой пеленой
Святые образа, дубовый стол
И пестрые ковры; и гладкий пол
Не скрыпнет уж под легкою ногой
Красавицы лукавой и младой.
Ни острый меч в серебряных ножнах,
Ни шлем стальной не блещут на стенах —
Они забыты в поле роковом,
Где он погиб! В покое лишь одном
Всё, всё как прежде: лютня у окна,
И вкруг нее обвитая струна,
И две одежды женские лежат
На мягком ложе, будто бы назад
Тому лишь день, как дева стран чужих
Сюда небрежно положила их.
И, раздувая полог парчевой,
Скользит по ним прохладный ветр ночной,
Когда сквозь тонкий занавес окна
Глядит луна — нескромная луна!

24

Есть монастырь, и там в неделю раз
За упокой молящих слышен глас,
И с честию пред набожной толпой
Арсений поминается порой.
И блещет в церкви длинный ряд гробов,
Украшенный гербом его отцов,
Но никогда меж них не будет тот,
С которым славный кончился их род.
Ни свежий дерн, ни пышный мавзолей
Не тяготит сырых его костей;

Никто об нем не плакал... лишь одна
Монахиня!.. Бог знает, кто она?
Бог знает, что пришло на мысли ей
Жалеть о том, кто не жалел об ней!..
Увы! Он не любил, он не жалел,
Он даже быть любимым не хотел,
И для нее одной был он жесток,
Но разве лучше поступил с ним рок?
И как не плакать вечно ей о том,
Кто так обманут был, с таким умом,
Кто на земле с ней разлучен судьбой
И к счастью не воскреснет в жизни той?..
В печальном только сердце может страсть
Иметь неограниченную власть:
Так в трещине развалин иногда
Береза вырастает, молода
И зелена — и взоры веселит,
И украшает сумрачный гранит!
И часто отдыхающий прошлец
Грустит об ней и мыслит: наконец
Порывам бурь и зною предана,
Увянет преждевременно она!..
Но что ж! — усилья вихря и дождей
Не могут обнажить ее корней,
И пыльный лист, встречая жар дневной,
Трепещет всё на ветке молодой!..

1832

446. АУЛ БАСТУНДЖИ

ПОСВЯЩЕНЬЕ

1

Тебе, Кавказ — суровый царь земли,
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный.
На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой,— всегда и всюду твой!..

2

Твоих вершин зубчатые хребты
Меня носили в царстве урагана,
И принимал меня, лелея, ты
В объятия из синего тумана.
А я глядел в восторге с высоты,
И подо мной, как остов великана,
В степи обросший мохом и травой,
Лежали горы грудой вековой.

3

Над детской головой моей венцом
Свивались облака твои седые.
Когда по ним, гремя, катался гром
И, пробудясь от сна, как часовые,
Пещеры окликалися кругом,
Я понимал их звуки роковые,
Я в край надзвездный пылкою душой
Летал на колеснице громовой!..

4

Моей души не понял мир. Ему
Души не надо. Мрак ее глубокой,
Как вечности таинственную тьму,
Ничье живое не проникнет око.
И в ней-то недоступные уму
Живут воспоминанья о далекой
Святой земле... Ни свет, ни шум земной
Их не убьет... Я твой! Я всюду твой!..

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Между Машуком и Бешту, назад
Тому лет тридцать, был аул, горами
Закрыт от бурь и вольностью богат.
Его уж нет. Кудрявыми кустами
Покрыто поле: дикий виноград,

Цепляясь, вьется длинными хвостами
Вокруг камней, покрытых сединой,
С вершин соседних сброшенных грозой!..

2

Ни бранный шум, ни песня молодой
Черкешенки уж там не слышны боле;
И в знойный летний день табун степной
Без стражи ходит там, один, по воле;
И без оглядки с пикой за спиной
Донской казак въезжает в это поле;
И безопасно в небесах орел,
Чертя круги, глядит на тихий дол.

3

И там, когда вечерняя заря
Бледнеющим румянцем одевает
Вершины гор,— пустынная змея
Из-под камней, резвяся, выползает;
На ней рябая блещет чешуя
Серебряным отливом, как блистает
Разбитый меч, оставленный бойцом
В густой траве на поле роковом.

4

Сгорел аул — и слух об нем исчез.
Его сыны рассыпаны в чужбине...
Лишь пред огнем, в туманный день, черкес
Порой об нем рассказывает ныне
При малых детях. И чужих небес
Питомец, проезжая по пустыне,
Напрасно молвит казаку: «Скажи,
Не знаешь ли аула *Бастунджи*?»

5

В ауле том без ближних и друзей
Когда-то жили два родные брата,

И в Пятигорье не было грозней
И не было отважней *Акбулата.*
Меньшой был слаб и нежен с юный дней,
Как цвет весенний под лучом заката!
Чуждался битв, и крови он, и зла,
Но искра в нем таилась... и ждала...

6

Отец их был убит в чужом краю.
А мать *Селим* убил своим рожденьем
И, хоть невинный, начал жизнь свою,
Как многие кончают,— преступленьем!
Он душу не обрадовал ничью,
Он никому не мог быть утешеньем.
Когда он в первый раз открыл глаза,
Его улыбку встретила гроза!..

7

Он рос один... по воле, без забот,
Как птичка, меж землей и небесами!
Блуждая с детства средь родных высот,
Привык он тучи видеть под ногами,
А над собой один безбрежный свод.
Порой, в степи застигнутый мечтами,
Один сидел до поздней ночи он,
И вкруг него летал чудесный сон.

8

И земляки — зачем? то знает бог —
Чуждались их беседы; особливо
Паслись их кони... и за их порог
Переступали люди боязливо.
И даже молодой Селим не мог,
Свой тонкий стан, высокий и красивый,
В бешмет шелко́вый праздничный одев,
Привлечь одной улыбки гордых дев.

9

Сбиралась ли ватага удальцов
Отбить табун иль бранною забавой
Потешиться... оставя бедный кров,
Им вслед, с усмешкой горькой и лукавой,
Смотрели братья, сумрачны, без слов,
Как смотрит облак иногда двуглавый,
Засев меж скал, на светлый бег луны,
Один, исполнен грозной тишины.

10

Дивились все взаимной их любви,
И не любил никто их... Оттого ли,
Что никому они дела свои
Не поверяли и надменной воли
Склонить пред чуждой волей не могли?
Не знаю,— тайна их угрюмой доли
Темнее строк, начертанных рукой
Прохожего на пли́те гробовой...

11

Была их сакля меньше всех других,
И с плоской кровли мох висел зеленый.
Рядком блистали на стенах простых
Аркан, седло с насечкой вороненой,
Два башлыка, две шашки боевых
Да два ружья, которых ствол граненый,
Едва прикрытый шерстяным чехлом,
Был закопчен в дыму пороховом.

12

Однажды... Акбулата ждал Селим
С охоты. Было поздно. На долину
Туман ложился, как прозрачный дым,
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою, густым
Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту.

13

Вдали тянулись розовой стеной,
Прощаясь с солнцем, горы снеговые;
Машук, склоняся лысой головой,
Через струи Подкумка голубые,
Казалось, думал тяжкою стопой
Перешагнуть в поместия чужие.
С мечети слез мулла; аул дремал...
Лишь в крайней сакле огонек блистал.

14

И ждет Селим — сидит он час и два,
Гуляя в поле, горный ветер плачет,
И под окном колышется трава.
Но чу! далекий топот... кто-то скачет...
Примчался; фыркнул конь, заржал... Сперва
Спрыгну́л один, потом другой... Что это значит?
То не сайгак, не волк, не зверь лесной!
Он прискакал с добычею иной.

15

И в саклю молча входит Акбулат,
Самодовольно взорами сверкая.
Селим к нему: «Ты загулялся, брат!
Я чай, с тобой не дичь одна лесная?»
И любопытно он взглянул назад,
И видит он: черкешенка младая
Стоит в дверях, мила как херувим;
И побледнел невольно мой Селим.

16

И в нем, как будто пробудясь от сна,
Зашевелилось сладостное что-то.
«Люби ее! Она моя жена! —
Сказал тогда Селиму брат.— Охотой
Родной аул покинула она.
Наш бедный дом храним ее заботой
Отныне будет. Зара! вот моя
Отчизна, всё богатство, вся семья!..»

17

И Зара улыбнулась, и уста
Хотели вымолвить слова привета,
Но замерли. Вдоль по челу мечта
Промчалась тенью. По словам поэта,
Казалось, вся она была слита,
Как гурии, из сумрака и света;
Белей и чище ранних облаков
Являлась грудь, поднявшая покров.

18

Черны глаза у серны молодой,
Но у нее глаза чернее были;
Сквозь тень ресниц, исполнены душой,
Они блаженством сердцу говорили!
Высокий стан искусною рукой
Был стройно перетянут без усилий;
Сквозь черный шелк витого кушака
Блистало серебро исподтишка.

19

Змеились косы на плечах младых,
Оплетены тесемкой золотою;
И мрамор плеч, белея из-под них,
Был разрисован жилкой голубою.
Она была прекрасна в этот миг,
Прекрасна вольной, дикой простотою,
Как южный плод румяный, золотой,
Обрызганный душистою росой.

20

Селим смотрел. Высоко билось в нем
Встревоженное сердце чем-то новым.
Как сладко, страстно пламенным челом
Прилег бы он к грудям ее перловым!
Он вздрогнул, вышел... сумрачен лицом,
Кинжал рукою стиснув. На шелкóвом
Ковре лениво Акбулат лежал,
Курил и думал... О! когда б он знал!..

21

Промчался день, другой... и много дней.
Они живут, как прежде, нелюдимо.
Но раз... шумела буря. Всё черней
Утесы становились. С воем мимо,
Подобно стае скачущих зверей,
Толпою резвых жадных псов гонимой,
Неслися друг за другом облака,
Косматые, как перья шишака.

22

Очами Акбулат их провожал
Задумчиво с порога сакли бедной.
Вдруг шорох: он глядит... пред ним стоял
Селим, без шапки, пасмурный и бледный;
На поясе, звеня, висел кинжал,
Рука блуждала по оправе медной;
Слова кипели смутно на устах,
Как бьется пена в тесных берегах.

23

И юноше с участием живым
Он молвил: «Что с тобой? — не понимаю!
Скажи!» — «Я гибну! — отвечал Селим,
Сверкая мутным взором.— Я страдаю!..
Одною думой день и ночь томим!
Я гибну!.. Ты ревнив, ты вспыльчив: знаю!
Безумца не захочешь ты спасти...
Так, я виновен... но, прости!.. прости!..»

24

«Скажи, тебя обидел кто-нибудь?
Обиду злобы кровью смыть могу я!
Иль конь пропал? Забудь об нем, забудь,
В горах коня красивее найду я!..
Иль от любви твоя пылает грудь?
И чуждой девы хочешь поцелуя?..

Ее увезть легко во тьме ночной,
Она твоя!.. Но молви: что с тобой?»

25

«Легко спросить... но тяжко рассказать
И чувствовать!.. Молился я пророку,
Чтоб ангелам велел он ниспослать
Хоть каплю влаги пламенному оку!..
Ты видишь: есть ли слезы?.. О! не трать
Молитв напрасных... К яркому востоку
И западу взывал я... но в моей
Душе всё шевелится грусть, как змей!..

26

Я проклял небо — оседлал коня,
Пустился в степь. Без цели мы блуждали,
Не различал ни ночи я, ни дня...
Но вслед за мной мечты мои скакали!
Я гибну, брат!.. Пойми, спаси меня!
Твоя душа не крепче бранной стали.
Когда я был ребенком, ты любил
Ребенка... Помнишь это? иль забыл?..

27

Послушай!.. Бурно молодость во мне
Кипит, как жаркий ключ в скалах Машука!
Но ты,— в твоей суровой седине
Видна усталость жизни, лень и скука.
Пускай летать ты можешь на коне,
Звенящую стрелу бросать из лука,
Догнать оленя и врага сразить...
Но... так, как я, не можешь ты любить!..

28

Не можешь ты безмолвно целый час
Смотреть на взор живой, но безответный,
И утопать в сиянье милых глаз,
Тая в груди, как месть, огонь заветный!

Обнявши Зару, я видал не раз,
Как ты томился скукою приметной...
Я б отдал *жизнь* за поцелуй такой,
И... если б мог, не пожалел другой!..»

29

Как облака, висящие над ним,
Стал мрачен лик суровый Акбулата;
Дрожь пробежала по усам седым,
Взор покраснел, как зарево заката.
«Что произнесть решился ты, Селим!» —
Воскликнул он. Селим не слушал брата.
Как бедный раб, он пал к его ногам
И волю дал страданью и мольбам.

30

«Ты видишь: я погиб!.. Спасенья нет...
Отчаянье, любовь... везде! повсюду!..
О! ради прежней дружбы... прежних лет...
Отдай мне Зару!.. уступи!.. я буду
Твоим рабом... послушай: сжалься!.. Нет,
Нет!.. ты меня как ветхую посуду
С презреньем гордым кинешь за порог...
Но, видишь: вот кинжал! а там — есть бог!..

31

Когда б хотел, я б мог давно, поверь,
Упиться счастьем, пре́зреть всё святое!
Но я подумал: нет! как лютый зверь,
Он растерзает сердце молодое!
И вот пришло раскаянье теперь,
Пришло — но поздно! Я ошибся вдвое,
Я, как глупец, остался на земли
Один, один... без дружбы и любви!..

32

Что медлить: я готов — не размышляй!
Один удар — и мы спокойны оба.

Увы! минута с ней — небесный рай!
Жизнь без нее — скучней, страшнее гроба!
Я здесь, у ног твоих... Решись иль знай:
Любовь хитрей, чем ревность или злоба;
Я вырву Зару из твоих когтей,
Она моя — и быть должна моей!»

33

Умолк. Бледней снегов был нежный лик,
В очах дрожали слезы исступленья;
Меж губ слова слились в невнятный крик,
Мучительный, ужасный... Сожаленье
Угрюмый брат почувствовал на миг.
«Пройдет,— сказал он,— время заблужденья!
Есть много звезд: одна другой светлей;
Красавиц много без жены моей!..

34

Что дал мне бог, того не уступлю;
А что сказал я, то исполню свято.
Пророк зрит мысль и слышит речь мою!
Меня не тронут ни мольбы, ни злато!..
Прощай... но если! если...» — «Я люблю,
Люблю ее! — сказал Селим, объятый
Тоской и злобой.— Я просил, скорбел...
Ты не хотел!.. Так помни ж: не хотел!»

35

Его уста скривил холодный смех;
Он продолжал: «Всё кончено отныне!
Нет для меня ни дружбы, ни утех!..
Благодарю тебя!.. Ты, как об сыне,
Об юности моей пекся: сказать не грех...
По воле нежил ты цветок в пустыне,
По воле оборвал его листы...
Я буду помнить — помни только ты!..»

36

Он отвернулся и исчез как тень.
Стоял недвижим Акбулат смущенный,
Мрачней, чем громом опаленный пень.
Шумела буря. Ветром наклоненный,
Скрипел полуразрушенный плетень,
Да иногда, грозою заглушенный,
Из бедной сакли раздавался вдруг
Беспечной, нежной, вольной песни звук!..

37

Так, иногда, одна в степи чужой
Залетная певица, птичка юга,
Поет на ветке дикой и сухой,
Когда вокруг шумит, бушует вьюга.
И путник внемлет с тайною тоской
И думает: то, верно, голос друга!
Его душа, живущая в раю,
Сошла печаль приветствовать мою!..

38

Селим седлает верного коня,
Гребенкой медной гриву разбирая;
Кубанскою оправою звеня,
Уздечка блещет; крепко обвивая
Седло с конем, сцепились два ремня.
Стремёна ровны; плетка шелкова́я
На арчаге мотается. Храпит,
Косится конь... Пора, садись, джигит.

39

Горяч и статен конь твой вороной!
Как красный угль, его сверкает око!
Нога стройна, косматый хвост трубой;
И ло́снится хребет его высокой,
Как черный камень, сглаженный волной!
Как саранча, легко в степи широкой
Порхает он под легким седоком,
И голос твой давно ему знаком!..

40

И молча на коня вскочил Селим;
Нагайкою махнул, привстал немного
На стременах... Затрепетал под ним
И захрапел товарищ быстроногой!
Скачок, другой... ноздрями пар как дым...
И полетел знакомою дорогой,
Как пыльный лист, оторванный грозой,
Летит крутясь по степи голубой!..

41

Размашисто скакал он, и кремни,
Как брызги рассыпаяся, трещали
Под звонкими копытами. Они
Сырую землю мерно поражали;
И долго вслед ущелия одни
Друг другу этот звук передавали,
Пока вдали, мгновенный, как симун,
Не скрылся всадник и его скакун...

42

Как дух изгнанья, быстро он исчез
За пеленой волнистого тумана!..
У табуна сторожевой черкес,
Дивяся, долго вслед ему с кургана
Смотрел и думал: «Много есть чудес!..
Велик аллах!.. Ужасна власть шайтана!
Кто скажет мне, что этого коня
Хозяин мрачный — сын земли, как я?»

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Меж виноградных лоз нагорный ключ
От мирного аула недалёко
Бежал по камням, светел и гремуч.
Небес восточных голубое око

Гляделось в нем; и плавал жаркий луч
В его волне студеной и глубокой;
И мелкий дождь серебряных цветов
В него с прибрежных сыпался дерев.

2

Вот мирный час, когда на водопой
Бежит к потоку серн пугливых стая,
Шумя по листьям и траве густой.
Вот час, когда черкешенка младая
Идет купаться тайною тропой.
Нагую ножку в воду погружая,
Она дрожит, смеется... и вокруг
Кидает взгляд, где дышит страсть и юг!

3

Не бойся, Зара! — всюду тишина,
Присядь на камень, сбрось покров узорный!
Вода в ручье прозрачна, холодна,
Смирит волненье груди непокорной
И освежит твой смуглый стан она.
Но чу!.. постой!.. Чей это шаг проворный
Не в добрый час раздался меж кустов?..
Святой пророк! Скорей! Где твой покров?..

4

Но сильно чья-то жаркая рука
Хватает руку Зары. Страстен, молод
Огонь руки сей!.. Сакля далека...
Что делать? В грудь ее смертельный холод
Проник, как пуля меткого стрелка,
И сердце громко билось в ней, как молот!
«Селим, ты здесь? Злой дух тебя принес!
Зачем пришел ты?» — «Я?.. Какой вопрос!»

5

«Селим!.. о!.. я погибла!..» — «Может быть;
Так что ж!» — «Ужель! ни капли сожаленья!
Чего ты хочешь?» — «Я хочу любить!
Хочу! — ты видишь: краткие мученья
Меня уж изменили... скучно жить,
Как зверю, одному... часам терпенья
Настал последний срок! — Я снова здесь.
Я твой навек, душой и телом,— весь!

6

Я знал, что ваш пророк — не мой пророк,
Что люди мне — чужие, а не братья;
И странствовал в пустыне одинок
И сумрачен, как див, дитя проклятья!
Без страху я давно б в могилу слег,
Но холодны сырой земли объятья...
Ах! я мечтал хоть миг один заснуть,
Мою главу склонив к тебе на грудь!..

7

Беги со мной!.. Оставь свой бедный дом.
Я молод, свеж; твой муж — старик суровый!
Решись, спеши: мне тайный путь знаком;
Мое ружье верней стрелы громо́вой,
Кинжал мой блещет гибельным лучом,
Моя рука быстрей, чем взгляд и слово,
И у меня жилище есть в горах,
Где отыскать нас может лишь аллах!

8

Мой дом изрыт в расселинах скалы:
В нем до меня два барса дружно жили.
Узнав пришельца, голодны и злы,
Они, воспрянув, бросились, завыли...
Я их убил — и в тот же день орлы
Кровавые их кости растащили;
И кожи их у входа, по бокам,
Висят, как тени, в страх другим зверям.

9

Там ложе есть из моха и цветов,
Там есть родник, меж камней иссеченный;
Его питает влага облаков,
И брызжет он, журча струею пленной.
Беги со мной!.. Никто твоих следов
Не различит в степи, мой друг бесценный!
И только месяц с солнцем золотым
Узнают, как и кто тобой любим!..»

10

Обнявши стан ее полунагой,
Едва дыша, склонившись к ней устами,
Он ждал ответа с страхом и тоской,—
Она молчала. Шаткими ветвями
Шумел над ними ветер полевой,
И тени листьев темными рядами
Бродили по челу ее: она,
Как мраморный кумир, была бледна.

11

«Решись же, Зара: ждать я не могу!..
Ты побледнела?.. что такое?.. слезы?
Но разве здесь ты предана врагу?
Иль речь любви похожа на угрозы?
Иль ты меня не любишь? нет! я лгу...
Твои уста нежней иранской розы:
Они не могут это произнесть!..
Пусть нет в тебе любви... но... жалость есть!

12

О, как я был бы счастлив, как богат,
Под звездами аллы, один с тобою!..
Скажи: тебя не любит Акбулат?
Он зол, ревнив, он пасмурен душою,
И речь его хладнее, чем булат?..
Он для тебя постыл... беги со мною...
Но ты качаешь молча головой...
Не он тобой любим!!. но кто ж другой?

13

Скорей: откуда? где он? назови —
Я вытвержу зловещее названье...
Я обниму как брата — и в крови
Запечатлею братское лобзанье.
Кто ж он, счастливый царь твоей любви?
Пускай придет дразнить мое страданье,
При мне тебя и нежить и ласкать...
Я рад смотреть, клянусь... и рад молчать!..»

14

И он склонил мятежную главу,
И он закрыл лицо свое руками,
И видно было ей, как на траву
Упали две слезы двумя звездами.
Без смысла и без звука, наяву,
Как бы во сне, он шевелил устами
И наконец припал к земле сырой,
Как та земля, и хладный и немой.

15

Ей стало жаль; она сказала вдруг:
«Не плачь!.. Ужасен вид твоей печали!
Отец мой был великий воин: юг,
И север, и восток об нем слыхали.
Он был свирепый враг, но верный друг,
И низкой лжи уста его не знали...
Я дочь его, и честь его храню:
Умру, погибну — но не изменю!..

16

Оставь меня! Я счастлива с другим!»
— «Неправда!» — «Я люблю его!» — «Конечно!!!
Он мой злодей, мой враг!!» — «Селим! Селим!
Кто ж виноват?» — «Он прав?» — «Ужели вечно
Не примиритесь вы?» — «Мириться? с ним?
Да кто же я, чтоб злобой скоротечной
Дразнить людей и небо!» — «Ты жесток!»
— «Как быть? такую душу дал мне рок!

17

Прощай! уж поздно! Бог рассудит нас!
Но если я с тобой увижусь снова,
То это будет — знай — в последний раз!..»
Он тихо встал, и более ни слова,
И тихо удалился. День угас,
Лишь бледный луч из-за Бешту крутого
Едва светил прощальною струей
На бледный лик черкешенки младой!

18

Селим не возвращался. Акбулат
Спокоен. Он не видит, что порою
Его жены доселе ясный взгляд
Туманится невольною слезою.
Вот раз с охоты ехал он назад,
Аул дремал, в тени таясь от зною;
С мечети божей лишь мулла седой
Ему смеясь кивает головой

19

И говорит: «Куда спешишь, мой сын!
Не лучше ли гулять в широком поле?
Черкес прямой — всегда, везде один
И служит только родине да воле!
Черкес земле и небу господин,
И чуждый враг ему не страшен боле;
Но если б он послушался меня,
Жену бы кинул — а купил коня!»

20

«Молись себе пророку, злой мулла,
И не мешайся так в дела чужие.
Твой верен глаз — моя верней стрела:
За весь табун твой не отдам жены я!»
И тот в ответ: «Я не желаю зла,
Но вспомнишь ты слова мои простые!»
Смутился Акбулат — потупил взор
И скачет он скорей к себе на двор.

21

С дрожащим сердцем в саклю входит он,
Глядит: на ложе смятом и разрытом
Кинжал знакомый блещет без ножон.
Любимый конь не ржет, не бьет копытом,
Нейдет навстречу Зара: мертвый сон
Повсюду. Лишь на очаге забытом
Сверкает пламень. Он невзвидел дня:
Нет ни жены! ни лучшего коня!!!

22

Без сил, без дум, недвижим, как мертвец,
Пронзенный сзади пулею несмелой,
С открытым взором встретивший конец,
Присел он на порог — и что кипело
В его груди, то знает лишь творец!
Часы бежали. Небо потемнело;
С росой на землю пала тишина;
Из туч косматых прянула луна.

23

Бледней луны сидел он недвижим.
Вдруг слышен топот: всё ясней, яснее,
Вот мчится в поле конь. Как легкий дым,
Волною грива хлещет вдоль по шее;
И вьется что-то белое над ним,
Как покрывало... Конь летит быстрее...
Знакомый конь!.. Вот близко, прискакал...
Но вдруг затрясся, захрипел — и пал.

24

Издохший конь недвижимо лежит,
На нем, колеблясь, блещет покрывало,
Черкесской пулей тонкий холст пробит:
Кровь запеклась на нем струею алой!
К коню в смущенье Акбулат бежит;
Лицо надеждой снова заблистало:
«Спасибо, друг, не позабыл меня!»
И гладит он издохшего коня.

25

И покрывала белого конец
Нетерпеливой поднял он рукою;
Склонился — месяц светит: о творец,
Чей бледный труп он видит пред собою?
Глубоко в грудь, как скорпион, свинец
Впился, насытясь кровью молодою;
Ремень, обвивший нежный стан кругом,
К седлу надежным прикреплен узлом.

26

Как ранний снег бела и холодна,
Бесчувственно рука ее лежала,
Обрызганная кровью... и луна
По гладкому челу, скользя, играла.
С бесцветных уст, как слабый призрак сна,
Последняя улыбка исчезала;
И, опустясь, ресницы бахромой
Бездушный взор таили под собой.

27

Узнал ли ты, несчастный Акбулат,
Свою жену, подругу жизни старой?
Чей сладкий голос, чей веселый взгляд
Был одарен неведомою чарой,
Пленял тебя лишь день тому назад?
Всё понял он — стоит над мертвой Зарой,
Терзает грудь и рвет одежды он,
Зовет ее — но крепок мертвых сон!

⟨28⟩

Да упадет проклятие людей
На жизнь Селима. Пусть в степи палящей
От глаз его сокроется ручей.
Пускай булат руке его дрожащей
Изменит в битве, и в кругу друзей
Тоска туманит взор его блестящий;
Пускай один, бродя во тьме ночной,
Он чей-то шаг всё слышит за собой.

⟨29⟩

Да упадет проклятие аллы
На голову убийцы молодого;
Пускай умрет не в битве — от стрелы
Неведомой разбойника ночного
И полумертвый на хребте скалы
Три ночи и три дня лежит без крова;
Пусть зной палит, и бьет его гроза,
И хищный коршун выклюет глаза!

⟨30⟩

Когда придет, покинув выси гор,
Его душа к обещанному раю,
Пускай пророк свой отворотит взор
И грозно молвит: «Я тебя ⟨не⟩ знаю!»
Тогда, поняв язвительный укор,
Воскликнет он: «Прости мне! умоляю!..»
И снова скажет грешнику пророк:
«Ты был жесток — и я с тобой жесток!»

⟨31⟩

И в ту же ночь за час перед зарей
С мечети грянул вещий звук набата.
Народ сбежался: как маяк ночной,
Пылала ярко сакля Акбулата.
Вокруг нее огонь вился змеей,
Кидая к небу с треском искры злата,
И чей-то смех мучительный и злой
Сквозь дым и пламя вылетал порой.

⟨32⟩

И ниц упал испуганный народ.
«Молитесь, дети! это смех шайтана!» —
Сказал мулла таинственно — и вот
Какой-то темный стих из Алкорана
Запел он громко. Но огонь ревет
И мечется сильнее урагана
И, не внимая жалобным мольбам,
Расходится по крышам и стенам.

⟨33⟩

И зарево на дальних высотах
Трепещущим румянцем отразилось;
И серна гор, лежавшая в кустах,
Послышав крик, вздрогну́ла, пробудилась,
Ее невольно обнял тайный страх:
Стряхнув с себя росу, она пустилась,
И спавшие под сению скалы
Взвилися с криком дикие орлы.

⟨34⟩

Сгорел аул — и слух об нем исчез;
Его сыны рассыпаны в чужбине.
Лишь иногда в туманный день черкес
Об нем, вздохнув, рассказывает ныне
При малых детях. И чужих небес
Питомец, проезжая по пустыне,
Напрасно молвит казаку: «Скажи,
Не знаешь ли аула Бастунджи?..»

1832 или 1833

447. ХАДЖИ АБРЕК

Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани.
Его стена — ручной булат,
Его мечеть — на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены,
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.

По небу знойный день катится,
От скал горячих пар струится;
Орел, недвижим на крылах,
Едва чернеет в облаках;
Ущелья в сон погружены —
В ауле нет лишь тишины.
Аул встревоженный пустеет,

И под горой, где ветер веет,
Где из утеса бьет поток,
Стоит внимательный кружок.
Об чем ведет переговоры
Совет джематских удальцов?
Хотят ли вновь пуститься в горы
На ловлю чуждых табунов?
Не ждут ли русского отряда,
До крови лакомых гостей?
Нет — только жалость и досада
Видна во взорах узденей.
Покрыт одеждами чужими,
Сидит на камне между ними
Лезгинец дряхлый и седой,
И льется речь его потоком,
И вкруг себя блестящим оком
Печально водит он порой.
Рассказу старого лезгина
Внимали все. Он говорил:
«Три нежных дочери, три сына
Мне бог на старость подарил,
Но бури злые разразились,
И ветви древа обвалились,
И я стою теперь один,
Как голый пень среди долин.
Увы, я стар! Мои седины
Белее снега той вершины.
Но и под снегом иногда
Бежит кипучая вода!..
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто возвратит мне дочь мою?
В плену сестры́ ее увяли,
В бою неровном братья пали,—
В чужбине двое, а меньшой
Пронзен штыком передо мной.
Он улыбался, умирая!
Он, верно, зрел, как дева рая
К нему слетела пред концом,
Махая радужным венцом!..
И вот пошел я жить в пустыню
С последней дочерью своей.
Ее хранил я, как святыню;

Всё, что имел я, было в ней:
Я взял с собою лишь ее
Да неизменное ружье.
В пещере с ней я поселился,
Родимой хижины лишен:
К беде я скоро приучился,
Давно был к воле приучен.
Но час ударил неизбежный,
И улетел птенец мой нежный!..
Однажды ночь была глухая,
Я спал... Безмолвно надо мной
Зеленой веткою махая,
Сидел мой ангел молодой.
Вдруг просыпаюсь: слышу, шепот,—
И слабый крик,— и конский топот...
Бегу и вижу — под горой
Несется всадник с быстротой,
Схватив ее в свои объятья.
Я с ним послал свои проклятья.
О, для чего, второй гонец,
Настичь не мог их мой свинец!
С кровавым мщеньем, вот здесь скрытым,
Без сил отмстить за свой позор,
Влачусь я по горам с тех пор,
Как змей, раздавленный копытом.
И нет покоя для меня
С того мучительного дня...
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя Бей-Булата?
Кто привезет мне дочь мою?»

«Я!» — молвил витязь черноокий,
Схватившись за кинжал широкий,
И в изумлении немом
Толпа раздвинулась кругом.
«Я знаю князя! Я решился!..
Две ночи здесь ты жди меня:
Хаджи бесстрашный не садился
Ни разу даром на коня.
Но если я не буду к сроку,
Тогда обет мой позабудь
И об душе моей пророку
Ты помолись, пускаясь в путь».

Взошла заря. Из-за туманов
На небосклоне голубом
Главы гранитных великанов
Встают, увенчанные льдом.
В ущелье облако проснулось,
Как парус розовый, надулось
И понеслось по вышине.
Всё дышит утром. За оврагом
По косогору едет шагом
Черкес на борзом скакуне.
Еще ленивое светило
Росы холмов не осушило.
Со скал высоких, над путем,
Склонился дикий виноградник,
Его серебряным дождем
Осыпан часто конь и всадник.
Небрежно бросив повода,
Красивой плеткой он махает
И песню дедов иногда,
Склонясь на гриву, запевает.
И дальний отзыв за горой
Уныло вторит песни той.

Есть поворот — и путь, прорытый
Арбы скрипучим колесом,
Там, где красивые граниты
Рубчатым сходятся венцом.
Оттуда он, как под ногами,
Смиренный различит аул,
И пыль, поднятую стадами,
И пробужденья первый гул,
И на краю крутого ската
Отметит саклю Бей-Булата,
И, как орел, с вершины гор
Вперит на крышу светлый взор.
В тени прохладной, у порога,
Лезгинка юная сидит.
Пред нею тянется дорога,
Но грустно вдаль она глядит.
Кого ты ждешь, звезда востока,
С заботой нежною такой?
Не друг ли будет издалёка?
Не брат ли с битвы роковой?
От зноя утомясь дневного,

Твоя головка уж готова
На грудь высокую упасть;
Рука скользнула вдоль колена,
И неги сладостная власть
Плечо исторгнула из плена;
Отяготел твой ясный взор,
Покрывшись влагою жемчужной;
В твоих щеках как метеор
Играет пламя крови южной;
Уста волшебные твои
Зовут лобзание любви.
Немым встревожена желаньем,
Обнять ты ищешь что-нибудь,
И перси слабым трепетаньем
Хотят покровы оттолкнуть.
О, где ты, сердца друг бесценный!..
Но вот — и топот отдаленный,
И пыль знакомая взвилась,
И дева шепчет: «Это князь!»

Легко надежда утешает,
Легко обманывает глаз:
Уж близко путник подъезжает...
Увы, она его не знает
И видит только в первый раз!
То странник, в поле запоздалый,
Гостеприимный ищет кров;
Дымится конь его усталый,
И он спры́гнуть уже готов...
Спрыгни́ же, всадник!.. Что же он
Как будто крова испугался?
Он смотрит! Краткий, грустный стон
От губ сомкнутых оторвался,
Как лист от ветви молодой,
Измятый летнею грозой!

«Что медлишь, путник, у порога?
Слезай с походного коня.
Случайный гость — подарок бога.
Кумыс и мед есть у меня.
Ты, вижу, беден,— я богата.
Почти же кровлю Бей-Булата!
Когда опять поедешь в путь,
В молитве нас не позабудь!»

Хаджи Абрек

Аллах спаси тебя, Леила!
Ты гостя лаской подарила;
И от отца тебе поклон
За то привез с собою он.

Леила

Как! Мой отец? Меня поныне
В разлуке долгой не забыл?
Где он живет?

Хаджи Абрек

Где прежде жил:
То в чуждой сакле, то в пустыне.

Леила

Скажи: он весел, он счастлив?
Скорей ответствуй мне...

Хаджи Абрек

Он жив.
Хотя порой дождям и стуже
Открыта голова его...
Но ты?

Леила

Я счастлива.

Хаджи Абрек

(тихо)

Тем хуже!

Леила

А? что ты молвил?..

Хаджи Абрек

Ничего!

Сидит пришелец за столом.
Чихирь с серебряным пшеном
Пред ним, не тронуты доселе,
Стоят! Он странен, в самом деле!

Как на челе его крутом
Блуждают, движутся морщины!
Рукою лет или кручины
Проведены они по нем?

Развеселить его желая,
Леила бубен свой берет;
В него перстами ударяя,
Лезгинку пляшет и поет.
Ее глаза как звезды блещут,
И груди полные трепещут;
Восторгом детским, но живым
Душа невинная объята:
Она кружится перед ним,
Как мотылек в лучах заката.
И вдруг звенящий бубен свой
Подъемлет белыми руками;
Вертит его над головой
И тихо черными очами
Поводит,— и, без слов, уста
Хотят сказать улыбкой милой:
«Развеселись, мой гость унылый!
Судьба и горе — всё мечта!»

Хаджи Абрек

Довольно! Перестань, Леила,
На миг веселость позабудь:
Скажи, ужель когда-нибудь
О смерти мысль не приходила
Тебя встревожить? Отвечай.

Леила

Нет! Что мне хладная могила?
Я на земле нашла свой рай.

Хаджи Абрек

Еще вопрос: ты не грустила
О дальней родине своей,
О светлом небе Дагестана?

Леила

К чему? Мне лучше, веселей
Среди нагорного тумана.
Везде прекрасен божий свет.

Отечества для сердца нет!
Оно насилья не боится,
Как птичка вырвется, умчится.
Поверь мне — счастье только там,
Где любят нас, где верят нам!

Хаджи Абрек

Любовь!.. Но знаешь ли, какое
Блаженство на земле второе
Тому, кто всё похоронил,
Чему он верил, что любил!
Блаженство то верней любови
И только хочет слез да крови.
В нем утешенье для людей,
Когда умрет другое счастье;
В нем преступлений сладострастье,
В нем ад и рай души моей.
Оно при нас всегда, бессменно,
То мучит, то ласкает нас...
Нет, за единый мщенья час,
Клянусь, я нé взял бы вселенной!

Леила

Ты бледен?

Хаджи Абрек

Выслушай. Давно
Тому назад имел я брата;
И он — так было суждено —
Погиб от пули Бей-Булата.
Погиб без славы, не в бою,
Как зверь лесной,— врага не зная,
Но месть и ненависть свою
Он завещал мне, умирая.
И я убийцу отыскал,
И занесен был мой кинжал,
Но я подумал: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне за столько лет
Печали, грусти, мук?.. О нет!
Он что-нибудь да в мире любит:
Найду любви его предмет,
И мой удар его погубит!»
Свершилось наконец. Пора!

Твой час пробил еще вчера.
Смотри, уж блещет луч заката!..
Пора! я слышу голос брата.
Когда сегодня в первый раз
Я увидал твой образ нежный,
Тоскою горькой и мятежной
Душа, как адом, вся зажглась.
Но это чувство улетело...
Валла́х! исполню клятву смело!

Как зимний снег в горах бледна,
Пред ним повергнулась она
На ослабевшие колени;
Мольбы, рыданья, слезы, пени
Перед жестоким излились.
«Ох, ты ужасен с этим взглядом!
Нет, не смотри так! Отвернись!
По мне текут холодным ядом
Слова твои... О, боже мой!
Ужель ты шутишь надо мной?
Ответствуй! ничего не значат
Невинных слезы пред тобой?
О, сжалься!.. Говори — как плачут
В твоей родимой стороне?
Погибнуть рано, рано мне!..
Оставь мне жизнь! Оставь мне младость!
Ты знал ли, что такое радость?
Бывал ли ты во цвете лет
Любим, как я?.. О, верно, нет!»

Хаджи в молчанье роковом
Стоял с нахмуренным челом.

«В твоих глазах ни сожаленья,
Ни слез, жестокий, не видать!..
Ах!.. Боже!.. Ай!.. дай подождать!..
Хоть час один... одно мгновенье!!.»

Блеснула шашка. Раз — и два!
И покатилась голова...
И окровавленной рукою
С земли он приподнял ее.
И острой шашки лезвиё
Обтер волнистою косою.

Потом, бездушное чело
Одевши буркою косматой,
Он вышел и прыгну́л в седло.
Послушный конь его, объятый
Внезапно страхом неземным,
Храпит и пенится под ним,
Щетиной грива, ржет и пышет,
Грызет стальные удила,
Ни слов, ни повода не слышит
И мчится в горы как стрела.

Заря бледнеет. Поздно, поздно,
Сырая ночь недалека!
С вершин Кавказа тихо, грозно
Ползут, как змеи, облака,
Игру бессвязную заводят,
В провалы душные заходят,
Задев колючие кусты,
Бросают жемчуг на листы.
Ручей катится — мутный, серый,
В нем пена бьет из-под травы
И блещет сквозь туман пещеры,
Как очи мертвой головы.
Скорее, путник одинокой!
Закройся буркою широкой,
Ремянный повод натяни,
Ремянной плеткою махни.
Тебе вослед еще не мчится
Ни горный дух, ни дикий зверь,
Но если можешь ты молиться,
То не мешало бы — теперь.

«Скачи, мой конь! Пугливым оком
Зачем глядишь перед собой?
То камень, сглаженный потоком!..
То змей блистает чешуей!..
Твоею гривой в поле брани
Стирал я кровь с могучей длани;
В степи глухой, в недобрый час,
Уже не раз меня ты спас.
Мы отдохнем в краю родном.
Твою уздечку еще боле
Обвешу русским серебром,
И будешь ты в зеленом поле.

Давно ль, давно ль ты изменился,
Скажи, товарищ дорогой?
Что рано пеною покрылся?
Что тяжко дышишь подо мной?
Вот месяц выйдет из тумана,
Верхи дерев осеребрит,
И нам откроется поляна,
Где наш аул во мраке спит,
Заблещут, издали мелькая,
Огни джематских пастухов,
И различим мы, подъезжая,
Глухое ржанье табунов,
И кони вкруг тебя столпятся...
Но стоит мне лишь приподняться,
Они в испуге захрапят
И все шарахнутся назад:
Они почуют издалёка,
Что мы с тобою дети рока!..»

Долины ночь еще объемлет,
Аул Джемат спокойно дремлет,
Один старик лишь в нем не спит.
Один, как памятник могильный,
Недвижим, близ дороги пыльной,
На сером камне он сидит.
Его глаза на путь далекой
Устремлены с тоской глубокой.

«Кто этот всадник? Бережливо
Съезжает он с горы крутой;
Его товарищ долгогривый
Поник усталой головой.
В руке, под буркою дорожной,
Он что-то держит осторожно
И бережет как свет очей».
И думает старик согбенный:
«Подарок, верно, драгоценный
От милой дочери моей!»

Уж всадник близок, под горою
Коня от вдруг остановил,
Потом дрожащею рукою
Он бурку темную открыл,
Открыл — и дар его кровавый

Скатился тихо на траву.
Несчастный видит — боже правый! —
Своей Леилы голову!..
И он, в безумном восхищенье,
К своим устам ее прижал!
Как будто ей передавал
Свое последнее мученье.
Всю жизнь свою в единый стон,
В одно лобзанье вылил он.
Довольно люди ⟨и⟩ печали
В нем сердце бедное терзали!
Как нить, истлевшая давно,
Разорвалося вдруг оно,
И неподвижные морщины
Покрылись бледностью кончины.
Душа так быстро отлетела,
Что мысль, которой до конца
Он жил, черты его лица
Совсем оставить не успела.

Молчанье мрачное храня,
Хаджи ему не подивился;
Взглянул на шашку, на коня —
И быстро в горы удалился.

Промчался год. В глухой теснине
Два трупа смрадные, в пыли,
Блуждая, путники нашли
И схоронили на вершине.
Облиты кровью были оба,
И ярко начертала злоба
Проклятие на их челе.
Обнявшись крепко, на земле
Они лежали, костенея,
Два друга с виду — два злодея!
Быть может, то одна мечта,
Но бедным странникам казалось,
Что их лицо порой менялось,
Что всё грозили их уста.
Одежда их была богата,
Башлык их шапки покрывал,—
В одном узнали Бей-Булата,
Никто другого не узнал.

1833 или 1834

448. БОЯРИН ОРША

ГЛАВА 1

> Then burst her heart in one long shriek,
> And to the earth she fell like stone
> Or statue from its base o'erthrown.
>
> *Byron* [1]

Во время о́но жил да был
В Москве боярин Михаил,
Прозваньем Орша. Важный сан
Дал Орше Грозный Иоанн;
Он дал ему с руки своей
Кольцо, наследие царей;
Он дал ему в веселый миг
Соболью шубу с плеч своих;
В день воскресения Христа
Поцеловал его в уста
И обещался в тот же день
Дать тридцать царских деревень
С тем, чтобы Орша до конца
Не отлучался от дворца.

Но Орша нравом был угрюм:
Он не любил придворный шум,
При виде трепетных льстецов
Щипал концы седых усов,
И раз, опричным огорчен,
Так Иоанну молвил он:
«Надежа-царь! пусти меня
На родину — я день от дня
Всё старе — даже не могу
Обиду выместить врагу;
Есть много слуг в дворце твоем.
Пусти меня! — Мой старый дом
На берегу Днепра крутом
Близ рубежа Литвы чужой
Оброс могильною травой;

---

[1] Тогда сердце ее разорвалось в одном протяжном крике,
И на землю она упала, как камень
Или статуя, сброшенная с своего пьедестала.
Байрон (англ.).— *Ред.*

Пробудь я здесь еще хоть год —
Он догниет — и упадет;
Дай поклониться мне Днепру...
Там я родился — там умру!»

И он узрел свой старый дом.
Покои темные кругом
Уставил златом и сребром,
Икону в ризе дорогой
В алмазах, в жемчуге, с резьбой
Повесил в каждом он углу,
И запестрелись на полу
Узоры шелковых ковров.
Но лучше царских всех даров
Был божий дар — младая дочь;
Об ней он думал день и ночь,
В его глазах она росла
Свежа, невинна, весела,
Цветок грядущего святой,
Былого памятник живой!
Так средь развалин иногда
Растет береза: молода,
Мила над плитами гробов
Игрою шепчущих листов,
И та холодная стена
Ее красой оживлена!..
. . . .

Туманно в поле и темно,
Одно лишь светится окно
В боярском доме — как звезда
Сквозь тучи смотрит иногда.
Тяжелый звякнул уж затвор,
Угрюм и пуст широкий двор.
Вот, испытав замки дверей,
С гремучей связкою ключей
К калитке сторож подошел
И взоры на́ небо возвел.
«А завтра быть грозе большой! —
Сказал, крестясь, старик седой.—
Смотри-ка, молния вдали
Так и доходит до земли,
И белый месяц, как монах,
Завернут в черных облаках;

И воет ветер, будто зверь.
Дай кучу злата мне теперь,
С конюшни лучшего коня
Сейчас седлайте для меня —
Нет, не отъеду от крыльца
Ни для родимого отца!»
Так рассуждая сам с собой,
Кряхтя, старик пошел домой.
Лишь вдалеке едва гремят
Его ключи — вокруг палат
Всё снова тихо и темно,
Одно лишь светится окно.

Всё в доме спит — не спит один
Его угрюмый властелин
В покое пышном и большом
На ложе бархатном своем.
Полусгоревшая свеча
Пред ним, сверкая и треща,
Порой на каждый льет предмет
Какой-то странный полусвет.
Висят над ложем образа;
Их ризы блещут, их глаза
Вдруг оживляются, глядят —
Но с чем сравнить подобный взгляд?
Он непонятней и страшней
Всех мертвых и живых очей!
Томит боярина тоска,
Уж поздно. Под окном река
Шумит, и с бурей заодно
Гремучий дождь стучит в окно.
Чернеет тень во всех углах,
И — странно — Оршу обнял страх!
Бывал он в битвах, хоть и стар,
Против поляков и татар,
Слыхал он грозный царский глас,
Встречал и взор, в недобрый час —
Ни разу дух его крутой
Не ослабел перед бедой;
Но тут — он свистнул, и взошел
Любимый раб его, *Сокóл.*

И молвил Орша: «Скучно мне,
Всё думы черные одне.

Садись поближе на скамью
И речью грусть рассей мою...
Пожалуй, сказку ты начни
Про прежние златые дни,
И я, припомнив старину,
Под говор слов твоих засну».

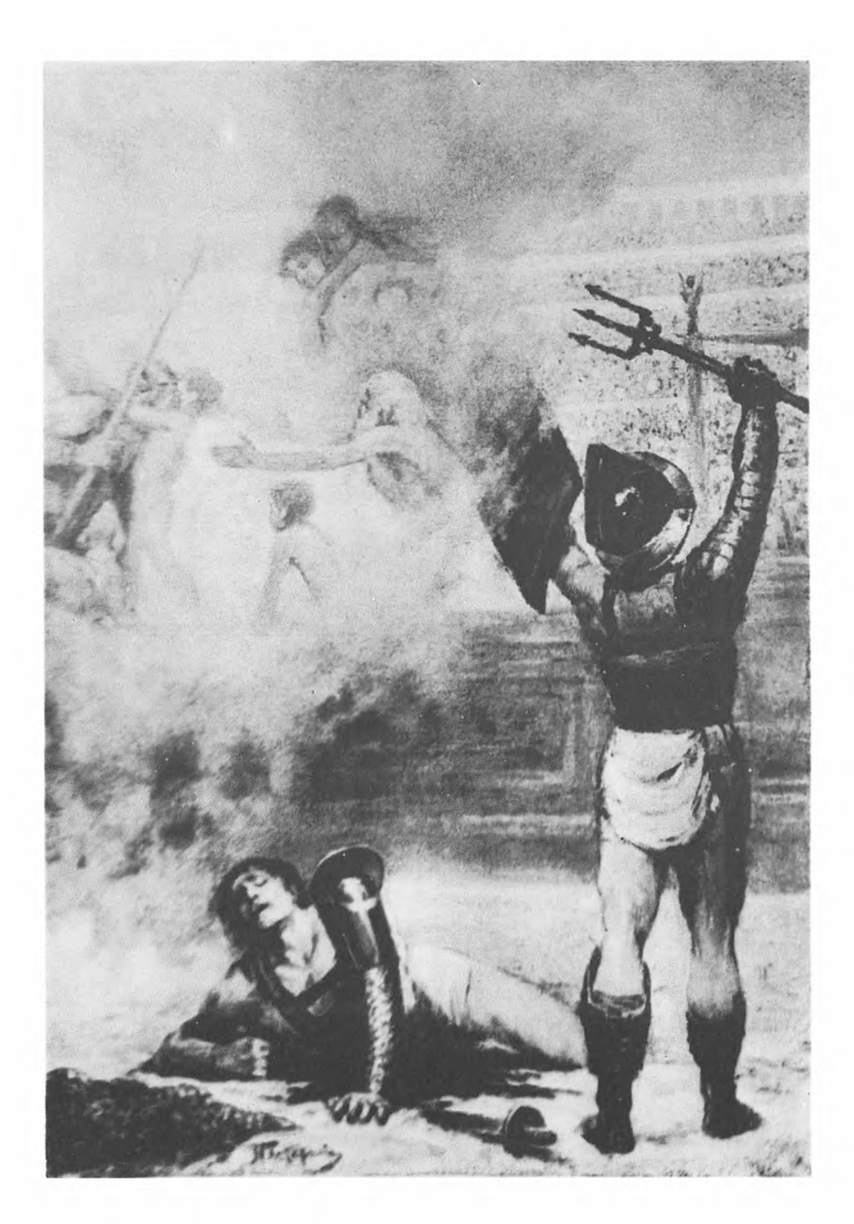
И на скамью присел Сокóл,
И речь такую он завел:

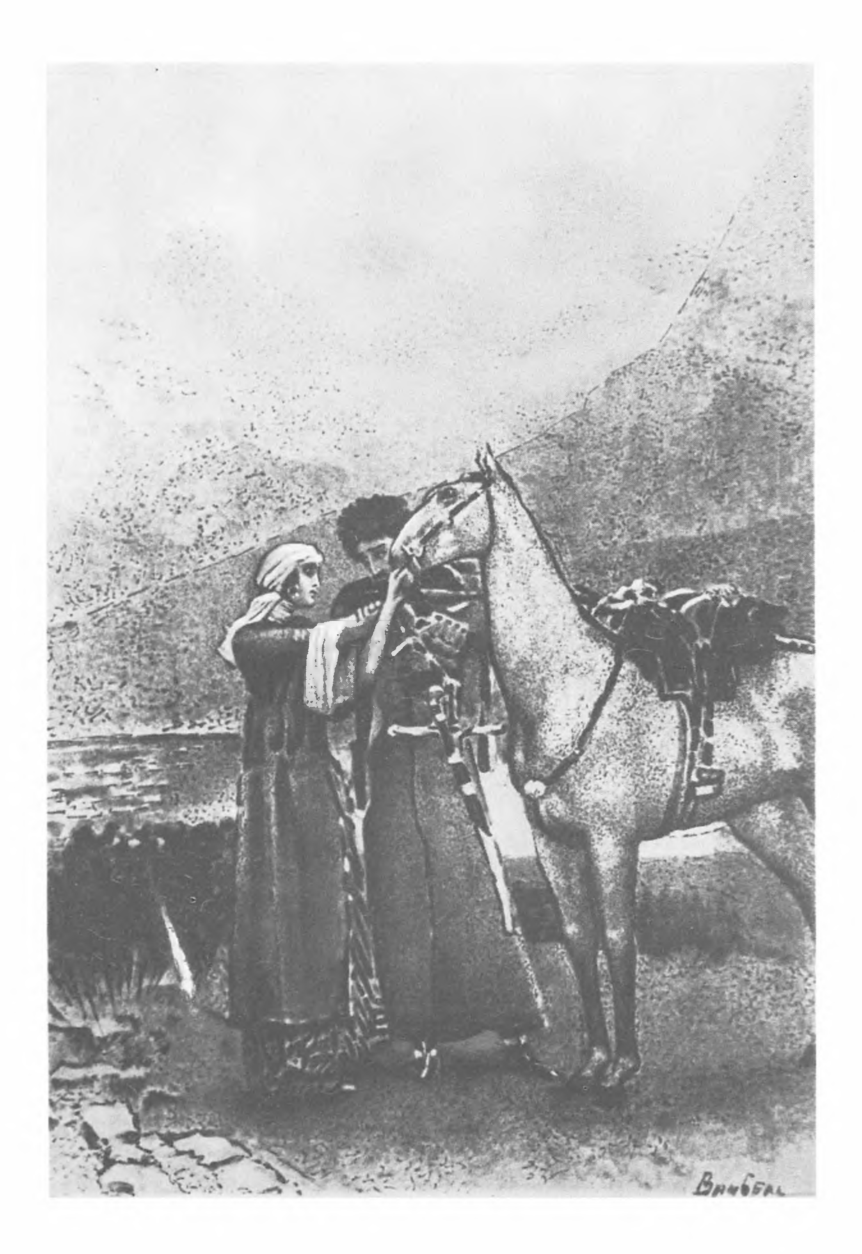
«Жил-был за тридевять земель
В тридцатом княжестве отсель
Великий и премудрый царь.
Ни в наше времечко, ни встарь
Никто не видывал пышней
Его палат, и много дней
В веселье жизнь его текла,
Покуда дочь не подросла.

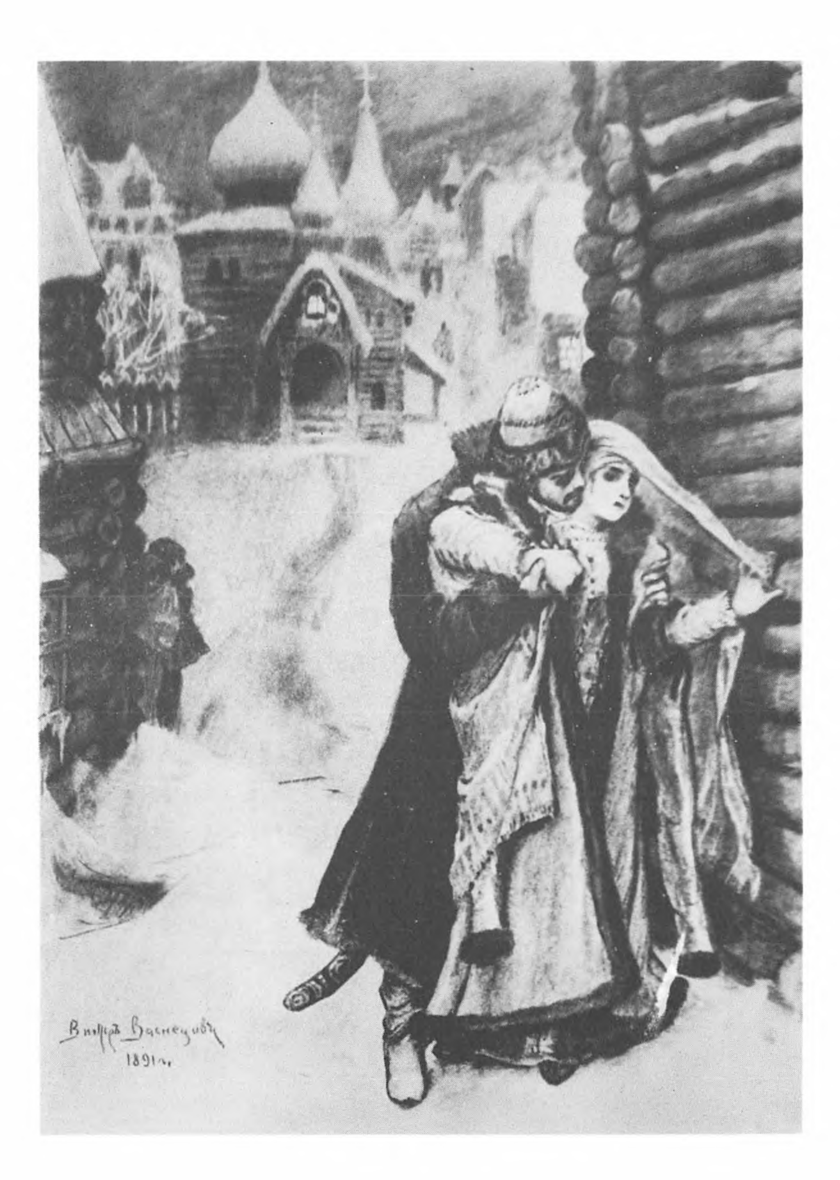
Тот царь был слаб, и хил, и стар,
А дочь непрочный ведь товар!
Ее, как лучший свой алмаз,
Он скрыл от молодецких глаз;
И на его царевну-дочь
Смотрел лишь день да темна ночь,
И целовать красотку мог
Лишь перелетный ветерок.

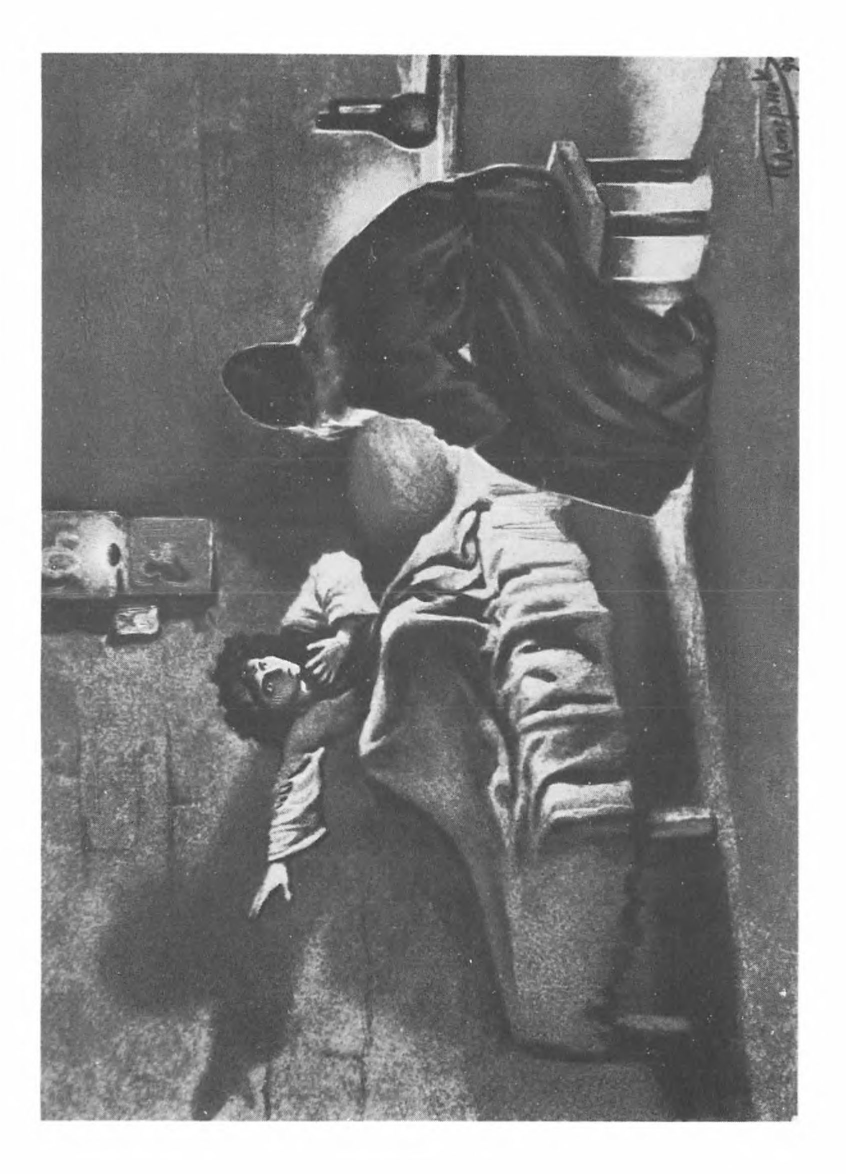
И царь тот раза три на дню
Ходил смотреть на дочь свою,
Но вздумал вдруг он в темну ночь
Взглянуть, как спит младая дочь.
Свой ключ серебряный он взял,
Сапожки шелковые снял
И вот приходит в башню ту,
Где скрыл царевну-красоту!..

Вошел — в светлице тишина;
Дочь сладко спит, но не одна:
Припав на грудь ее главой,
С ней царский конюх молодой.
И прогневился царь тогда,
И повелел он без суда
Их вместе в бочку засмолить
И в сине море укатить...»




Врубель


Викторъ Васнецовъ
1891 г.



И быстро на устах раба,
Как будто тайная борьба
В то время совершалась в нем,
Улыбка вспыхнула — потом
Он очи на небо возвел,
Вздохнул и смолк. «Ступай, Соко́л! —
Махнув дрожащею рукой,
Сказал боярин.— В час иной
Расскажешь сказку до конца
Про оскорбленного отца!»

И по морщинам старика,
Как тени облака, слегка
Промчались тени черных дум,
Встревоженный и быстрый ум
Вблизи предвидел много бед.
Он жил: он знал людей и свет,
Он злом не мог быть удивлен;
Добру ж давно не верил он,
Не верил... только потому,
Что верил некогда всему!

И вспыхнул в нем остаток сил,
Он с ложа мягкого вскочил,
Соболью шубу на плеча
Накинул он — в руке свеча,
И вот, дрожа, идет скорей
К светлице дочери своей.
Ступени лестницы крутой
Под тяжкою его стопой
Скрыпят, и свечка раза два
Из рук не выпала едва.

Он видит: няня в уголке
Сидит на старом сундуке
И спит глубоко и порой
Во сне качает головой;
На ней, предчувствием объят,
На миг он удержал свой взгляд —
И мимо, но, послыша стук,
Старуха пробудилась вдруг,
Перекрестилась, и потом
Опять заснула крепким сном,
И, занята своей мечтой,
Вновь закачала головой.

Стоит боярин у дверей
Светлицы дочери своей,
И чутким ухом он приник
К замку — и думает старик:
«Нет! непорочна дочь моя,
А ты, Сокóл, ты раб, змея,
За дерзкий, хитрый свой намек
Получишь гибельный урок!»
Но вдруг... о горе, о позор!
Он слышит тихий разговор!..

1-й голос

О! погоди, Арсений мой!
Вчера ты был совсем другой.
День без меня — и миг со мной?..

2-й голос

Не плачь... утешься! Близок час —
И будет мир ничто для нас.
В чужой, но близкой стороне
Мы будем счастливы одне,
И не раба обнимешь ты
Среди полночной темноты.
С тех пор, ты помнишь, как чернец
Меня привез и твой отец
Вручил ему свой кошелек,
С тех пор, задумчив, одинок,
Тоской по вольности томим,
Но нежным голосом твоим
И блеском ангельских очей
Прикован у тюрьмы моей,
Задумал я свой край родной
Навек оставить, но с тобой!..
И скоро я в лесах чужих
Нашел товарищей лихих,
Бесстрашных, твердых как булат.
Людской закон для них не свят,
Война — их рай, а мир — их ад.
Я отдал душу им в заклад,
Но ты моя — и я богат!..

И голоса замолкли вдруг.
И слышит Орша тихий звук,
Звук поцелуя... и другой...

Он вспыхнул, дверь толкнул рукой
И исступленный и немой
Предстал пред бледною четой...
. . . .

Боярин сделал шаг назад,
На дочь он кинул злобный взгляд,
Глаза их встретились — и вмиг
Мучительный, ужасный крик
Раздался, пролетел — и стих.
И тот, кто крик сей услыхал,
Подумал, верно, иль сказал,
Что дважды из груди одной
Не вылетает звук такой.
И тяжко на цветной ковер,
Как труп бездушный с давних пор,
Упало что-то. И на зов
Боярина толпа рабов,
Во всем послушная орда,
Шумя сбежалася тогда,
И без усилий, без борьбы
Схватили юношу рабы.

Нем и недвижим он стоял,
Покуда крепко обвивал
Все члены, как змея, канат;
В них проникал могильный хлад,
И сердце громко билось в нем
Тоской, отчаяньем, стыдом.

Когда ж безумца увели
И шум шагов умолк вдали
И с ним остался лишь Сокóл,
Боярин к двери подошел,
В последний раз в нее взглянул,
Не вздрогнул, даже не вздохнул,
И трижды ключ перевернул
В ее заржавленном замке...
Но... ключ дрожал в его руке!
Потом он отворил окно:
Всё было нá небе темно,
А под окном меж диких скал
Днепр беспокойный бушевал.

И в волны ключ от двери той
Он бросил сильною рукой,
И тихо ключ тот роковой
Был принят хладною рекой.

Тогда, решив свою судьбу,
Боярин верному рабу
На волны молча указал,
И тот поклоном отвечал...
И через час уж в доме том
Всё спало снова крепким сном,
И только нé спал в нем один
Его угрюмый властелин.

ГЛАВА 2

The rest thou dost already know,
And all my sins, and half my woe,
But talk no more of penitence...

Byron[1]

Народ кипит в монастыре;
У врат святых и на дворе
Рабы боярские стоят.
Их копья медные горят,
Их шапки длинные кругом
Опушены густым бобром;
За кушаком блестят у них
Ножны кинжалов дорогих.
Меж них стремянный молодой,
За гриву правою рукой
Держа боярского коня,
Стоит; по временам, звеня,
Стремена бьются о бока;
Истерт ногами седока,
В пыли малиновый чепрак;

[1] Остальное тебе уже известно:
И грехи мои — целиком, и скорбь моя — наполовину,
Но не говори мне более о покаянии...
Байрон (англ.).— *Ред.*

Весь в мыле, серый аргамак
Мотает гривою густой,
Бьет землю жилистой ногой,
Грызет с досады удила,
И пена легкая, бела,
Чиста, как первый снег в полях,
С железа падает на прах.

Но вот обедня отошла,
Гудят, ревут колокола.
Вот слышно пенье — из дверей
Мелькает длинный ряд свечей;
Вослед игумену-отцу
Монахи сходят по крыльцу
И прямо в трапезу идут:
Там грозный суд, последний суд
Произнесет отец святой
Над бедной грешной головой!

Безмолвна трапеза была.
К стене налево два стола
И пышных кресел полукруг,
Изделье иноческих рук,
Блистали тканью парчевой;
В большие окна свет дневной,
Врываясь белой полосой,
Дробяся в искры по стеклу,
Играл на каменном полу.
Резьбою мелкою стена
Была искусно убрана,
И на двери в кружках златых
Блистали образа святых.
Тяжелый, низкий потолок
Расписывал как знал, как мог
Усердный инок... Жалкий труд!
Отнявший множество минут
У бога, дум святых и дел:
Искусства горестный удел!..

На мягких креслах пред столом
Сидел в бездействии немом
Боярин Орша. Иногда
Усы седые, борода,
С игривым встретившись лучом,

Вдруг отливали серебром,
И часто кудри старика
От дуновенья ветерка
Приподымалися слегка.
Движеньем пасмурных очей
Нередко он искал дверей,
И в нетерпении порой
Он пó столу стучал рукой.

В конце противном залы той
Один, в цепях, к нему спиной,
Покрыт одеждою раба,
Стоял Арсений у столба.
Но в молодом лице его
Вы не нашли б ни одного
Из чувств, которых смутный рой
Кружится, вьется над душой
В час расставания с землей.
Хотел ли он перед врагом
Предстать с бесчувственным челом,
С холодной важностью лица
И мстить хоть этим до конца?
Иль он невольно в этот миг
Глубокой мыслию постиг,
Что он в цепи существ давно
Едва ль не лишнее звено?..
Задумчив, он смотрел в окно
На голубые небеса,—
Его манила их краса,
И кудри легких облаков,
Небес серебряный покров,
Неслись свободно, быстро там,
Кидая тени по холмам.
И он увидел: у окна,
Заботой резвою полна,
Летала ласточка — то вниз,
То вверх под каменный карниз
Кидалась с дивной быстротой
И в щели пряталась сырой;
То, взвившись нá небо стрелой,
Тонула в пламенных лучах...
И он вздохнул о прежних днях,
Когда он жил, страстям чужой,
С природой жизнию одной.

Блеснули тусклые глаза,
Но это блеск был — не слеза;
Он улыбнулся, но жесток
В его улыбке был упрек!

И вдруг раздался звук шагов,
Невнятный говор голосов,
Скрып отворяемых дверей...
Они! — взошли! — толпа людей
В высоких, черных клобуках,
С свечами длинными в руках.
Согбенный тягостью вериг
Пред ними шел слепой старик,
Отец игумен. Сорок лет
Уж он не знал, что́ божий свет,
Но ум его был юн, богат,
Как сорок лет тому назад.
Он шел, склонясь на посох свой,
И крест держал перед собой;
И крест осыпан был кругом
Алмазами и жемчугом.
И трость игумена была
Слоновой кости, так бела,
Что лишь с седой его брадой
Могла равняться белизной.

Перекрестясь, он важно сел,
И пленника подвесть велел,
И одного из чернецов
Позвал по имени,— суров
И холоден был вид лица
Того святого чернеца.
Потом игумен, наклонясь,
Сказал боярину, смеясь,
Два слова на ухо. В ответ
На сей вопрос или совет
Кивнул боярин головой...
И вот слепец махнул рукой!
И понял данный знак монах,
Укор готовый на устах
Словами книжными убрал
И так преступнику вещал:
«Безумный, бренный сын земли!
Злой дух и страсти привели

Тебя медовою тропой
К границе жизни сей земной.
Грешил ты много, но из всех
Грехов страшней последний грех.
Простить не может суд земной,
Но в небе есть судья иной:
Он милосерд — ему теперь
При нас дела свои поверь!»

Арсений

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел — благодарю!
Не понимаю, что была
У вас за мысль? — Мои дела
И без меня ты должен знать,
А душу можно ль рассказать?
И если б мог я эту грудь
Перед тобою развернуть,
Ты, верно, не прочел бы в ней,
Что я бессовестный злодей!
Пусть монастырский ваш закон
Рукою бога утвержден,
Но в этом сердце есть другой,
Ему не менее святой:
Он оправдал меня — один
Он сердца полный властелин!
Когда б сквозь бедный мой наряд
Не проникал до сердца яд,
Тогда я был бы виноват.
Но всех равно влечет судьба:
И под одеждою раба,
Но полный жизнью молодой,
Я человек, как и другой.
И ты, и ты, слепой старик,
Когда б ее небесный лик
Тебе явился хоть во сне,
Ты позавидовал бы мне,
И, в исступленье, может быть,
Решился б также согрешить,
И клятвы б грозные забыл,
И перенесть бы счастлив был
За слово, ласку или взор
Мое мученье, мой позор!..

Орша

Не поминай теперь об ней,—
Напрасно!.. У груди моей,
Хоть ныне поздно вижу я,
Согрелась, выросла змея!..
Но ты заплатишь мне теперь
За хлеб и соль мою, поверь.
За сердце ж дочери моей
Я заплачу тебе, злодей,
Тебе, найденыш без креста,
Презренный раб и сирота!..

Арсений

Ты прав... не знаю, где рожден!
Кто мой отец, и жив ли он?
Не знаю... люди говорят,
Что я тобой ребенком взят,
И был я отдан с ранних пор
Под строгий иноков надзор,
И вырос в тесных я стенах
Душой дитя — судьбой монах!
Никто не смел мне здесь сказать
Священных слов: «отец» и «мать»!
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен?
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Но нынче сам я не хочу
Предать их имя палачу
И всё, что славно было б в нем,
Облить и кровью и стыдом:
Умру, как жил, твоим рабом!..
Нет, не грози, отец святой;
Чего бояться нам с тобой?
Обоих нас могила ждет...
Не всё ль равно, что день, что год?
Никто уж нам не господин;
Ты в рай, я в ад — но путь один!
С тех пор, как длится жизнь моя,
Два раза был свободен я,

Последний ныне. В первый раз,
Когда я жил еще у вас,
Среди молитв и пыльных книг,
Пришло мне в мысли хоть на миг
Взглянуть на пышные поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы!
И в час ночной, в ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
При блеске молний роковых
Я убежал из стен святых;
Боязнь с одеждой кинул прочь,
Благословил и хлад и ночь,
Забыл печали бытия
И бурю братом на́звал я.
Восторгом бешеным объят,
С ней унестись я был бы рад,
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил!
О старец, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой?..

Игумен

На что нам знать твои мечты?
Не для того пред нами ты!
В другом ты ныне обвинен,
И хочет истины закон.
Открой же нам друзей своих,
Убийц, разбойников ночных,
Которых страшные дела
Смывает кровь и кроет мгла,
С которыми, забывши честь,
Ты мнил несчастную увезть.

Арсений

Мне их назвать? Отец святой,
Вот что умрет во мне, со мной.
О нет, их тайну — не мою —
Я неизменно сохраню,

Пока земля в урочный час
Как двух друзей не примет нас.
Пытай железом и огнем,
Я не признаюся ни в чем;
И если хоть минутный крик
Изменит мне... тогда, старик,
Я вырву слабый мой язык!..

Монах

Страшись упорствовать, глупец!
К чему? Уж близок твой конец,
Скорее тайну нам предай.
За гробом есть и ад и рай,
И вечность в том или другом!..

Арсений

Послушай, я забылся сном
Вчера в темнице. Слышу вдруг
Я приближающийся звук,
Знакомый, милый разговор,
И будто вижу ясный взор...
И, пробудясь во тьме, скорей
Ищу тех звуков, тех очей...
Увы! они в груди моей!
Они на сердце как печать,
Чтоб я не смел их забывать,
И жгут его, и вновь живят...
Они мой рай, они мой ад!
Для вспоминания об них
Жизнь — ничего, а вечность — миг!

Игумен

Богохулитель, удержись!
Пади на землю, плачь, молись,
Прими святую в грудь боязнь...
Мечтанья злые — божья казнь!
Молись ему...

Арсений

Напрасный труд!
Не говори, что божий суд
Определяет мне конец:
Всё люди, люди, мой отец!
Пускай умру... но смерть моя

Не продолжи́т их бытия,
И дни грядущие мои
Им не присвоить, и в крови,
Неправой казнью пролито́й,
В крови безумца молодой
Им разогреть не суждено
Сердца, увядшие давно;
И гроб без камня и креста,
Как жизнь их ни была свята,
Не будет слабым их ногам
Ступенью новой к небесам;
И тень несчастного, поверь,
Не отопрет им рая дверь!..
Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине,
Но с жизнью жаль расстаться мне!
Я молод, молод,— знал ли ты,
Что́ значит молодость, мечты?
Или не знал? Или забыл,
Как ненавидел и любил?
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой трещине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?..
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл... ты слеп, ты сед,
И от желаний ты отвык...
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил — я также мог бы жить!..

Но тут игумен с места встал,
Речь нечестивую прервал,
И негодуя все вокруг
На гордый вид и гордый дух,
Столь непреклонный пред судьбой,
Шептались грозно меж собой,
И слово «пытка» там и там
Вмиг пробежало по устам,

Но узник был невозмутим,
Бесчувственно внимал он им.
Так, бурей брошен на песок,
Худой, увязнувший челнок,
Лишенный весел и гребцов,
Недвижим ждет напор валов.

. . . .
. . . .
. . . .

...Светает. В поле тишина.
Густой туман, как пелена
С посеребренною каймой,
Клубится над Днепром-рекой.
И сквозь него высокий бор,
Рассыпанный по скату гор,
Безмолвно смотрится в реке,
Едва чернея вдалеке.
И из-за тех густых лесов
Выходят стаи облаков,
А из-за них, огнем горя,
Выходит красная заря.
Блестят кресты монастыря;
По длинным башням и стенам
И по расписанным вратам
Прекрасный, чистый и живой,
Как счастье жизни молодой,
Играет луч ее златой.

Унылый звон колоколов
Созвал уж в храм святых отцов;
Уж дым кадил между столбов,
Вился струей, и хор звучал...
Вдруг в церковь служка прибежал,
Отцу игумену шепнул
Он что-то скоро — тот вздрогну́л
И молвил: «Где же казначей?
Поди спроси его скорей,
Не затерял ли он ключей!»
И казначей из алтаря
Пришел, дрожа и говоря,
Что все ключи еще при нем,
Что не виновен он ни в чем!

Засуетились чернецы,
Забегали во все концы,
И свод нередко повторял
Слова: «Бежал! кто? как бежал?»
И в монастырскую тюрьму
Пошли один по одному,
Загадкой мучаясь простой,
Жильцы обители святой!..

Пришли, глядят: распилена́
Решетка узкого окна,
Во рву притоптанный песок
Хранил следы различных ног;
Забытый на песке лежал
Стальной, зазубренный кинжал,
И польский шелковый кушак
Изорван, скручен кое-как,
К ветвям березы под окном
Привязан крепким был узлом.

Пошли прилежно по следам:
Они вели к Днепру — и там
Могли заметить на мели
Рубец отчалившей ладьи.
Вблизи, на прутьях тростника
Лоскут того же кушака
Висел, в воде одним концом,
Колеблем ранним ветерком.

«Бежал! Но кто ж ему помог?
Конечно, люди, а не бог!..
И где же он нашел друзей?
Знать, точно он большой злодей!» —
Так, собираясь, меж собой
Твердили иноки порой.

ГЛАВА 3

'Tis he! 'tis he! I know him now;
I know him by his pallid brow...

Byron [1]

Зима! Из глубины снегов
Встают, чернея, пни дерёв,
Как призраки, склонясь челом
Над замерзающим Днепром.
Глядится тусклый день в стекло
Прозрачных льдин, и занесло
Овраги снегом. На заре
Лишь заяц кра́дется к норе
И, прыгая назад, вперед,
Свой след запутанный кладет,
Да иногда, во тьме ночной,
Раздастся псов протяжный вой,
Когда, голодный и худой,
Обходит волк вокруг гумна.
И если в поле тишина,
То даже слышны издали
Его тяжелые шаги,
И скрып, и щелканье зубов;
И каждый вечер меж кустов
Сто ярких глаз, как свечи в ряд,
Во мраке прыгают, блестят...

Но вьюги зимней не страшась,
Однажды в ранний утра час
Боярин Орша дал приказ
Собраться челяди своей,
Точить ножи, седлать коней,
И разнеслась везде молва,
Что беспокойная Литва
С толпою дерзких воевод
На землю русскую идет.
От войска русского гонцы
Во все помчалися концы,
Зовут бояр и их людей
На славный пир — на пир мечей!

---

[1] Это он, это он! Я теперь узнаю его;
Я узнаю его по бледному челу...
Байрон (англ.).— *Ред.*

Садится Орша на коня,
Дал знак рукой,— гремя, звеня,
Средь вопля женщин и детей,
Все повскакали на коней,
И каждый с знаменьем креста
За ним проехал в ворота;
Лишь он, безмолвный, не крестясь,
Как бусурман, татарский князь,
К своим приближась воротам,
Возвел глаза — не к небесам;
Возвел он их на терем тот,
Где прежде жил он без забот,
Где нынче ветер лишь живет
И где, качая изредка
Дверь без ключа и без замка,
Как мать качает колыбель,
Поет гульливая метель!..

. . . .
. . . .
. . . .

Умчался дале шумный бой,
Оставя след багровый свой...
Между поверженных коней,
Обломков копий и мечей
В то время всадник разъезжал;
Чего-то, мнилось, он искал,
То низко голову склоня
До гривы черного коня,
То вдруг привстав на стременах...
Кто ж он? — Не русский! и не лях,
Хоть платье польское на нем
Пестрело ярко серебром,
Хоть сабля польская, звеня,
Стучала по ребра́м коня!
Чела крутого смуглый цвет,
Глаза, в которых мрак и свет
В борьбе сменялися не раз,
Почти могли б уверить вас,
Что в нем кипела кровь татар...
Он был не молод — и не стар.
Но, рассмотрев его черты,
Не чуждые той красоты

Невыразимой, но живой,
Которой блеск печальный свой
Мысль неизменная дала,
Где всё, что есть добра и зла
В душе, прикованной к земле,
Отражено как на стекле,—
Вздохнувши, всякий бы сказал,
Что жил он меньше, чем страдал.

Среди долины был курган.
Корнистый дуб, как великан,
Его пятою попирал
И горделиво расстилал
Над ним по прихоти своей
Шатер чернеющих ветвей.
Тут бой ужасный закипел,
Тут и затих. Громада тел,
Обезображенных мечом,
Пестрела на кургане том,
И снег, окрашенный в крови,
Кой-где протаял до земли;
Кора на дубе вековом
Была изрублена кругом,
И кровь на ней видна была,
Как будто бы она текла
Из глубины сих новых ран...
И всадник взъехал на курган,
Потом с коня он соскочил
И так в раздумье говорил:
«Вот место — мертвый иль живой
Он здесь... вот дуб — к нему спиной
Прижавшись, бешеный старик
Рубился — видел я хоть миг,
Как, окружен со всех сторон,
С пятью рабами бился он,
И дорого тебе, Литва,
Досталась эта голова!..
Здесь, сквозь толпу, издалека
Я видел, как его рука
Три раза с саблей поднялась
И опустилась,— каждый раз,
Когда она являлась вновь,
По ней ручьем бежала кровь...
Четвертый взмах я долго ждал!

Но с поля он не побежал,
Не мог бежать, хотя б желал!..»
И вдруг он внемлет слабый стон,
Подходит, смотрит: «Это он!»
Главу, омытую в крови,
Боярин приподнял с земли
И слабым голосом сказал:
«И я узнал тебя! узнал!
Ни время, ни чужой наряд
Не изменят зловещий взгляд
И это бледное чело,
Где преступление и зло
Печать оставили свою.
Арсений! Так, я узнаю,
Хотя могилы на краю,
Улыбку прежнюю твою
И в ней шипящую змею!
Я узнаю и голос твой
Меж звуков стороны чужой,
Которыми ты, может быть,
Его желаешь изменить.
Твой умысел постиг я весь,
Я знаю, для чего ты здесь,
Но, верный родине моей,
Не отверну теперь очей,
Хоть ты б желал, изменник-лях,
Прочесть в них близкой смерти страх,
И сожаленье, и печаль...
Но знай, что жизни мне не жаль,
А жаль лишь то, что час мой бил,
Покуда я не отомстил,
Что не могу поднять меча,
Что на руках моих, с плеча
Омытых кровью до локтей
Злодеев родины моей,
Ни капли крови нет твоей!..»

«Старик! о прежнем позабудь...
Взгляни сюда, на эту грудь,
Она не в ранах, как твоя,
Но в ней живет тоска-змея!
Ты отомщен вполне, давно,
А кем и как — не всё ль равно?
Но лучше мне скажи, молю,

Где отыщу я дочь твою?
От рук врагов земли твоей,
Их поцелуев и мечей,
Хоть сам теперь меж ними я,
Ее спасти я поклялся!»

«Скачи скорей в мой старый дом,
Там дочь моя; ни ночь ни днем
Не ест, не спит, всё ждет да ждет,
Покуда милый не придет!
Спеши... Уж близок мой конец,
Теперь обиженный отец
Для вас лишь страшен как мертвец!»
Он дальше говорить хотел,
Но вдруг язык оцепенел;
Он сделать знак хотел рукой,
Но пальцы сжались меж собой.
Тень смерти мрачной полосой
Промчалась на его челе,
Он обернул лицо к земле,
Вдруг протянулся, захрипел,
И — дух от тела отлетел!

К нему Арсений подошел,
И руки сжатые развел,
И поднял голову с земли:
Две яркие слезы текли
Из побелевших мутных глаз,
Собой лишь светлы, как алмаз.
Спокойны были все черты,
Исполнены той красоты,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.

И долго юноша над ним
Стоял, раскаяньем томим,
Невольно мысля о былом,
Прощая — не прощен ни в чем!
И на груди его потом
Он тихо распахнул кафтан:
Старинных и последних ран
На ней кровавые следы
Вились, чернели, как бразды.
Он руку к сердцу приложил,

И трепет замиравших жил
Ему неясно возвестил,
Что в буйном сердце мертвеца
Кипели страсти до конца,
Что блеск печальный этих глаз
Гораздо прежде их погас!..

Уж время шло к закату дня,
И сел Арсений на коня,
Стальные шпоры он в бока
Ему вонзил — и в два прыжка
От места битвы роковой
Он был далёко. Пеленой
Широкою за ним луга
Тянулись,— яркие снега
При свете косвенных лучей
Сверкали тысячью огней.
Пред ним стеной знакомый лес
Чернеет на краю небес.
Под сень дерев въезжает он:
Всё тихо, всюду мертвый сон,
Лишь иногда с седого пня,
Послыша близкий храп коня,
Тяжелый ворон, царь степной,
Слетит и сядет на другой,
Свой кровожадный чистя клёв
О сучья жесткие дерёв;
Лишь отдаленный вой волков,
Бегущих жадною толпой
На место битвы роковой,
Терялся в тишине степей...
Сыпучий иней вкруг ветвей
Берез и сосен, над путем
Прозрачным свившихся шатром,
Висел косматой бахромой,
И часто, шапкой иль рукой
Когда за них он задевал,
Прах серебристый осыпал
Его лицо... И быстро он
Скакал, в раздумье погружен.
Измучил непривычный бег
Его коня — в глубокий снег
Он вязнет часто... труден путь!
Как печь, его дымится грудь,

От нетерпенья седока
В крови и пене все бока.
Но близко, близко... Вот и дом
На берегу Днепра крутом
Пред ним встает из-за горы,
Заборы, избы и дворы
Приветливо между собой
Теснятся пестрою толпой,
Лишь дом боярский между них,
Как призрак, сумрачен и тих!..

Он въехал на широкий двор.
Всё пусто... будто глад иль мор
Недавно пировали в нем.
Он слез с коня, идет пешком...
Толпа играющих детей,
Испуганных огнем очей,
Одеждой чуждой пришлеца
И бледностью его лица,
Его встречает у крыльца
И с криком убегает прочь...
Он входит в дом — в покоях ночь,
Закрыты ставни, пол скрыпит,
Пустая утварь дребезжит
На старых полках, лишь порой,
Широкой, белой полосой
Рисуясь на печи большой,
Проходит в трещину ставней
Холодный свет дневных лучей!

И лестницу Арсений зрит
Сквозь сумрак; он бежит, летит
Наверх, по шатким ступеня́м.
Вот свет блеснул его очам,
Пред ним замерзшее окно:
Оно давно растворено,
Сугробом собрался большим
Снег, не растаявший под ним.
Увы! знакомые места!
Налево дверь — но заперта.
Как кровью, ржавчиной покрыт,
Большой замок на ней висит,
И, вынув нож из кушака,
Он всунул в скважину замка,

И, затрещав, распался тот...
И, тихо дверь толкнув вперед,
Он входит робкою стопой
В светлицу девы молодой.

Он руку с трепетом простер,
Он ищет взором милый взор,
И слабый шепчет он привет,—
На взгляд, на речь ответа нет!
Однако смято ложе сна,
Как будто бы на нем она
Тому назад лишь день, лишь час
Главу покоила не раз,
Младенческий вкушая сон.
Но, приближаясь, видит он
На тонких белых кружевах
Чернеющий слоями прах
И ткани паутин седых
Вкруг занавесок парчевых.

Тогда в окно светлицы той
Упал заката луч златой,
Играя, на ковер цветной;
Арсений голову склонил...
Но вдруг затрясся, отскочил
И вскрикнул, будто на змею
Поставил он пяту свою...
Увы! теперь он был бы рад,
Когда б быстрей, чем мысль иль взгляд,
В него проник смертельный яд!..

Громаду белую костей
И желтый череп без очей
С улыбкой вечной и немой —
Вот что узрел он пред собой.
Густая, длинная коса,
Плеч беломраморных краса,
Рассыпавшись, к сухим костям
Кой-где прилипнула... и там,
Где сердце чистое такой
Любовью билось огневой,
Давно без пищи уж бродил
Кровавый червь — жилец могил!
. . . .

«Так вот всё то, что я любил!
Холодный и бездушный прах,
Горевший на моих устах,
Теперь без чувства, без любви
Сожмут объятия земли.
Душа прекрасная ее,
Приняв другое бытие,
Теперь парит в стране святой,
И как укор передо мной
Ее минутной жизни след!
Она погибла в цвете лет
Средь тайных мук иль без тревог,
Когда и как, то знает бог.
Он был отец — но был мой враг:
Тому свидетель этот прах,
Лишенный сени гробовой,
На свете признанный лишь мной!

Да, я преступник, я злодей —
Но казнь равна ль вине моей?
Ни на земле, ни в свете том
Нам не сойтись одним путем...
Разлуки первый грозный час
Стал веком, вечностью для нас.
О, если б рай передо мной
Открыт был властью неземной,
Клянусь, я прежде, чем вступил,
У врат священных бы спросил,
Найду ли там среди святых
Погибший рай надежд моих.
Творец! отдай ты мне назад
Ее улыбку, нежный взгляд,
Отдай мне свежие уста
И голос сладкий, как мечта,
Один лишь слабый звук отдай...
Что без нее земля и рай?
Одни лишь звучные слова,
Блестящий храм — без божества!..

Теперь осталось мне одно:
Иду! — куда? Не всё ль равно,
Та иль другая сторона?
Здесь прах ее, но не она!

Иду отсюда навсегда
Без дум, без цели и труда,
Один с тоской во тьме ночной,
И вьюга след завеет мой!..»

1835 или 1836

449. САШКА

Нравственная поэма

1

Наш век смешон и жалок — всё пиши
Ему про казни, цепи да изгнанья,
Про темные волнения души,
И только слышишь муки да страданья.
Такие вещи очень хороши
Тому, кто мало спит, кто думать любит,
Кто дни свои в воспоминаньях губит.
Впадал я прежде в эту слабость сам
И видел от нее лишь вред глазам,
Но нынче я не тот уж, как бывало,—
Пою, смеюсь. Герой мой — добрый малый.

2

Он был мой друг. С ним я не знал хлопот,
С ним чувствами и деньгами делился;
Он брал на месяц, отдавал чрез год,
Но я за то нимало не сердился
И поступал не лучше в свой черед.
Печален ли, бывало, тотчас скажет,
Когда же весел, счастлив — глаз не кажет.
Не раз от скуки он свои мечты
Мне поверял и говорил мне «ты»;
Хвалил во мне, что прочие хвалили,
И был мой вечный визави в кадрили.

3

Он был мой друг. Уж нет таких друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Пусть спит оно в земле чужих полей,
Не тронуто никем, как дружба наша
В немом кладби́ще памяти моей.
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза сомкнулись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших не понял ни единый.

4

И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга —
Как разгадать? Что может в час такой
Наполнить сердце, жившее так много
И так недолго с смутною тревогой?
Один лишь друг умел тебя понять
И ныне может, должен рассказать
Твои мечты, дела и приключенья —
Глупцам в забаву, мудрым в поученье.

5

Будь терпелив, читатель милый мой!
Кто б ни был ты: внук Евы иль Адама,
Разумник ли, шалун ли молодой,—
Картина будет; это — только рама!
От правил, утвержденных стариной,
Не отступлю — я уважаю строго
Всех стариков, а их теперь так много...
Не правда ль, кто не стар в осьмнадцать лет,
Тот, верно, не видал людей и свет,
О наслажденьях знает лишь по слухам
И предан был учителям да мукам.

6

Герой наш был москвич, и потому
Я враг Неве и невскому туману.
Там (я весь мир в свидетели возьму)
Веселье вредно русскому карману,
Занятья вредны русскому уму.
Там жизнь грязна, пуста и молчалива,
Как плоский берег Финского залива.
Москва — не то: покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.
Там я впервые в дни надежд и счастья
Был болен от любви и любострастья.

7

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский,— сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубча́тый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою... и обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.

8

Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой —
Заветное преданье поколений.
Бывало, я у башни угловой
Сижу в тени, и солнца луч осенний
Играет с мохом в трещине сырой,
И из гнезда, прикрытого карнизом,
Касатки вылетают, верхом, низом
Кружа́тся, вьются, чуждые людей.
И я, так полный волею страстей,
Завидовал их жизни безызвестной,
Как упованье вольной поднебесной.

9

Я не философ — боже сохрани! —
И не мечтатель. За полетом пташки
Я не гонюсь, хотя в былые дни
Не вовсе чужд был глупой сей замашки.
Ну, муза,— ну, скорее,— разверни
Запачканный листок свой подорожный!..
Не завирайся,— тут зоил безбожный...
Куда теперь нам ехать из Кремля?
Ворот ведь много, велика земля!
Куда? «На Пресню погоняй, извозчик!»
— «Старуха, прочь!.. Сворачивай, разносчик!»

10

Луна катится в зимних облаках,
Как щит варяжский или сыр голландской.
Сравненье дерзко, но люблю я страх
Все дерзости, по вольности дворянской.
Спокойствия рачитель на часах
У будки пробудился, восклицая:
«Кто едет?» — «Муза!» — «Что за черт!
Какая?»
Ответа нет. Но вот уже пруды...
Белеет мост, по сторонам сады
Под инеем пушистым спят унылы;
Луна сребрит железные перилы.

11

Гуляка праздный, пьяный молодец,
С осанкой важной, в фризовой шинели,
Держась за них, бредет — и вот конец
Перилам. «Всё направо!» Заскрипели
Полозья по сугробам, как резец
По мрамору... Лачуги, цепью длинной
Мелькая мимо, кланяются чинно...
Вдали мелькнул знакомый огонек...
«Держи к воротам... Стой,— сугроб глубок!..
Пойдем по снегу, муза, только тише
И платье подними как можно выше».

12

Калитка — скрып... Двор темен. По доскам
Идти неловко... Вот насилу сени
И лестница, но снегом по местам
Занесена. Дрожащие ступени
Грозят мгновенно изменить ногам.
Взошли. Толкнули дверь — и свет огарка
Ударил в очи. Толстая кухарка,
Прищурясь, заграждает путь гостям
И вопрошает: «Что угодно вам?»
И, услыхав ответ красноречивый,
Захлопнув дверь, бранится неучтиво...

13

Но, несмотря на это, мы взойдем:
Вы знаете, для музы и поэта,
Как для хромого беса, каждый дом
Имеет вход особый: ни секрета,
Ни запрещенья нет для нас ни в чем...
У столика, в одном углу светлицы,
Сидели две... девицы — не девицы...
Красавицы... названье тут как раз!..
Чем выгодней, узнать прошу я вас
От наших дам, в деревне и столице
Красавицею быть или девицей?

14

Красавицы сидели за столом,
Раскладывая карты, и гадали
О будущем. И ум их видел в нем
Надежды (то, что мы и все видали).
Свеча горела трепетным огнем,
И часто, вспыхнув, луч ее мгновенный
Вдруг обливал и потолок и стены.
В углу переднем фольга образов
Тогда меняла тысячу цветов
И верба, наклоненная над ними,
Блистала вдруг листами золотыми.

15

Одна из них (красавиц) не вполне
Была прекрасна, но зато другая...
О, мы таких видали лишь во сне,
И то заснув — о небесах мечтая!
Слегка головку приклонив к стене
И устремив на столик взор прилежный,
Она сидела несколько небрежно.
В ответ на речь подруги иногда
Из уст ее пустое «нет» иль «да»
Едва скользило, если предсказанья
Премудрой карты стоили вниманья.

16

Она была затейливо мила,
Как польская затейливая панна,
Но вместе с этим гордый вид чела
Казался ей приличен. Как Сусанна,
Она б на суд неправедный пошла
С лицом холодным и спокойным взором,—
Такая смесь не может быть укором.
В том вы должны поверить мне в кредит,
Тем боле что отец ее был жид,
А мать (как помню) полька из-под Праги...
И лжи тут нет, как в том, что мы — варяги.

17

Когда Суворов Прагу осаждал,
Ее отец служил у нас шпионом,
И раз, как он украдкою гулял
В мундире польском вдоль по бастионам,
Неловкий выстрел в лоб ему попал.
И многие, вздохнув, сказали: «Жалкой,
Несчастный жид — он умер не под палкой!»
Его жена пять месяцев спустя
Произвела на божий свет дитя,
Хорошенькую Тирзу. Имя это
Дано по воле одного корнета.

18

Под рубищем простым она росла
В невежестве, как травка полевая
Прохожим не замечена,— ни зла,
Ни гордой добродетели не зная.
Но час настал — пора любви пришла.
Какой-то смертный ей сказал два слова:
Она в объятья божества земного
Упала, но увы, прошло дней шесть,
Уж полубог успел ей надоесть;
И с этих пор, чтоб избежать ошибки,
Она дарила всем свои улыбки...

19

Мечты любви умчались, как туман.
Свобода стала ей всего дороже.
Обманом сердце платит за обман
(Я так слыхал, и вы слыхали тоже).
В ее лице характер южных стран
Изображался резко. Не наемный
Огонь горел в очах; без цели, томно,
Покрыты светлой влагой, иногда
Они блуждали, как порой звезда
По небесам блуждает — и, конечно,
Был это знак тоски немой, сердечной.

20

Безвестная печаль сменялась вдруг
Какою-то веселостью недужной...
(Дай бог, чтоб всех томил такой недуг!)
Волной вставала грудь, и пламень южный
В ланитах рделся, белый полукруг
Зубов жемчужных быстро открывался;
Головка поднималась, развивался
Душистый локон, и на лик младой
Катился, ло́снясь, черною струей;
И ножка, разрезвясь, не зная плена,
Бесстыдно обнажалась до колена.

21

Когда шалунья навзничь на кровать,
Шутя, смеясь, роскошно упадала,
Не спорю, мудрено ее понять,—
Она сама себя не понимала,—
Ей было трудно сердцу приказать,
Как баловню-ребенку. Надо было
Кому-нибудь с неведомою силой
Явиться и приветливой душой
Его согреть... Явился ли герой
Или вотще остался ожидаем —
Всё это мы со временем узнаем.

22

Теперь к ее подруге перейдем,
Чтоб выполнить нача́тую картину.
Они недавно жили тут вдвоем,
Но души их сливались во едину
И мысли их встречалися во всем.
О, если б знали, сколько в этом званье
Сердец отличных, добрых! Но вниманье
Увлечено блистаньем модных дам.
Вздыхая, мы бежим по их следам...
Увы, друзья, а наведите справки,
Вся прелесть их... в кредит из модной лавки!

23

Она была свежа, бела, кругла,
Как снежный шарик; щеки, грудь и шея,
Когда она смеялась или шла,
Дрожали сладострастно; не краснея,
Она на жертву прихоти несла
Свои красы. Широко и неловко
На ней сидела юбка, но плутовка
Поднять умела грудь, открыть плечо,
Ласкать умела буйно, горячо
И, хитро передразнивая чувства,
Слыла царицей своего искусства...

24

Она звалась Варюшею. Но я
Желал бы ей другое дать названье:
Скажу ль, при этом имени, друзья,
В груди моей шипит воспоминанье,
Как под ногой прижатая змея,
И ползает, как та среди развалин,
По жилам сердца. Я тогда печален,
Сердит, молчу или браню весь дом
И рад прибить за слово чубуком.
Итак, для избежанья зла, мы нашу
Варюшу здесь перекрестим в Парашу.

25

Увы, минувших лет безумный сон
Со смехом повторить не смеет лира!
Живой водой печали окроплен,
Как труп давно застывшего вампира,
Грозя перстом, поднялся молча он.
И мысль к нему прикована... Ужели
В моей груди изгладить не успели
Столь много лет и столько мук иных —
Волшебный стан и пару глаз больших?
(Хоть, признаюсь вам, разбирая строго,
Получше их видал я после много.)

26

Да, много лет и много горьких мук
С тех пор отяготело надо мною,
Но первого восторга чудный звук
В груди не умирает,— и порою,
Сквозь облако забот, когда недуг
Мой слабый ум томит неугомонно,
Ее глаза мне светят благосклонно.
Так в час ночной, когда гроза шумит
И бродят облака,— звезда горит
В дали эфирной, не боясь их злости,
И шлет свои лучи на землю в гости.

27

Пред нагоревшей сальною свечой
Красавицы, раздумавшись, сидели,
И заставлял их вздрагивать порой
Унылый свист играющей метели.
И, как и вам, читатель милый мой,
Им стало скучно... Вот, наместо знака
Условного, залаяла собака,
И у калитки брякнуло кольцо.
Вот чей-то голос... Йдут на крыльцо...
Параша потянулась и зевнула
Так, что едва не бухнулась со стула,

28

А Тирза быстро выбежала вон;
Открылась дверь. В плаще, закидан снегом,
Явился гость... Насмешливый поклон
Отвесил и, как будто долгим бегом
Или волненьем был он утомлен,
Упал на стул... Заботливой рукою
Сняла Параша плащ, потом другою
Стряхнула иней с шелковых кудрей
Пришельца. Видно, нравился он ей...
Всё нравится, что молодо, красиво
И в чем мы видим прибыль особливо.

29

Он ловок был, со вкусом был одет,
Изящно был причесан и так дале.
На пальцах перстни изливали свет,
И галстук надуше́н был, как на бале.
Ему едва ли было двадцать лет,
Но бледностью казалися покрыты
Его чело и нежные ланиты,—
Не знаю, мук ли то последних след,
Но мне давно знаком был этот цвет,—
И на устах его, опасней жала
Змеи, насмешка вечная блуждала.

30

Заметно было в нем, что с ранних дней
В кругу хорошем, то есть в модном свете,
Он обжился, что часть своих ночей
Он убивал бесплодно на паркете
И что другую тратил не умней...
В глазах его открытых, но печальных,
Нашли бы вы без наблюдений дальных
Презренье, гордость; хоть он не был горд,
Как глупый турок иль богатый лорд,
Но всё-таки себя в числе двуногих
Он почитал умнее очень многих.

31

Борьба рождает гордость. Воевать
С людскими предрассудками труднее,
Чем тигров и медведей поражать
Иль со штыком на вражьей батарее
За белый крестик жизнью рисковать...
Клянусь, иметь великий надо гений,
Чтоб разом сбросить цепь предубеждений,
Как сбросил бы я платье, если б вдруг
Из севера всевышний сделал юг.
Но ныне нас противное пугает:
Неаполь мерзнет, а Нева не тает.

32

Да кто же этот гость?.. Pardon [1], сейчас!..
Рассеянность... Monsieur [2], рекомендую:
Герой мой, друг мой — Сашка!.. Жаль для вас,
Что случай свел в минуту вас такую
И в этом месте... Верьте, я не раз
Ему твердил, что эти посещенья
О нем дадут весьма дурное мненье.
Я говорил,— он слушал, он был весь
Вниманье... Глядь, а вечером уж здесь!..
И я нашел, что мне его исправить
Труднее в прозе, чем в стихах прославить.

[1] Извините (фр.).— *Ред.*
[2] Господин (фр.).— *Ред.*

33

Герой мой Сашка тихо развязал
Свой галстук... «Сашка» — старое названье!
Но «Сашка» тот печати не видал,
И, недозревший, он угас в изгнанье.
Мой Сашка меж друзей своих не знал
Другого имя — дурно ль, хорошо ли,
Разуверять друзей не в нашей воле.
Он галстук снял, рассеянно перстом
Провел по лбу, поморщился, потом
Спросил: «Где Тирза?» — «Дома».— «Что ж не видно
Ее?» — «Уснула».— «Как ей спать не стыдно!»

34

И он поспешно входит в тот покой,
Где часто с Тирзой пламенные ночи
Он проводил... Всё полно тишиной
И сумраком волшебным; прямо в очи
Недвижно смотрит месяц золотой
И на стекле в узоры ледяные
Кидает искры, блестки огневые,
И голубым сиянием стена
Игриво и светло озарена.
И он (не месяц, но мой Сашка) слышит,
В углу на ложе кто-то слабо дышит.

35

Он руку протянул — его рука
Попала в стену; протянул другую —
Ощупал тихо кончик башмачка.
Схватил потом и ножку, но какую?!.
Так миньятюрна, так нежна, мягка
Казалась эта ножка, что невольно
Подумал он, не сделал ли ей больно.
Меж тем рука всё далее ползет,
Вот круглая коленочка... и вот,
Вот — для чего смеетесь вы заране? —
Вот очутилась на двойном кургане...

36

Блаженная минута!.. Закипел
Мой Александр, склонившись к деве спящей.
Он поцелуй на грудь напечатлел
И стан ее обвил рукой дрожащей.
В самозабвенье пылком он не смел
Дохнуть... Он думал: «Тирза дорогая!
И жизнию и чувствами играя,
Как ты, я чужд общественных свя́зей,
Как ты, один с свободою моей,
Не знаю в людях ни врага, ни друга,—
Живу, чтоб жить как ты, моя подруга!

37

Судьба вчера свела случайно нас,
Случайно завтра разведет навечно,—
Не всё ль равно, что год, что день, что час,
Лишь только б я провел его беспечно?..»
И не сводил он ярких черных глаз
С своей жидовки и не знал, казалось,
Что резвое созданье притворялось.
Меж тем почла за нужное она
Проснуться и была удивлена,
Как надлежало... (Страх и удивленье
Для женщин в важных случаях — спасенье.)

38

И, прежде потерев глаза рукой,
Она спросила: «Кто вы?» — «Я, твой Саша!»
— «Неужто?.. Видишь, баловник какой!
Ступай, давно там ждет тебя Параша!..
Нет, надо разбудить меня... Постой,
Я отомщу». И за руку схватила
Его проворно и... и укусила,
Хоть это был скорее поцелуй.
Да, мерзкий критик, что ты ни толкуй,
А есть уста, которые украдкой
Кусать умеют сладко, очень сладко!..

39

Когда бы Тирзу видел Соломон,
То, верно б, свой престол украсил ею,—
У ног ее и царство, и закон,
И славу позабыл бы... Но не смею
Вас уверять, затем что не рожден
Владыкой и не знаю, в низкой доле,
Как люди ценят вещи на престоле,
Но знаю только то, что Сашка мой
За целый мир не отдал бы порой
Ее улыбку, щечки, брови, глазки,
Достойные любой восточной сказки.

40

«Откуда ты?» — «Не спрашивай, мой друг!
Я был на бале!» — «Бал! а что такое?»
— «Невежда! это — говор, шум и стук,
Толпа глупцов, веселье городское,—
Наружный блеск, обманчивый недуг.
Кружáтся девы, чванятся нарядом,
Притворствуют и голосом и взглядом.
Кто ловит душу, кто пять тысяч душ...
Все так невинны, но я им не муж.
И как ни уважаю добродетель,
А здесь мне лучше, в том луна свидетель».

41

Каким-то новым чувством смущена,
Его слова еврейка поглощала.
Сначала показалась ей смешна
Жизнь городских красавиц, но... сначала.
Потом пришло ей в мысль, что и она
Могла б кружиться ловко пред толпою,
Терзать мужчин надменной красотою,
В высокие смотреться зеркала,
И уязвлять, но не желая зла,
Соперниц гордой жалостью, и в свете
Блистать, и ездить четверней в карете.

42

Она прижалась к юноше. Листок
Так жмется к ветке, бурю ожидая.
Стучало сердце в ней, как молоток,
Уста полураскрытые, пылая,
Шептали что-то. С головы до ног
Она горела. Груди молодые
Как персики являлись наливные
Из-под сорочки... Сашкина рука
По ним бродила медленно, слегка...
Но... есть во мне к стыдливости вниманье —
И целый час я пропущу в молчанье.

43

Всё было тихо в доме. Облака
Нескромный месяц дымкою одели,
И только раздавались изредка́
Сверчка ночного жалобные трели,
И мышь в тени родного уголка
Скреблась в обои старые прилежно.
Моя чета, раскинувшись небрежно,
Покоилась, не думая о том,
Что небеса грозили близким днем,
Что ночь... Вы на веку своем едва ли
Таких ночей десяток насчитали...

44

Но Тирза вдруг молчанье прервала
И молвила: «Послушай, прочь все шутки!
Какая мысль мне странная пришла:
Что, если б ты, откинув предрассудки
(Она его тут крепко обняла),
Что, если б ты, мой милый, мой бесценный,
Хотел меня утешить совершенно,
То завтра или даже в день иной
Меня в театр повез бы ты с собой.
Известно мне, всё для тебя возможно,
А отказать в безделице безбожно».

45

«Пожалуй!» — отвечал ей Саша. Он
Из слов ее расслушал половину —
Его клонил к подушке сладкий сон,
Как птица клонит слабую тростину.
Блажен, кто может спать! Я был рожден
С бессонницей. В теченье долгой ночи,
Бывало, беспокойно бродят очи
И жжет подушка влажное чело.
Душа грустит о том, что уж прошло,
Блуждая в мире вымысла без пищи,
Как лазарони или русский нищий...

46

И жадный червь ее грызет, грызет,—
Я думаю, тот самый, что когда-то
Терзал Саула; но порой и тот
Имел отраду: арфы звук крылатый,
Как ангела таинственный полет,
В нем воскрешал и слезы и надежды,
И опускались пламенные вежды,
С гармонией сливалася мечта,
И злобный дух бежал, как от креста.
Но этих звуков нет уж в поднебесной —
Они исчезли с арфою чудесной...

47

И всё исчезнет. Верить я готов,
Что наш безлучный мир — лишь прах могильный
Другого, горсть земли, в борьбе веков
Случайно уцелевшая и сильно
Заброшенная в вечный круг миров.
Светилы ей — двоюродные братья,
Хоть носят шлейфы огненного платья
И по сродству имеют в добрый час
Влиянье благотворное на нас...
А дай сойтись — так заварится каша,—
В кулáчки, и... прощай планета наша.

48

И пусть они блестят до той поры,
Как ангелов вечерние лампады.
Придет конец воздушной их игры,
Печальная разгадка сей шарады...
Любил я с колокольни иль с горы,
Когда земля молчит и небо чисто,
Теряться взором в их цепи огнистой,—
И мнится, что меж ними и землей
Есть путь, давно измеренный душой,
И мнится, будто на главу поэта
Стремятся вместе все лучи их света.

49

Итак, герой наш спит. Приятный сон,
Покойна ночь, а вы, читатель милый,
Пожалуйте,— иначе принужден
Я буду удержать вас силой...
Роман, вперед!.. Не и́дет? Ну, так он
Пойдет назад. Герой наш спит покуда,
Хочу я рассказать, кто он, откуда,
Кто мать его была и кто отец,
Как он на свет родился, наконец
Как он попал в позорную обитель,
Кто был его лакей и кто учитель.

50

Его отец — симбирский дворянин,
Иван Ильич N., муж дородный.
Богатого отца любимый сын.
Был сам богат; имел он ум природный
И, что ума полезней, важный чин;
С четырнадцати лет служил и с миром
Уволен был в отставку бригадиром,
А бригадир блаженных тех времен
Был человек и, следственно, умен.
Иван Ильич наш слыл, по крайней мере,
Любезником в своей симбирской сфере.

51

Он был врагом писателей и книг,
В делах судебных почерпнул познанья.
Спал очень долго, ел за четверых;
Ни на кого не обращал вниманья
И не носил приличия вериг.
Однако же пред знатью горделивой
Умел он гнуться скромно и учтиво.
Но в этот век учтивости закон
Для исполненья требовал поклон,
А кланяться закону иль вельможе
Считалося тогда одно и то же.

52

Он старших уважал, зато и сам
Почтительность вознаграждал улыбкой
И, ревностный хотя угодник дам,
Женился, по словам его, ошибкой.
В чем он ошибся, не могу я вам
Открыть, а знаю только (не соврать бы),
Что был он грустен на другой день свадьбы
И что печаль его была одна
Из тех, какими жизнь мужей полна.
По мне, они большие эгоисты —
Всё жен винят, как будто сами чисты.

53

Благодари меня, о женский пол!
Я — Демосфен твой: за твою свободу
Я рад шуметь; я непомерно зол
На всю, на всю рогатую породу!
Кто власть им дал?.. Восстаньте — час пришел!
Я поднимаю знамя возмущенья.
Ура! Сюда все девы! Прочь терпенье!
Конец всему есть! Беззаботно, явно
Идите вслед за Марьей Николавной!
Понять меня, я знаю, вам легко,
Ведь в ваших жилах — кровь, не молоко,
И вы краснеть умеете уж кстати
От взоров и намеков нашей братьи.

54

Иван Ильич стерег жену свою
По старому обычаю. Без лести
Сказать, он вел себя, как я люблю,
По правилам тогдашней старой чести.
Проказница ж жена (не утаю)
Читать любила жалкие романы
Или смотреть на светлый шар Дианы,
В беседке темной сидя до утра.
А месяц и романы до добра
Не доведут,— от них мечты родятся...
А искушенью только бы добраться!

55

Она была прелакомый кусок
И многих дум и взоров стала целью.
Как быть: пчела садится на цветок,
А не на камень; чувствам и веселью
Казенных не назначено дорог.
На брачном ложе Марья Николавна
Была, как надо, ласкова, исправна.
Но, говорят (хоть, может быть, и лгут),
Что долг супруги — только лишний труд.
Мужья у жен подобных (не в обиду
Будь сказано), как вывеска, для виду.

56

Иван Ильич имел в Симбирске дом
На самой на горе, против собора.
При мне давно никто уж не жил в нем,
И он дряхлел, заброшен без надзора,
Как инвалид с Георгьевским крестом.
Но некогда, с кудрявыми главами,
Вдоль стен колонны высились рядами.
Прозрачною решеткой окружен,
Как клетка, между них висел балкон,
И над дверьми стеклянными в порядке
Виднелися гардин прозрачных складки.

57

Внутри всё было пышно; на столах
Пестрели разноцветные клеенки,
И люстры отражались в зеркалах,
Как звезды в луже; моськи и болонки
Встречали шумно каждого в дверях,
Одна другой несноснее, а дале
Зеленый попугай, порхая в зале,
Кричал бесстыдно: «Кто пришел?.. Дурак!»
А гость с улыбкой думал: «Как не так!» —
И, ласково хозяйкой принимаем,
Чрез пять минут мирился с попугаем.

58

Из окон был прекрасный вид кругом:
Налево, то есть к западу, рядами
Блистали кровли, трубы и потом
Меж ними церковь с круглыми главами,
И кое-где в тени — отрада днем —
Уютный сад, обсаженный рябиной,
С беседкою, цветами и малиной,
Как детская игрушка, если вам
Угодно, или как меж знатных дам
Румяная крестьянка — дочь природы,
Испуганная блеском гордой моды.

59

Под глинистой утесистой горой,
Унизанной лачужками, направо,
Катилася широкой пеленой
Родная Волга, ровно, величаво...
У пристани двойною чередой
Плоты и барки, как табун, теснились,
И флюгера на длинных мачтах бились,
Жужжа на ветре, и скрипел канат
Натянутый; и, серой мглой объят,
Виднелся дальний берег, и белели
Вкруг острова края песчаной мели.

60

Нестройный говор грубых голосов
Между судов перебегал порою.
Смех, песни, брань, протяжный крик пловцов —
Всё в гул один сливалось над водою.
И Марья Николавна, хоть суров
Казался ветр и день был на закате,
Накинув шаль или капот на вате,
С французской книжкой, часто, сев к окну,
Следила взором сизую волну,
Прибрежных струй приливы и отливы,
Их мерный бег, их золотые гривы.

61

Два года жил Иван Ильич с женой,
И всё не тесны были ей корсеты.
Ее ль сложенье было в том виной
Или его немолодые леты?..
Не мне в делах семейных быть судьей!
Иван Ильич иметь желал бы сына
Законного: хоть правом дворянина
Он пользовался часто, но детей,
Благое семя двух иль трех ночей,
Раскидывал по свету где случится,
Страшась с своей деревней породниться.

62

Какая сладость в мысли: я отец!
И в той же мысли сколько муки тайной —
Оставить в мире след и наконец
Исчезнуть! Быть злодеем, и случайно,—
Злодеем потому, что жизнь — венец
Терновый, тяжкий,— так, по крайней мере,
Должны мы рассуждать по нашей вере...
К чему, куда ведет нас жизнь, о том
Не с нашим бедным толковать умом,
Но, исключая два-три дня да детство,
Она бесспорно скверное наследство.

63

Бывало, этой думой удручен,
Я прежде много плакал, и слезами
Я жег бумагу. Детский глупый сон
Прошел давно, как туча над степями,
Но пылкий дух мой не был освежен,
В нем родилися бури, как в пустыне,
Но скоро улеглись они, и ныне
Осталось сердцу вместо слез, бурь тех
Один лишь отзыв — звучный, горький смех...
Там, где весной белел поток игривый,
Лежат кремни — и блещут, но не живы!

64

Прилично б было мне молчать о том,
Но я привык идти против приличий
И, говоря всеобщим языком,
Не жду похвал. Поэт породы птичей,
Любовник роз, над розовым кустом
Урчит и свищет меж листов душистых.
Об чем? Какая цель тех звуков чистых?
Прошу хоть раз спросить у соловья.
Он вам ответит песнью... Так и я:
Пишу, что мыслю, мыслю, что придется,
И потому мой стих так плавно льется.

65

Прошло два года. Третий год
Обрадовал супругов безнадежных:
Желанный сын, любви взаимной плод,
Предмет забот мучительных и нежных,
У них родился. В доме весь народ
Был восхищен, и три дня были пьяны
Все на подбор, от кучера до няни.
А между тем печально у ворот
Всю ночь собаки выли напролет,
И, что страшнее этого, ребенок
Весь в волосах был, точно медвежонок.

66

Старухи говорили: это знак,
Который много счастья обещает.
И про меня сказали точно так,
А правда ль это вышло? — небо знает!
К тому ж полночный вой собак
И страшный шум на чердаке высоком —
Приметы злые, но, не быв пророком,
Я только покачаю головой.
Гамле́т сказал: «Есть тайны под луной
И для премудрых»,— как же мне, поэту,
Не верить можно тайнам и Гамле́ту?..

67

Младенец рос милее с каждым днем:
Живые глазки, белые ручонки
И русый волос, вьющийся кольцом,
Пленяли всех знакомых; уж пеленки
Рубашечкой сменилися на нем;
И, первые проказы начиная,
Уж он дразнил собак и попугая...
Года неслись, а Саша рос, и в пять
Добро и зло он начал понимать,
Но, верно, по врожденному влеченью,
Имел большую склонность к разрушенью.

68

Он рос... Отец его бранил и сек —
Затем что сам был с детства часто сечен,
А слава богу, вышел человек:
Не стыд семьи, не туп, не изувечен.
Понятья были низки в старый век...
Но Саша с гордой был рожден душою
И желчного сложенья,— пред судьбою,
Перед бичом язвительной молвы
Он не склонял и после головы.
Умел он помнить, кто его обидел,
И потому отца возненавидел.

69

Великий грех!.. Но чем теплее кровь,
Тем раньше зреют в сердце беспокойном
Все чувства — злоба, гордость и любовь,
Как дерева под небом юга знойным.
Шалун мой хмурил маленькую бровь,
Встречаясь с нежным папенькой; от взгляда
Он вздрагивал, как будто б капля яда
Лилась по жилам. Это, может быть,
Смешно,— что ж делать! — он не мог любить,
Как любят все гостиные собачки
За лакомства, побои и подачки.

70

Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили
И прочее... и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье.
И что когда последнее лобзанье
Ему велели матери отдать,
То стал он громко плакать и кричать,
И что отец, немного с ним поспоря,
Велел его посечь... (конечно, с горя).

71

Он не имел ни брата, ни сестры,
И тайных мук его никто не ведал.
До времени отвыкнув от игры,
Он жадному сомненью сердце предал,
И, пре́зрев детства милые дары,
Он начал думать, строить мир воздушный
И в нем терялся мыслию послушной.
Таков средь океана островок:
Пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок;
Ладьи к нему с гостями не пристанут,
Цветы на нем от зноя все увянут...

72

Он был рожден под гибельной звездой,
С желаньями безбрежными, как вечность.
Они так часто спорили с душой
И отравили лучших дней беспечность.
Они летали над его главой,
Как царская корона; но без власти
Венец казался бременем, и страсти,
Впервые пробудясь, живым огнем
Прожгли алтарь свой, не найдя кругом
Достойной жертвы,— и в пустыне света
На дружний зов не встретил он ответа.

73

О, если б мог он, как бесплотный дух,
В вечерний час сливаться с облаками,
Склонять к волнам кипучим жадный слух,
И долго упиваться их речами,
И обнимать их перси, как супруг!
В глуши степей дышать со всей природой
Одним дыханьем, жить ее свободой!
О, если б мог он, в молнию одет,
Одним ударом весь разрушить свет!..
(Но, к счастию для вас, читатель милый,
Он не был одарен подобной силой.)

74

Я не берусь вполне, как психолóг,
Характер Саши выставить наружу
И вскрыть его, как с труфлями пирог.
Скорей судей молчаньем я принужу
К решению... Пусть суд их будет строг!
Пусть журналист всеведущий хлопочет,
Зачем тот плачет, а другой хохочет!..
Пусть скажет он, что бесом одержим
Был Саша,— я и тут согласен с ним,
Хотя, божусь, приятель мой, повеса,
Взбесил бы иногда любого беса.

75

Его учитель чистый был француз,
Marquis de Tess. [1] Педант полузабавный,
Имел он длинный нос и тонкий вкус
И потому брал деньги преисправно.
Покорный раб губернских дам и муз,
Он сочинял сонеты, хоть порою
По часу бился с рифмою одною;
Но каламбуров полный лексикон,
Как талисман, носил в карманах он
И, быв уверен в дамской благодати,
Не размышлял, что́ кстати, что́ некстати.

76

Его отец богатый был маркиз,
Но жертвой стал народного волненья:
На фонаре однажды он повис,
Как было в моде, вместо украшенья.
Приятель наш, парижский Адони́с,
Оставив прах родителя судьбине,
Не поклонился гордой гильотине:
Он молча проклял вольность и народ,
И натощак отправился в поход,
И наконец, едва живой от муки,
Пришел в Россию поощрять науки.

77

И Саша мой любил его рассказ
Про сборища народные, про шумный
Напор страстей и про последний час
Венчанного страдальца... Над безумной
Парижскою толпою много раз
Носилося его воображенье:
Там слышал он святых голов паденье,
Меж тем как нищих буйный миллион
Кричал, смеясь: «Да здравствует закон!» —
И, в недостатке хлеба или злата,
Просил одной лишь крови у Марата.

---

[1] Маркиз де Тесс (фр.).— *Ред.*

78

Там видел он высокий эшафот;
Прелестная на звучные ступени
Всходила женщина... Следы забот,
Следы живых, но тайных угрызений
Виднелись на лице ее. Народ
Рукоплескал... Вот кудри золотые
Посыпались на плечи молодые;
Вот голова, носившая венец,
Склонилася на плаху... О, творец!
Одумайтесь! Еще момент, злодеи!..
И голова оторвана от шеи...

79

И кровь с тех пор рекою потекла,
И загремела жадная секира...
И ты, поэт, высокого чела
Не уберег! Твоя живая лира
Напрасно по вселенной разнесла
Всё, всё, что ты считал своей душою,—
Слова, мечты с надеждой и тоскою...
Напрасно!.. Ты прошел кровавый путь,
Не отомстив, и творческую грудь
Ни стих язвительный, ни смех холодный
Не посетил — и ты погиб бесплодно...

80

И Франция упала за тобой
К ногам убийц бездушных и ничтожных.
Никто не смел возвысить голос свой;
Из мрака мыслей гибельных и ложных
Никто не вышел с твердою душой,—
Меж тем как втайне взор Наполеона
Уж зрел ступени будущего трона...
Я в этом тоне мог бы продолжать,
Но истина — не в моде, а писать
О том, что было двести раз в газетах,
Смешно, тем боле об таких предметах.

81

К тому же я совсем не моралист —
Ни блага в зле, ни зла в добре не вижу,
Я палачу не дам похвальный лист,
Но клеветой героя не унижу —
Ни плеск восторга, ни насмешки свист
Не созданы для мертвых. Царь иль воин,
Хоть он отличья иногда достоин,
Но, верно, нам за тяжкий мавзолей
Не благодарен в комнатке своей
И, длинным одам внемля поневоле,
Зевая вспоминает о престоле.

82

Я прикажу, кончая дни мои,
Отнесть свой труп в пустыню, и высокий
Курган над ним насыпать, и — любви
Симво́л ненарушимый — одинокий
Поставить крест: быть может, издали,
Когда туман протянется в долине
Иль свод небес взбунтуется, к вершине
Гостеприимной нищий пешеход,
Его заметив, медленно придет,
И, отряхнувши посох, безнадежней
Вздохнет о жизни будущей и прежней —

83

И проклянет, склонясь на крест святой,
Людей и небо, время и природу,—
И проклянет грозы бессильный вой
И пылких мыслей тщетную свободу...
Но нет, к чему мне слушать плач людской?
На что мне черный крест, курган, гробница?
Пусть отдадут меня стихиям! Птица
И зверь, огонь, и ветер, и земля
Разделят прах мой, и душа моя
С душой вселенной, как эфир с эфиром,
Сольется и развеется над миром!..

84

Пускай от сердца, полного тоской
И желчью тайных тщетных сожалений,
Подобно чаше, ядом налитой,
Следов не остается... Без волнений
Я выпил яд по капле, ни одной
Не уронил; но люди не видали
В лице моем ни страха, ни печали
И говорили хладно: «Он привык».
И с той поры я о́блил свой язык
Тем самым ядом и по праву мести
Стал унижать толпу под видом лести...

85

Но кончим этот скучный эпизод
И обратимся к нашему герою.
До этих пор он не имел забот
Житейских и невинною душою
Искал страстей, как пищи. Длинный год
Провел он средь тетрадей, книг, историй,
Грамматик, географий и теорий
Всех философий мира. Пять систем
Имел маркиз, а на вопрос: зачем? —
Он отвечал вам гордо и свободно:
«Monsieur, c'est mon affaire» [1] — «Так мне угодно!»

86

Но Саша не внимал его словам,—
Рассеянно в тетради над строками
Его рука чертила здесь и там
Какой-то женский профиль, и очами,
Горящими подобно двум звездам,
Он долго на него взирал, и нежно
Вздыхал, и хоронил его прилежно
Между листов, как тайный милый клад,
Залог надежд и будущих наград,
Как прячут иногда сухую травку,
Перо, записку, ленту иль булавку...

---

[1] Сударь, это мое дело (фр.).— *Ред.*

87

Но кто ж она? Что пользы ей вскружить
Неопытную голову, впервые
Сердечный мир дыханьем возмутить
И взволновать надежды огневые?
К чему?.. Он слишком молод, чтоб любить
Со всем искусством древнего Фоблаза.
Его любовь, как снег вершин Кавказа,
Чиста,— тепла, как небо южных стран...
Ему ль платить обманом за обман?..
Но кто ж она? Не модная вертушка,
А просто дочь буфетчика, Маврушка...

88

И Саша был четырнадцати лет.
Он привыкал (скажу ва́м под секретом,
Хоть важности большой во всем том нет)
Толкаться меж служанок. Часто летом,
Когда луна бросала томный свет
На тихий сад, на свод густых акаций
И с шепотом толпа домашних граций
В аллее кралась,— легкою стопой
Он догонял их; и, шутя, порой
Его невинность (вы поймете сами)
Они дразнили дерзкими перстами.

89

Но между них он отличал одну:
В ней было всё, что увлекает душу,
Волнует мысли и мешает сну.
Но я, друзья, покой ваш не нарушу
И на портрет накину пелену.
Ее любил мой Саша той любовью,
Которая по жилам с юной кровью
Течет огнем, клокочет и кипит.
Боролись в нем желание и стыд;
Он долго думал, как в любви открыться —
Но надобно ж на что-нибудь решиться.

90

И мудрено ль? Четырнадцати лет
Я сам страдал от каждой женской рожи
И простодушно уверял весь свет,
Что друг на дружку все они похожи.
Волнующихся персей нежный цвет
И алых уст горячее дыханье
Во мне рождали чудные желанья;
Я трепетал, когда моя рука
Атласных плеч касалася слегка,
Но лишь в мечтах я видел без покрова
Всё, что для вас, конечно, уж не ново...

91

Он потерял и сон и аппетит,
Молчал весь день и бредил в ночь; бывало,
По коридору бродит, и грустит,
И ждет, чтоб платье мимо прожужжало,
Чтоб ясный взор мелькнул... Суровый вид
Приняв, он иногда улыбкой хладной
Ответствовал на взор ее отрадный...
Любовь же неизбежна, как судьба,
А с сердцем страх невыгодна борьба!
Итак, мой Саша кончил с ним возиться
И положил с Маврушей объясниться.

92

Случилось это летом, в знойный день.
По мостовой широкими клубами
Вилася пыль. От труб высоких тень
Ложилася на крышах полосами,
И пар с камней струился. Сон и лень
Вполне Симбирском овладели, даже
Катилась Волга медленней и глаже.
В саду, в беседке темной и сырой,
Лежал полураздетый наш герой
И размышлял о тайне съединенья
Двух душ — предмет, достойный размышленья.

93

Вдруг слышит он: направо, за кустом
Сирени, шорох платья и дыханье
Волнующейся груди, и потом
Чуть внятный звук, похожий на лобзанье.
Как Саше быть? Забилось сердце в нем,
Запрыгало... Без дальних опасений
Он сквозь кусты пустился легче тени.
Трещат и гнутся ветви под рукой.
И вдруг пред ним, с Маврушкой молодой
Обнявшися в тени цветущей вишни,
Иван Ильич... (Прости ему всевышний!)

94

Увы! покоясь на траве густой,
Проказник старый обнимал бесстыдно
Упругий стан под юбкою простой
И не жалел ни ножки миловидной,
Ни круглых персей, дышащих весной!
И долго, долго бился, но напрасно!
Огня и сил лишен уж был несчастный.
Он встал, вздохнул (нельзя же не вздохнуть),
Поправил брюхо и пустился в путь,
Оставив тут обманутую деву,
Как Ариадну, преданную гневу.

95

И есть за что, не спорю... Между тем
Что сделал Саша? С неподвижным взглядом,
Как белый мрамор холоден и нем,
Как Абаддона грозный, новым адом
Испуганный, но помнящий эдем,
С поникшею стоял он головою,
И на челе, наморщенном тоскою,
Качались тени трепетных ветвей...
Но вдруг удар проснувшихся страстей
Перевернул неопытную душу,
И он упал как с неба на Маврушу.

96

Упал! (Прости невинность!) Как змея,
Маврушу крепко обнял он руками,
То холодея, то как жар горя,
Неистово впился в нее устами
И — обезумел... Небо и земля
Слились в туман. Мавруша простонала
И улыбнулась; как волна, вставала
И упадала грудь, и томный взор,
Как над рекой безлучный метеор,
Блуждал вокруг без цели, без предмета,
Боясь всего: людей, дерев и света...

97

Теперь, друзья, скажите напрямик,
Кого винить?.. По мне, всего прекрасней
Сложить весь грех на черта — он привык
К напраслине; к тому же безопасней
Рога и когти, чем иной язык...
Итак, заметим мы, что дух незримый,
Но гордый, мрачный, злой, не отразимый
Ни ладаном, ни бранью, ни крестом,
Играл судьбою Саши, как мячом,
И, следуя пустейшему капризу,
Кидал его то вкось, то вверх, то книзу.

98

Два месяца прошло. Во тьме ночной,
На цыпочках по лестнице ступая,
В чепце, платок накинув шерстяной,
Являлась к Саше дева молодая;
Задув лампаду, трепетной рукой
Держась за спинку шаткую кровати,
Она искала жарких там объятий.
Потом, на мягкий пух привлечена,
Под одеяло пряталась она;
Тяжелый вздох из груди вырывался,
И в жарких поцелуях он сливался.

99

Казалось, рок забыл о них. Но раз
(Не помню я, в который день недели),—
Уж пролетел давно свиданья час,
А Саша всё один был на постели.
Он сел к окну в раздумье. Тихо гас
На бледном своде месяц серебристый,
И неподвижно бахромой волнистой
Вокруг его висели облака.
Дремало всё, лишь в окнах изредка́
Являлась свечка, силуэт рубчатый
Старухи, из картин Рембрандта взятый,

100

Мелькая, рисовался на стекле
И исчезал. На площади пустынной,
Как чудный путь к неведомой земле,
Лежала тень от колокольни длинной,
И даль сливалась в синеватой мгле.
Задумчив Саша... Вдруг скрипну́ли двери,
И вы б сказали — поступь райской пери
Послышалась. Невольно наш герой
Вздрогнул. Пред ним, озарена луной,
Стояла дева, опустивши очи,
Бледнее той луны — царицы ночи...

101

И он узнал Маврушу. Но — творец!
Как изменилось нежное созданье!
Казалось, тело изваял резец,
А бог вдохнул не душу, но страданье.
Она стоит, вздыхает, наконец
Подходит и холодными руками
Хватает руку Саши и устами
Прижалась к ней, и слезы потекли
Всё больше, больше и, казалось, жгли
Ее лицо... Но кто не зрел картины
Раскаянья преступной Магдалины?

102

И кто бы смел изобразить в словах,
Что дышит жизнью в красках Гвидо Рени?
Гляжу на дивный холст: душа в очах,
И мысль одна в душе,— и на колени
Готов упасть, и непонятный страх,
Как струны лютни, потрясает жилы;
И слышишь близость чудной тайной силы,
Которой в мире верует лишь тот,
Кто как в гробу в душе своей живет,
Кто терпит все упреки, все печали,
Чтоб гением глупцы его назвали.

103

И долго молча плакала она.
Рассыпавшись на кругленькие плечи,
Ее власы бежали, как волна.
Лишь иногда отрывистые речи,
Отзы́в того, чем грудь была полна,
Блуждали на губах ее, но звуки
Яснее были слов... И голос муки
Мой Саша понял, как язык родной;
К себе на грудь привлек ее рукой
И не щадил ни нежностей, ни ласки,
Чтоб поскорей добраться до развязки.

104

Он говорил: «К чему печаль твоя?
Ты молода, любима,— где ж страданье?
В твоих глазах — мой мир, вся жизнь моя,
И рай земной в одном твоем лобзанье...
Быть может, злобу хитрую тая,
Какой-нибудь... Но нет! И кто же смеет
Тебя обидеть? Мой отец дряхлеет,
Француз давно не годен никуда...
Ну, полно! слезы прочь, и ляг сюда!»
Мавруша, крепко Сашу обнимая,
Так отвечала, медленно вздыхая:

105

«Послушайте, я здесь в последний раз.
Пренебрегла опасность, наказанье,
Стыд, совесть — всё, чтоб только видеть вас,
Поцеловать вам руки на прощанье
И выманить слезу из ваших глаз.
Не отвергайте бедную — довольно
Уж я терплю,— но что же?.. Сердце вольно...
Иван Ильич проведал от людей
Завистливых... Всё Ванька ваш, злодей,—
Через него я гибну... Всё готово!
Молю!.. о, киньте мне хоть взгляд, хоть слово!

106

Для вашего отца впервые я
Забыла стыд,— где у рабы защита?
Грозил он ссылкой, бог ему судья!
Прошла неделя — бедная забыта...
А всё любить другого ей нельзя.
Вчера меня обидными словами
Он разбранил... Но что же перед вами?
Раба? игрушка?.. Точно: день, два, три
Мила, а там? — пожалуй, хоть умри!..»
Тут началися слезы, восклицанья,
Но Саша их оставил без вниманья.

107

«Ах, барин, барин! Вижу я, понять
Не хочешь ты тоски моей сердечной!..
Прощай,— тебя мне больше не видать,
Зато уж помнить буду вечно, вечно...
Виновны оба, мне ж должно́ страдать.
Но, так и быть, целуй меня в грудь, в очи,—
Целуй, где хочешь, для последней ночи!..
Чем свет меня в кибитке увезут
На дальний хутор, где Маврушу ждут
Страданья и мужик с косматой бородою...
А ты? — вздохнешь и слюбишься с другою!»

108

Она заплакала. Так или нет
Изгнанница младая говорила,
Я утверждать не смею,— двух, трех лет
Достаточна губительная сила,
Чтобы святейших слов загладить след.
А тот, кто рассказал мне повесть эту,—
Его уж нет... Но что за ну́жда свету?
Не веры я ищу,— я не пророк,
Хоть и стремлюсь душою на Восток,
Где свиньи и вино так ныне редки
И где, как пишут, жили наши предки!

109

Она замолкла, но не Саша: он
Кипел против отца негодованьем:
«Злодей! тиран!» — и тысячу имен,
Таких же милых, с истинным вниманьем,
Он расточал ему. Но счастья сон,
Как ни бранись, умчался невозвратно...
Уже готов был юноша развратный
В последний раз на ложе пуховом
Вкусить восторг, в забытии немом
Уж и она, пылая, в расслабленье
Раскинулась, как вдруг — о, провиденье! —

110

Удар ногою с треском растворил
Стеклянной двери обе половины,
И ночника луч бледный озарил
Живой скелет вошедшего мужчины.
Казалось, в страхе с ложа он вскочил —
Растрепан, босиком, в одной рубашке,—
Вошел и строго обратился к Сашке:
«Eh bien, monsieur, que vois-je?» — «Ah, c'est vous!»
«Pourquoi ce bruit? Que faites-vous donc?» — «Je f...!» [1]

[1] «Ну, сударь, что я вижу?» — «Ах, это вы!» — «Что это за шум? Что вы делаете?» — «Я ...!» (фр.).— *Ред.*

И, молвив так (пускай простит мне муза),
Одним тузом он выгнал вон француза.

111

И вслед за ним, как лань кавказских гор,
Из комнаты пустилася бедняжка,
Не распростясь, но кинув нежный взор,
Закрыв лицо руками... Долго Сашка
Не мог унять волненье сердца. «Вздор,—
Шептал он,— вздор: любовь не жизнь!» Но утро,
Подернув тучки блеском перламутра,
Уж начало заглядывать в окно,
Как милый гость, ожи́данный давно,
А на дворе, унылый и докучный,
Раздался колокольчик однозвучный.

112

К окну с волненьем Сашка подбежал:
Разгонных тройка у крыльца большого.
Вот сел ямщик и вожжи подобрал;
Вот чей-то голос: «Что же, всё готово?»
— «Готово». Вот садится... Он узнал:
Она!.. В чепце, платком окутав шею,
С обычною улыбкою своею,
Ему кивнула тихо головой
И спряталась в кибитку. Бич лихой
Взвился. «Пошел!»... Колесы застучали...
И вмиг... Но что нам до чужой печали?

113

Давно ль?.. Но детство Саши протекло.
Я рассказал, что знать вам было нужно...
Он стал с отцом браниться: не могло
И быть иначе,— нежностью наружной
Обманывать он почитал за зло,
За низость,— но правдивой мести знаки
Он не щадил (хотя б дошло до драки).

И потому родитель, рассчитав,
Что укрощать не стоит этот нрав,
Сынка, рыдая, как мы все умеем,
Послал в Москву с французом и лакеем.

114

И там проказник был препоручен
Старухе тетке самых строгих правил.
Свет утверждал, что резвый Купидон
Ее краснеть ни разу не заставил.
Она была одна из тех княжен,
Которые, страшась святого брака,
Не смеют дать решительного знака
И потому в сомненье ждут да ждут,
Покуда их на вист не позовут,
Потом остаток жизни, как умеют,
За картами клевещут и желтеют.

115

Но иногда какой-нибудь лакей,
Усердный, честный, верный, осторожный,
Имея вход к владычице своей
Во всякий час, с покорностью возможной,
В уютной спальне заменяет ей
Служанку, то есть греет одеяло,
Подушки, руки, ноги... Разве мало
Под мраком ночи делается дел,
Которых знать и черт бы не хотел,
И если бы хоть раз он был свидетель,
Как сладко спит седая добродетель.

116

Шалун был отдан в модный пансион,
Где много приобрел прекрасных правил.
Сначала пристрастился к книгам он,
Но скоро их с презрением оставил.
Он увидал, что дружба, как поклон,—
Двусмысленная вещь; что добрый малый —
Товарищ скучный, тягостный и вялый;
Чуть умный — и забавней и сносней,

Чем тысяча услужливых друзей.
И потому (считая только явных)
Он нажил в месяц сто врагов забавных.

117

И снимок их, как памятник святой,
На двух листах, раскрашенный отлично,
Носил всегда он в книжке записной,
Обернутой атласом, как прилично,
С стальным замком и розовой каймой.
Любил он заговóры злобы тайной
Расстроить словом, будто бы случайно;
Любил врагов внезапно удивлять,
На крик и брань — насмешкой отвечать
Иль, притворясь рассеянным невеждой,
Ласкать их долго тщетною надеждой.

118

Из пансиона скоро вышел он,
Наскуча всё твердить азы да буки,
И наконец, в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафе́дры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.

119

Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадкой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный,
Но все равно задумчивы, без слов
Текут... Пришли, шумят... Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно,—

Он книгу взял, раскрыл, прочел... шумят;
Уходит — втрое хуже. Сущий ад!..
По сердцу Сашке жизнь была такая,
И этот ад считал он лучше рая.

120

Пропустим года два... Я не хочу
В один прием свою закончить повесть.
Читатель знает, что я с ним шучу,
И потому моя спокойна совесть,
Хоть, признаюся, много пропущу
Событий важных, новых и чудесных.
Но час придет, когда, в пределах тесных
Не заключен и не спеша вперед,
Чтоб сократить унылый эпизод,
Я снова обращу вниманье ваше
На те года, потраченные Сашей...

121

Теперь героев разбудить пора,
Пора привесть в порядок их одежды.
Вы вспомните, как сладостно вчера
В объятьях неги и живой надежды
Уснула Тирза? Резвый бег пера
Я не могу удерживать серьезно,
И потому она проснулась поздно...
Растрепанные волосы назад
Рукой откинув и на свой наряд
Взглянув с улыбкой сонною, сначала
Она довольно долго позевала.

122

На ней измято было всё, и грудь
Хранила знаки пламенных лобзаний.
Она спешит лицо водой сплеснуть
И кудри без особенных стараний
На голове гребенкою заткнуть;
Потом сорочку скинула, небрежно
Водою обмывает стан свой нежный...

Опять свежа, как персик молодой.
И, на плеча капот накинув свой,
Пленительна бесстыдной наготою,
Она подходит к нашему герою,

123

Садится в изголовье и потом
На сонного студеной влагой плещет.
Он поднялся́, кидает взор кругом
И видит, что пора: светелка блещет,
Озарена роскошным зимним днем,
Замерзших окон стекла серебрятся,
В лучах пылинки светлые вертя́тся;
Упругий снег на улице хрустит.
Под тяжестью полозьев и копыт,
И в городе (что мне всегда досадно)
Колокола трезвонят беспощадно...

124

Прелестный день! Как пышен божий свет!
Как небеса лазурны!.. Торопливо
Вскочил мой Саша. Вот уж он одет,
Атласный галстук повязал лениво,
С кудрей ночных восторгов сгладил след,
Лишь синеватый венчик под глазами
Изобличал его... Но (между нами,
Сказать тихонько) это не порок.
У наших дам найти я то же б мог,
Хоть между тем ручаюсь головою,
Что их невинней нету под луною.

125

Из комнаты выходит наш герой,
И, пробираясь длинным коридором,
Он видит Катерину пред собой,
Приветствует ее холодным взором —
И мимо. Вот он в комнате другой:
Вот стул с дрожащей ножкою и рядом

Кровать; на ней, закрыта, кверху задом
Храпит Параша, отвернув лицо.
Он плащ надел и вышел на крыльцо,
И вслед за ним несутся восклицанья,
Чтобы не смел забыть он обещанья:

126

Чтоб приготовил модный он наряд
Для бедной, милой Тирзы, и так дале.
Сказать ли, этой выдумке был рад
Проказник мой: в театре, в пестрой зале
Заметят ли невинный маскерад?
Зачем еврейку не утешить тайно,
Зачем толпу не наказать случайно
Презреньем гордым всех ее причуд?
И что молва? Глупцов крикливый суд,
Коварный шепот злой старухи или
Два-три намека в польском иль в кадрили!

127

Уж Саша дома. К тетке входит он,
Небрежно у нее целует руку.
«Чем кончился вчерашний ваш бостон?
Я б не решился на такую скуку,
Хотя бы мне давали миллион.
Как ваши зубы?.. А Фиделька где же?
Она являться стала что-то реже.
Ей надоел наш модный круг,— увы,
Какая жалость!.. Знаете ли вы,
На этих днях мы ждем к себе комету,
Которая несет погибель свету?..

128

И поделом, ведь новый магазин
Открылся на Кузнецком,— не угодно ль
Вам посмотреть?.. Там есть мамзель Aline,
Monsieur Dupré, Durand, [1] француз природный,

[1] Господин Дюпре, Дюран (фр.).— *Ред.*

Теперь купец, а бывший дворянин;
Там есть мадам Armand[2]; там есть субретка
Fanchaux[3] — плутовка, смуглая кокетка!
Вся молодежь вокруг ее вертится.
Мне ж всё равно, ей богу, что случится!
И по одной значительной причине
Я только зритель в этом магазине.

129

Причина эта вот — мой кошелек:
Он пуст, как голова француза,— малость
Истратил я, но это мне урок —
Ценить дешевле ветреную шалость!»
И, притворясь печальным сколько мог,
Шалун склонился к тетке, два-три раза
Вздохнул, чтоб удалась его проказа.
Тихонько ларчик отперев, она
Заботливо дорылася до дна
И вынула три беленьких бумажки.
И... вы легко поймете радость Сашки.

130

Когда же он пришел в свой кабинет,
То у дверей с недвижностью примерной,
В чалме пунцовой, щегольски одет,
Стоял арап, его служитель верный.
Покрыт, как лаком, был чугунный цвет
Его лица, и ряд зубов перловых,
И блеск очей открытых, но суровых,
Когда смеялся он иль говорил,
Невольный страх на душу наводил;
И в голосе его, иным казалось,
Надменностью безумной отзывалось.

---

[2] Арман (фр.).— *Ред.*
[3] Фаншо (фр.).— *Ред.*

131

Союз довольно странный заключен
Меж им и Сашей был давно. Их разговоры
Казалися таинственны, как сон.
Вдвоем, бывало, ночью, точно воры,
Уйдут и пропадают. Одарен
Соображеньем бойким, наш приятель
Восточных слов был страшный обожатель,
И потому Зафиром наречен
Его арап. За ним повсюду он,
Как мрачный призрак, следовал, и что же? —
Все восхищались этой скверной рожей!

132

Зафиру Сашка что-то прошептал.
Зафир кивнул курчавой головою,
Блеснул, как рысь, очами, денег взял
Из белой ручки черною рукою.
Он долго у дверей еще стоял
И говорил всё время, по несчастью,
На языке чужом, и тайной страстью
Одушевлен казался. Между тем,
Облокотясь на стол, задумчив, нем,
Герой печальный моего рассказа
Глядел на африканца в оба глаза.

133

И наконец он подал знак рукой,
И тот исчез быстрей китайской тени.
Проворный, хитрый, с смелою душой,
Он жил у Саши как служебный гений,
Домашний дух (по-русски: домовой).
Как Мефистофель, быстрый и послушный,
Он исполнял безмолвно, равнодушно
Добро и зло. Ему была закон
Лишь воля господина. Ведал он,
Что, кроме Саши, в целом божьем мире
Никто, никто не думал о Зафире.

134

Однако были дни давным-давно,
Когда и он на берегу Гвинеи
Имел родной шалаш, жену, пшено
И ожерелье красное на шее,
И мало ли?.. О, там он был звено
В цепи семей счастливых!.. Там пустыня
Осталась неприступна, как святыня.
И пальмы там растут до облаков,
И пена вод белее жемчугов.
Там жгут лобзанья, и пронзают очи,
И перси дев черней роскошной ночи.

135

Но родина и вольность, будто сон,
В тумане дальнем скрылись невозвратно...
В цепях железных пробудился он.
Для дикаря всё стало непонятно —
Блестящих городов и шум и звон.
Так облачко, оторвано грозою,
Бродя одно под твердью голубою,
Куда пристать не знает; для него
Всё чуждо — солнце, мир и шум его;
Ему обидно общее веселье,—
Оно, нахмурясь, прячется в ущелье.

136

О, я люблю густые облака,
Когда они толпятся над горою,
Как на хребте стального шишака
Колеблемые перья! Пред грозою,
В одеждах золотых, издалека
Они текут безмолвным караваном
И, наконец, одетые туманом,
Обнявшись, свившись будто куча змей,
Беспечно дремлют на скале своей.
Настанет день — их ветер вновь уносит:
Куда, зачем, откуда? — кто их спросит?

137

И после них на свете нет следа,
Как от любви поэта безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не открыл вниманью дружбы нежной.
И ты, чья жизнь, как беглая звезда,
Промчалася неслышно между нами,
Ты мук своих не выразишь словами;
Ты не хотел насмешки выпить яд,
С улыбкою притворной, как Сократ;
И, не разгадан глупою толпою,
Ты умер чуждый жизни... Мир с тобою!

138

И мир твоим костям! Они сгниют,
Покрытые одеждою военной...
И сумрачен и тесен твой приют,
И ты забыт, как часовой бессменный.
Но что же делать? Жди, авось придут,
Быть может, кто-нибудь из прежних братий.
Как знать? — земля до молодых объятий
Охотница... Ответствуй мне, певец,
Куда умчался ты?.. Какой венец
На голове твоей? И всё ль, как прежде,
Ты любишь нас и веруешь надежде?

139

И вы, вы все, которым столько раз
Я подносил приятельскую чашу,—
Какая буря вдаль умчала вас?
Какая цель убила юность вашу?
Я здесь один. Святой огонь погас
На алтаре моем. Желанье славы,
Как призрак, разлетелося. Вы правы:
Я не рожден для дружбы и пиров...
Я в мыслях вечный странник, сын дубров,
Ущелий и свободы и, не зная
Гнезда, живу, как птичка кочевая.

140

Я для добра был прежде гибнуть рад,
Но за добро платили мне презреньем.
Я пробежал пороков длинный ряд
И пресыщен был горьким наслажденьем...
Тогда я хладно посмотрел назад:
Как с свежего рисунка, сгладил краску
С картины прошлых дней, вздохнул и маску
Надел, и буйным смехом заглушил
Слова глупцов, и дерзко их казнил,
И, грубо пробуждая их беспечность,
Насмешливо указывал на вечность.

141

О вечность, вечность! Что найдем мы там
За неземной границей мира? Смутный,
Безбрежный океан, где нет векам
Названья и числа, где бесприютны
Блуждают звезды вслед другим звездам.
Заброшен в их немые хороводы,
Что станет делать гордый царь природы,
Который, верно, создан всех умней,
Чтоб пожирать растенья и зверей,
Хоть между тем (пожалуй, клясться стану)
Ужасно сам похож на обезьяну.

142

О суета! И вот ваш полубог —
Ваш человек: искусством завладевший
Землей и морем, всем, чем только мог,
Не в силах он прожить три дня не евши.
Но полно! Злобный бес меня завлек
В такие толки. Век наш — век безбожный.
Пожалуй, кто-нибудь, шпион ничтожный,
Мои слова прославит, и тогда
Нельзя креститься будет без стыда,
И поневоле станешь лицемерить,
Смеясь над тем, чему желал бы верить.

143

Блажен, кто верит счастью и любви,
Блажен, кто верит небу и пророкам,—
Он долголетен будет на земли
И для сынов останется уроком.
Блажен, кто думы гордые свои
Умел смирить пред гордою толпою
И кто грехов тяжелою ценою
Не покупал пурпурных уст и глаз,
Живых, как жизнь, и светлых, как алмаз!
Блажен, кто не склонял чела младого,
Как бедный раб, пред идолом другого!

144

Блажен, кто вырос в сумраке лесов,
Как тополь дик и свеж, в тени зеленой
Играющих и шепчущих листов,
Под кровом скал, откуда ключ студеный
По дну из камней радужных цветов
Струей гремучей прыгает, сверкая,
И где над ним береза вековая
Стоит, как призрак позднею порой,
Когда едва кой-где сучок гнилой
Трещит вдали и мрак между ветвями
Отвсюду смотрит черными очами!

145

Блажен, кто посреди нагих степей
Меж дикими воспитан табунами;
Кто приучен был на хребте коней,
Косматых, легких, вольных, как над нами
Златые облака, от ранних дней
Носиться; кто, главой припав на гриву,
Летал, подобно сумрачному диву,
Через пустыню, чувствовал, считал,
Как мерно конь о землю ударял
Копытом звучным и вперед землею
Упругой был кидаем с быстротою.

146

Блажен!.. Его душа всегда полна
Поэзией природы, звуков чистых;
Он не успеет вычерпать до дна
Сосуд надежд; в его кудрях волнистых
Не выглянет до время седина;
Он, в двадцать лет желающий чего-то,
Не будет вечной одержим зевотой,
И в тридцать лет не кинет край родной
С больною грудью и больной душой,
И не решится от одной лишь скуки
Писать стихи, марать в чернилах руки,

147

Или, трудясь, как глупая овца,
В рядах дворянства, с рабским униженьем,
Прикрыв мундиром сердце подлеца,
Искать чинов, мирясь с людским презреньем,
И поклоняться немцам до конца...
И чем же немец лучше славянина?
Не тем ли, что куда его судьбина
Ни кинет, он везде себе найдет
Отчизну и картофель?.. Вот народ:
И без таланта правит, и за деньги служит,
Всех давит сам, а бьют его — не тужит!

148

Вот племя: всякий черт у них — барон!
И уж профессор — каждый их сапожник!
И смело вкривь и вкось глаголет он,
Как Пифия, воссев на свой треножник!
Кричит, шумит... Но что ж? Он не рожден
Под нашим небом; наша степь святая
В его глазах бездушных — степь простая,
Без памятников славных, без следов,
Где б мог прочесть он повесть тех веков,
Которые, с их грозными делами,
Унесены забвения волнами...

149

Кто недоволен выходкой моей,
Тот пусть идет в журнальную контору,
С листком в руках, с оравою друзей,
И, веруя их опытному взору,
Печатает анафему, злодей!..
Я кончил... Так! дописана страница.
Лампада гаснет... Есть всему граница —
Наполеонам, бурям и войнам,
Тем более терпенью и... стихам,
Которые давно уж не звучали
И вдруг с пера бог знает как упали!..

1835—1836, 1839

450. ⟨НАЧАЛО ПОЭМЫ⟩

1

Я не хочу, как многие из нас,
Испытывать читателей терпенье
И потому примусь за свой рассказ
Без предисловий. Сладкое смятенье
В душе моей, как будто в первый раз
Ловлю прыгунью-рифму и, потея,
В досаде призываю Асмодея.
Как будто снова бог переселил
Меня в те дни, когда я точно жил,
Когда не знал я, что на слово «младость»
Есть рифма *гадость,* кроме рифмы *радость!*

2

Давно когда-то, за Москвой-рекой,
На Пятницкой, у самого канала,
Заросшего негодною травой,
Был дом угольный; жизнь играла
Меж стен высоких... Он теперь пустой.
Внизу живет с беззубой половиной
Безмолвный дворник... Пылью, паутиной

Обвешаны, как инеем, кругом
Карнизы стен, расписанных огнем
И временем, и окна краской белой
Замазаны повсюду кистью смелой.

3

В гостиной есть диван и круглый стол
На витых ножках, вражеской рукою
Исчерченный: но час их не пришел —
Они гниют незримо, лишь порою
Скользит по ним играющий Эол
Или еще крыло жилиц развалин —
Летучей мыши. Жалок и печален
Исчезнувших пришельцев гордый след.
Вот сабель их рубцы, а их уж нет:
Один в бою упал на штык кровавый,
Другой — в слезах, без гроба и без славы.

4

Ужель никто из них не добежал
До рубежа отчизны драгоценной?
Нет, прах Кремля к подошвам их пристал,
И русский бог отмстил за храм священный...
Сердитый Кремль в огне их принимал
И проводил, пылая, светоч грозный...
Он озарил им путь в степи морозной —
И степь их поглотила, и о том,
Кто нам грозил и пленом и стыдом,
Кто над землей промчался, как комета,
Стал говорить с насмешкой голос света.

5

И старый дом, куда привел я вас,
Его паденья был свидетель хладный.
На изразцах кой-где встречает глаз
Черты карандаша, стихи и жадно
В них ищет мысли — и бесплодный час
Проходит... Кто писал? С какою целью?

Грустил ли он иль предан был веселью?
Как надписи надгробные, оне
Рисуются узором по стене —
Следы давно погибших чувств и мнений,
Эпиграфы неведомых творений.

6

И образы языческих богов —
Без рук, без ног, с отбитыми носами —
Лежат в углах, низвергнуты с столбов,
Раскрашенных под мрамор. Над дверями
Висят портреты дедовских веков
В померкших рамах и глядят сурово;
И мнится, обвинительное слово
Из мертвых уст их излетит — увы!
О, если б этот дом знавали вы
Тому назад лет двадцать пять и боле!
О, если б время было в нашей воле!..

7

Бывало, только утренней зарей
Осветятся церквей главы златые
И сквозь туман заблещут над горой
Дворец царей и стены вековые,
Отражены зеркальною волной;
Бывало, только прачка молодая
С бельем господским из ворот, зевая,
Выходит и сквозь утренний мороз
Раздастся первый стук колес,—
А графский дом уж полон суетою
И пестрых слуг заботливой толпою.

8

И каждый день идет в нем пир горой.
Смеются гости, и бренчат стаканы.
В стекле граненом, дар земли чужой,
Клокочет и шипит аи румяный,

И от крыльца карет недвижный строй
Далёко тянется, и в зале длинной,
В толпе мужчин, услужливой и чинной,
Красавицы, столицы лучший цвет,
Мелькают... Вот учтивый менуэт
Рисуется вам; шепот удивленья,
Улыбки, взгляды, вздохи, изъясненья...

9

О, как тогда был пышен этот дом!
Вдоль стен висели пестрые шпалеры,
Везде фарфор китайский с серебром,
У зеркала . . . .

1837?

451. ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслярный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое.
Угощали нас три дни, три ночи
И всё слушали — не наслушались.

1

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие —
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие.

Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднесть его опричникам.
— И все пили, царя славили.

Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь —
А в груди его была дума крепкая.

Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого,—
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником —
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное —
И очнулся тогда добрый молодец.

«Гей ты, верный наш слуга Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честна́я прискучила?
Когда всходит месяц — звезды радуются,
Что светлей им гулять по подне́бесью,
А которая в тучку прячется,

Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушатися,—
А из роду ты ведь Скуратовых,
И семьею ты вскормлен Малютиной!..»

Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:

«Государь ты наш Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную — не запотчевать!
А прогневал я тебя — воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову,—
Тяготит она плечи богатырские
И сама к сырой земле она клонится».

И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем бы тебе, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчево́й кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло горит сабля вострая;
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.

Как я сяду-поеду на лихом коне
За Москву-реку покататися,
Кушачком подтянуся шелковым,
Заломлю набочок шапку бархатную,
Черным соболем отороченную,—
У ворот стоят у тесовых

Красны девушки да молодушки
И любуются, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любуется,
Полосатой фатой закрывается...

На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно — будто лебедушка;
Смотрит сладко — как голубушка;
Молвит слово — соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божием;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою целуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Алёной Дмитревной.

Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие.
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удальство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?

Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется!..»

И сказал, смеясь, Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюся.
Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленой покланяйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алёне Дмитревне:
Как полюбишься — празднуй свадебку,
Не полюбишься — не прогневайся».

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому...

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте — дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

2

За прилавкою сидит молодой купец,
Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да недобрый день задался ему:
Ходют мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.

Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная;
Набегают тучки на небо,—
Гонит их метелица распеваючи.
Опустел широкий гостиный двор.
Запирает Степан Парамонович

Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.

И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.
И кличет он старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилася
В такой поздний час Алёна Дмитревна?
А что детки мои любезные —
Чай, забегались, заигралися,
Спозаранку спать уложилися?»

«Господин ты мой Степан Парамонович,
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алёна Дмитревна;
Вот уж поп прошел с молодой попадьей,
Засветили свечу, сели ужинать,—
А по сю пору твоя хозяюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли —
Плачем плачут, всё не унимаются».

И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу —
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит — сила крестная! —
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,

Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрют очи мутные как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.

«Уж ты где, жена, жена, шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одёжа твоя вся изорвана?
Уж гуляла ты, пировала ты,
Чай, с сынками всё боярскими!..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобою, жена, обручалися,
Золотыми кольцами менялися!..
Как запру я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтоб свету божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила...»

И, услышав то, Алёна Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои речи — будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

От вечерни домой шла я нонече
Вдоль по улице одинёшенька.
И послышалось мне, будто снег хрустит,
Оглянулася — человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шепотом:
«Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,

Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной...»
Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня целовать-ласкать
И, целуя, всё приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»

И ласкал он меня, целовал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцелуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали...

Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась;
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня, честную, непорочную,—
И что скажут злые соседушки,
И кому на глаза покажусь теперь?

Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:
Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,
А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонушке пропал без вести,
А меньшой мой брат — дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»

Говорила так Алёна Дмитревна,
Горючьми слезами заливалася.

Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилося,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»

«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич,
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выду тогда на опричника,
Буду насмерть биться, до последних сил,
А побьет он меня — выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежéй силою,
На вас меньше грехов накопилося,
Так авось господь вас помилует!»

И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднéбесье,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются,—
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим».

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!
Ах, ребята, пейте — дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

3

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажен,
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;
Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому бог простит!»

И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершися в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника...
Трижды громкий клич прокликали —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.

На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели небось, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».

Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду-племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».

Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнóва отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истинную:
Об одном из нас будут панихиду петь,
И не позже как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,—
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И, услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...

Вот молча оба расходятся —
Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева,—
И погнулся крест, и вдавился в грудь;
Как роса, из-под него кровь закапала.
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;
Повелел он схватить удалова купца
И привесть его пред лицо свое.

Как возго́ворил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил насме́рть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что — не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей милостью...»

«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...»

Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором навостренныим,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалого бойца дожидается,—
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:

«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцелуемтесь да обнимемтесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алёне Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,

Про меня моим детушкам не сказывать.
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам;
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною,—
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатилася.

Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили.
И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет мóлодец — приосанится,
Пройдет дéвица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку.

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали — красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тороватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!

1837

452. ТАМБОВСКАЯ КАЗНАЧЕЙША

Играй, да не отыгрывайся.

Пословица

ПОСВЯЩЕНИЕ

Пускай слыву я старовером,
Мне всё равно — я даже рад:
Пишу «Онегина» размером;
Пою, друзья, на старый лад.
Прошу послушать эту сказку!
Ее нежданную развязку
Одобрите, быть может, вы
Склоненьем легким головы.
Обычай древний наблюдая,
Мы благодетельным вином
Стихи негладкие запьем,
И пробегут они, хромая,
За мирною своей семьей
К реке забвенья на покой.

1

Тамбов на карте генеральной
Кружком означен не всегда;
Он прежде город был опальный,
Теперь же, право, хоть куда.
Там есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые,
Там два трактира есть, один
«Московский», а другой «Берлин».
Там есть еще четыре будки,
При них два будочника есть;
По форме отдают вам честь,
И смена им два раза в сутки;
. . . .
Короче, славный городок.

2

Но скука, скука, боже правый,
Гостит и там, как над Невой,
Поит вас пресною отравой,
Ласкает черствою рукой.

И там есть чопорные франты,
Неумолимые педанты,
И там нет средства от глупцов
И музыкальных вечеров;
И там есть дамы — просто чудо!
Дианы строгие в чепцах,
С отказом вечным на устах.
При них нельзя подумать худо:
В глазах греховное прочтут
И вас осудят, проклянут.

3

Вдруг оживился круг дворянский,
Губернских дев нельзя узнать,—
Пришло известье: полк уланский
В Тамбове будет зимовать.
Уланы, ах! такие хваты...
Полковник, верно, неженатый,
А уж бригадный генерал
Конечно, даст блестящий бал.
У матушек сверкнули взоры;
Зато, несносные скупцы,
Неумолимые отцы
Пришли в раздумье: сабли, шпоры —
Беда для крашеных полов...
Так волновался весь Тамбов.

4

И вот однажды утром рано,
В час лучший девственного сна,
Когда сквозь пелену тумана
Едва проглядывает Цна,
Когда лишь куполы собора
Роскошно золотит Аврора
И, тишины известный враг,
Еще безмолвствовал кабак,
. . . .
. . . .
Уланы справа по шести
Вступили в город; музыканты,
Дремля на лошадях своих,
Играли марш из «Двух слепых».

5

Услыша ласковое ржанье
Желанных вороных коней,
Чье сердце, полное вниманья,
Тут не запрыгало сильней?
Забыта жаркая перина...
«Малашка, дура, Катерина,
Скорее туфли и платок!
Да где Иван? Какой мешок!
Два года ставни отворяют...»
Вот ставни настежь. Целый дом
Трет стекла тусклые сукном —
И любопытно пробегают
Глаза опухшие девиц
Ряды суровых, пыльных лиц.

6

«Ах, посмотри сюда, кузина,
Вот этот!» — «Где? майор?» — «О нет!
Как он хорош, а конь — картина,
Да жаль, он, кажется, корнет...
Как ловко, смело избочился...
Поверишь ли, он мне приснился...
Я после не могла уснуть...»
И тут девическая грудь
Косынку тихо поднимает —
И разыгравшейся мечтой
Слегка темнится взор живой.
Но полк прошел. За ним мелькает
Толпа мальчишек городских,
Немытых, шумных и босых.

7

Против гостиницы «Московской»,
Притона буйных усачей,
Жил некто господин Бобковской,
Губернский старый казначей.
Давно был дом его построен;
Хотя невзрачен, но спокоен;

Меж двух облупленных колонн
Держался кое-как балкон.
На кровле треснувшие доски
Зеленым мохом поросли;
Зато пред окнами цвели
Четыре стриженых березки
Взамен гардин и пышных стор,
Невинной роскоши убор.

8

Хозяин был старик угрюмый
С огромной лысой головой.
От юных лет с казенной суммой
Он жил как с собственной казной.
В пучинах сумрачных расчета
Блуждать была ему охота,
И потому он был игрок
(Его единственный порок).
Любил налево и направо
Он в зимний вечер прометнуть,
Четвертый куш перечеркнуть,
Рутёркой понтирнуть со славой,
И талью скверную порой
Запить цимлянского струей.

9

Он был врагом трудов полезных,
Трибун тамбовских удальцов,
Гроза всех матушек уездных
И воспитатель их сынков.
Его краплёные колоды
Не раз невинные доходы
С индеек, масла и овса
Вдруг пожирали в полчаса.
Губернский врач, судья, исправник —
Таков его всегдашний круг;
Последний был делец и друг
И за столом такой забавник,
Что казначейша иногда
Сгорит, бывало, от стыда.

10

Я не поведал вам, читатель,
Что казначей мой был женат.
Благословил его создатель,
Послав ему в супруге клад.
Ее ценил он тысяч во сто,
Хотя держал довольно просто
И не выписывал чепцов
Ей из столичных городов.
Предав ей таинства науки,
Как бросить вздох иль томный взор,
Чтоб легче влюбчивый понтёр
Не разглядел проворной штуки,
Меж тем догадливый старик
С глаз не спускал ее на миг.

11

И впрямь Авдотья Николавна
Была прелакомый кусок.
Идет, бывало, гордо, плавно —
Чуть тронет землю башмачок;
В Тамбове не запомнят люди
Такой высокой, полной груди:
Бела как сахар, так нежна,
Что жилка каждая видна.
Казалося, для нежной страсти
Она родилась. А глаза...
Ну что такое бирюза?
Что небо? Впрочем, я отчасти
Поклонник голубых очей
И не гожусь в число судей.

12

А этот носик! Эти губки,
Два свежих розовых листка!
А перламутровые зубки,
А голос сладкий, как мечта!
Она картавя говорила,
Нечисто «р» произносила,

Но этот маленький порок
Кто извинить бы в ней не мог?
Любил трепать ее ланиты,
Разнежась, старый казначей.
Как жаль, что не было детей
У них! . . . .
. . . .
. . . .

13

Для большей ясности романа
Здесь объявить мне вам пора,
Что страстно влюблена в улана
Была одна ее сестра.
Она, как должно, тайну эту
Открыла Дуне по секрету.
Вам не случалось двух сестер
Замужних слышать разговор?
О чем тут, боже справедливый,
Не судят милые уста!
О, русских нравов простота!
Я, право, человек нелживый —
А из-за ширмов раза два
Такие слышал я слова...

14

Итак, тамбовская красотка
Ценить умела уж усы
. . . .
. . . .
Что ж? Знание ее сгубило!
Один улан, повеса милый
(Я вместе часто с ним бывал),
В трактире номер занимал
Окно в окно с ее уборной.
Он был мужчина в тридцать лет;
Штаб-ротмистр, строен, как корнет;
Взор пылкий, ус довольно черный,—
Короче, идеал девиц,
Одно из славных русских лиц.

15

Он всё отцовское именье
Еще корнетом прокутил;
С тех пор дарами провиденья,
Как птица божия, он жил.
Он, спать ложась, привык не ведать,
Чем будет завтра пообедать.
Шатаясь по Руси кругом
То на курьерских, то верхом,
То полупьяным ремонтёром,
То волокитой отпускным,
Привык он к случаям таким,
Что я бы сам почел их вздором,
Когда бы все его слова
Хоть тень имели хвастовства.

16

Страстьми земными не смущаем,
Он не терялся никогда . .
. . . .
. . . .
Бывало, в деле, под картечью
Всех рассмешит надутой речью,
Гримасой, фарсой площадно́й
Иль неподдельной остротой.
Шутя однажды после спора
Всадил он другу пулю в лоб;
Шутя и сам он лег бы в гроб —
. . . .
Порой незлобен, как дитя,
Был добр и честен, но шутя.

17

Он не был тем, что волокитой
У нас привыкли называть;
Он не ходил тропой избитой,
Свой путь умея пролагать;
Не делал страстных изъяснений,
Не становился на колени,—

А несмотря на то, друзья,
Счастливей был, чем вы и я.
. . . .
. . . .
. . . .
Таков-то был штаб-ротмистр Гарин:
По крайней мере, мой портрет
Был схож тому назад пять лет.

18

Спешил о редкостях Тамбова
Он у трактирщика узнать.
Узнал немало он смешного —
Интриг секретных шесть иль пять,
Узнал, невесты как богаты,
Где свахи водятся иль сваты,
Но занял более всего
Мысль беспокойную его
Рассказ о молодой соседке.
«Бедняжка! — думает улан.—
Такой безжизненный болван
Имеет право в этой клетке
Тебя стеречь — и я, злодей,
Не тронусь участью твоей?»

19

К окну поспешно он садится,
Надев персидский архалук;
В устах его едва дымится
Узорный бисерный чубук.
На кудри мягкие надета
Ермолка ви́шневого цвета
С каймой и кистью золотой,
Дар молдаванки молодой.
Сидит и смотрит он прилежно...
Вот, промелькнувши как во мгле,
Обрисовался на стекле
Головки милой профиль нежный;
Вот будто стукнуло окно...
Вот отворяется оно.

20

Еще безмолвен город сонный;
На окнах блещет утра свет;
Еще по улице мощеной
Не раздается стук карет...
Что ж казначейшу молодую
Так рано подняло? Какую
Назвать причину поверней?
Уж не бессонница ль у ней?
На ручку опершись головкой,
Она вздыхает, а в руке
Чулок, но дело не в чулке —
Заняться этим нам неловко...
И если правду уж сказать —
Ну кстати ль было б ей вязать!

21

Сначала взор ее прелестный
Бродил по синим небесам,
Потом склонился к поднебесной
И вдруг... какой позор и срам!
Напротив, у окна трактира,
Сидит мужчина без мундира.
Скорей, штаб-ротмистр! ваш сюртук!
И поделом... окошко стук...
И скрылось милое виденье.
Конечно, добрые друзья,
Такая грустная статья
На вас навеяла б смущенье,
Но я отдам улану честь —
Он молвил: «Что ж? начало есть».

22

Два дня окно не отворялось.
Он терпелив. На третий день
На стеклах снова показалась
Ее пленительная тень;
Тихонько рама заскрипела.
Она с чулком к окну подсела.

Но опытный заметил взгляд
Ее заботливый наряд.
Своей удачею довольный,
Он встал и вышел со двора —
И не вернулся до утра.
Потом, хоть было очень больно,
Собрав запас душевных сил,
Три дня к окну не подходил.

23

Но эта маленькая ссора
Имела участь нежных ссор:
Меж них завелся очень скоро
Немой, но внятный разговор.
Язык любви, язык чудесный,
Одной лишь юности известный,
Кому, кто раз хоть был любим,
Не стал ты языком родным?
В минуту страстного волненья
Кому хоть раз ты не помог
Близ милых уст, у милых ног?
Кого под игом принужденья,
В толпе завистливой и злой,
Не спас ты, чудный и живой?

24

Скажу короче: в две недели
Наш Гарин твердо мог узнать,
Когда она встает с постели,
Пьет с мужем чай, идет гулять.
Отправится ль она к обедне —
Он в церкви, верно, не последний;
К сырой колонне прислонясь,
Стоит всё время не крестясь.
Лучом краснеющей лампады
Его лицо озарено:
Как мрачно, холодно оно!
А испытующие взгляды
То вдруг померкнут, то блестят —
Проникнуть в грудь ее хотят.

25

Давно разрешено сомненье,
Что любопытен нежный пол.
Улан большое впечатленье
На казначейшу произвел
Своею странностью. Конечно,
Не надо было б мысли грешной
Дорогу в сердце пролагать,
Ее бояться и ласкать!
. . . .
. . . .
. . . .
Жизнь без любви такая скверность!
А что, скажите, за предмет
Для страсти муж, который сед?

26

Но время шло. «Пора к развязке! —
Так говорил любовник мой.—
Вздыхают молча только в сказке,
А я не сказочный герой».
Раз входит, кланяясь пренизко,
Лакей. «Что это?» — «Вот-с записка;
Вам барин кланяться велел-с,
Сам не приехал — много дел-с;
Да приказал вас звать к обеду,
А вечерком потанцевать.
Он сам изволил так сказать».
— «Ступай, скажи, что я приеду».
И в три часа, надев колет,
Летит штаб-ротмистр на обед.

27

Амфитрион был предводитель —
И в день рождения жены,
Порядка ревностный блюститель,
Созвал губернские чины
И целый полк. Хотя бригадный
Заставил ждать себя изрядно

И после целый день зевал,
Но праздник в том не потерял.
Он был устроен очень мило:
В огромных вазах по столам
Стояли яблоки для дам,
А для мужчин в буфете было
Еще с утра принесено
В больших трех ящиках вино.

28

Вперед под ручку с генеральшей
Пошел хозяин. Вот за стол
Уселся от мужчин подальше
Прекрасный, но стыдливый пол —
И дружно загремел с балкона,
Средь утешительного звона
Тарелок, ложек и ножей,
Весь хор уланских трубачей:
Обычай древний, но прекрасный;
Он возбуждает аппетит,
Порою кстати заглушит
Меж двух соседей говор страстный,—
Но в наше время решено,
Что всё старинное смешно.

29

Родов, обычаев боярских
Теперь и следу не ищи,
И только на пирах гусарских
Гремят, как прежде, трубачи.
О, скоро ль мне придется снова
Сидеть среди кружка родного
С бокалом влаги золотой
При звуках песни полковой!
И скоро ль ментиков червонных
Приветный блеск увижу я,
В тот серый час, когда заря
На строй гусаров полусонных
И на бивак их у леска
Бросает луч исподтишка!

30

С Авдотьей Николавной рядом
Сидел штаб-ротмистр удалой —
Впился в нее упрямым взглядом,
Крутя усы одной рукой.
Он видел, как в ней сердце билось...
И вдруг — не знаю, как случилось,—
Ноги ее иль башмачка
Коснулся шпорой он слегка.
Тут началися извиненья
И завязался разговор;
Два комплимента, нежный взор —
И уж дошло до изъясненья...
Да, да — как честный офицер!
Но казначейша — не пример.

31

Она, в ответ на нежный шепот,
Немой восторг спеша сокрыть,
Невинной дружбы тяжкий опыт
Ему решилась предложить —
Таков обычай деревенский!
Помучить — способ самый женский.
Но уж давно известна нам
Любовь друзей и дружба дам!
Какое адское мученье
Сидеть весь вечер tête-à-tête [1]
С красавицей в осьмнадцать лет
. . . .
. . . .
. . . .

32

Вобще я мог в году последнем
В девицах наших городских
Заметить страсть к воздушным бредням
И мистицизму. Бойтесь их!

[1] С глазу на глаз (фр.).— *Ред.*

Такая мудрая супруга,
В часы любовного досуга,
Вам вдруг захочет доказать,
Что два и три совсем не пять,
Иль вместо пламенных лобзаний
Магнетизировать начнет —
И счастлив муж, коли заснет!..
Плоды подобных замечаний,
Конечно б, мог не ведать мир,
Но польза, польза — мой кумир.

33

Я бал описывать не стану,
Хоть это был блестящий бал.
Весь вечер моему улану
Амур прилежно помогал.
Увы . . . .
Не веруют амуру ныне;
Забыт любви волшебный царь;
Давно остыл его алтарь!
Но за столичным просвещеньем
Провинциалы не спешат;
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

34

И сердце Дуни покорилось,
Его сковал могучий взор...
Ей дома целу ночь всё снилось
Бряцанье сабли или шпор.
Поутру, встав часу в девятом,
Садится в шлафоре измятом
Она за вечную канву —
Всё тот же сон и наяву.
По службе занят муж ревнивый,
Она одна — разгул мечтам!
Вдруг дверью стукнули. «Кто там?
Андрюшка! Ах, тюлень ленивый!..»
Вот чей-то шаг — и перед ней
Явился... только не Андрей.

35

Вы отгадаете, конечно,
Кто этот гость нежданный был.
Немного, может быть, поспешно
Любовник смелый поступил,—
Но, впрочем, взявши в рассмотренье
Его минувшее терпенье
И рассудив, легко поймешь,
Зачем рискует молодежь.
Кивнув легонько головою,
Он к Дуне молча подошел
И на лицо ее навел
Взор, отуманенный тоскою,
Потом стал длинный ус крутить,
Вздохнул и начал говорить:

36

«Я вижу, вы меня не ждали —
Прочесть легко из ваших глаз;
Ах, вы еще не испытали,
Что в страсти значит день, что час!
Среди сердечного волненья
Нет сил, нет власти, нет терпенья!
Я здесь — на всё решился я...
Тебе я предан... ты моя!
Ни мелочные толки света,
Ничто, ничто не страшно мне;
Презренье светской болтовне —
Иль я умру от пистолета...
О, не пугайся, не дрожи;
Ведь я любим — скажи, скажи!..»

37

И взор его притворно скромный,
Склоняясь к ней, то угасал,
То, разгораясь страстью томной,
Огнем сверкающим пылал.
Бледна, в смущенье оставалась
Она пред ним... Ему казалось,

Что чрез минуту для него
Любви наступит торжество...
Как вдруг внезапный и невольный
Стыд овладел ее душой —
И, вспыхнув вся, она рукой
Толкнула прочь его: «Довольно,
Молчите — слышать не хочу!
Оставите ль? я закричу!..»

38

Он смотрит: это не притворство,
Не штуки — как ни говори,—
А просто женское упорство,
Капризы — черт их побери!
И вот — о, верх всех унижений! —
Штаб-ротмистр преклонил колени
И молит жалобно; как вдруг
Дверь настежь — и в дверях супруг.
Красотка: «Ах!» Они взглянули
Друг другу сумрачно в глаза,
Но молча разнеслась гроза,
И Гарин вышел. Дома пули
И пистолеты снарядил,
Присел — и трубку закурил.

39

И через час ему приносит
Записку грязную лакей.
Что это? чудо! Нынче просит
К себе на вистик казначей,
Он именинник — будут гости...
От удивления и злости
Чуть не задохся наш герой.
Уж не обман ли тут какой?
Весь день проводит он в волненье.
Настал и вечер наконец.
Глядит в окно: каков хитрец —
Дом полон, что за освещенье!
А всё засунуть — или нет? —
В карман на случай пистолет.

40

Он входит в дом. Его встречает
Она сама, потупя взор.
Вздох полновесный прерывает
Едва начатый разговор.
О сцене утренней ни слова.
Они друг другу чужды снова.
Он о погоде говорит;
Она: «да-с, нет-с» — и замолчит.
Измучен тайною досадой,
Идет он дальше в кабинет...
Но здесь спешить нам нýжды нет,
Притом спешить нигде не надо.
Итак, позвольте отдохнуть,
А там докончим как-нибудь.

41

Я жить спешил в былые годы,
Искал волнений и тревог,
Законы мудрые природы
Я безрассудно пренебрег.
Что ж вышло? Право, смех и жалость!
Сковала душу мне усталость,
А сожаленье день и ночь
Твердит о прошлом. Чем помочь?
Назад не возвратят усилья.
Так в клетке молодой орел,
Глядя на горы и на дол,
Напрасно не подъемлет крылья —
Кровавой пищи не клюет,
Сидит, молчит и смерти ждет.

42

Ужель исчез ты, возраст милый,
Когда всё сердцу говорит,
И бьется сердце с дивной силой,
И мысль восторгами кипит?
Не всё ж томиться бесполезно
Орлу за клеткою железной:

Он свой воздушный прежний путь
Еще найдет когда-нибудь,
Туда, где снегом и туманом
Одеты темные скáлы,
Где гнезда вьют одни орлы,
Где тучи бродят караваном!
Там можно крылья развернуть
На вольный и роскошный путь!

43

Но есть всему конец на свете,
И даже выспренним мечтам.
Ну, к делу. Гарин в кабинете.
О, чудеса! Хозяин сам
Его встречает с восхищеньем,
Сажает, потчует вареньем,
Несет шампанского стакан.
«Иуда!» — мыслит мой улан.
Толпа гостей теснилась шумно
Вокруг зеленого стола;
Игра уж дельная была,
И банк притом благоразумный.
Его держал сам казначей
Для облегчения друзей.

44

И так как господин Бобковский
Великим делом занят сам,
То здесь блестящий круг тамбовский
Позвольте мне представить вам.
Во-первых, господин советник,
Блюститель нравов, мирный сплетник,
. . . .
. . . .
А вот уездный предводитель,
Весь спрятан в галстук, фрак до пят,
Дискант, усы и мутный взгляд.
А вот, спокойствия рачитель,
Сидит и сам исправник — но
Об нем уж я сказал давно.

45

Вот, в полуфрачке, раздушенный,
Времен новейших Митрофан,
Нетесаный, недоученный,
А уж безнравственный болван.
Доверье полное имея
К игре и знанью казначея,
Он понтирует, как велят,—
И этой чести очень рад.
Еще тут были... но довольно,
Читатель милый, будет с вас.
И так несвязный мой рассказ,
Перу покорствуя невольно
И своенравию чернил,
Бог знает чем я испестрил.

46

Пошла игра. Один, бледнея,
Рвал карты, вскрикивал; другой,
Поверить проигрыш не смея,
Сидел с поникшей головой.
Иные, при удачной талье,
Стаканы шумно наливали
И чокались. Но банкомет
Был нем и мрачен. Хладный пот
По гладкой лысине струился.
Он всё проигрывал дотла.
В ушах его «дана», «взяла»
Так и звучали. Он взбесился —
И проиграл свой старый дом
И всё, что в нем или при нем.

47

Он проиграл коляску, дрожки,
Трех лошадей, два хомута,
Всю мебель, женины сережки,
Короче — всё, всё дочиста.
Отчаянья и злости полный,
Сидел он бледный и безмолвный.

Уж было за полночь. Треща,
Одна погасла уж свеча.
Свет утра синевато-бледный
Вдоль по туманным небесам
Скользил. Уж многим игрокам
Сон прогулять казалось вредно,
Как вдруг, очнувшись, казначей
Вниманья просит у гостей.

48

И просит важно позволенья
Лишь талью прометнуть одну,
Но с тем, чтоб отыграть именье
Иль «проиграть уж и жену».
О, страх! О, ужас! О, злодейство!
И как доныне казначейство
Еще терпеть его могло!
Всех будто варом обожгло.
Улан один прехладнокровно
К нему подходит. «Очень рад,—
Он говорит,— пускай шумят,
Мы дело кончим полюбовно,
Но только чур не плутовать —
Иначе вам несдобровать!»

49

Теперь кружок понтёров праздных
Вообразить прошу я вас,
Цвета их лиц разнообразных,
Блистанье их очков и глаз,
Потом усастого героя,
Который понтирует стоя;
Против него меж двух свечей
Огромный лоб, седых кудрей
Покрытый редкими клочками,
Улыбкой вытянутый рот
И две руки с колодой — вот
И вся картина перед вами,
Когда прибавим вдалеке
Жену на креслах в уголке.

50

Что в ней тогда происходило —
Я не берусь вам объяснить:
Ее лицо изобразило
Так много мук, что, может быть,
Когда бы вы их разгадали,
Вы поневоле б зарыдали.
Но пусть участия слеза
Не отуманит вам глаза:
Смешно участье в человеке,
Который жил и знает свет.
Рассказы вымышленных бед
В чувствительном прошедшем веке
Немало проливали слез...
Кто ж в этом выиграл? — вопрос.

51

Недолго битва продолжалась;
Улан отчаянно играл;
Над стариком судьба смеялась —
И жребий выпал... час настал...
Тогда Авдотья Николавна,
Встав с кресел, медленно и плавно
К столу в молчанье подошла —
Но только цвет ее чела
Был страшно бледен. Обомлела
Толпа. Все ждут чего-нибудь —
Упреков, жалоб, слез... Ничуть!
Она на мужа посмотрела
И бросила ему в лицо
Свое венчальное кольцо —

52

И в обморок. Ее в охапку
Схватив, с добычей дорогой,
Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой.
Поутру вестию забавной
Смущен был город благонравный.

Неделю целую спустя,
Кто очень важно, кто шутя,
Об этом все распространялись;
Старик защитников нашел;
Улана проклял милый пол —
За что, мы, право, не дознались.
Не зависть ли?.. Но нет, нет, нет;
Ух! я не выношу клевет!..

53

И вот конец печальной были,
Иль сказки — выражусь прямей.
Признайтесь, вы меня бранили?
Вы ждали действия? страстей?
Повсюду нынче ищут драмы,
Все просят крови — даже дамы.
А я, как робкий ученик,
Остановился в лучший миг;
Простым нервическим припадком
Неловко сцену заключил,
Соперников не помирил
И не поссорил их порядком...
Что ж делать! Вот вам мой рассказ,
Друзья; покамест будет с вас.

Конец 1837 — начало 1838

453. БЕГЛЕЦ

Горская легенда

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;

Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку — и бежит! —

И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахну́ло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой...

Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул родимый
При лунном свете узнает;
Подкрался он, никем не зримый...
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришел домой.

И к сакле он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепясь душой как только мог,
Гарун ступил через порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе, мучимый недугом,—
Один,— он молча умирал...
«Велик аллах! от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!»
— «Что нового?» — спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы билися в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь преследуем, гоним,
С окровавле́нными ногами
От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков.
Черкесы гибнут — враг повсюду.

Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай — достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»

Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.

И, саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело.
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним,
И он подумал: я любим,
Она лишь мной живет и дышит...
И хочет он взойти — и слышит,
И слышит песню старины...
И стал Гарун бледней луны:

Месяц плывет
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,

Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.

Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь...

Но вот от бури наклоненный
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..

«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!»
— «Один?»
— «Один!..»
— «А где отец и братья?»
— «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
— «Ты отомстил?»
— «Не отомстил...
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою...»
— «Молчи, молчи! гяур лукавый,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус — и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,

И всё кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор...
И мать поутру увидала...
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладби́щу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поныне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

1838 (?)

454. ДЕМОН

Восточная повесть

ЧАСТЬ 1

1

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета

ДЕМОНЪ.

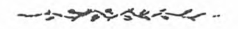
ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ,

Сочиненная

Михайломъ Юрьевичемъ Лермонтовымъ.

Переписана съ первой своеручной его рукописи, съ означеніемъ сдѣланныхъ имъ на оной перемарокъ, исправленій и измѣненій. Оригинальная рукопись такъ чиста, что перелистывая оную, подумаешь что она писана подъ диктовку, или списана съ другой.

Сентября 13-го 1841 года.



КАРЛСРУЭ.

Въ Придворной Типографіи В. Гаспера.

1856.

Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!

2

Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.

3

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел,— и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;

И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир, но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

4

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели:
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали —
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий голос их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом,
Пещеры, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений!
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженные ночи,
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!..
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил;

И всё, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

5

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил...
Трудов и слез он много стоил
Рабам, послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени.
В скале нарублены ступени,
Они от башни угловой
Ведут к реке; по ним, мелькая,
Покрыта белою чадрой,[1]
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

6

Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом,
Но пир большой сегодня в нем —
Звучит зурна,[2] и льются вины —
Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг.
В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, глядит —
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;

[1] Покрывало.
[2] Вроде волынки.

То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.

7

Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела.
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.

8

В последний раз она плясала.
Увы! заутра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто тайное сомненье
Темнило светлые черты;
И были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,

Так полны милой простоты,
Что если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б — и вздохнул...

9

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг.
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук —
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!..
И долго сладостной картиной
Он любовался — и мечты
О прежнем счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой грустью стал знаком;
В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?
Он слов коварных искушенья
Найти в уме своем не мог...
Забыть? — забвенья не дал бог,
Да он и нé взял бы забвенья!..
. . . .

10

Измучив доброго коня,
На брачный пир к закату дня
Спешил жених нетерпеливый.
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва-едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая,—
Их колокольчики звенят.

Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи,[1] — кругом она
Вся галуном обложена.
Цветными вышито шелками
Его седло; узда с кистями;
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный!
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман...
Прибавил шагу караван.

11

И вот часовня на дороге...
Тут с давних лет почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.
Но презрел удалой жених
Обычай прадедов своих.
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал:
Он в мыслях, под ночною тьмою,
Уста невесты целовал.

---

[1] Верхняя одежда с откидными рукавами.

Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше — выстрел! — что такое?..
Привстав на звонких стременах,[1]
Надвинув на брови папах,[2]
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк — и как орел
Он кинулся... и выстрел снова!
И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины,—
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!

12

Затихло всё; теснясь толпой,
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели,
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не при́дут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою,
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет...

---

[1] Стремена у грузин вроде башмаков из звонкого металла.
[2] Шапка вродеериванки.

13

Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется, будто к брани;
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая;
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый!
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!

14

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;
В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал...
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

15

На беззаботную семью
Как гром слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! Не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет!
Он далеко, он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы...
Что жизни мелочные сны,
И стон, и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,
Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой!

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!

Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит;
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет,—
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелко́вые ресницы
Сны золотые навевать...»

16

Слова умолкли в отдаленье,
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг...
Невыразимое смятенье
В ее груди; печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненье.
Все чувства в ней кипели вдруг;
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, всё еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил;
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.
Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью,
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,

Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь,— ни мрак, ни свет!..

ЧАСТЬ 2

1

«Отец, отец, оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они.
Напрасно женихи толпою
Спешат сюда из дальних мест...
Немало в Грузии невест,
А мне не быть ничьей женою!..
О, не брани, отец, меня.
Ты сам заметил: день от дня
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзает дух лукавый
Неотразимою мечтой;
Я гибну, сжалься надо мной!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою,
Там защитит меня Спаситель,
Пред ним тоску мою пролью.
На свете нет уж мне веселья...
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня...»

2

И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,

Как под узорною парчой,
Всё беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч,
В часы торжественного пенья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася речь.
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама;
Сиял он тихо, как звезда;
Манил и звал он... но — куда?..

3

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинар и тополей рядами
Он окружен был — и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,
Лампада грешницы младой.
Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной
И под нависшею скалой,
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дальше, меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

4

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,

И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались,
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

5

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгам чистым. Перед ней
Весь мир одет угрюмой тенью;
И всё ей в нем предлог мученью —
И утра луч, и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет; и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье,
И мыслит он: «То горный дух,
Прикованный в пещере, стонет!»
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит...

6

Тоской и трепетом полна,
Тамара часто у окна
Сидит в раздумье одиноком,
И смотрит вдаль прилежным оком,
И целый день, вздыхая, ждет...

Ей кто-то шепчет: он придет!
Недаром сны ее ласкали,
Недаром он являлся ей,
С глазами, полными печали,
И чудной нежностью речей.
Уж много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святым захочет ли молиться —
А сердце молится *ему*;
Утомлена борьбой всегдашней,
Склонится ли на ложе сна —
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она;
Пылают грудь ее и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи,
Лобзанья тают на устах...
. . . .
. . . .

7

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел.
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел.
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив у стены высокой
Он бродит: от его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет,—
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингура [1] стройное бряцанье
И звуки песни раздались;
И звуки те лились, лились,

---

[1] Чинг ⟨у⟩ р — род гитары.

Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена!
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,
Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз;
Он хочет в страхе удалиться...
Его крыло не шевелится!
И, чудо! из померкших глаз
Слеза тяжелая кати́тся...
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой!..

8

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит — перед ним
Посланник рая, херувим,
Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом;
И луч божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:

9

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет,
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»
Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся,
Зарделся ревностию взгляд;
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя! — сказал он грозно.—
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!»
И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
. . . .

10

Тамара

О! кто ты? Речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..

Демон

Ты прекрасна!

Тамара

Но молви, кто ты? Отвечай...

Демон

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,

Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит,
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь,— я у ног твоих!
Тебе принес я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.
О! выслушай — из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там
Как новый ангел в блеске новом.
О! только выслушай, молю,—
Я раб твой,— я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел —
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно — розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм — без божества!

Тамара

Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу...
Творец... Увы! я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;

Твои слова — огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь!

Демон

Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я всё былое бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлён,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Всё знать, всё чувствовать, всё видеть,
Стараться всё возненавидеть
И всё на свете презирать!..
Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство;
Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно...
Они текли в венцах из злата,
Но что же? Прежнего собрата

Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов, и лиц, и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю... прежними друзьями
Я был отвергнут; как Эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,
Всё благородное бесславил
И всё прекрасное хулил;
Недолго... пламень чистой веры
Легко навек я залил в них...
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;
И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой...
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком;
И, в бездну падая с конем,
Напрасно звал — и след кровавый
За ним вился по крутизне...
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравилися мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,

Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут...
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень —
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..

〈Т а м а р а

Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...

Д е м о н

Против тебя ли?

Т а м а р а

Нас могут слышать!..

Д е м о н

Мы одне.

Т а м а р а

А бог!

Д е м о н

На нас не кинет взгляда:
Он занят небом, не землей!

Т а м а р а

А наказанье, муки ада?

Демон

Так что ж? Ты будешь там со мной!⟩

Тамара

Кто б ни был ты, мой друг случайный,—
Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая...
О! пощади! Какая слава?
На что душа тебе моя?
Ужели небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увы! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой...
Нет! дай мне клятву роковую...
Скажи,— ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласкаешь...
Но ты всё понял, ты всё знаешь —
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне... От злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..

Демон

Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духо́в,
Судьбою братий мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,

Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня —
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил.
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края,
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты;
Где преступленья лишь да казни;
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое,—
Но дни бегут, и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,

Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далёко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена,
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина.
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духо́в моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе всё, всё земное —
Люби меня!..

11

И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам;
Соблазна полными речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи!
Он жег ее. Во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник.
Мучительный, ужасный крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было всё: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой.

12

В то время сторож полуночный,
Один вокруг стены крутой
Свершая тихо путь урочный,
Бродил с чугунною доской,
И возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Минутный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика...
Но пронеслось еще мгновенье,
И стихло всё; издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,

Чтоб наважденье духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча скорыми шагами
Обычный продолжает путь.
. . . .

13

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы...
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой,
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали...
Нет! смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!

14

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд.
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею!
И ничего в ее лице
Не намекало о конце
В пылу страстей и упоенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор чуждой выраженья,

Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ее устам.
О многом грустном говорила
Она внимательным глазам:
В ней было хладное презренье
Души, готовой отцвести,
Последней мысли выраженье,
Земле беззвучное прости.
Напрасный отблеск жизни прежней,
Она была еще мертвей,
Еще для сердца безнадежней
Навек угаснувших очей.
Так в час торжественный заката,
Когда, растаяв в море злата,
Уж скрылась колесница дня,
Снега Кавказа, на мгновенье
Отлив румяный сохраня,
Сияют в темном отдаленье.
Но этот луч полуживой
В пустыне отблеска не встретит,
И путь ничей он не осветит
С своей вершины ледяной!..

15

Толпой соседи и родные
Уж собрались в печальный путь.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,
В последний раз Гудал садится
На белогривого коня,—
И поезд тронулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.
Один из праотцев Гудала,
Грабитель странников и сёл,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал

На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоилися там;
И превратилася в кладбище
Скала, родная облакам:
Как будто ближе к небесам
Теплей посмертное жилище?..
Как будто дальше от людей
Последний сон не возмутится...
Напрасно! мертвым не приснится
Ни грусть, ни радость прошлых дней.

16

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятиях своих.
И сладкой речью упованья
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.
Издалека уж звуки рая
К ним доносилися — как вдруг,
Свободный путь пересекая,
Взвился из бездны адский дух.
Он был могущ, как вихорь шумный,
Блистал, как молнии струя,
И гордо в дерзости безумной
Он говорит: «Она моя!»

К груди хранительной прижалась,
Молитвой ужас заглуша,
Тамары грешная душа.
Судьба грядущего решалась,
Пред нею снова он стоял,
Но, боже! — кто б его узнал?
Каким смотрел он злобным взглядом,

Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца,—
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица.

«Исчезни, мрачный дух сомненья! —
Посланник неба отвечал.—
Довольно ты торжествовал,
Но час суда теперь настал —
И благо божие решенье!
Дни испытания прошли;
С одеждой бренною земли
Оковы зла с нее ниспали.
Узнай! давно ее мы ждали!
Ее душа была из тех,
Которых жизнь — одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех:
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них!
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!»

И Ангел строгими очами
На искусителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами,
В сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои,
И вновь остался он, надменный,
Один, как прежде, во вселенной
Без упованья и любви!..

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...

Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут, звеня, издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботная дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Года во очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.
И только ждут луны восхода
Его незримые жильцы:
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы.
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет;
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле давних сеч,
Ненужный падшему герою!..
Всё дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала —
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

Но церковь на крутой вершине,
Где взяты кости их землей,

Посвящение.

Я кончил — и в груди невольное сомненье!
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый но незабвенный друг?—

Пробудится ль в тебе о прошлом сожаленье?
Иль быстро пробежав докучную тетрадь
Ты только мертвого, пустого одобренья
Наложишь на нее холодную печать;—

И не узнаешь здесь простого выраженья
Тоски, мой   ныне уж томившей столько лет;
И ты   игру иль сон воображенья
с души тяжелый бред.....

Хранима властию святой,
Видна меж туч еще поныне.
И у ворот ее стоят
На страже черные граниты,
Плащами снежными покрыты,
И на груди их вместо лат
Льды вековечные горят.
Обвалов сонные громады
С уступов, будто водопады,
Морозом схваченные вдруг,
Висят, нахмурившись, вокруг.
И там метель дозором ходит,
Сдувая пыль со стен седых,
То песню долгую заводит,
То окликает часовых;
Услыша вести в отдаленье
О чудном храме, в той стране,
С востока облака одне
Спешат толпой на поклоненье,
Но над семьей могильных плит
Давно никто уж не грустит.
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.

1839

455. МЦЫРИ [1]

Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю.

1-я Книга Царств

1

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход

---

[1] Мцыри — на грузинском языке значит: «неслужащий монах», нечто вроде «послушника».

Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод,
Но не кури́тся уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.

(4)

Кто умер ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible]
Один смотритель ~~[illegible]~~
развалин сторож полуживой
Людьми и смертию забыт
Сметает пыль с могильных плит
Которых надпись говорит
о ~~[illegible]~~ славе прошлой — и о том
Как удручен своим венцом
Такой-то царь в такой-то год
Вручил России свой народ.

~~И божья благодать сошла~~
И божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов
За гранью дружеских штыков.

II.

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал
Ребенка пленного он вез

Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли.
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец;
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

3

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Всё лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Не много пользы вам узнать,
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,

Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

4

Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах —
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен,—
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,

И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5

Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил,— я также мог бы жить!

6

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их,

И жаждут встречи каждый миг.
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ,
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней...

7

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных... И как сон
Всё это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
А мой отец? Он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,

И гордый, непреклонный взор,
И молодых моих сестер...
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей...
В ущелье там бежал поток,
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они перед дождем
Волны касалися крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.

8

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил — и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

9

Бежал я долго — где, куда?
Не знаю! Ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;
Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча я лежал.
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней,
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.

10

Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов,
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот в туманной вышине
Запели птички и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,

И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою...
Я осмотрелся,— не таю,
Мне стало страшно: на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал,
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал,
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли.
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Всё, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа,—
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой

Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

12

Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз — за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг голос — легкий шум шагов...
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе всё звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13

Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек,
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон,— когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко,
И шла, хоть тише, но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь...
И затворилася опять!..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог — мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне...
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своей,
Объятья жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас,—
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне... но я туда
Взойти не смел. Я цель одну —
Пройти в родимую страну —
Имел в душе и превозмог
Страданье голода как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Всё лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз

Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста...
Моя кружилась голова,
Я стал влезать на дерева,
Но даже на краю небес
Всё тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал,
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой...
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал... Я был чужой
Для них навек, как зверь степной,
И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда,
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры... и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц,— и на нем
Шерсть отливалась серебром.

Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови... Да, рука судьбы
Меня вела иным путем...
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

17

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как стон,
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

18

Ко мне он кинулся на грудь,
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,

Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном,
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

19

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей —
Еще они не заросли
И не закрылись, но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной...
Но тщетно спорил я с судьбой —
Она смеялась надо мной!

20

Я вышел и́з лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал...

Я сел и вслушиваться стал,
Но смолк он вместе с ветерком
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком
И страшно было мне; понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей,
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И всё зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал — это страшный сон...
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине —
И тут всё ясно стало мне...
О, я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца — будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

21

Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой
Плохого сбросив седока,

На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь...
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила... Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых
И долго листьев молодых
Не распускал, всё ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печалью тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия...
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок...

22

И, как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет... Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,

Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах...

23

И было всё на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко...
До них мне было далеко!
Хотел я встать — передо мной
Всё закружилось с быстротой;
Хотел кричать — язык сухой
Беззвучен и недвижим был...
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред.
                                        Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь...
И я боялся лишь заснуть,—
Так было сладко, любо мне...
А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны...
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.

И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно-нежен и глубок...
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.
Он говорил:

«Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье,
И холод, и покой.

Я созову моих сестер:
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.

Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.

О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю, как вольную струю,
Люблю, как жизнь мою...»

И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил...

24

Так я найдён и поднят был...
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь — мне всё равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25

Прощай, отец... дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей,
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой...
Но что мне в том? — пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют...
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...

26

Когда я стану умирать —
И, верь, тебе не долго ждать,—
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,

И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком...
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну...
И с этой мыслью я засну
И никого не прокляну!..»

1838—1839

456. СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1

Умчался век эпических поэм,
И повести в стихах пришли в упадок;
Поэты в том виновны не совсем
(Хотя у многих стих не вовсе гладок),
И публика не права между тем;
Кто виноват, кто прав — уж я не знаю,
А сам стихов давно я не читаю —
Не потому чтоб не любил стихов,
А так: смешно ж терять для звучных строф
Златое время... В нашем веке зрелом,
Известно вам, все заняты мы делом.

2

Стихов я не читаю — но люблю
Марать шутя бумаги лист летучий;
Свой стих за хвост отважно я ловлю;

Я без ума от тройственных созвучий
И влажных рифм — как, например, на *ю*.
Вот почему пишу я эту сказку.
Ее волшебно темную завязку
Не стану я подробно объяснять,
Чтоб кой-каких допросов избежать;
Зато конец не будет без морали,
Чтобы ее хоть дети прочитали.

3

Герой известен, и не нов предмет,—
Тем лучше: устарело всё, что ново!
Кипя огнем и силой юных лет,
Я прежде пел про демона иного:
То был безумный, страстный, детский бред.
Бог знает где заветная тетрадка?
Касается ль душистая перчатка
Ее листов — и слышно: «c'est joli?..» [1]
Иль мышь над ней старается в пыли?..
Но этот черт совсем иного сорта —
Аристократ и не похож на черта.

4

Перенестись теперь прошу сейчас
За мною в спальню — розовые шторы
Опущены — с трудом лишь может глаз
Следить ковра восточные узоры.
Приятный трепет вдруг объемлет вас,
И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам пышет воздух сонный;
Вот ручка, вот плечо, и возле них
На кисее подушек кружевных
Рисуется младой, но строгий профиль...
И на него взирает Мефистофель.

---

[1] Это мило?.. (фр.) — *Ред.*

5

То был ли сам великий Сатана
Иль мелкий бес из самых нечиновных,
Которых дружба людям так нужна
Для тайных дел, семейных и любовных?
Не знаю. Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различить со знатью,
Но дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль — без тела — часто в видах разных
(Бесов вобще рисуют безобразных).

6

Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно сладкой красотою,
Что было страшно... и душа тоскою
Сжималася — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет...
Но я, расставшись с прочими мечтами,
И от него отделался — стихами.

7

Оружие отличное — врагам
Кидаете в лицо вы эпиграммой...
Вам насолить захочется ль друзьям?
Пустите в них поэмой или драмой!
Но полно, к делу. Я сказал уж вам,
Что в спальне той таился хитрый демон.
Невинным сном был тронут не совсем он.
Немудрено — кипела в нем не кровь,
И понимал иначе он любовь;
И речь его коварных искушений
Была полна — ведь он недаром гений.

8

«Не знаешь ты, кто я, но уж давно
Читаю я в душе твоей, незримо,
Неслышно; говорю с тобою — но
Слова мои как тень проходят мимо
Ребяческого сердца — и оно
Дивится им спокойно и в молчанье.
Пускай. Зачем тебе мое названье?
Ты с ужасом отвергнула б мою
Безумную любовь — но я люблю
По-своему... Терпеть и ждать могу я,
Не надо мне ни ласк, ни поцелуя.

9

Когда ты спишь, о ангел мой земной,
И шибко бьется девственною кровью
Младая грудь под грезою ночной,
Знай, это я, склонившись к изголовью,
Любуюся — и говорю с тобой.
И в тишине, наставник твой случайный,
Чудесные рассказываю тайны...
А много было взору моему
Доступно и понятно, потому
Что узами земными я не связан
И вечностью и знанием наказан...

10

Тому назад еще немного лет
Я пролетал над сонною столицей.
Кидала ночь свой странный полусвет,
Румяный запад с новою денницей
На севере сливались, как привет
Свидания с молением разлуки;
Над городом таинственные звуки,
Как грешных снов нескромные слова,
Неясно раздавались — и Нева,
Меж кораблей сверкая на просторе,
Журча, с волной их уносила в море.

11

Задумчиво столбы дворцов немых
По берегам теснилися как тени,
И в пене вод гранитных крылец их
Купалися широкие ступени,—
Минувших лет событий роковых
Волна следы смывала роковые,
И улыбались звезды голубые,
Глядя с высот на гордый прах земли,
Как будто мир достоин их любви,
Как будто им земля небес дороже...
И я тогда — я улыбнулся тоже.

12

И я кругом глубокий кинул взгляд
И увидал с невольною отрадой
Преступный сон под сению палат,
Корыстный труд пред тощею лампадой,
И страшных тайн везде печальный ряд;
Я стал ловить блуждающие звуки,
Веселый смех — и крик последней муки:
То ликовал иль мучился порок!
В молитвах я подслушивал упрек,
В бреду любви — бесстыдное желанье!
Везде обман, безумство иль страданье.

13

Но близ Невы один старинный дом
Казался полн священной тишиною;
Всё важностью наследственною в нем
И роскошью дышало вековою;
Украшен был он княжеским гербом,
Из мрамора волнистого колонны
Кругом теснились чинно, и балконы
Чугунные воздушною семьей
Меж них гордились дивною резьбой,
И окон ряд, всегда прозрачно-темных,
Манил, пугая, взор очей нескромных.

14

Пора была, боярская пора!
Теснилась знать в роскошные покои —
Былая знать минувшего двора,
Забытых дел померкшие герои!
Музыкой тут гремели вечера,
В Неве дробился блеск высоких окон;
Напудренный мелькал и вился локон,
И часто ножка с красным каблучком
Давала знак условный под столом;
И старики в звездах и бриллиантах
Судили резко о тогдашних франтах...

15

Тот век прошел, и люди те прошли,
Сменили их другие; род старинный
Перевелся. В готической пыли
Портреты гордых бар, краса гостиной,
Забытые, тускнели. Поросли
Дворы травой, и, блеск сменив бывалый,
Сырая мгла и сумрак длинной залой
Спокойно завладели... Тихий дом
Казался пуст, но жил хозяин в нем,
Старик худой и с виду величавый,
Озлобленный на новый век и нравы.

16

Он ростом был двеча́дцати вершков,
С домашними был строг неумолимо,
Всегда молчал; ходил до двух часов,
Обедал, спал... да иногда, томимый
Бессонницей, собранье острых слов
Перебирал или читал Вольтера;
Как быть? Сильна к преданьям в людях вера.
Имел он дочь четырнадцати лет,
Но с ней видался редко; за обед
Она являлась в фартучке, с мадамой,
Сидела чинно и держалась прямо.

17

Всегда одна, запугана отцом
И англичанки строгостью небрежной,
Она росла, как ландыш за стеклом
Или скорей как бледный цвет подснежный.
Она была стройна, но с каждым днем
С ее лица сбегали жизни краски,
Задумчивей большие стали глазки.
Покинув книжку скучную, она
Охотнее садилась у окна,
И вдалеке мечты ее блуждали,
Пока ее играть не посылали.

18

Тогда она сходила в длинный зал,
Но бегать в нем ей как-то страшно было,
И как-то странно детский шаг звучал
Между колонн. Разрытою могилой
Над юной жизнью воздух там дышал.
И в зеркалах являлися предметы
Длиннее и бесцветнее, одеты
Какой-то мертвой дымкою, и вдруг
Неясный шорох слышался вокруг:
То загремит, то снова тише, тише
(То были тени предков — или мыши).

19

И что ж? — она привыкла толковать
По-своему развалин говор странный,
И стала мысль горячая летать
Над бледною головкой и туманный,
Воздушный рой видений навевать.
Я с ней не разлучался. Детский лепет
Подслушивать, невинной груди трепет
Следить, ее дыханием с немой,
Мучительной и жадною тоской
Как жизнью упиваться... это было
Смешно! — но мне так ново и так мило!

20

Влюбился я. И точно хороша
Была не в шутку маленькая Нина.
Нет, никогда свинец карандаша
Рафа́эля иль кисти Перуджина
Не начертали, пламенем дыша,
Подобный профиль... Все ее движенья
Особого казались выраженья
Исполнены — но с самых детских дней
Ее глаза не изменяли ей,
Тая равно надежду, радость, горе,
И было темно в них, как в синем море.

21

Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано всё понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много — только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы — им в жизни нет уроков:
Их чувствам повторяться не дано...
Такие души я любил давно
Отыскивать по свету на свободе:
Я сам ведь был немножко в этом роде.

22

Ее смущали странные мечты:
Порой она среди пустого зала
Сиянье, роскошь, музыку, цветы,
Толпу гостей и шум воображала;
Кипела кровь от душной тесноты,
На платьице чудесные узоры
Виднелись ей — и вот гремели шпоры,
К ней кавалер незримый подходил
И в мнимый вальс с собою уносил.
И вот она кружилась в вихре бала
И, утомясь, на кресла упадала...

23

И тут она, склонив лукавый взор
И выставив едва приметно ножку,
Двусмысленный и темный разговор
С ним завести старалась понемножку.
Сначала был он весел и остёр,
А иногда и чересчур небрежен,
Но под конец зато как мил и нежен...
Что делать ей? — притворно строгий взгляд
Его как гром отталкивал назад...
А сердце билось в ней так шибко, шибко,
И по устам змеилася улыбка.

24

Пред зеркалом, бывало, целый час
То волосы пригладит, то красивый
Цветок пришпилит к ним; движенью глаз,
Головке наклоненной вид ленивый
Придав, стоит... и учится. Не раз
Хотелось мне совет ей дать лукавый,
Но ум ее, и сме́тливый и здравый,
Отгадывал всё мигом сам собой.
Так годы шли безмолвной чередой
И вот настал тот возраст, о котором
Так полны ваши книги всяким вздором.

25

То был великий день: семнадцать лет!
Всё, что досель таилось за решеткой,
Теперь надменно явится на свет!
Старик отец послал за старой теткой,
И съехались родные на совет —
Их затрудни́л удачный выбор бала:
Что, будет двор иль нет? Иных пугала
Застенчивость дикарки молодой,
Но очень тонко замечал другой,
Что это вид ей даст оригинальный;
Потом наряд осматривали бальный.

26

Но вот настал и вечер роковой.
Она с утра была как в лихорадке;
Поплакала немножко, золотой
Браслет сломала, в суетах перчатки
Разорвала... Со страхом и тоской
Она в карету села и дорогой
Была полна мучительной тревогой
И, выходя, споткнулась на крыльце...
И с бледностью печальной на лице
Вступила в залу... Странный шепот встретил
Ее явленье — свет ее заметил.

27

Кипел, сиял уж в полном блеске бал;
Тут было всё, что называют *светом*,—
Не я ему названье это дал;
Хоть смысл глубокий есть в названье этом
Моих друзей я тут бы не узнал;
Улыбки, лица лгали так искусно,
Что даже мне чуть-чуть не стало грустно.
Прислушаться хотел я — но едва
Ловил мой слух летучие слова,
Отрывки безыменных чувств и мнений —
Эпиграфы неведомых творений!..»
. . . .

1840

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПОЭМА

457. МОНГО

Садится солнце за горой,
Туман дымится над болотом,
И вот дорогой столбовой
Летят, склонившись над лукой,
Два всадника лихим наметом.
Один — высок и худощав,
Кобылу серую собрав,
То горячит нетерпеливо,
То сдержит вдруг одной рукой.
Мал и широк в плечах другой.
Храпя, мотает длинной гривой
Под ним саврасый скакунок,
Степей башкирских сын счастливый.
Устали всадники. До ног
От головы покрыты прахом.
Коней приезженных размахом
Они любуются порой
И речь ведут между собой.
«Монго, послушай — тут направо!
Осталось только три версты».
— «Постой! уж эти мне мосты!
Дрожат и смотрят так лукаво».
— «Вперед, Маёшка! только нас
Измучит это приключенье,
Ведь завтра в шесть часов ученье!»
— «Нет, в семь! я сам читал приказ!»

Но прежде нужно вам, читатель,
Героев показать портрет:

Монго — повеса и корнет,
Актрис коварных обожатель,
Был молод сердцем и душой,
Беспечно женским ласкам верил
И на аршин предлинный свой
Людскую честь и совесть мерил.
Породы а́нглийской он был —
Флегматик с бурыми усами,
Собак и портер он любил,
Не занимался он чинами,
Ходил немытый целый день,
Носил фуражку набекрень;
Имел он гадкую посадку:
Неловко гнулся наперед,
И не тянул ноги он в пятку,
Как должен каждый патриот.
Но если, милый, вы езжали
Смотреть российский наш балет,
То, верно, в креслах замечали
Его внимательный лорнет.
Одна из дев ему сначала
Дней девять сряду отвечала,
В десятый день он был забыт —
С толпою смешан волокит.
Все жесты, вздохи, объясненья
Не помогали ничего...
И зародился пламень мщенья
В душе озлобленной его.

Маёшка был таких же правил:
Он лень в закон себе поставил,
Домой с дежурства уезжал,
Хотя и дома был без дела,
Порою рассуждал он смело,
Но чаще он не рассуждал.
Разгульной жизни отпечаток
Иные замечали в нем;
Печалей будущих задаток
Хранил он в сердце молодом;
Его покоя не смущало,
Что не касалось до него;

Насмешек гибельное жало
Броню железную встречало
Над самолюбием его.
Слова он весил осторожно
И опрометчив был в делах.
Порою: трезвый — врал безбожно,
И молчалив был — на пирах.
Характер вовсе бесполезный
И для друзей и для врагов...
Увы! читатель мой любезный,
Что делать мне — он был таков!

Теперь он следует за другом
На подвиг славный, роковой,
Терзаем пьяницы недугом —
Изгагой мучим огневой.
Приюты неги и прохлады —
Вдоль по дороге в Петергоф,
Мелькают в ряд из-за ограды
Разнообразные фасады
И кровли мирные домов,
В тени таинственных садов.
Там есть трактир... и он от века
Зовется «Красным кабачком»,
И там — для блага человека —
Построен сумасшедших дом,
И там приют себе смиренный
Танцорка юная нашла.
Краса и честь балетной сцены,
На содержании была:
N. N., помещик из Казани,
Богатый волжский старожил,
Без волокитства, без признаний
Ее невинности лишил.
«Мой друг! — ему я говорил.—
Ты не в свои садишься сани,
Танцоркой вздумал управлять!
Ну где тебе ее .....».

Но обратимся поскорее
Мы к нашим буйным молодцам.
Они стоят в пустой аллее,
Коней привязывают там,
И вот тропинкой потаенной

Они к калитке отдаленной
Спешат, подобно двум ворам.
На землю сумрак ниспадает,
Сквозь ветви брезжит лунный свет
И переливами играет
На гладкой меди эполет.
Вперед отправился Маёшка;
В кустах прополз он, как черкес,
И осторожно, точно кошка,
Через забор он перелез.
За ним Монго наш долговязый,
Довольный этою проказой,
Перевалился кое-как.
Ну, лихо! сделан первый шаг!
Теперь душа моя в покое —
Судьба окончит остальное!

Облокотившись у окна,
Меж тем танцорка молодая
Сидела дома и одна.
Ей было скучно, и, зевая,
Так тихо думала она:
«Чудна судьба! о том ни слова —
На матушке моей чепец
Фасона самого дурного,
И мой отец — простой кузнец!..
А я — на шелковом диване
Ем мармелад, пью шоколад;
На сцене — знаю уж заране —
Мне будет хлопать третий ряд.
Теперь со мной плохие шутки:
Меня сударыней зовут,
И за меня три раза в сутки
Каналью повара дерут,
Мой Pierre не слишком интересен,
Ревнив, упрям, что ни толкуй,
Не любит смеху он, ни песен,
Зато богат и глуп, как ...
Теперь не то, что было в школе:
Ем за троих, порой и боле,
И за обедом пью люнель.
А в школе... Боже! вот мученье!
Днем — танцы, выправка, ученье,
А ночью — жесткая постель.

Встаешь, бывало, утром рано,
Бренчит уж в зале фортепьяно,
Поют все врозь, трещит в ушах;
А тут сама, поднявши ногу,
Стоишь как аист на часах.
Флёри хлопочет, бьет тревогу...
Но вот одиннадцатый час,
В кареты всех сажают нас.
Тут у подъезда офицеры,
Стоят все в ряд, порою в два...
Какие милые манеры
И всё отборные слова!
Иных улыбкой ободряешь,
Других бранишь и отгоняешь,
Зато — вернулись лишь домой —
Директор порет на убой:
Ни взгляд не думай кинуть лишний,
Ни слова ты сказать не смей...
А сам, прости ему всевышний,
Ведь уж какой прелюбодей!..»

Но тут в окно она взглянýла
И чуть не брякнулась со стула:
Пред ней, как призрак роковой,
С нагайкой, освещен луной,
Готовый влезть почти в окошко
Стоит Монго, за ним Маёшка.
«Что это значит, господа?
И кто вас звал прийти сюда?
Ворваться к девушке — бесчестно!..»
— «Нам, право, это очень лестно!»
— «Я вас прошу: подите прочь!»
— «Но где же проведем мы ночь?
Мы мчались, выбились из силы...»
— «Вы неучи!» — «Вы очень милы!..»
— «Чего хотите вы теперь?
Ей-богу, я не понимаю!»
— «Мы просим только чашку чаю!»
— «Панфишка! отвори им дверь!»
Поклон отвесивши пренизко,
Монго ей бросил нежный взор,
Потом садится очень близко
И продолжает разговор.
Сначала колкие намеки,

Воспоминания, упреки —
Ну, словом, весь любовный вздор...
И нежный вздох, прилично томный,
Порхнул из груди молодой...
Вот ножку нежную порой
Он жмет коленкою нескромной
И, говоря о том о сем,
Копаясь, будто бы случайно
Под юбку лезет, жмет корсет,
И ловит то, что было тайной,
Увы, для нас в шестнадцать лет!
. . . .

Маёшка, друг великодушный,
Засел поодаль на диван,
Угрюм, безмолвен, как султан.
Чужое счастие нам скучно,
Как добродетельный роман.
Друзья! ужасное мученье
Быть на пиру . . . . . .
Иль адъютантом на сраженье
При генералишке пустом;
Быть на параде жалонёром
Или на бале быть танцором,
Но хуже, хуже во сто раз
Встречать огонь прелестных глаз
И думать: это не для нас!

Меж тем Монго горит и тает...
Вдруг самый пламенный пассаж
Зловещим стуком прерывает
На двор влетевший экипаж:
Девятиместная коляска
И в ней пятнадцать седоков...
Увы! печальная развязка,
Неотразимый гнев богов!..
То был N. N. с своею свитой:
Степаном, Федором, Никитой,
Тарасом, Сидором, Петром,—
Идут, гремят, орут, содом!
Все пьяны... прямо из трактира,
И на устах — ....
Но нет, постой! умолкни, лира!
Тебе ль, поклоннице мундира,

Поганых фрачных воспевать?..
В истерике младая дева...
Как защититься ей от гнева,
Куда гостей своих девать?..
Под стол, в комод иль под кровать?
В комоде места нет и платью,
Урыльник полон под кроватью...
Им остается лишь одно:
Перекрестясь, прыгну́ть в окно...
Опасен подвиг дерзновенный,
И не сносить им головы!
Но вмиг проснулся дух военный —
Прыг, прыг!.. и были таковы...
. . . .
. . . .

Уж ночь была, ни зги не видно,
Когда, свершив побег обидный
Для самолюбья и любви,
Повесы на коней вскочили
И думы мрачные свои
Друг другу вздохом сообщили.
Деля печаль своих господ,
Их кони с рыси не сбивались,
Упрямо убавляя ход,
Они, ..., спотыкались,
И леность их преодолеть
Ни шпоры не могли, ни плеть.

Когда же в комнате дежурной
Они сошлися поутру,
Воспоминанья ночи бурной
Прогнали краткую хандру.
Тут было шуток, смеху было!
И, право, Пушкин наш не врет,
Сказав, что день беды пройдет,
А что пройдет, то будет мило...

Так повесть кончена моя,
И я прощаюсь со стихами,
А вы не можете ль, друзья,
Нравоученье сделать сами?..

1836

II. СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

458

Non, si j'en crois mon espérance,
J'attends un meilleur avenir.
Je serai malgré la distance
Près de vous par le souvenir.
Errant sur un autre rivage,
De loin je vous suivrai,
Et sur vous si grondait l'orage,
Rappelez-moi, je reviendrai. [1]

1832 ?

459. ⟨А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ⟩

Ma cousine
je m'incline
à genoux
à cette place!
Qu'il est doux
de faire grâce!

Pardonnez
ma paresse, etc., etc. [2]

1838

[1] Нет, если бы я верил моей надежде, я ждал бы лучшего будущего. Несмотря на расстояние, я буду с вами воспоминанием. Блуждая на другом берегу, я издали буду следить за вами; и если над вами разразится гроза, позовите меня — и я приду.

[2] Дорогая кузина, склоняюсь на колени на этом месте! Как сладостно быть милостивым! Простите мою лень и т. д. и т. д.

460. L'ATTENTE

Je l'attends dans la plaine sombre;
Au loin je vois blanchir une ombre,
Une ombre qui vient doucement...
Eh non! — trompeuse espérance —
C'est un vieux saule qui balance
Son tronc desséché et luisant.

Je me penche et longtemps j'écoute:
Je crois entendre sur la route
Le son qu'un pas léger produit...
Non, ce n'est rien! C'est dans la mousse
Le bruit d'une feuille que pousse
Le vent parfumé de la nuit.

Rempli d'une amère tristesse,
Je me couche dans l'herbe épaisse
Et m'endors d'un sommeil profond...
Tout-á-coup, tremblant, je m'éveille:
Sa voix me parlait à l'oreille,
Sa bouche me baisait au front. [1]

1841

461

Quand je te vois sourire,
Mon cœur s'épanouit,
Et je voudrais te dire,
Ce que mon cœur me dit!

ОЖИДАНИЕ

[1] Я жду ее в угрюмой долине. Вдали, вижу, белеет призрак, который тихо приближается. Но нет! обманчива надежда! То старая ива колеблет свой сухой и блестящий ствол.

Я наклоняюсь и долго прислушиваюсь: мне кажется, что я слышу звук легких шагов по дороге. Нет, не то! Это лист шумит по мху, поднимаемый ароматным ветром ночи.

Полный горькой тоски, я ложусь в густую траву и засыпаю глубоким сном. Вдруг, вздрагивая, я просыпаюсь: ее голос шептал мне на ухо, ее уста целовали мой лоб.

Alors toute ma vie
Á mes yeux apparaît;
Je maudis, et je prie,
Et je pleure en secret.

Car sans toi, mon seul guide,
Sans ton regard de feu
Mon passé paraît vide,
Comme le ciel sans Dieu.

Et puis, caprice étrange,
Je me surprends bénir
Le beau jour, oh mon ange,
Où tu m'as fait souffrir!.. [1]

---

[1] Когда я вижу тебя улыбающейся, мое сердце расцветает и я хотел бы высказать тебе, что говорит мне мое сердце.

Тогда вся жизнь моя встает перед моими глазами; я проклинаю, и молюсь, и плачу тайно.

Потому что без тебя, моего единственного путеводителя, без твоего огненного взгляда, мое прошедшее кажется пусто, как небо без бога.

И потом — странная причуда! — я ловлю себя на том, что благословляю прекрасный день,— о ангел мой! — когда ты заставила меня страдать.

III. КОЛЛЕКТИВНОЕ

462. БАЛЛАДА

Ал. М. В—ой

До рассвета поднявшись, перо очинил
  Знаменитый Югельский барон.
И кусал он, и рвал, и писал, и строчил
  Письмецо к своей Сашеньке он.
И он крикнул: «Мой паж!.. мой малютка!.. скорей!..

  Подойди!.. что робеешь ты так!»
И к нему подошел долговязый лакей,
  Тридцатипятилетний дурак.
«Вот!.. возьми письмецо ты к невесте моей
  И на почту его отнеси!
И потом пирогов, сухарей, кренделей —
  Чего хочешь, в награду проси!»
— «Сухарей не хочу и письма не возьму,
  Хоть расплачься, высокий барон,
А захочешь узнать, я скажу почему,
  Нет!.. уж лучше смолчать»,— и поклон.
«Паж!.. хочу я узнать!..» — «Нет!.. позволь мне смолчать!..»
  — «Говори!» — «За невестой твоей
Обожателей рать кто бы мог сосчитать?
  И в разлуке ты вверился ей!
Не девица ль она?.. и одна ли верна?
  Нам ли думать: на Севере, там,
Всё вздыхает она, одинока, бледна;
  Нам ли веровать женским словам?
Иль один обольщен, изумлен, увлечен
  Ты невестою милой своей?

Нет! высокий барон, ты порой мне смешон,
    И письма не отправлю я к ней!»
Рассмеялся барон — так уверен был он.
    «Ты малютка, мой паж молодой!
Знай!.. ты сам ослеплен! Знай! у северных жен
    Не в размолвке обеты с душой!
Там девица верна, постоянна жена.
    Север силой ли только велик?
Жизнь там веры полна, счастья там сторона,
    И послушен там сердцу язык!
Мелких птиц, как везде, нет в орлином гнезде,
    Там я выбрал невесту себе,
Не изменит нигде; ей, как вечной звезде,
    Ей вверяюсь, как самой судьбе!
Так!.. снегов в стороне будет верною мне!»
    Паж невольно барону внимал,
И без слов, в тишине, он сознался в вине
    И на почту с письмом побежал!

1837

463

О, как прохладно и весело нам
Вечером плыть по заснувшим волнам.
Солнце погасло в туманной дали,
Звезды лампады ночные зажгли.
Резво играя в вершинах холмов,
Ветер приносит дыханье цветов.
О, как чудно, прохладно с песнями плыть
И влажные кудри над морем сушить.

Остался ли кто в морской глубине?
Луна, улыбаясь, глядится в волне.
И звезды, украсив чертог голубой,
Сверкают и гаснут одна за другой.
Радостно, весело поплывем по волне,
Видишь в водах, как дрожат и как гаснут оне.

1839

IV. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ЛЕРМОНТОВУ

464

Любить вас долго было б скучно,
Любить до гроба — право, смех,
Пройти ж вас мимо равнодушно —
Перед собою тяжкий грех.

465

Хвала тебе, приют лентяев,
Хвала, ученья дивный храм,
Где цвел наш бурный Полежаев
Назло завистливым властям.
Хвала и вам, студенты-братья...

466

О, как мила твоя богиня!
За ней волочится француз;
У нее лицо, как дыня,
Зато .... как арбуз.

467

И на театре, как на сцене света,
Мы не выходим из балета:
Захочется ль кому
К честям и званиям пробить себе дорогу,
Работы нет его уму —
Умей он поднимать лишь ногу.

468

Когда легковерен и молод я был,
Браниться и драться я страстно любил.
Обедать однажды сосед меня звал;
Со мною заспорил один генерал.
Я света невзвидел... Стакан зазвенел
И в рожу злодея стрелой полетел.
. . . .
Мой раб, вечерком, как свершился удар,
Ко мне, на гауптвахту, принес самовар.

469—484. ⟨*ЭКСПРОМТЫ 1841 ГОДА*⟩

1

Очарователен кавказский наш Монако!
Танцоров, игроков, бретеров в нем толпы;
В нем лихорадят нас вино, игра и драка,
И жгут днем женщины, а по ночам — клопы.

2

В игре, как лев, силен
Наш Пушкин Лев,
Бьет короля бубен,
Бьет даму треф.
Но пусть всех королей
И дам он бьет:
«Ва-банк!», и туз червей
Мой — банк сорвет!

3

Милый Глебов,
Сродник Фебов,
Улыбнись,
Но на Наде,
Христа ради,
Не женись!

4

Скинь бешмет свой, друг Мартыш,
Распояшься, сбрось кинжалы,
Вздень броню, возьми бердыш
И блюди нас, как хожалый!

5

Смело в пире жизни надо
Пить фиал свой до конца.
Но лишь в битве смерть — награда,
Не под стулом, для бойца.

6

Велик князь Ксандр, и тонок, гибок он,
Как колос молодой,
Луной сребристой ярко освещен,
Но без зерна — пустой.

7

Наш князь Василь-
Чиков — по батюшке,
Шеф простофиль,
Глупцов — по дядюшке,
Идя в кадриль
Шутов — по зятюшке,
В речь вводит стиль
Донцов — по матушке.

8

Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон,
Но Соломонов сын;
Не мудр, как царь Шалима, но умен,
Умней, чем жидовин.
Тот храм воздвиг — и стал известен всем
Гаремом и судом,
А этот — храм, и суд, и свой гарем
Несет в себе самом.

9

С лишком месяц у Мерлини
Разговор велся один:
Что творится у княгини,
Здрав ли верный паладин.

Но с неделю у Мерлини
Перемена — речь не та,
И вкруг имени княгини
Обвилася клевета.

Пьер обедал у Мерлини
Ездил с ней в Шотландку раз,
Не понравилось княгине,
Вышла ссора за Каррас.

Пьер отрекся... и Мерлини,
Как тигрица, взбешена,
В замке храброй героини,
Как пред штурмом, тишина.

10

Он метил в умники, попался в дураки,
Ну стоило ли ехать для того с Оки!

11

Зачем, о счастии мечтая,
Ее зовем мы: гурия?
Она как дева — дева рая,
Как женщина же — фурия.

12

Мои друзья вчерашние — враги,
Враги — мои друзья,
Но, да простит мне грех господь благий,
Их презираю я...

Вы также знаете вражду друзей
И дружество врага,
Но чем ползущих давите червей?..
Подошвой сапога.

13

Им жизнь нужна моя — ну что же, пусть возьмут,
Не мне жалеть о ней!
В наследие они одно приобретут —
Клуб ядовитых змей.

14

Ну вот, теперь у вас для разговоров будет
Дня на три тема,
И, верно, в вас к себе участие возбудит
Не Миллер — Эмма.

15

Куда, седой прелюбодей,
Стремишь своей ты мысли беги?
Кругом с арбузами телеги
И нет порядочных людей!

16

За девицей Emilie [1]
Молодежь как кобели.
У девицы же Nadine [2]
Был их тоже не один;
А у Груши в целый век
Был лишь Дикий человек.

485

Надежда Петровна,
Отчего так неровно
Разобран ваш ряд,
И локон небрежный
Над шейкою нежной...
На поясе нож.
C'est un vers qui cloche. [3]

486. LE BLESSÉ

Voyez-vous ce blessé qui se tord sur la terre?
Il va mourir ici, pres du bois solitaire,
Sans que de sa souffrance un seul cœur ait pitié;
Mais ce qui doublement fait saigner sa blessure,
Ce qui lui fait au cœur la plus âpre morsure,
C'est qu'en se souvenant, il se sent oublié. [4]

---

[1] Эмили́ (фр.).— *Ред.*
[2] Нади́н (фр.).—*Ред.*
[3] Вот стих, который хромает (фр.).— *Ред.*

РАНЕНЫЙ

[4] Видите ли вы этого раненого, который в судорогах лежит на земле? Он умрет здесь, у пустынного леса, и никто не облегчит его страданий; но кровь из его раны сочится с удвоенной силой и боль сердца особенно жестока потому, что, погружаясь в воспоминания, он знает, что забыт.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

339

после 33 черн. автограф ЦГАЛИ

[Его душа в заботах света
Ни разу не была согрета
Восторгом русского поэта,
Глубоким пламенным стихом.
Но час настал — и нет певца Кавказа!]

367

1—8 автограф

В серебряных ножнах блистает мой кинжал,
Геурга старого изделье,
Булат его хранит таинственный закал,—
Давно утраченное зелье!..
Наезднику в горах служил он много лет
Орудьем гибельного мщенья,
И слушал он один его полночный бред
И сердца гордого биенье.

загл. черн. автограф

КИНЖАЛ

5—8

а) [Лилейная рука тебя мне поднесла,
И очи черные, твоей подобны стали,
В тот миг тускнели и сверкали,
И надпись мне твою красавица прочла.]

б) [Тебя мне поднесла лилейная рука
В знак памяти на вечную разлуку;
Как жмет теперь тебя моя рука,
Так я пожал ту молодую руку.]

377

после 22 автограф

[И не был он ни злом ожесточен,
Ни избалован нежностью излишней]

после 55

[Ничем не очернит наследник благодарный]

384

первая ред. автограф из альбома Бартеневой

Есть речи — значенье
Порою ничтожно! —
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Тоскою желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья...

Надежды в них дышат.
И жизнь в них играет
Их многие слышат,
Один понимает.

Лишь сердца родного
Коснутся в день муки
Волшебного слова
Целебные звуки:

Душа их с моленьем
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

другая ред. ВиС

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
Тоскою желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья...

Их кратким приветом,
Едва он домчится,
Как божиим светом,
Душа озарится.

Средь шума мирского
И где я ни буду,
Я сердцем то слово
Узнаю повсюду;

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу,

Надежды в них дышат,
И жизнь в них играет,—
Их многие слышат,
Один понимает.

Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки,

Душа их с моленьем
Как ангела встретит,
И долгим биеньем
Им сердце ответит.

385

156—158 копия Соллогуба

Чтоб яд пылающей страницы
Нарушил сон отроковицы
И сердце юноши увлек.

387

21—22 автограф

Я своей не позволил бы дочке
У окна так садиться в сорочке.

строфа 8

У отца ты украдь мне ключи,
Часовых разойтись подучи,
А для тех, что у двери стоят,
Я сберег наточенный булат.

394

между 4 и 5 автограф из альбома Полуденского

Стесняем радостию детской,
Нет, не впишу я ничего
В альбоме жизни вашей светской —
Ни даже имя своего.

5—6

Мое вранье так неискусно,
Что им тревожить вас грешно...

вм. 126—161
автограф

[Чечня восстала вся кругом;
У нас двух тысяч под ружьем
Не набралось бы. Слава богу
Выходит из кустов обоз,
В цепи стрельба; но началось
И в арьергарде понемногу;
Вот жарче, жарче... Крик! Глядим,
Уж тащут одного,— за ним
Других... и много... ружья носят!
И кличут громко лекарей!
Уж им невмочь — подмоги просят;
«Сюда орудие — скорей
Картечи...» Тихо развернулся
Меж тем в поляне весь отряд,
Кругом зелёный лес замкнулся,
Дымится весь. Свистят, жужжат
Над нами пули.— Перед нами
Овраг, река — по берегам
Валежник, бревна здесь и там,
Но ни души — кусты ветвями
Сплелись, мы ближе подошли,
Орудий восемь навели
На дерева, в овраг без цели
Гранаты глухо загудели
И лопнули... Ответа нет.
Мы ближе... Что за притча, право!
Вот от ружья как будто свет,
Вот кто-то выбежал направо...
Мелькнул и скрылся враг лукавый.
Мы снова тронулись вперед,
Послали выстрел им прощальный,
И ружей вдруг из семисот
Осыпал нас огонь батальный,
И затрещало... По бокам,
И впереди, и здесь, и там
Валятся целыми рядами...
Как птиц нас бьют со всех сторон...
Второй и третий батальон
В штыки, дружнее, молодцами;]

вм. 176—201

а) [Тогда на самом месте сечи
У батареи я прилег
Без сил и чувств; я изнемог,
Но слышал, как просил картечи
Артиллерист. Он приберег
Один заряд на всякий случай.
Уж раза три чеченцы тучей
Кидали шашки наголо;
Прикрытье всё почти легло.
Я слушал очень равнодушно;
Хотелось спать и было душно]

б) [Тогда довольно равнодушно
На батарее я прилег:
Признаться вам, я изнемог,
Хотелось спать и было душно.]

221—224

Как зверь он жаден, дик и злобен,
К любви и счастью неспособен;
Пускай же гибнет поделом.
И стало мне смешно. Потом

после 240

[Но я наскучил вам. Довольно,
Спокойна совесть у меня;]

403

4
копия ПД

И ты, послушный им народ.

5—6

Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих царей,

407

другая ред.
автограф

На хладной и голой вершине
Стоит одиноко сосна
И дремлет... под снегом сыпучим,
Качаяся, дремлет она.

Ей снится прекрасная пальма
В далекой восточной земле,
Растущая тихо и грустно
На жаркой песчаной скале.

417

первая ред.
автограф

Они любили друг друга так нежно,
С такой глубокой и страстной тоскою,
Но как враги друг друга боялись,
И были речи их пусты и хладны.

Они расстались и только порою
Во сне друг друга видали,— но скоро
Им смерть настала — и встретились в небе,
И что ж? Друг друга они не узнали.

вторая ред.
автограф

Они любили друг друга так нежно,
С тоскою глубокой и страстью мятежной!
Но как враги опасалися встречи,
И были пусты и хладны их речи.

Они расстались в безмолвном страданье
И милый образ во сне лишь видали.
Но смерть пришла, им настало свиданье...
И что ж? Друг друга они не узнали.

423

1
черн. автограф

С тех пор как высший судия

строфа 5
автограф

Когда же через шумный град
Я пробираюсь потаенно,
То, слышу, детям говорят
Отцы с улыбкою надменной:

ПОЭМЫ

439

94—105
копия
Висковатова

Но не стряхнувши грезы ночи,
Мгновенно вновь сомкнулись очи...
Увы! ни радость, ни любовь
И грусть их не откроют вновь!
Аджи глядит. И в думах тонет
Его душа. Урочный час!
Раздался стон. Кто так простонет,
Тот простонал в последний раз.
Кому ж пришлось такие звуки
Услышать, их не позабыть
И никогда не заглушить
Воспоминанья тяжкой муки.

114—121

Окаймлена волос волнами
Лезгинки юной голова.
Свершилось. «Вот тебе, мулла,
Подарок. Как верны удары
Мои,— Аджи ему сказал.—
Ну что ж! узнал, узнал ли, старый?»
И взмах руки, и уж торчал
В груди дымящийся кинжал.

вм. 141—152

И след Аджи простыл. Катился
За годом год, и вот в горах
Абрек чужой всем появился.
Вселяя суеверный страх,
Как зверь, он от толпы таился,
Встречаться с женщиной не мог!
Быть может, совести упрек
В ее чертах найти страшился...
Следы страданья и тревог
Не укрывались от вниманья;
Под башлыком упорный взор
Внушал лишь страх... Ни состраданья,
Ни сожаленья — лишь укор

Судьбы читался в нем... Никто
Не признавал в Абреке друга.
Он поражал как бич недуга...
Встречал ли ночью он кого,
Встречал ли днем — всегда его
Все сторонились, избегали,
Как дней проклятья иль печали.
Ему открыт был всюду путь;
Хранил он вечное молчанье,
Но не затем, чтоб подстрекнуть
Толпы болтливое вниманье;
Но знал один он, почему
Каллы́ ужасное прозванье
В горах осталося ему.

441

после 99
черн. автограф

Его пронзительные взоры
Из-за бровей, как из-за туч,
Свинцовый изливали луч,
Когда нечаянно встречали
Глаза беспечной красоты —
Глаза, где весело пылали
Надежды, чувства и мечты!
И часто, часто над несчастным
Он с сожаленьем ненапрасным,
Кляня судьбину, слезы лил
В те дни... когда ребенком был.
Одно сокровище, святыню
Теперь имел под небом он;
С ним раем почитал пустыню

после 205

Но как помочь?.. душа ее,
Приняв иное бытие,
Теперь вольна, как мысль, как пери,—
Пред ней отверзты рая двери,
Блистая чудной красотой;
И как ей можно возвратиться,
Чтоб в этом теле поселиться?
И кто оставит край святой,
Где не живет никто тоскуя,
Для гордых ласк — и поцелуя
Обманчивой любви земной?

вм. 395—402

Давно уж кончилась борьба
Между отважными войсками,
Давно решилась их судьба...
Одними мертвыми телами
Долина смерти устлана...
Их смерть ужасна быть должна:
Им нет последнего лобзанья...
Нет... ангел смерти молодой

Сам мучим страстию земной,
Он не услышит их призванья...

вм. 488—500

И отвечал изгнанник страстно
Как только мог, в последний раз
Тревожим ласкою напрасной
Любви молящих томных глаз
И ласке нежной, но напрасной;
Вдруг на светило он взглянул

после 515

Всё ту же власть имеет он,
Какой был прежде одарен.
И так же может в бесконечность
Полет отважный устремить
И взором как поток следить
Непроницаемую вечность,
Но к людям чувствовать любовь
Не может гордый ангел вновь,
К слезам и просьбам стал он камень,
И если б ненависти пламень
Знаком был ангелам святым,
Он ненависть питал бы к ним

444

после 12
черн. автограф

И ты, звезда любви моей,
Товарищ бурь моих суровых,
Послушай песни прежних дней...
Давно уж нет у сердца новых,
Ни мрачных дум, ни дум святых
Не изменила власть разлуки —
Тобою полны *счастья* звуки,
Меня узнаешь ты в *других!*

после строфы 25
1-й части
копия Хохрякова

[Я сам знавал когда-то в старину
Подобную волшебницу одну.
И от нее оторван был я роком,
И за нее творца благословил;
В объятиях, напитанных пороком,
Я б ангела, быть может, осквернил!
Но в час ночной, когда воспоминанье
Приводит к нам минувшего скелет,
И оживляет прежние страданья,
И топит в них всё счастье прежних лет,—
Тогда, тогда порою нахожу я
В душе, как бога в храмине пустой,
Тот милый взор с улыбкою святой:
И мнится, я храним ее рукой,
И жду, безумец! ласки, поцелуя...
Бледнеют грезы мрачные мои,
Всё исчезает, кроме дум любви;

Но с ней, хоть образ узнаю прекрасный,
Сравнить мечту стараюсь я напрасно;
Заснул? — передо мной во время сна
Опять, опять она — и всё она!]

448

после 236 автограф

Свечи дрожащий красный луч,
Как будто молния из туч,
Прервав любви последний пыл,
Все чувства их оледенил.
Они при нем, без дум, без сил,
Едва успели отомкнуть
Уста от уст, от груди грудь.

после 247

Небрежной сброшенный рукой,
Произведя удар глухой,

вм. 628—631

Как мертвый образ божества
Внимает кликам торжества!
В толпе шумящей тих, один
Он всё — и раб, и властелин,
Без чувства сам, предмет страстей,—
И выше всех — и всех слабей!

после 631

И, жертва ненасытных вод,
Он разрушается, гниет

после 667

Досада, любопытство, страх
Виднелись в постных их чертах;
Прошла обедня в суетах; —

после 695

Когда ж боярин всё узнал,
Он побледнел, затрепетал,
Глаза его покрылись мглой,
Не зря, смотрел он пред собой;
Рука на небо поднялась...
От синих губ оторвалась
Не речь — но звук — ужасный звук,
Отзыв еще сильнейших мук,
Невнятный, как далекий гром...
Три дня, три ночи целый дом
Дрожал, встречая мрачный взор,—
Они прошли — но с этих пор,
Как будто от рожденья нем,
Он слова не сказал ни с кем!..

после 1008

Исчезнуть рад бы он с земли,
Но муки жизнь его спасли!..

Одежды длинный лоскуток,
Который сгнил, увял, поблек,

после 1037

Жить и страдать теперь начто?
Она ничто — и все ничто!..

вм. 1038—1041

«Перед людьми преступник я:
Меня казнит судьба моя,
Но о спасенье не молюсь,
Небес и ада не боюсь!
Пусть вечно мучусь: не беда
Ведь с ней не встречусь никогда!

вм. 805—807
(набросок 3-й гл.)
черн. автограф

Напрасно он взывал к своим,
Его всё войско было с ним.
Здесь, сквозь толпу, издалека
Я видел кудри старика,
Я видел, как его рука
С мечом три раза поднялась.

вм. 816—819

Так точно! перед ним лежит
Меж трупами полузарыт
В снегу, с изрубленным челом,
С руками, сжатыми крестом,
Боярин Орша... Кровь ручьем
Бежала по его лицу...
Он, приближаяся к концу,
Читал молитву про себя,
Устами тихо шевеля.
И взор пронзительный тогда,
Глубокий взор, где месть, вражда,
И всё, чем ядовит упрек,
Всё то, что в людях проклял бог,
Сливалось хладною струей
В какой-то луч полуземной,
Взор, не встречающий преград,
Для жизни гибельный, как яд,
Безвестный всадник устремил
На жертву тленья и могил!..

И этот взор в него проник.
Очнулся, вздрогнувши, старик,
Главу с усильем приподнял
И слабым голосом сказал:
«Да, я узнал тебя, узнал...»
. . . .

449

1

начало БЗ

Свои записки ныне пишут все,
И тот, кто славно жил и умер славно,
И тот, кто кончил жизнь на колесе;
И каждый лжет, хоть часто слишком явно,
Чтоб выставить себя во всей красе.
Увы! — Дела их, чувства, мненья
Погибнут без следа в волнах забвенья.
Ни модный слог, ни модный фронтиспис,
Их не спасет от плесени и крыс;
Но хоть пути предшественников склизки,
И я хочу издать мои записки!

2

Наш век ужасно странен! Всё пиши
Ему про добровольные изгнанья,
Про темные волнения души,
И только слышно — муки да страданья.
Такие вещи хороши
Тому, кто мало спит, кто думать любит,
Кто жизнь свою в воспоминаньях губит.
Впадал я прежде в эту слабость сам,
Но, видя от нее лишь вред глазам,
Минувшее свое, без дальней справки,
Я схоронить решился в модной лавке.

3

Печальных много будет тут вещей,
И вас они заставят рассмеяться.
Когда, устав от дел, от ласк друзей,
От ласк жены, случится вам остаться
Одним, то книжкою моей
Займитесь чинно. Кликните Петрушку;
Он даст вам трубку; мягкую подушку
Вам за спину положит; — и потом,
Раскрыв на середине первый том,
Любезный мой, вы можете свободно
Уснуть или читать, как вам угодно.

4

Виденья сна заменят мой рассказ,
Запутанный и, как они, неясный.
И, если б мог я спать, то в этот час,
С пером в руках, я б наяву напрасно
Не бредил... Правда, мне не в первый раз
Просиживать в мечтах о том, что было,

Мучительные ночи... Тайной силой
Я был лишен от первых детских лет
Забвенья жизни и забвенья бед...
. . . .
И даже сны упорно повторяли
Моей души протекшие печали.
Сон — благо, дар небес, когда он тих
Безропотно, как смерть, как отдых рая,—
Но, признаюсь я, часто для иных
Карикатура жизни — жизнь вторая,
Не лучше первой, полная немых
И беспокойных образов другого
Таинственного мира, не земного;
Смущенная душа разделена
Между .... и призраками сна.

18—20
ПСС-1

Он прострелил мне руку на дуэли
И ровно месяц от моей постели
Не отходил

строфы 62—63
черн. автограф
ГПБ

Какая сладость в мысли: я отец!
Так говорят (иль думают) иные,
Когда с невестой идут под венец,
Когда на ложе с трепетом впервые
Они кладут невинности конец!
Но горе им! в любви беда излишек;
Толпа слюнявых, скверных ребятишек
Их окружит, как шумных пчел семья,
И свяжет их — не женимтесь, друзья;
Но без женитьбы как людское семя
Нам продолжать — о том в другое время.

Таинственная цель есть у людей.
Различными, неверными путями
К ней идут все под ношею страстей,
К ней идут все со смехом и слезами,
Но отстают отцы от сыновей;
Любовь отца не встретит той же в сыне,
Живые мысли юноши в чужбине,
На поле битвы или под окном,
Где видел он головку вечерком,
И шаль, и локоть ручки белоснежной,
На край окна склонившейся небрежно.

после 874

И что ж? трехцветные знамена величаво
Из стана в стан неслись на пир кровавый,
Но по конец, Вандея, ты одна
Изгнанникам осталася верна.
Твой первый крик с твоим последним стоном
Всегда был: верность и любовь к Бурбонам!

вм. 646—649

Натянутый. Сырою мглой объят,
Виднелся дальний берег, и белели
Вкруг острова края песчаной мели.

669
копия Буковского

Вне брака прижитых, злодей,

454

ДЕМОН

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ

⟨1829 год⟩

⟨1⟩ ПОСВЯЩЕНИЕ

автограф

Я буду петь, пока поется,
Пока волненья позабыл,
Пока высоким сердце бьется,
Пока я жизнь не пережил,
В душе горят, хотя безвестней,
Лучи небесного огня,
Но нежных и веселых песней,
Мой друг, не требуй от меня...
Я умер. Светлых вдохновений
Забыта мною сторона
Давно. Как скучен день осенний,
Так жизнь моя была скучна;
Так впечатлений неприятных
Душа всегда была полна;
Поныне о годах развратных
Не престает скорбеть она.

⟨2⟩ ПОСВЯЩЕНИЕ

Я буду петь, пока поется,
Пока, друзья, в груди моей
Еще высоким сердце бьется
И жалость не погибла в ней.
Но той веселости прекрасной
Не требуй от меня напрасно,
И юных гордых дней, поэт,
Ты не вернешь: их нет как нет;
Как солнце осени суровой,
Так пасмурна и жизнь моя;
Среди людей скучаю я:
Мне впечатление не ново...
И вот печальные мечты,
Плоды душевной пустоты!..

Печальный демон, дух изгнанья,
Блуждал под сводом голубым.
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним,
Тех дней, когда он не был злым,
Когда глядел на славу бога,
Не отвращаясь от него;
Когда сердечная тревога
Чуждалася души его,
Как дня боится мрак могилы.

И много, много... и всего
Представить не имел он силы...

(Демон узнает, что ангел любит одну смертную, демон узнает и обольщает ее, так что она покидает ангела, но скоро умирает и делается духом ада. Демон обольстил ее, рассказывая, что бог несправедлив и проч. свою ист⟨орию⟩).

Любовь забыл он навсегда.
Коварство, ненависть, вражда
Над ним владычествуют ныне...
В нем пусто, пусто, как в пустыне.
Смертельный след напечатлен
На том, к чему он прикоснется,
И говорят, что даже он
Своим злодействам не смеется,
Что груды гибнущих людей
Не веселят его очей...
Зачем же демон отверженья
Роняет посреди мученья
Свинцовы слезы иногда
И им забыты на мгновенье
Коварство, зависть и вражда?..

Демон влюбляется в смертную (монахиню), и она его наконец любит, но демон видит ее ангела-хранителя и от зависти и ненависти решается погубить ее. Она умирает, душа ее улетает в ад, и демон, встречая ангела, который плачет с высот неба, упрекает его язвительной улыбкой.

Угрюмо жизнь его текла,
Как жизнь развалин. Бесконечность
Его тревожить не могла,
Он хладнокровно видел вечность,
Не зная ни добра, ни зла,
Губя людей без всякой нужды.
Ему желанья были чужды,
Он жег печатью роковой
Того, к кому он прикасался,
Но часто демон молодой
Своим злодействам не смеялся.
Таков осеннею порой
Среди долины опустелой
Один чернеет пень горелый.
Сражен стрелою громовой,
Он прямо высится главой
И презирает бурь порывы,
Пустыни сторож молчаливый.

Боясь лучей, бежал он тьму,
Душой измученною болен.
Ничем не мог он быть доволен:
Всё горько сделалось ему,
И, всё на свете презирая,
Он жил, не веря ничему
И ничего не принимая.

В полночь, между высоких скал,
Однажды над волнами моря
Один, без радости, без горя,
Беглец Эдема пролетал
И грешным взором созерцал
Земли пустынные равнины.
И зрит, чернеет над горой
Стена обители святой
И башен странные вершины.
Меж низких келий тишина,
Садится поздняя луна,
И в усыпленную обитель
Вступает мрачный искуситель.
Вот тихий и прекрасный звук,
Подобный звуку лютни, внемлет...
И чей-то голос... Жадный слух
Он напрягает. Хлад объемлет
Чело... он хочет прочь тотчас.
Его крыло не шевелится,
И странно — из потухших глаз
Слеза свинцовая катится...
Как много значил этот звук:
Мечты забытых упоений,
Века страдания и мук,
Века бесплодных размышлений —
Всё оживилось в нем, и вновь
Погибший ведает любовь.

М ⟨о н а х и н я⟩

О чем ты близ меня вздыхаешь,
Чего ты хочешь получить?
Я поклялась давно, ты знаешь,
Земные страсти позабыть.
Кто ты? Мольба моя напрасна.
Чего ты хочешь?..

Д ⟨е м о н⟩

Ты прекрасна.

М ⟨о н а х и н я⟩

Кто ты?

Д ⟨е м о н⟩

Я демон. Не страшись...
Святыни здешней не нарушу...

И о спасенье не молись,
Не искусить пришел я душу;
Сгорая жаждою любви,
Несу к ногам твоим моленья,
Земные первые мученья
И слезы первые мои.

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

⟨Начало 1830 года⟩

1

автограф

Печальный Демон, дух изгнанья,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним.
Тех дней, когда он не был злым,
Когда глядел на славу бога,
Не отвращаясь от него;
Когда заботы и тревога
Чуждалися ума его,
Как дня боится мрак могилы...
И много, много... и всего
Представить не имел он силы.

В изгнанье жизнь его текла,
Как жизнь развалин. Бесконечность
Его тревожить не могла.
⟨Он равнодушно видел вечность,⟩
Не зная ни добра, ни зла,
Губя людей без всякой нужды.
Ему желанья были чужды.
Он жег печатью роковой
Всё то, к чему он прикасался;
И часто Демон молодой
Своим злодействам не смеялся.
Боясь лучей, бежал он тьму.
Душой измученною болен,
Ничем не мог он быть доволен.
Всё горько сделалось ему,
И, всё на свете презирая,
Он жил, не веря ничему
И ничего не признавая.

2

В полночь, между холодных скал,
Однажды над волнами моря
Один, без радости, без горя,
Беглец Эдема пролетал
И грешным взором созерцал
Земли пустынные равнины,

И зрит: белеют под горой
Стена обители святой
И башен странные вершины.
Меж бедных келий тишина.
Садится поздняя луна;
И в усыпленную обитель
Вступает мрачный искуситель.
⟨Вдруг⟩ тихий и прекрасный звук,
⟨Подобн⟩ый звуку лютни, внемлет,
И чей-то голос. Жадный слух
Он напрягает. Хлад объемлет
Чело... Он хочет прочь тотчас —
Его крыло не шевелится.
И — чудо! — из померкших глаз
Слеза свинцовая катится.

3

Как много значит этот звук!
Века минувших упоений,
Века изгнания и мук,
Века бесплодных размышлений,
Всё оживилось в нем, но вновь
Ужель узнает он любовь?
Тому не быть: так, если мчится,
Сын ливня, в поле мутный ключ
И солнца полумертвый луч
На нем случайно отразится,
Он лишь мгновенно озарит,
А мутных вод не просветит.

Влетает в келью дух смущенный.
Украдкою, как некий вор,
Минует образ позлащенный,
Со страхом отвращает взор,
Он зрит божественные книги,
Лампаду, четки и вериги.
Но где же звуки? где же та,
К которой сильная мечта
Его влечет?..
Облокотившись,
С испанской лютнею *она*
Сидела молча у окна,
И кудри черные, скатившись
На веки нежные очей,
Служили покрывалом ей.
Исполнена какой-то думой,
Младая волновалась грудь.
Вот поднялась. На свод угрюмый
Она задумала взглянуть.
Как звезды омраченной дали,
Глаза монахини сияли,
Как неба утра облака,
Ее лилейная рука

Была пленительна; и струны
Согласно вздрогнули под ней.

Угрюм, как ночи мрак безлунный,
Потупя взгляд своих очей,
Окованный ее игрою,
Стоял злой дух. Ему любить
Не должно сердца допустить.
Он связан клятвой роковою.
(И эту клятву молвил он,
Когда блистающий Сион
Оставил с гордым сатаною.)
. . . .
. . . .

Он искусить хотел — не мог,
Не находил в себе искусства;
Забыть — забвенья не дал бог,
Любить — недоставало чувства;
Хотя он для любви готов
Оставить полк своих духов
И без могущества, без силы
Скитаться посреди миров,
Как труп вампира, из могилы
Исторгшись, бродит меж людей
Страшилищем немых ночей...

Легок, как падающий снег
По ветру средь зимы холодной,
Мой Демон, волею свободный,
Летучий направляет бег —
Прочь-прочь от места, где впервые
Земные слезы уронил,
Нарушил клятвы роковые
И князя бездны раздражил,
Но прелесть звуков и виденья
Остались на душе его,
И в памяти сего мгновенья
Уж не загладит ничего.

4

Но кто ж *она*? Зачем сокрыта
В пустыне, меж высоких стен?
Иль это добровольный плен
И ею радость позабыта?
Иль краска черная одежд
С ее душой была согласна?
Ее история ужасна,
Как вспоминанье без надежд.
Она отца и мать не знала,
И люльку детскую ее
Старушка чуждая качала...
Но это ль бедное житье,
Любовь ли сердце испугала,

Опасность ли — о том узнать
Никто не думал испытать.
. . . .

Как часто дева у окошка
Взирала на берег морской.
Печаль ее хотя немножко
В то время делалась живой.
На море вихри бушевали
И волны синие вставали;
В расселинах стены крутой
Протяжный раздавался вой;
А дева — взор ясней лазури —
При шуме капель дождевых
Согласовала с воем бури
Игру печальных струн своих.
Но с той минуты, как нечистый
К ней приходил в ночи тенистой,
Она молиться уж нейдет
И не играет, не поет,
Ей колокола звон противен,
В ней кроется холодный яд,
Ни моря шум, ни ветр, ни ливень
Мечты как было не родят.

5

И бедный Демон удалился
От силы адской с этих пор,
Он на хребет далеких гор
В ледяный грот переселился,
Где под снегами хрустали
Корой огнистою легли,
Природы дивные творенья.
Ее причудливой игры
Он наблюдает измененья.
Составя светлые шары,
Он их по ветру посылает,
Велит им путнику блеснуть
И над болотом освещает
Заглохший, неезжаный путь.
Когда метель гудит и свищет,
Он охраняет прошлеца,
Сдувает снег с его лица
И для него защиту ищет...
И часто прежней пустоты
Он слышит муки. Красоты
Волшебной стан пред ним летает:
И пламя новое мечты
Его крылами обнимает.
Изгнанник помнит свет небес,
Огни потерянного рая;
Тоской неистовой сгорая,
Он зажигает темный лес,
Любуясь на пожар трескучий.

Скалы на корне вековом
Срывая, как нежданный гром,
Свергает вниз рукой могучей —
И гул подъемлется кругом.
Но уж не то его тревожит,
Что прежде; тот железный сон
Прошел — любить он может — может —
И в самом деле любит он.
И хочет в путь опять пускаться,
Чтоб с милой девой повидаться,
Чтоб раз ей в очи поглядеть
И невозвратно улететь...

6

Едва блестящее светило
На небо юное взошло
И моря синее стекло
Лучами утра озарило,
Как Демон видел пред собой
Стену обители святой,
Где полразрушенная келья
Так много милого хранит.
Полетом он туда спешит.
Но нет в душе его веселья.
Какой-то непонятный страх
В ледяных светится глазах.
Вот дверь простая перед ними.
Томяся муками живыми,
Он долго медлил; он не мог
Переступить через порог,
Как будто бы он там погубит,
Что на минуту отдал рок...
. . . .
Теперь лишь видно, что он любит!
Теперь лишь признаки любви:
Волнение надежд несмелых
И пламень неземной крови
Видны в чертах окаменелых!..

7

Он в келье. Но зачем же он
Не привлечет ее вниманья?
Зачем не пьет ее дыханья?
Не вздох любви — могильный стон,
Как эхо, из груди разбитой
Протяжно вышел наконец.
И сердце, кровию облито,
Отяжелело, как свинец.
Его рука остановилась
На воздухе. Сведенный перст
Оледенел. Хоть взор отверзт,

В нем ничего не отразилось,
Кроме презренья — но к чему?
Что показалося ему?

8

Посланник рая, ангел нежный,
В одежде дымной, белоснежной,
Стоял с блистающим челом
Вблизи монахини прекрасной
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом.
Они счастливы, святы оба!
И — мщенье, ненависть и злоба
Взыграли демонской душой.
Он вышел твердою стопой.
Он вышел. Сколько чувств различных,
С давнишних лет ему привычных,
В душе теснятся! Сколько дум
Меняет беспокойный ум!
Красавице погибнуть надо,
Ее не пощадит он вновь,
Погибнет — прежняя любовь
Не будет для нее оградой!..

9

Как жалко! Он уже хотел
На путь спасенья возвратиться,
Забыть толпу недобрых дел,
Позволить сердцу оживиться.
Творцу природы, может быть,
Внушил бы Демон сожаленье,
И благодатное прощенье
Ему б случилось получить.
Но поздно! Сын безгрешный рая
Вдруг разбудил мятежный ум.
Кипит он, ревностью пылая,
Явилась снова воля злая
И яд преступных, черных дум.
И вот, облекшись в образ томный,
Обманчивый он принял вид,
Он юноша печальный, скромный,
Какой-то тенью взор облит.
Его опущенные крылья
Объяты участью бессилья.
На голове венец златой
Померкнул и покрылся мглой.

Он ждет, у стен святых блуждая,
Когда останется одна
Его монахиня младая;
Когда нескромная луна
Взойдет, пустыню озаряя.

Он ожидает час глухой,
Текущий под ночною мглой,
Час тайных встреч и наслаждений
И незаметных преступлений.
Он к ней прокрадется туда,
Среди обители уснувшей;
И там погубит навсегда
Предмет любви своей минувшей!

10

Лампада в келье чуть горит.
Лукавый с девою сидит.
И дрожь и страх ее объемлет,
Она, как смерть бледнея, внемлет

Она

Земные страсти позабыть
Я поклялась давно, ты знаешь.
К чему ж теперь меня смущаешь?
Чего ты хочешь получить?
О! кто ты? — речь твоя опасна!
Чего ты хочешь?...

Дух

Ты прекрасна!

Она

Кто ты?

Дух

Я демон, не страшись:
Святыни здешней не нарушу.
И о спасенье не молись,
Не искусить пришел я душу.
К твоим ногам, томясь в любви,
Несу покорные моленья,
Земные первые мученья
И слезы первые мои!
Не расставлял я людям сети
С толпою грозной злых духов:
Брожу один среди миров
Несметное число столетий.
Не выжимай из груди стон,
Не отгоняй меня укором:
Несправедливым приговором
Я на изгнанье осужден.
Не зная радости минутной,
Живу над морем и меж гор,
Как перелетный метеор,
Оставлен всеми, бесприютный...
И слишком горд я, чтоб просить
У бога вашего прощенья.
Я полюбил мои мученья

И не могу их разлюбить.
Но ты, ты можешь оживить
Своей любовью непритворной
Мою томительную лень
И жизни скучной и позорной
Непролетающую тень!..

11

В часы суровой непогоды
В осенний день, когда меж скал,
Пенясь, крутясь, шумели воды,
Восточный ветер бушевал,
И тучи серыми рядами
Перебегали небесами;
Зловещий колокола звон,
Как умирающего стон,
Раздался глухо над волнами.
К чему манит отшельниц он?..
Не на молитву поспешали
В обширный и высокий храм,
Не двум счастливым женихам
Свечи дрожащие пылали:
В средине церкви мех звучал,
И катафалк блестел прекрасный,
На нем богатый гроб стоял,
В гробу мертвец лежал безгласный;
Зачем не слышен плач родных
И не видать во храме их?
И кто мертвец? Едва приметный
Остаток прежней красоты
Являют мертвые черты.
Уста закрытые бесцветны.
И в сердце томной страсти яд
Ее глаза не поселят,
Хотя еще весьма недавно
Они владели над душой,
Неугомонной, своенравной,
В борьбе безумной и неравной
Не знавшей власти над собой.

За час до горестной кончины
Духовника на миг единый
Младая дева призвала:
Желанья, добрые дела
И запрещенные деянья
Открыть с слезами покаянья.
Пришел исповедник. Но вдруг
Его безумный хохот встретил.
Он на лице ее заметил
Борение последних мук,
Припадки судорог ужасных.
Он разобрал в речах неясных:
«Ты!.. Демон!.. о!.. коварный друг!..

Своими сладкими речами...
Ты... бедную... заворожил...
Ты был любим и не любил,
Ты б мог спастись, а погубил...
Проклятье сверху, мрак под нами!»
Но кто безжалостный злодей,
Тогда не понял старец честный,
И жизнь монахини моей
Осталась людям неизвестной.

12

С тех пор промчалось много лет.
Пустела тихая обитель,
И время, общий разрушитель,
Смывало постепенно след
Высоких стен. И храм священный
Добычей бури и дождей
Соделался. Между дверей
Вздыхая ходит ветр непленный.
Внутри на ликах расписных,
На утвари позолоченной
И средь расселин стен седых
Большой паук, пустынник новый,
Кладет нитей своих основы.
Сбегаючи со скал крутых,
Ища приют от непогоды,
Случалось, лань, дитя свободы,
Входила в кельи; — и — порой
Стола нескромное паденье
Среди развалины глухой
Вдруг приводило в удивленье
Ее — но нынче ничему
Нельзя встревожить тишину.
Что может падать, то упало;
Что мрет, то умерло давно;
Что живо, то бессмертно стало;
Но время вживе удержало
Воспоминание одно...

И море пенится и злится,
И сильно плещет, и шумит,
Когда волнами устремится
Обнять береговой гранит;
Он вдался в море одиноко;
На нем чернеет крест высокой;
Всегда скалой отражены,
Струи белятся пеной вольной,
Волна теснится у волны,
И слышен ропот своевольный,
И удаляются толпой,
Другим предоставляя бой.

13

Над тем крестом, над той скалою
Однажды утренней порою
С глубокой думою стоял
Дитя Эдема, ангел мирный;
И слезы молча утирал
Своей одеждою сапфирной.
И кудри мягкие, как лен,
С главы венчанной упадали,
И крылья легкие, как сон,
За белыми плечьми сияли;
Стан тонкий свеж и прям: таков
Зеленый кипарис садов.

Вот тихо над крестом склонился.
Казалось, будто он молился
За душу девы молодой.
Увы! Напрасные моленья,
Ее страстям уж нет прощенья...

Тогда над синей глубиной
Дух гордости и отверженья
Летел с вершины диких гор,
Как будто прелести творенья
Непозволительный укор.
Как свод безлучный в день осенний,
Был мрачен искуситель-гений.
Он близ могилы промелькнул
И, тусклый, мертвый взор кидая,
Посла потерянного рая
Улыбкой горькой упрекнул...

(Конец)

ТРЕТЬЯ РЕДАКЦИЯ

1831 год

ПОСВЯЩЕНИЕ

автограф, тетр. 22

Прими мой дар, моя мадона!
С тех пор как мне явилась ты,
Моя любовь мне оборона
От порицаний клеветы.

Такой любви нельзя не верить,
А взор не скроет ничего:
Ты не способна лицемерить,
Ты слишком ангел для того!

Скажу ли? — предан самовластью
Страстей печальных и судьбе,
Я счастьем не обязан счастью,
Но всем обязан я — тебе.

Как демон, хладный и суровый,
Я в мире веселился злом,
Обманы были мне не новы,
И яд был на сердце моем;

Теперь, как мрачный этот Гений,
Я близ тебя опять воскрес
Для непорочных наслаждений,
И для надежд, и для небес.

Cain

Who art thou?

Lucifer

Master of spirits.

Cain

And being so, canst thou
Leave them, and walk with dust?

Lucifer

I know the thoughts
Of dust, and feel for it, and
with you.

L. Byron «Cain»[1]

Печальный демон, дух изгнанья,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним;
Тех дней, когда он не был злым,
Когда глядел на славу бога,

---

[1] Каин

Кто ты?

Люцифер

Властелин духов.

Каин

Но если так, можешь ли ты
Покидать их и пребывать с смертными?

Люцифер

Я знаю мысли
Смертных и сочувствую им, и заодно с вами.

Л⟨орд⟩ Байрон
«Каин» (англ.) — *Ред.*

Не отвращаясь от него,
Когда заботы и тревога
Чуждалися ума его,
Как дня боится мрак могилы;
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы.

Уныло жизнь его текла
В пустыне мира. Бесконечность
Жилище для него была.
Он равнодушно видел вечность,
Не зная ни добра, ни зла,
Губя людей без всякой нужды.
Ему желанья были чужды.
Он жег печатью роковой
Всё то, к чему ни прикасался!..
И часто демон молодой
Своим злодействам не смеялся.
Страшась лучей, бежал он тьму;
Душой измученною болен,
Ничем не мог он быть доволен,
Всё горько сделалось ему;
И, всё на свете презирая,
Он жил, не веря ничему
И ничего не признавая.

. . . .

Однажды, вечером, меж скал
И над седой равниной моря,
Без дум, без радости, без горя.
Беглец Эдема пролетал
И грешным взором созерцал
Земли пустынные равнины,
И зрит: белеет под горой
Стена обители святой
И башен странные вершины.
Меж бедных келий тишина;
Встает багровая луна;
И в усыпленную обитель
Вступает мрачный искуситель.
Вдруг тихий и прекрасный звук,
Подобный звуку лютни, внемлет,
И чей-то голос. Жадный слух
Он напрягает: хлад объемлет
Чело. Он хочет прочь тотчас:
Его крыло не шевелится;
И — чудо! — из померкших глаз
Слеза свинцовая катится.
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой.

Как много значил этот звук!
Века минувших упоений,

Века изгнания и мук,
Века бесплодных размышлений,
Всё оживилось в нем опять.
Но что ж? Ему не воскресать
Для нежных чувств. Так, если мчится
По небу летнему порой
Отрывок тучи громовой,
И луч случайно отразится
На сумрачных краях, она
Тот блеск мгновенный презирает
И путь неверный продолжает
Хладна, как прежде, и темна.

Проникнул в келью дух смущенный
Со страхом отвращает взор,
Минуя образ позлащенный,
Как будто видя в нем укор.
Он зрит божественные книги,
Лампаду, четки и вериги;
Но где же звуки? где же та,
К которой сильная мечта
Его влечет?
                Она сидела
На ложе, с лютнею в руках,
И, песню гор играя, пела.
И, мнилось, всё в ее чертах
Земной беспечностью дышало;
И кольцы русые кудрей
Сбегали, будто покрывало,
На веки нежные очей.
Исполнена какой-то думой,
Младая волновалась грудь...
Вот поднялась; на свод угрюмый
Она задумала взглянуть:
Как звезды омраченной дали,
Глаза монахини сияли;
Ее лилейная рука,
Бела, как утром облака,
На черном платье отделялась,
И струны отвечали ей
Что дальше, то сильней, сильней.
Тоской раскаянья, казалось,
Была та песня сложена!
Меж тем как путник любопытный,
В окно, участием полна,
На деву, жертву грусти скрытной,
Смотрела ясная луна!..

Окован сладостной игрою
Стоял злой дух. Ему любить
Не должно сердца допустить:
Он связан клятвой роковою;
(И эту клятву молвил он,
Когда блистающий Сион
Оставил с гордым сатаною.)

Он искушать хотел — не мог,
Не находил в себе искусства;
Забыть? — забвенья не дал бог;
Любить? — недоставало чувства!
Что делать? — новые мечты
И чуждые поныне муки!
Так, демон, слыша эти звуки,
Чудесно изменился ты.
Ты плакал горькими слезами,
Глядя на милый свой предмет,
О том, что цепь лежит меж вами,
Что пламя в мертвом сердце нет;
Когда ты знал, что не принудит
Его минута полюбить,
Что даже скоро, может быть,
Она твоею жертвой будет.

И удалиться он спешил
От этой кельи, где впервые
Нарушил клятвы неземные
И князя бездны раздражил;
Но прелесть звуков и виденья
Осталась на душе его,
И в памяти сего мгновенья
Уж не изгладит ничего.

. . . .

Спустя сто лет пергамент пыльный
Между развалин отыскал
Какой-то странник. Он узнал,
Что это памятник могильный;
И с любопытством прочитал
Он монастырские преданья
О жизни девы молодой,
И им поверил, и порой
Жалел об ней в часы мечтанья.
Он перевел на свой язык
Рассказ таинственный, но свету
Не передам я повесть эту:
Ценить он чувства не привык!

. . . .

Печальный демон удалился
От силы адской с этих пор.
Он на хребет далеких гор
В ледяный грот переселился,
Где под снегами хрустали
Корой огнистою легли —
Природы дивные творенья!
Ее причудливой игры
Он наблюдает измененья.
Составя светлые шары,
Он их по ветру посылает,
Велит им путнику блеснуть
И над болотом освещает
Опасный и заглохший путь.

Когда метель гудет и свищет,
Он охраняет прошлеца;
Сдувает снег с его лица
И для него защиту ищет.
И часто, подымая прах
В борьбе с летучим ураганом,
Одетый молньей и туманом,
Он дико мчится в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное — забыть!
Но всё не то его тревожит,
Что прежде. Тот железный сон
Прошел. Любить он может, может,
И в самом деле любит он;
И хочет в путь опять пускаться,
Чтоб с милой девой повидаться,
Чтоб раз ей в очи посмотреть
И невозвратно улететь!
. . . .
. . . .
Едва блестящее светило
На небе юное взошло
И моря синее стекло
Лучами утра озарило,
Как демон видел пред собой
Стену обители святой,
И башни белые, и келью,
И под решетчатым окном
Цветущий садик. И кругом
Обходит демон; но веселью
Он недоступен. Тайный страх
В ледяных светится глазах.
Вот дверь простая перед ними.
Томяся муками живыми,
Он долго медлил, он не мог
Переступить через порог,
Как будто бы он там погубит
Всё, что еще не отнял рок.
О! как приметно, что он любит!
Всё тихо — вдруг услышал он
Давно знакомой лютни звон;
Слова певицы вдохновенной
Лились как светлые струи;
Но не понравились они
Тому, кто с думой дерзновенной
Искал надежды и любви.

ПЕСНЬ МОНАХИНИ

Как парус над бездной морской,
Как под вечер златая звезда,
Явился мне ангел святой —
Не забуду его никогда.

К другой он летел иль ко мне,
    Я напрасно б старалась узнать.
Быть может, то было во сне...
    О! зачем должен сон исчезать?

Тебя лишь любила, творец,
    Я поныне с младенческих дней,
Но видит душа наконец,
    Что другое готовилось ей.

Виновна я быть не должна:
    Я горю не любовью земной;
Чиста, как мой ангел, она,
    Мысль о нем неразлучна с тобой!

Он отблеск величий твоих,
    Ты украсил чело его сам.
Явился он мне лишь на миг,—
    Но за вечность тот миг не отдам!

Умолкла. Ветер моря хладный
Последний звук унес с собой.
Непобедимою судьбой
Гонимый, демон безотрадный
Проникнул в келью. Что же он
Не привлечет ее вниманье?
Зачем не пьет ее дыханье?
Не вздох любви — могильный стон,
Как эхо, из груди разбитой
Протяжно вышел наконец;
И сердце, яростью облито,
Отяжелело, как свинец.
Его рука остановилась
На воздухе. Сведенный перст
Оледенел. Хоть взор отверзт,
В нем ничего не отразилось,
Кроме презренья. Но к кому?
Что показалося ему?

Посланник рая, ангел нежный,
В одежде дымной, белоснежной,
Стоял с блистающим челом
Вблизи монахини прекрасной
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом.
Они счастливы, святы оба!
И — зависть, мщение и злоба
Взыграли демонской душой.
Он вышел твердою ногой:
Он вышел — сколько чувств
                                        различных,
С давнишних лет ему привычных,
В душе теснится! Сколько дум
Меняет беспокойный ум!
Красавице погибнуть надо,

Ее не пощадит он вновь.
Погибнет: прежняя любовь
Не будет для нее оградой!

Как жалко! он уже хотел
На путь спасенья возвратиться,
Забыть толпу преступных дел,
Позволить сердцу оживиться!
Творцу природы, может быть,
Внушил бы демон сожаленье
И благодатное прощенье
Ему б случилось получить.
Но поздно! сын безгрешный рая
Вдруг разбудил мятежный ум:
Кипит он, ревностью пылая,
Явилась снова воля злая
И яд коварных, черных дум.
Но впрочем, он перемениться
Не мог бы: это был лишь сон.
И рано ль, поздно ль, пробудиться
Навеки должен был бы он.
Успело зло укорениться
В его душе с давнишних дней:
Добро не ужилось бы в ней;
Его присвоить, им гордиться
Не мог бы демон никогда;
Оно в нем было бы чужое,
И стал бы он несчастней вдвое.
Взгляните на волну, когда
В ней отражается звезда;
Как рассыпаются чудесно
Вокруг сребристые струи!
Но что же? блеск тот — блеск небесный,
Не завладеют им они.
Их луч звезды той не согреет;
Он гаснет — и волна темнеет!

Злой дух недолго размышлял:
Он не впервые отомщал!
Он образ смертный принимает,
Венец чело его ласкает,
И очи черные горят,
И этот самый пламень — яд!

Он ждет, у стен святых блуждая,
Когда останется одна
Его монахиня младая,
Когда нескромная луна
Взойдет, пустыню озаряя;
Он ожидает час глухой,
Текущий под ночною мглой,
Час тайных встреч и наслаждений
И незаметных преступлений.
Он к ней прокрадется туда,

Под сень обители уснувшей,
И там погубит навсегда
Предмет любви своей минувшей!
. . . .

Лампада в келье чуть горит.
Лукавый с девою сидит;
И чудный страх ее объемлет.
Она, как смерть бледнея, внемлет

Она

Страстей волненья позабыть
Я поклялась давно, ты знаешь!
К чему ж теперь меня смущаешь?
Чего ты хочешь получить?
О, кто ты? — речь твоя опасна!
Чего ты хочешь?

Незнакомец

Ты прекрасна!

Она

Кто ты?

Незнакомец

Я демон! — не страшись:
Святыни здешней не нарушу!
И о спасенье не молись —
Не искушать пришел я душу.
К твоим ногам, томясь в любви,
Несу покорные моленья,
Земные первые мученья
И слезы первые мои!
Не расставлял я людям сети
С толпою грозной злых духов;
Брожу один среди миров
Несметное число столетий!
Не выжимай из груди стон,
Не отгоняй меня укором:
Несправедливым приговором
Я на изгнанье осужден.
Не зная радости минутной,
Живу над морем и меж гор,
Как перелетный метеор,
Как степи ветер бесприютный!
И слишком горд я, чтоб просить
У бога вашего прощенья:
Я полюбил мои мученья
И не могу их разлюбить.
Но ты, ты можешь оживить
Своей любовью непритворной
Мою томительную лень
И жизни скучной и позорной
Непролетающую тень!

Она

На что мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты виноват...

Незнакомец

Против тебя ли?

Она

Нас могут слышать...

Незнакомец

Мы одне!

Она

А бог?

Незнакомец

На нас не кинет взгляда!
Он небом занят, не землей.

Она

А наказанье, муки ада?

Незнакомец

Так что ж? — ты будешь там со мной!
Мы станем жить любя, страдая,
И ад нам будет стоить рая;
Мне рай — везде, где я с тобой!

Так говорил он; и рукою
Он трепетную руку жал
И поцелуями порою
Плечо девицы покрывал.
Она противиться не смела,
Слабела, таяла, горела
От неизвестного огня,
Как белый снег от взоров дня!

. .

В часы суровой непогоды,
В осенний день, когда меж скал,
Пенясь, крутясь, шумели воды,
Восточный ветер бушевал,
И темно-серыми рядами
Неслися тучи небесами,
Зловещий колокола звон,
Как умирающего стон,
Раздался глухо над волнами.
К чему зовет отшельниц он?
Не на молитву поспешали
В обширный и высокий храм,
Не двум счастливым женихам

Свечи дрожащие пылали:
В средине церкви гроб стоял,
В гробу мертвец лежал безгласный,
И ряд монахинь окружал
Тот гроб с недвижностью бесстрастной
Зачем не слышен плач родных
И не видать во храме их?
И кто мертвец? Едва приметный
Остаток прежней красоты
Являют бледные черты;
Уста закрытые бесцветны,
И в сердце пылкой страсти яд
Сии глаза не поселят,
Хотя еще весьма недавно
Владели бурною душой,
Неизъяснимой, своенравной,
В борьбе безумной и неравной,
Не знавшей власти над собой.

За час до горестной кончины,
Когда сырая ночи мгла
На усыпленные долины
Прозрачной дымкою легла,
Духовника на миг единый
Младая дева призвала,
Чтоб жизни грешные деянья
Открыть с слезами покаянья.
И он приходит к ней; но вдруг
Его безумный хохот встретил.
Старик в лице ее заметил
Борение последних мук.
На предстоящих не взирая,
Шептала дева молодая:
«О, демон! о, коварный друг!
Своими сладкими речами
Ты бедную заворожил...
Ты был любим, а не любил...
Ты мог спастись, а погубил,
Проклятье сверху, мрак под нами!»
Но, кто безжалостный злодей,
Тогда не понял старец честный,
И жизнь монахини моей
Осталась людям неизвестной.

С тех пор промчалось много лет,
Пустела древняя обитель,
И время, общий разрушитель,
Смывало постепенно след
Высоких стен; и храм священный
Стал жертва бури и дождей.
Из двери в дверь во мгле ночей
Блуждает ветр освобожденный.
Внутри, на ликах расписных
И на окладах золотых,
Большой паук, пустынник новый,

Кладет сетей своих основы.
Не раз, сбежав со скал крутых,
Сайгак иль серна, дочь свободы,
Приют от зимней непогоды
Искали в кельях. И порой
Забытой утвари паденье
Среди развалины глухой
Их приводило в удивленье!
Но в наше время ничему
Нельзя нарушить тишину:
Что может падать, то упало,
Что мрет, то умерло давно,
Что живо, то бессмертно стало;
Но время вживе удержало
Воспоминание одно!

И море пенится и злится,
И сильно плещет, и шумит,
Когда волнами устремится
Обнять береговой гранит:
Он вдался в море одиноко,
На нем чернеет крест высокой.
Всегда скалой отражена,
Покрыта пылью белоснежной,
Теснится у волны волна,
И слышен ропот их мятежный.
И удаляются толпой,
Другим предоставляя бой.

Над тем крестом, над той скалою
Однажды утренней порою
С глубокой думою стоял
Дитя Эдема, ангел мирный,
И слезы молча утирал
Своей одеждою сапфирной.
И кудри мягкие, как лен,
С главы венчанной упадали,
И крылья легкие, как сон,
За белыми плечьми сияли.
И был небесный свод над ним
Украшен радугой цветистой,
И воды с пеной серебристой
С каким-то трепетом живым
К скалам теснились вековым.
Всё было тихо. Взор унылый
На небо поднял ангел милый,
И с непонятною тоской
За душу грешницы младой
Творцу молился он. И, мнилось,
Природа вместе с ним молилась.

Тогда над синей глубиной
Дух гордости и отверженья
Без цели мчался с быстротой;

Но ни раскаянья, ни мщенья
Не изъявлял суровый лик:
Он побеждать себя привык!
Не для других его мученья!
Он близ могилы промелькнул
И, взор пронзительный кидая,
Посла потерянного рая
Улыбкой горькой упрекнул!..

Конец

Материалы к третьей редакции «Демона» [1]

Посвящение к третьей редакции — «Когда последнее мгновенье...» (см. т. 1, № 284)

⟨ПЕСНЯ МОНАХИНИ⟩

Незримый ангел пел мне раз
Про мир иной; с того мгновенья
Спокойствие бежит от глаз.
Усну ли — сна желанный час
Тревожат чудные виденья.

Как запах милого цветка
Весть подает об нем порою,
Так знаю я, когда тоска
Покинет грудь мою слегка,
Что ангел счастия со мною.

Я одного его люблю,
Зато любовью бесконечной;
Услышит песню он мою,
В каком бы ни был он краю,—

Нежней меня его любить
Не станет женщина другая;
Но должен мне творец простить;
Любовь к нему не может быть
Преступна, как любовь земная.

После третьей редакции вписан текст — «Я не для ангелов и рая...», (см. т. 1, № 234)

---

[1] *Из черн. автографа, тетр. 4.*

ЧЕТВЕРТАЯ РЕДАКЦИЯ

⟨1831 год⟩

автограф

По голубому небу пролетал
Однажды Демон. С злобою немой
Он в беспредельность грустный взор кидал,
И вспоминанья перед ним толпой
Теснились. Это небо, где творец
Внимал его хвалам и наконец
Проклятьям, эти звезды... всё кругом
Прекрасно в блеске вечно молодом;

Как было в тот святой, великий час,
Когда от мрака отделился свет
И, ангел радостный, он в первый раз
Взглянул на будущность. И сколько лет,
И сколько тысяч лет с тех пор прошло!
И он уже не тот. Его чело
Померкло... он один, один... один...
Враг счастья и порока властелин.

Изгнанник, для чего тоскуешь ты
О том, что невозвратно? — но пускай!
Не воскресив душевной чистоты,
Ты не найдешь потерянный свой рай!
Напрасно обращен преступный взор
На небеса: их свет — тебе укор.
Будь горд. Старайся мстить, живи, губя.
Но что ж? — и зло не радует тебя?

И часто, очень часто людям он
Завидовал. У них надежда есть
На искупленье, на могильный сон.
Все их несчастья легче перенесть
Одной палящей капли адских мук.
И вечность (это слово, этот звук,
Который значит всё) им не страшна.
Нет! вечность для рабов не создана!

Так мыслил Демон. Медленно крылом,
Спускаяся на землю, рассекал
Он воздух. Всё цвело в краю земном.
Весенний день краснея догорал.
Растения и волны, ветерком
Колеблемы, негреющим лучом
Казались зажжены. Туман сырой
Ревниво поднимался над землей.

И только крест пустынный, наконец,
Стоящий на горе, едва в дали
Блестел. И гаснет! Звездный свой венец
Надела ночь. В молчании текли

Светила неба в этот мирный час,
Но в их молчанье есть понятный глас,
О будущем пророчествует он.
Вот встала и луна. Повсюду сон.

Свети! свети, прекрасная луна!
Природа любит шар твой золотой,
В его сиянье нежится она,
Одетая полупрозрачной мглой.
Но человека любишь ты дразнить
Несбыточной мечтой. Как не грустить,
Когда на нас ты льешь свой бледный свет, —
Ты — памятник всего, чего уж нет!

Я хотел писать эту поэму в стихах: но нет.— В прозе лучше.

ПЯТАЯ РЕДАКЦИЯ

⟨1833—1834 годы⟩

1

авториз. копия

Печальный Демон, дух изгнанья,
Блуждал под сводом голубым,
И лучших дней воспоминанья
Чредой теснились перед ним;
Тех дней, когда он не был злым,
Когда глядел на славу бога,
Не отвращаясь от него,
Когда заботы и тревога
Чуждалися ума его,
Как дня боится мрак могилы,
И много, много... и всего
Представить не имел он силы.

Уныло жизнь его текла
В пустыне мира — и на вечность
Он пригляделся — но была
Мучительна его беспечность.
Путем, назначенным судьбой,
Он равнодушно подвигался;
Он жег печатью роковой
Всё то, к чему ни прикасался.
Смеясь над злом и над добром,
Стыдясь надежд, стыдясь боязни,
Он с гордым встретил бы челом
Прощенья глас, как слово казни;
Он жил забыт и одинок,
Грозой оторванный листок,
Угрюм и волен, избегая
И свет небес, и ада тьму,

Он жил, не веря ничему
И ничего не признавая.

Как черный саван, на земле
Лежала ночь... вились туманы
По гребням гор; на их челе,
Сторожевые великаны,
Гнездились стаи облаков,
И вечно ропщущее море
Гуляло мирно на просторе,
Сверкая пеною валов.

Между прибрежных диких скал
Беглец Эдема пролетал.
Он взор, исполненный презренья,
Вперил на грешный мир земной
И зрит в тумане отдаленья
Верхи обители святой.
У стен ее, прохлады полны,
Однообразно шепчут волны.
Кругом ее густых дерев
Сплелись кудрявые вершины,
И кое-где из их средины,
Стремясь достать до облаков,
Встает, белея, остов длинный
Зубчатой башни, и над ней,
Символ спасения забвенный,
Чернеет ржавый крест, нагбенный
Усильем бури и дождей.
Меж бедных келий храм огромный.
Едва сквозь длинное окно
Глядит лампады луч нескромный.
Внутри всё спит давным-давно.
Всё вкруг таинственно и тёмно.

Вот одинока и красна
Встает двурогая луна,
И в усыпленную обитель
Вступает мрачный искуситель.
Вдруг тихий и прекрасный звук,
Подобно звуку лютни, внемлет;
И чей-то голос. Жадный слух
Он напрягает. Хлад объемлет
Чело. Он хочет прочь тотчас:
Его крыло не шевелится,
И — чудо! — из померкших глаз
Слеза свинцовая катится.
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой.

Как много значил этот звук!
Века минувших упоений,
Века изгнания и мук,

Века бесплодных размышлений
О настоящем и былом —
Всё разом отразилось в нем.

Проникнул в келью дух смущенный,
Минуя образ позлащенный,
Как будто видя в нем укор,
Со страхом отвращает взор;
В углу из мрамора мадона,
Лампада медная над ней,
На голове ее корона
Из роз душистых и лилей.
У стенки девственное ложе,
Луна, смеясь, в окно глядит,
А у окна... всесильный боже!
Что с ним? — он млеет! он дрожит!
По струнам лютни ударяя,
Пред ним, озарена луной,
В одежде черной власяной
Была монахиня младая;
Она сидела перед ним,
Объята жаром вдохновенья,
Мила, как первый херувим,
Как первые звезды творенья.
В больших глазах ее порой
Невнятно говорило что-то
Невыразимою тоской,
Неизъяснимою заботой.
Полураскрытые уста
Живые изливали звуки;
В них было всё: моленья, муки,
Слова надежд, слова разлуки
И детских мыслей простота.
И грудь высоко воздымалась.
И обнаженная рука,
Белей, чем утром облака,
К струнам, как ветер, прикасалась.
Клянусь святыней гробовой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока!
Гаремов брызжущий фонтан
Ни разу летнею порою
Не омывал подобный стан...
Ни разу гордый сын порока
Не осквернял руки такой...
Клянусь святыней гробовой,
Лучом заката и востока.

Дух отвержения и зла
Стоял недвижим у порога;
Не смел он приподнять чела,
Страшася в ней увидеть бога!

Увы, в душе его была
Давно забытая тревога!
Он искушать хотел — не мог,
Не находил в себе искусства;
Забыть? — забвенья не дал бог;
Любить? — недоставало чувства.
И удалиться он спешил
От этой кельи, где впервые
Нарушил клятвы роковые,
Земной святыне уступил.
Но прелесть звуков и виденья
Остались на душе его,
И в памяти сего мгновенья
Уж не изгладит ничего!

2

Скажу ль? сначала думал он,
Хотел во что бы то ни стало
Исторгнуть из груди, как жало,
Мгновенный светлый этот сон.
И, победив свое презренье,
Он замешался меж людей,
Чтоб ядом пагубных речей
Убить в них веру в провиденье...
Но до него, как и при нем,
Уж веры не было ни в ком;
И, полон скуки непонятной,
Он скоро кинул мир развратный
И на хребет пустынных гор
Переселился с этих пор.
Там над жемчужным водопадом
Себе пещеру отыскал,
В природу вник глубоким взглядом,
Душою жизнь ее объял.
Как часто на вершине льдистой
Один меж небом и землей
Под кровом радуги огнистой
Сидел он мрачный и немой,
И белогривые метели,
Как львы, у ног его ревели.
Как часто, подымая прах
В борьбе с летучим ураганом,
Одетый молньей и туманом,
Он дико мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное — забыть!
Но уж не то его тревожит,
Что прежде, тот железный сон
Прошел. Любить он может — может
И в самом деле любит он!
И хочет в путь опять пускаться,

Чтоб с милой девой повидаться,
Чтоб раз ей в очи поглядеть
И невозвратно улететь.

Востока ясное светило
На небо юное взошло
И моря синее стекло
Лучами утра озарило.
Вот милый берег! вот она,
Обетованная страна...
Вот испещренная цветами
Густой лимонной рощи сень,
Вот пред святыми воротами
Часовня... южный теплый день
Играет яркими лучами
По белым башням и стенам.
Безмолвны мраморные плиты,
От стен ведущие во храм.
Плющом душистым перевиты,
Вокруг него ряды крестов,
Немые сторожи гробов,
Как стадо летом пред грозою,
Пестрея, жмутся меж собою...

Страшась надеждам волю дать,
К знакомой келье он подходит,
Кругом нее задумчив бродит.
Жива ль она? одна ль, как знать?
К дверям прильнул он жадным ухом.
Ни струн, ни песен не слыхать!
Невольно он смутился духом,
Невольно, как в пещеру змей,
Закралось в ум его сомненье,
И вещий луч грядущих дней
Сверкнул в его воображенье!
Он в келью светлую проник...
Взошел, взглянул... ужасный крик,
Как бури свист порой ночною,
Раздался в воздухе пустом,
И ярость адскою волною,
Как лава, разлилась по нем.
Простите, краткие надежды
Любви, блаженства и добра;
Открыл дремавшие он вежды:
И то сказать — давно пора!

Посланник рая, ангел нежный,
В одежде дымной, белоснежной,
Стоял с блистающим челом
Перед монахиней прекрасной
И от врага с улыбкой ясной
Приосенял ее крылом.
Они счастливы, святы оба!
Довольно — ненависть и злоба
Взыграли демонской душой.

Он вышел твердою стопой.
Он вышел — сколько чувств
различных,
С давнишних лет ему привычных,
В душе теснятся — сколько дум
Меняет недовольный ум!
Красавице погибнуть надо,
Ее не пощадит он вновь.
Погибнет: прежняя любовь
Не будет для нее оградой!

Свершилось! он опять таков,
Каким явился меж рабов
Великому царю вселенной
В часы той битвы незабвенной,
Где на преступное чело
Проклятье вечное легло.
Он ждет, у стен святых блуждая,
Когда останется одна
Его монахиня младая,
Когда нескромная луна
Взойдет, пустыню озаряя.
Он ожидает час глухой,
Текущий под ночною мглой,
Час тайных встреч и наслаждений
И незаметных преступлений,
Он к ней прокрадется туда,
Под сень обители уснувшей,
И там погубит навсегда
Предмет любви своей минувшей...
Лампада в келье чуть горит.
Лукавый с девою сидит,
И чудный страх ее объемлет.
Она, как смерть бледнея, внемлет.

Монахиня

Забыть волнение страстей
Я поклялась давно, ты знаешь;
К чему ж теперь меня смущаешь
Мольбою странною своей?
О, кто ты? — речь твоя опасна!
Чего ты хочешь?

Незнакомец

Ты прекрасна!

Монахиня

Кто ты?

Незнакомец

Я демон! — не страшись:
Святыни здешней не нарушу;
И о спасенье не молись.
Не искушать пришел я душу.
К твоим ногам, томясь в любви,

Несу покорные моленья,
Земные первые мученья
И слезы первые мои.
Не отгоняй меня укором,
Не выжимай из груди стон:
Несправедливым приговором
Я на изгнанье осужден.
Не зная радости минутной,
Живу над морем и меж гор,
Как перелетный метеор,
Как степи ветер бесприютный.
И слишком горд я, чтоб просить
У бога вашего прощенья:
Я полюбил мои мученья
И не могу их разлюбить.
Но ты, ты можешь оживить
Своей любовью непритворной
Мою томительную лень
И жизни скучной и позорной
Непролетающую тень!

Монахиня

К чему мне знать твои печали?
Зачем ты жалуешься мне!
Ты виноват...

Незнакомец

Против тебя ли?

Монахиня

Нас могут слышать.

Незнакомец

Мы одне.

Монахиня

А бог?

Незнакомец

На нас не кинет взгляда,
Он занят небом, не землей.

Монахиня

А наказанье, муки ада?

Незнакомец

Так что ж? ты будешь там со мной.
Мы станем жить, любя, страдая,
И ад нам будет стоить рая;
Оставь сомнения свои;
И что такое жизнь святая
Перед минутою любви?
Моя бессменная подруга,
Ты будешь разделять со мной
Века бессмертного досуга

И власть над бедною землей,
Где носит всё печать презренья,
Где меж людей, с давнишних лет,
Ни настоящего мученья,
Ни счастья без обмана нет.
Благословишь ты нашу долю,
Не будешь на меня роптать
И не захочешь грусть и волю
За рабство тихое отдать.

Монахиня

Оставь меня, о дух лукавый,
Оставь... не верю я врагу.
Творец... увы, я не могу
Молиться... тайною отравой
Мой ум слабеющий объят...
Но слушай, ты меня погубишь,
Твои слова огонь и яд,
Скажи, зачем меня ты любишь?..

Незнакомец

Зачем, красавица? — увы,
Не знаю... Полон жизнью новой,
С своей преступной головы
Я гордо снял венец терновый.
Я всё былое бросил в прах;
Мой рай, мой ад в твоих очах;
Я проклял прежнюю беспечность;
С тобою розно мир и вечность —
Пустые звучные слова,
Прекрасный храм — без божества.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты,
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты;
Люблю блаженством и страданьем,
Надеждою, воспоминаньем,
Всей роскошью души моей...
О, не страшись... но пожалей!..
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам,
Прислужниц чудных и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сниму венец я золотой,
Возьму с цветов росы полночной,
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью
И яркий перстень из агата
Надену на руку твою.
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я.
Чертоги светлые построю
Из бирюзы и янтаря...

Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака
И дам тебе всё, всё земное,
Люби меня!..
                    И он слегка
Прижался страстными устами
К ее пылающим устам,
Тоской, угрозами, слезами
Он отвечал ее мольбам.
Она противиться не смела,
Слабела, таяла, горела
От неизвестного огня,
Как белый воск от взоров дня.
В то время сторож полуночный
Один, вокруг стены крутой,
Когда ударил час урочный,
Бродил с чугунною доской.
Но возле кельи девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил.
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Невнятный крик и слабый стон...
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика.
«То не отшельницы моленье!» —
Подумал он, и до замка
Уже коснулся... тихо снова!
Ни слов, ни шума не слыхать...
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать...
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча, скорыми шагами
Свой прежний продолжает путь.

За час до солнечного всхода,
Еще высокий берег спал,
Вдруг зашумела непогода,
И океан забушевал;
И вместе с бурей и громами,
Как умирающего стон,
Раздался глухо над волнами
Зловещий колокола звон.
Не для молитвы призывали
Святых монахинь в тихий храм,
Не двум счастливым женихам
Свечи дрожащие пылали:
В средине церкви гроб стоял,
Досками черными обитый,
И в том гробу мертвец лежал,
Холодным саваном увитый.

Зачем не слышен плач родных
И не видать во храме их?
И кто мертвец? Едва приметный
Остаток прежней красоты
Являют бледные черты;
Уста закрытые бесцветны,
И в сердце пылкой страсти яд
Сии глаза не поселят,
Хотя еще весьма недавно
Владели пылкою душой,
Неизъяснимой, своенравной,
В борьбе безумной и неравной
Не знавшей власти над собой.
И нет тебя, младая дева!..
Как злак потопленных полей,
Добыча ревности и гнева,
Ты вдруг увяла в цвете дней!..
Напрасно будет солнце юга
Играть приветно над тобой,
Напрасно будет дождь и вьюга
Реветь над плитой гробовой.
Лобзанье юноши живое
Твои уста не разомкнет;
Земля взяла свое земное,
Она назад не отдает.

3

С тех пор промчалось много лет,
Пустела древняя обитель,
И время, вечный разрушитель,
Смывало постепенно след
Высоких стен; и храм священный,
Добыча бури и дождей,
Стал молчалив, как мавзолей,
Умерших памятник надменный.
Из двери в дверь во мгле ночей
Блуждает ветр освобожденный.
Внутри, на ликах расписных
И на окладах золотых,
Большой паук, отшельник новый,
Кладет сетей своих основы.
Не раз, сбежав со скал крутых,
Сайгак иль серна, дочь свободы,
Приют от зимней непогоды
Искала в кельях. И порой
Забытой утвари паденье
Среди развалины глухой
Их приводило в изумленье.
Но в наше время ничему
Нельзя нарушить тишину:
Что может падать, то упало,
Что мрет, то умерло давно,
Что живо, то бессмертно стало,

Но время вживе удержало
Воспоминание одно.

И море пенится и злится,
И сильно плещет, и шумит,
Когда волнами устремится
Обнять береговой гранит.
Он вдался в море одиноко,
Над ним чернеет крест высокой.
Всегда скалой отражена,
Покрыта пылью белоснежной,
Теснится у волны волна,
И слышен ропот их мятежный,
И удаляются толпой,
Другим предоставляя бой.

Над тем крестом, над той скалою,
Однажды утренней порою
С глубокой думою стоял
Дитя Эдема, ангел мирный,
И слезы молча утирал
Своей одеждою сапфирной,
И кудри мягкие, как лен,
С главы венчанной упадали,
И крылья легкие, как сон,
За белыми плечьми сияли.
И был небесный свод над ним
Украшен радугой цветистой,
И волны с пеною сребристой
С каким-то трепетом живым
К скалам теснились вековым.
Всё было тихо. Взор унылый
На небо поднял ангел милый,
И с непонятною тоской
За душу грешницы младой
Творцу молился он, и, мнилось,
Природа вместе с ним молилась.

Тогда над синей глубиной
Дух отверженья и порока
Без цели мчался с быстротой
Новорожденного потока.
Страданий мрачная семья
В чертах недвижимых таилась;
По следу крыл его тащилась
Багровой молнии струя.
Когда ж он пред собой увидел
Всё, что любил и ненавидел,
То шумно мимо промелькнул
И, взор пронзительный кидая,
Посла потерянного рая
Улыбкой горькой упрекнул.

Два отрывка, вычеркнутых Лермонтовым из пятой редакции «Демона»

после ст. 38

О море, море! как прекрасны
В блестящий день и в день ненастный
Его и рев и тишина!
Покрыта белыми кудрями,
Как серебром и жемчугами,
Несется гордая волна,
Толпою слуг окружена;
И как царица молодая
Течет одна между рабов,
Их скромных просьб, их нежных слов
Не слушая, не понимая.
Как я люблю с давнишних пор
Следить их буйные движенья
И толковать их разговор,
Живой и полный выраженья.
Люблю упорный этот бой
С суровым небом и землей.
Люблю беспечность их свободы,
Цепей не знавшей никогда,
Их бесконечные походы
Бог весть откуда и куда.
И в час заката молчаливый
Их раззолоченные гривы,
И бесполезный этот шум,
И эту жизнь без дел и дум,
Без гроба и без колыбели,
Без мук, без счастия, без цели.

после ст. 82

К чему? — одной минутой рая
Не оживет душа пустая!..
Бессильно светлый луч зари
На темной туче не гори:
Тебе ведь с ней не подружиться,
Ей ждать нельзя, она умчится,
Она громовою стрелой
Затмит покров твой золотой!

ШЕСТАЯ РЕДАКЦИЯ

1838 года, сентября 8 дня

ЧАСТЬ 1

авториз. копия

Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим;

Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним;
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни страха, ни сомненья,
И не грозил душе его
Веков бесплодных ряд унылый;
И много, много — и всего
Припомнить не имел он силы!

С тех пор отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта.
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему!

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял;
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял;
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел — и хищный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
И дик и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

И перед ним иной картины
Красы живые расцвели;
Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали.
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразные раины,
Звонко бегущие ручьи
По дну из камней разноцветных,
И кущи роз, где соловьи
Поют красавиц, безответных
На сладкий говор их любви;
Чинар развесистые сени,
Густым венчанные плющом;
Ущелья, где палящим днем
Таятся робкие олени;
И блеск, и жизнь, и шум листов,
Стозвучный говор голосов,
Дыханье тысячи растений;
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлажненные ночи;
И звезды яркие, как очи,
Как взор грузинки молодой!
Но, кроме зависти холодной,
Природы блеск не возбудил
В груди изгнанника бесплодной
Ни новых чувств, ни новых сил:
И всё, что пред собой он видел,
Он презирал иль ненавидел.

Высокий дом, широкий двор
Седой Гудал себе построил;
Трудов и слез он много стоил
Рабам, послушным с давних пор.
С утра на скат соседних гор
От стен его ложатся тени;
В скале нарублены ступени,
Они от башни угловой
Ведут к реке; по ним, мелькая,
Покрыта белою чадрой [1],
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

Всегда безмолвно на долины
Глядел с утеса мрачный дом:
Но пир большой сегодня в нем,
Звучит зурна [2], и льются вины!
Гудал сосватал дочь свою,
На пир созвал он всю семью.
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг.

---

[1] Белое покрывало.
[2] Род флейты.

Средь игр и песен их досуг
Проходит; дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг.

И вот Тамара молодая
Берет свой бубен расписной;
В ладони мерно ударяя,
Запели все,— одной рукой
Кружа его над головой,
Увлечена летучей пляской,
Она забыла мир земной;
Ее узорною повязкой
Играет ветер; как волна,
Нескромной думою полна,
Грудь подымается высоко;
Уста бледнеют и дрожат,
И жадной страсти полон взгляд,
Как страсть палящий и глубокий!
Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока́!
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей алмазною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишен был рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела!..

В последний раз она плясала.
Увы! заутра ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.
И часто грустное сомненье
Темнило светлые черты;
Но были все ее движенья
Так стройны, полны выраженья,
Так полны чудной простоты,
Что если б враг небес и рая
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б и вздохнул.

И Демон видел... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг;
Немой души его пустыню

Наполнил благодатный звук;
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!
И долго сладостной картиной
Он любовался; и мечты
О прошлом счастье цепью длинной,
Как будто за звездой звезда,
Пред ним катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Он с новой думой стал знаком,
В нем чувство вдруг заговорило
Родным, понятным языком.
То был ли признак возрожденья?..
Он подойти хотел — не мог!
Забыть? Забвенья не дал бог —
Да он и не взял бы забвенья!

На брачный пир к закату дня,
Измучив доброго коня,
Спешил жених нетерпеливый;
Арагвы светлой он счастливо
Достиг зеленых берегов.
Под тяжкой ношею даров
Едва, едва переступая,
За ним верблюдов длинный ряд
Дорогой тянется, мелькая:
Их колокольчики звенят.
Он сам, властитель Синодала,
Ведет богатый караван;
Ремнем затянут стройный стан,
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи [1] — кругом она
Вся галуном обведена.
Цветными вышито шелками
Его седло, узда с кистями.
Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти золотой;
Питомец резвый Карабаха
Прядет ушьми и, полный страха,
Храпя, косится с крутизны
На пену скачущей волны.
Опасен, узок путь прибрежный:
Утесы с левой стороны,
Направо глубь реки мятежной.
Уж поздно. На вершине снежной
Румянец гаснет; встал туман;
Прибавил шагу караван.

---

[1] Верхняя грузинская одежда.

И вот часовня на дороге...
Тут с давних пор почиет в боге
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
С тех пор на праздник иль на битву,
Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил,
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала;
Но презрел молодой жених
Обычай прадедов своих;
Его коварною мечтою
Лукавый Демон возмущал;
Он, в мыслях, под ночною тьмою
Уста невесты целовал!
Вдруг впереди мелькнули двое,
И больше — выстрел! Что такое?
Привстав на звонких стременах,
Надвинув на брови папах,[1]
Отважный князь не молвил слова;
В руке сверкнул турецкий ствол,
Нагайка щелк! и как орел
Он кинулся... и выстрел снова!
И дикий крик, и стон глухой
Промчался в глубине долины!
Недолго продолжался бой,
Бежали робкие грузины.

И стихло всё. Теснясь толпой,
Верблюды с ужасом смотрели
На трупы всадников: порой
Их колокольчики звенели.
Разграблен пышный караван,
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица.
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт.
Не придут сестры с матерями,
Покрыты белыми чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь, у дороги, над скалою
На память водрузится крест,
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Порой усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет.

---

[1] Баранья шапка, персидская.

Несется конь быстрее лани,
Храпит и рвется будто к брани,
То вдруг осадит на скаку,
Прислушается к ветерку,
Широко ноздри раздувая,
То, разом в землю ударяя
Шипами звонкими копыт,
Взмахнув растрепанною гривой,
Вперед без памяти летит.
На нем есть всадник молчаливый:
Он бьется на седле порой,
Припав на гриву головой.
Уж он не правит поводами,
Задвинул ноги в стремена,
И кровь широкими струями
На чепраке его видна.
Скакун надежный господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала.

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный?
Кто бледный всадник у ворот?
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал,
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал;
Увы! Но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого.

На беззаботную семью
Как гром слетела божья кара!
Упала на постель свою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышит;
И вот она как будто слышит
Волшебный голос над собой:

«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет;
Она лишь взор туманит ясный,
Ланиты девственные жжет.
Он далеко; он не узнает,
Не оценит тоски твоей;
Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей;
Он слышит райские напевы...
Что жизни мелочные сны
И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?
Нет, жребий смертного творенья,

Поверь мне, ангел мой земной,
Не стоит одного мгновенья
Твоей печали дорогой.

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада;
Час разлуки, час свиданья —
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они.

Лишь только ночь своим покровом
Долины ваши осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит,
Лишь только ветер над скалою
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей,
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной,
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет,—
К тебе я стану прилетать!
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать...»

Слова умолкли. В отдаленье
Вослед за звуком умер звук.
Она, вскочив, глядит вокруг;
Невыразимое смятенье
В ее груди: печаль, испуг,
Восторга пыл — ничто в сравненье!
Все чувства в ней кипели вдруг,
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жилам пробегал,
И этот голос, чудно-новый,
Ей мнилось, всё еще звучал.
И перед утром сон желанный
Глаза усталые смежил,
Но мысль ее он возмутил
Мечтой пророческой и странной.

Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный —
Ни день, ни ночь,— ни мрак, ни свет!

ЧАСТЬ 2

«Отец, отец! оставь угрозы,
Свою Тамару не брани;
Я плачу,— видишь эти слезы,—
Уже не первые они!
Не буду я ничьей женою,
Скажи моим ты женихам;
Супруг мой взят сырой землею,
Другому сердца не отдам.
С тех пор как труп его кровавый
Мы схоронили под горой,
Меня тревожит дух лукавый
Неотразимою мечтой.
В тиши ночной меня тревожит
Толпа печальных, странных снов;
Молиться днем душа не может:
Мысль далека от звука слов!
Огонь по жилам пробегает,
Я сохну, вяну день от дня.
Отец! душа моя страдает,
Отец мой, пощади меня!
Отдай в священную обитель
Дочь безрассудную свою,
Там защитит меня Спаситель,
Пред ним тоску мою пролью;
На свете нет уж мне веселья...
Святыни миром осеня,
Пусть примет сумрачная келья,
Как гроб, заранее меня».

И в монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и в монашеской одежде,
Как под узорною парчой,
Всё беззаконною мечтой
В ней сердце билося, как прежде.
Пред алтарем, при блеске свеч.

В часы божественного пенья,
Знакомая среди моленья
Ей часто слышалася речь;
Под сводом сумрачного храма
Знакомый образ иногда
Скользил без звука и следа
В тумане легком фимиама:
Он так смотрел! *он* так манил!
Он, мнилось, так несчастлив был!

В прохладе меж двумя холмами
Таился монастырь святой:
Чинар и тополей рядами
Он окружен был, и порой,
Когда ложилась ночь в ущелье,
Сквозь них мерцала в окнах кельи
Лампада грешницы младой.
Кругом, в тени дерев миндальных,
Где ряд стоит крестов печальных,
Безмолвных сторожей гробниц,
Спевались хоры легких птиц.
По камням прыгали, шумели
Ключи студеною волной
И, под нависшею скалой
Сливаясь дружески в ущелье,
Катились дале меж кустов,
Покрытых инеем цветов.

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины,
И звучный колокола глас
Дрожит, обитель пробуждая;
В торжественный и мирный час,
Когда грузинка молодая
С кувшином длинным за водой
С горы спускается крутой,
Вершины цепи снеговой
Светло-лиловою стеной
На чистом небе рисовались,
А в час заката одевались
Они румяной пеленой.
И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

Но Демон огненным дыханьем
Тамары душу запятнал
И божий мир своим блистаньем
Восторга в ней не пробуждал.
Страсть безотчетная как тенью

Жизнь осенила перед ней;
И стало всё предлог мученью —
И утра луч, и мрак ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обоймет,
Перед божественной иконой
Она в безумье упадет
И плачет, и в ночном молчанье
Ее тяжелое рыданье
Тревожит путника вниманье,
Сквозь шум далекого ручья
И трель живую соловья.
Бывало, разбросав на плечи
Волну кудрей своих, она
Стоит без мысли, холодна,—
И странные лепечут речи
Ее дрожащие уста;
И грудь желание волнует,
И чудный призрак всё рисует
Пред нею в сумраке мечта.
Утомлена борьбой всегдашной,
Склонится ли на ложе сна —
Подушка жжет, ей душно, страшно,
И вся, вскочив, дрожит она.

. . . .
. . . .

Вечерней мглы покров воздушный
Уж холмы Грузии одел;
Привычке сладостной послушный,
В обитель Демон прилетел,
Но долго, долго он не смел
Святыню мирного приюта
Нарушить. И была минута,
Когда казался он готов
Оставить умысел жестокой.
Задумчив, у стены высокой
Он бродит. От его шагов
Без ветра лист в тени трепещет.
Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет:
Кого-то ждет она давно!
И вот средь общего молчанья
Чингуры [1] стройное бряцанье
И звуки песни раздались.
И звуки те лились, лились,
Как слезы, мерно друг за другом;
И эта песнь была нежна,
Как будто для земли она
Была на небе сложена.
Не ангел ли с забытым другом
Вновь повидаться захотел,

[1] Род гитары.

Сюда украдкою слетел
И о былом ему пропел,
Чтоб усладить его мученье?..
Тоску любви, ее волненье
Постигнул Демон в первый раз.
Он хочет в страхе удалиться —
Его крыло не шевелится!
И чудо! Из померкших глаз
Слеза тяжелая катится...
Поныне возле кельи той
Насквозь прожженный виден камень
Слезою жаркою, как пламень,
Нечеловеческой слезой.

И входит он, любить готовый,
С душой, открытой для добра;
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепет ожиданья,
Страх неизвестности немой,
Как будто в первое свиданье
Спознались с гордою душой.
То было злое предвещанье!
Он входит, смотрит — перед ним
Посланник рая, херувим,
Хранитель грешницы прекрасной,
Стоит с блистающим челом
И от врага с улыбкой ясной
Приосенил ее крылом.
И луч божественного света
Вдруг ослепил нечистый взор,
И вместо сладкого привета
Раздался тягостный укор:

«Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет.
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?»
                    Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся,
Зарделся ревностию взгляд,
И вновь в душе его проснулся
Старинной ненависти яд.
«Она моя,— сказал он грозно,—
Оставь ее, она моя;
Отныне жить нельзя нам розно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!..»

И ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
. . . .

Тамара

О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?

Демон

Ты прекрасна.

Тамара

Но молви! кто ж ты? Отвечай...

Демон

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит,
Едва надежда расцветет,
Я тот, кого никто не любит
И всё живущее клянет;
Ничто пространство мне и годы,
Я бич рабов моих земных,
Я враг небес, я зло природы,—
И, видишь, я у ног твоих.
Тебе принес я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои;
О, выслушай из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю;
Я раб твой, я тебя люблю!

Когда я в первый раз увидел
Твой чудный, твой волшебный взор,
Я тайно вдруг возненавидел
Мою свободу, как позор.
Своею властью недовольный,
Я позавидовал невольно
Неполным радостям людей;
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Вдруг шевельнулася, как змей.

Что без тебя теперь мне вечность,
Моих владений бесконечность?
Пустые, звучные слова;
Обширный храм — без божества!

Тамара

Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу!
Творец — увы! я не могу
Молиться; тайною отравой
Мой ум слабеющий объят.
Послушай, ты меня погубишь!
Твои слова — огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь?

Демон

Зачем, красавица? Увы,
Не знаю. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я всё былое бросил в прах;
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты!
В душе моей с начала мира
Твой образ был напечатлен;
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно, тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало —
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало!
О! Если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века, без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья!
Жить для себя, скучать собой,
И этой долгою борьбой
Без торжества, без примиренья;
Всегда жалеть — и не желать;
Всё знать, всё чувствовать, всё видеть;
Стараться всё возненавидеть —
И всё на свете презирать!

Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство,

Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно:
Они текли в венцах из злата!
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов, и лиц, и взоров злобных,
Увы, я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю,— прежними друзьями
Я был отвергнут; как Эдем,
Мир для меня стал глух и нем:
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа
Бог весть откуда и куда!
Как часто на вершине льдистой,
Один меж небом и землей,
Под кровом радуги огнистой,
Сидел я мрачный и немой,
И белогривые метели,
Как львы, у ног моих ревели;
Как часто, подымая прах,
В борьбе с могучим ураганом,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской,
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? Что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут —
Надежда есть,— ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень,—
Мечтаний прежних и страстей
Несокрушимый мавзолей!

Тамара

Зачем мне знать твои печали?
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...

Демон

Против тебя ли?

Тамара

Нас могут слышать!..

Демон

Мы одне.

Тамара

А бог?

Демон

На нас не кинет взгляда;
Он занят небом — не землей!

Тамара

А наказанье — муки ада?

Демон

Так что ж? ты будешь там со мной.
Мы, дети вольные эфира,
Тебя возьмем в свои края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга вечная моя.
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты;
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить,
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.

Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое,—
Но дни бегут и стынет кровь.
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
И пусть другие б утешались
Ничтожным жребием своим:
Их думы неба не касались,
Мир лучший недоступен им.
Но ты, прекрасное созданье,
Не в жертву им обречена;
Тебя иное ждет страданье,

Иных восторгов глубина.
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе;
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
О! верь мне! Я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду как дара
И вечность дам тебе за миг:
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик!
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам,
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной,
Его усыплю той росой.
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою.
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря.
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе всё, всё земное —
Люби меня!

И он слегка
Коснулся жаркими устами
Ее трепещущим губам,
И лести сладкими речами
Он отвечал ее мольбам.
Могучий взор смотрел ей в очи;
Он жег ее; во мраке ночи
Над нею прямо он сверкал,
Неотразимый, как кинжал.
Увы! злой дух торжествовал...
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно кровь ее проник;
Мучительный, но слабый крик
Ночное возмутил молчанье.
В нем было всё: любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой!..

В то время сторож полуночный
Один вокруг стены крутой,

Когда ударил час урочный,
Бродил с чугунною доской;
И под окошком девы юной
Он шаг свой мерный укротил
И руку над доской чугунной,
Смутясь душой, остановил;
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышал он
Двух уст согласное лобзанье,
Чуть внятный крик и слабый стон.
И нечестивое сомненье
Проникло в сердце старика;
Но пронеслось еще мгновенье,
И смолкло всё. Издалека
Лишь дуновенье ветерка
Роптанье листьев приносило,
Да с темным берегом уныло
Шепталась горная река.
Канон угодника святого
Спешит он в страхе прочитать,
Чтоб наважденье духа злого
От грешной мысли отогнать;
Крестит дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь
И молча скорыми шагами
Обычный продолжает путь.
. . . .

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала.
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела.
Навек опущены ресницы —
Но кто б, взглянувши, не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной
Скользил по ним струей златой,
Напрасно их в немой печали
Уста родные целовали —
Нет, смерти вечную печать
Ничто не в силах уж сорвать!
И всё, где пылкой жизни сила
Так внятно чувствам говорила,
Теперь один ничтожный прах;
Улыбка странная застыла,
Едва мелькнувши на устах;
Но темен, как сама могила,
Печальный смысл улыбки той:
Что в ней? Насмешка ль над судьбой,
Непобедимое ль сомненье?
Иль к жизни хладное презренье?
Иль с небом гордая вражда?
Как знать? Для света навсегда

Утрачено ее значенье!
Она невольно манит взор,
Как древней надписи узор,
Где, может быть, под буквой странной
Таится повесть прежних лет,
Символ премудрости туманной,
Глубоких дум забытый след.
И долго бедной жертвы тленья
Не трогал ангел разрушенья;
И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, как смерть сама!

Ни разу не был в дни веселья
Так разноцветен и богат
Тамары праздничный наряд:
Цветы родимого ущелья
(Так древний требует обряд)
Над нею льют свой аромат
И, сжаты мертвою рукою,
Как бы прощаются с землею...

Уж собрались в печальный путь
Друзья, соседи и родные.
Терзая локоны седые,
Безмолвно поражая грудь,
В последний раз Гудал садится
На белогривого коня —
И поезд двинулся. Три дня,
Три ночи путь их будет длиться:
Меж старых дедовских костей
Приют покойный вырыт ей.

Один из праотцев Гудала,
Грабитель путников и сел,
Когда болезнь его сковала
И час раскаянья пришел,
Грехов минувших в искупленье
Построить церковь обещал
На вышине гранитных скал,
Где только вьюги слышно пенье,
Куда лишь коршун залетал.
И скоро меж снегов Казбека
Поднялся одинокий храм,
И кости злого человека
Вновь успокоилися там.
И превратилася в кладбище
Скала, родная облакам,
Как будто ближе к небесам,
Теплей последнее жилище!

Едва на жесткую постель
Тамару с пеньем опустили,

Вдруг тучи гору обложили
И разыгралася метель;
И громче хищного шакала
Она завыла в небесах
И белым прахом заметала
Недавно вверенный ей прах.
И только за скалой соседней
Утих моленья звук последний,
Последний шум людских шагов,
Сквозь дымку серых облаков
Спустился ангел легкокрылый
И над покинутой могилой
Приник с усердною мольбой
За душу грешницы младой.
И в то же время царь порока
Туда примчался с быстротой
В снегах рожденного потока.
Страданий мрачная семья
В чертах недвижимых таилась;
По следу крыл его тащилась
Багровой молнии струя.
Когда ж он пред собой увидел
Всё, что любил и ненавидел,
То шумно мимо промелькнул
И, взор пронзительный кидая,
Посла потерянного рая
Улыбкой горькой упрекнул...

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет,
И голосов нестройный гул
Теряется; и караваны
Идут, гремя, издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река;
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботное дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Когда-то в очередь свою,
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью.

И только ждут луны восхода
Его незримые жильцы;
Тогда им праздник и свобода!
Жужжат, бегут во все концы:
Седой паук, отшельник новый,
Прядет сетей своих основы;
Зеленых ящериц семья
На кровле весело играет,
И осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою
И блещет, как булатный меч,
Забытый в поле грозных сеч,
Ненужный падшему герою...
Всё дико. Нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала...
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!
И там, где кости их истлели,
На рубеже зубчатых льдов,
Гуляют ныне лишь метели
Да стаи вольных облаков;
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Я кончил — и в груди невольное сомненье!
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг?

Пробудится ль в тебе о прошлом
сожаленье?
Иль, быстро пробежав докучную тетрадь,
Ты только мертвого, пустого одобренья
Наложишь на нее холодную печать;

И не узнаешь здесь простого выраженья
Тоски, мой бедный ум томившей столько
лет;
И примешь за игру иль сон воображенья
Больной души тяжелый бред...

Первоначальный вариант шестой редакции Стихи, не вошедшие ни в одну из других редакций поэмы

ПОСВЯЩЕНИЕ

ереванский список

Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный.
Как сына ты его благослови
И осени́ вершиной белоснежной;
От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной;
На севере, в стране тебе чужой,
Я сердцем твой — всегда и всюду твой.

Еще ребенком, робкими шагами
Взбирался я на гордые скалы,
Увитые туманными чалмами,
Как головы поклонников Аллы́.
Там ветер машет вольными крылами,
Там ночевать слетаются орлы.
Я в гости к ним летал мечтой послушной
И сердцем был — товарищ их воздушный.

С тех пор прошло тяжелых много лет,
И вновь меня меж скал своих ты встретил;
Как некогда ребенку, твой привет
Изгнаннику был радостен и светел.
Он про́лил в грудь мою забвенье бед,
И дружно я на дружний зов ответил;
И ныне здесь, в полуночном краю,
Всё о тебе мечтаю и пою.

после 163 ереванский список

В уме холодном и печальном
Воскресли мертвые мечты
О прежних днях, о рае дальном.

перед 177

Что пользы? рано или поздно
Она моя! — сказал он грозно.

после 315

«Взгляни на свод небес широкий:
Там беззаботно, как всегда,
Блуждают в синеве высокой
Светил свободные стада;
О скалы хладные цепляясь,
Всё так же бродят облака,—
На них роскошно колебаясь,
То развиваясь, то свиваясь
Как будто перья шишака,—
И пляской заняты воздушной,
На землю смотрят равнодушно,—
На них, красавица, взгляни,
Будь равнодушна, как они».

после 383

С тех пор — ты помнишь — труп кровавый
К нам верный конь его примчал,
С тех пор какой-то дух лукавый
Мой ум волшебною отравой
Незримой цепью оковал.

после 491

Тогда рукою беспокойной
Вдоль по струнам чонгуры стройной
Нетерпеливо пробежит.
И звучной песнею старинной
Молчанье келии пустынной
Как бы волшебством оживит.
И перед ней былые годы,
Лета ребяческой свободы
Толпою ласковой встают
И улыбаются, зовут...
И вновь кругом мелькают тени.
И, замолчав, сидит она,
Как бы одно из тех видений,
И неподвижна и бледна...

после 533

Но кратко было заблужденье!
Глядит, Тамара перед ним
Мила, как первый херувим,
Как первая звезда творенья...
Но горе! юная княжна
В светлице тихой не одна:
Посланник рая — ангел нежный,
В одежде длинной, белоснежной,
Стоит с блистающим челом
Перед грузинкою прекрасной,

вм. 786—799

Стучало сердце в ней, как молот.
По слабым членам смерти холод
Промчался гибельной струей,
И стон последнего страданья
За звуком первого лобзанья
В груди раздался молодой...

после 868

Спи непробудно, ангел милый;
Да воцарится тишина
Над девственной твоей могилой!
И мир душе твоей унылой,
Где б ни носилася она.
Земля недолго обладала
Твоей небесной красотой;
Но больше многих ты страдала.
Любила более иной.
Твой жребий было исключенье

455

загл. и эпиграф авториз. копия

БЭРИ [1]

On n'a qu'une seule patrie.[2]

после 12

Кто умер, кто к земным страстям
Вернулся вновь. И ныне там

2

вм. 13—41 и 42—44

Тогда уж Грузия была
Под властью русских, и цвела,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.
Однажды старый генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог. Без слов, без слез
Он умирал. Один монах
И взял его. С тех пор в стенах
Хранительных остался он,
Вернулся вновь. И ныне там

после ст. 69

И вот предсмертною тоской
Уже томиться стал больной;
Тогда решился он сорвать
Молчанья гордого печать.

после ст. 70

Тогда один святой чернец
Уговорил его сорвать
Молчанья гордую печать —
И сердце полное тоской
Пред смертью высказал больной.

Старик, качая головой,
Ему внимал: понять не мог
Он этих жалоб и тревог,
И речью хладною не раз
Он прерывал его рассказ.

после 87

Когда б я был хоть вольный зверь,
Я не томился б, как теперь,
Души болезнию немой,
Я б отыскал врага и бой,
Я б разом умер, не грустя,
Судьбе покорный, как дитя.

после 542

Тот край казался мне знаком...
И страшно, страшно стало мне!..
Вот снова мерный в тишине

---

[1] Бэри по-грузински: монах.
[2] У нас только одно отечество (фр.).— *Ред.*

Раздался звук, и в этот раз
Я понял смысл его тотчас:
То был предвестник похорон,
Большого колокола звон.
И слушал я, без дум, без сил,
Казалось, звон тот выходил
Из сердца, будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
О боже, думал я, зачем
Ты дал мне то, что дал ты всем,
И крепость сил, и мысли власть,
Желанья, молодость и страсть?
Зачем ты ум наполнил мой
Неутолимою тоской
По дикой воле? почему
Ты на земле мне одному
Дал вместо родины тюрьму?
Ты не хотел меня спасти!
Ты мне желанного пути
Не указал во тьме ночной,
И ныне я как волк ручной.
Так я роптал. То был, старик,
Отчаянья безумный крик,
Страданьем вынужденный стон.
Скажи? ведь буду я прощен?
Я был обманут в первый раз!
До сей минуты каждый час
Надежду темную дарил,
Молился я, и ждал, и жил.
И вдруг унылой чередой
Дни детства встали предо мной,
И вспомнил я ваш темный храм
И вдоль по треснувшим стенам
Изображения святых
Твоей земли. Как взоры их
Следили медленно за мной
С угрозой мрачной и немой!
А на решетчатом окне
Играло солнце в вышине...
О, как туда хотелось мне,
От мрака кельи и молитв,
В тот чудный мир страстей и битв...
Я слезы горькие глотал,
И детский голос мой дрожал,
Когда я пел хвалу тому,
Кто на земле мне одному
Дал вместо родины — тюрьму...
О! Я узнал тот вещий звон,
К нему был с детства приучен
Мой слух.— И понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.
И быстро духом я упал.
Мне стало холодно. Кинжал,
Вонзаясь в сердце, говорят,

Так в жилы разливает хлад.
Я презирал себя. Я был
Для слез и бешенства без сил.
Я с темным ужасом в тот миг
Свое ничтожество постиг
И задушил в груди моей
Следы надежды и страстей,
Как душит оскорбленный змей
Своих трепещущих детей...
Скажи, я слабою душой
Не заслужил ли жребий свой?

вм. 564—567

В туманный сладкий утра час
Меня тревожил он не раз
И уносил живые сны
Про горы милой стороны,
Про ласки ближних и родных,
Про вольность дикую степей

после 688

[Но скоро вихорь новых грез
Далече мысль мою унес,
И пред собой увидел я
Большую степь... Ее края
Тонули в пасмурной дали,
И облака по небу шли
Косматой бурною толпой
С невыразимой быстротой:
В пустыне мчится не быстрей
Табун испуганных коней.
И вот я слышу: степь гудит,
Как будто тысячу копыт
О землю ударялись вдруг.
Гляжу с боязнию вокруг
И вижу: кто-то на коне,
Взвивая прах, летит ко мне,
За ним другой, и целый ряд...
Их бранный чуден был наряд!
На каждом был стальной шелом
Обернут белым башлыком,
И под кольчугою надет
На каждом красный был бешмет.
Сверкали гордо их глаза;
И с диким свистом, как гроза,
Они промчались близ меня.
И кажды⟨й⟩, наклонясь с коня,
Кидал презренья полный взгляд
На мой монашеский наряд
И с громким смехом исчезал...
Томим стыдом, я чуть дышал,
На сердце был тоски свинец...
Последний ехал мой отец.
И вот кипучего коня
Он осадил против меня
И, тихо приподняв башлык,
Открыл знакомый бледный лик:

Осенней ночи был грустней
Недвижный взор его очей,
Он улыбался — но жесток
В его улыбке был упрек!
И стал он звать меня с собой,
Маня могучею рукой,
Но я как будто бы прирос
К сырой земле: без дум, без слез,
Без чувств, без воли я стоял
И ничего не отвечал.]

456

вм. 5—7 *черн. автограф*

Но публика всё просит новых тем;
Кто ж виноват? — сложить бы на покойных,
Да совестно — меж ними есть достойных
Немало.

после 11

Мы женщин презираем потому,
Что некогда нам волноваться страстью;
Науки были б нашему уму
Доступны... но они вредили б счастью;
Служить, конечно, должно — да к чему?
Без нас найдутся ревностные слуги,
К тому же рано тайные недуги
Тревожат нас, и мы таки должны
Себя сберечь для будущей жены...
Оброк не худо также нам собрать бы,
Чтоб на воды уехать после свадьбы.

Меж тем о благе мира чуждых стран
Заботимся, хлопочем мы не в меру,
С Египтом новый сладил ли султан?
Что Тьер сказал — и что сказали Тьеру?
На всех набрел политики туман,
Зевают все — а можно б нас исправить,
Лишь только бы стихи читать заставить;
А потому решился я писать
(Хоть для всего, что надо мне сказать,
Размер ее немножко будет тесен)
Короткую поэмку в сорок песен.

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ
1837—1841

* **339.** «Полярная звезда на 1856 г.». Лондон, 1856, кн. 2, без эпиграфа, под загл. «На смерть Пушкина» (дата выхода в свет альм.— 24 или 25 мая 1856 г.). - - БЗ. 1858, № 20, под тем же загл., без эпиграфа и без ст. 57—72 (текст идентичен черн. автографу). - - Соч. 1860, т. 1, под тем же загл., без эпиграфа, с ценз. купюрой ст. 61: слово «трона» заменено многоточием (текст ст. 1—56 идентичен черн. автографу). - - ВЕ. 1887, № 1, под загл. «На смерть поэта», по списку, приложенному к делу «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым и о распространении оных губернским секретарем Раевским». - - ПСС-2, т. 1, ст. 1—56 по автографу ГПБ (фонд В. Ф. Одоевского). - - Печ. по автографу ГПБ (ст. 1—56) и по списку ПД (ст. 57—72), приложенному к делу «О непозволительных стихах...», с исправлением ст. 65 по др. авторитетным спискам, как это сделано в Соч. АН, т. 2. Ст. 66 во многих изданиях, начиная с Соч.1860, т. 1: «Есть грозный судия: он ждет». Подобно Соч. АН, т. 2 этот ст. приводится по копии дела «О непозволительных стихах...», где он читается: «Есть грозный суд: он ждет» (это чтение подтверждается рядом списков, распространявшихся до публикации дела и, надо думать, восходящих к авторскому тексту). Вслед за Собр. соч. М. Ю. Лермонтова (Л., 1979, Т. 1), восстановившем старую традицию, эпиграф в наст. изд. присоединяется к тексту ст-ния. Эпиграф к «Смерти поэта» взят из трагедии французского драматурга Ж. Ротру «Венцеслав» (1648) в неопубликованном русском переводе А. А. Жандра (1789—1873). Высказывалось предположение, что эпиграф появился лишь на суде — для прикрытия острого политического смысла заключительных строк (см.: Боричевский И. Пушкин в борьбе с придворной аристократией // ЛН. 1948. Т. 45/46. С. 348; Андроников. С. 59—61). Однако такое допущение несостоятельно: как раз эпиграф вызвал особое негодование шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа. «Вступление к этому сочинению ⟨т. е. эпиграф⟩,— писал он в докладной записке Николаю I от 19 или 20 февр. 1837 г.,— дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное» (Воспоминания. С. 393). И в высших кругах общества эпиграф был воспринят как наиболее криминальная часть текста. «Лермонтов,— вспоминала в 1858 г. Е. П. Ростопчина,— написал... жгучее стихотворение, в котором он обращался прямо к императору,

требуя мщения. При всеобщем возбуждении умов этот поступок, столь натуральный в молодом человеке, был перетолкован» (Воспоминания. С. 282). На черн. автографе ЦГАЛИ, тетр. С. А. Рачинского (ст. 1—56) внизу, рядом со строками, посвященными Дантесу, Лермонтов нарисовал профиль, удивительно напоминающий Дантеса (атрибуция А. Н. Маркова; см. воспроизведение автографа на с. 10—11 наст. тома). На беловом автографе ГПБ помета В. Ф. Одоевского: «Стихотворение, которое не могло быть напечатано». Очевидно, ст-ние было передано Одоевскому для «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“», которые он редактировал с А. А. Краевским. Однако опубликовать «Смерть поэта» было невозможно, ибо даже за краткий некролог (начинающийся словами: «Солнце русской поэзии закатилось...»), написанный Одоевским, Краевскому был сделан строжайший выговор (Висковатов. С. 220).

Основная часть «Смерти поэта» (ст. 1—56) была, вероятно, написана 28 янв. 1837 г. (дата в деле «О непозволительных стихах...»). Пушкин умер 29 янв., но слухи о его гибели распространялись в Петербурге накануне. В воскресенье 7 февр., после посещения Лермонтова его двоюродным братом — камер-юнкером, чиновником министерства иностранных дел Н. А. Столыпиным,— были написаны заключительные строки, начиная со слов «А вы, надменные потомки...». Сохранились свидетельства современников о том, что эти строки — ответ Лермонтова на спор со Столыпиным, разделявшим позицию великосветских кругов, которые, оправдывая поведение Дантеса и Геккерна, утверждали, что они «не подлежат ни законам, ни суду русскому» (Воспоминания. С. 390). В своем «объяснении» на суде С. А. Раевский стремился свести смысл заключительных строк к спору со Столыпиным о Дантесе и отвести внимание от их политического содержания: отвечают за гибель Пушкина высшие придворные круги, «жадною толпой стоящие у трона». За девять дней, отделяющих первые 56 строк от заключительной части, произошло много событий, и Лермонтов сумел полнее оценить политический смысл и масштаб национальной трагедии. Теперь он с полным основанием мог назвать высшую знать «наперсниками разврата». Лермонтов узнал о трусливой позиции правительства, распорядившегося тайно похоронить Пушкина, запретившего упоминать о его гибели в печати. По свидетельству П. П. Семенова-Тян-Шанского, Лермонтов побывал у гроба Пушкина в доме поэта на набережной Мойки (это могло быть только 29 янв.). Даже самые близкие друзья покойного до 10—11 февр. не знали о важнейших эпизодах его семейной драмы: оберегая репутацию Натальи Николаевны, Пушкин скрывал многие факты. Это выясняется из писем П. А. Вяземского и др. материалов (см.: Абрамович С. А. Письма П. А. Вяземского о гибели поэта. // ЛГ. 1987, 28 янв.). В события, предшествующие дуэли, автор «Смерти поэта», видимо, был посвящен лицами из пушкинского круга (возможно, В. Ф. Одоевским, А. И. Тургеневым), сослуживцами по лейб-гвардии гусарскому полку, среди которых было много знакомых Пушкина, а также доктором Н. Ф. Арендтом, посещавшим болевшего в это время Лермонтова. Особо следует сказать о поручике Иване Николаевиче Гончарове (брате Натальи Николаевны). Недавно опубликованное его письмо к брату («Лит. Россия». 1986, 21 нояб.) и сделанные Лермонтовым портретные зарисовки Гончарова 1836—1837 гг. (установлено А. Н. Марковым в 1986 г.), свидетельствуют о товарищеских отношениях между ними. Гончаров участвовал в попытке предотвращения дуэли, был в курсе аудиенции в Аничковом дворце 23 нояб. 1836 г.

По рассказам современников, один из списков ст-ния с надписью «Воззвание к революции» был доставлен царю (Воспоминания. С. 186—187). Николай I в ярости «велел старшему лейб-медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он» (Воспоминания. С. 393). 25 февр. 1837 г. последовало высочайшее повеление о ссылке Лермонтова на Кавказ в Нижегородский драгунский полк и о месячном аресте с последующей ссылкой в Олонецкую губернию С. А. Раевского. Ст-ние «Смерть поэта» разошлось по России во множестве списков и создало его автору репутацию смелого вольнодумца и достойного преемника Пушкина. По силе обличительного пафоса оно намного превзошло ст-ния других поэтов об этой трагедии (см.: Федоров А. В. «Смерть поэта» среди других откликов на гибель Пушкина // «Рус. литература». 1964, № 3. С. 32—45). Необычен характер лермонтовского ст-ния: сочетание элегического и ораторского начал. Отзвуки пушкинских тем и образов придают особую убедительность позиции Лермонтова как наследника пушкинской музы. Ст. 2. «невольник чести» — цитата из поэмы Пушкина «Кавказский пленник»; ст. 4. «Поникнув гордой головой» — реминисценция ст-ния «Поэт»; в ст. 35 «Как тот певец неведомый, но милый» и далее Лермонтов вспоминает о Владимире Ленском (из «Евгения Онегина»); ст. 39 «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной» и след. близки к элегии Пушкина «Андрей Шенье» («Зачем от жизни сей, ленивой и простой, Я ринулся туда, где ужас роковой...»). Концовка ст-ния перекликается с «Моей родословной» Пушкина (характеристика новой знати).

340. С. 1837, т. 6. - - Стих. 1840, датировано. Отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. Первое ст-ние, опубликованное самим Лермонтовым с его полной подписью. «Бородино» противостоит официальной точке зрения: победитель в Отечественной войне 1812 г.— русский народ. О великом историческом событии рассказывает рядовой участник, солдат, причем его оценка совпадает с позицией автора. «Бородино» высоко ставил Л. Н. Толстой, назвавший его «зерном» своей «Войны и мира» (Дурылин С. Н. На путях к реализму // ЖТЛ. С. 81). О ст. «Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы!» Белинский писал: «Эта мысль — жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему...» (Белинский. Т. 4. С. 503). *Уланы с пестрыми значками, Драгуны с конскими хвостами.* Речь идет о французской кавалерии: уланы были вооружены пиками, к которым привязывались матерчатые флажки наподобие флюгеров; к каскам драгун прикреплялись конские хвосты для защиты от сабельных ударов.

341. ОЗ. 1840, № 7. - - Стих. 1840, датировано. Автограф под загл. «Молитва странника» — ПД, в письме к М. А. Лопухиной от 15 февр. 1838 г. Копия — ПД, тетр. 15, под тем же загл. Черн. автограф — ГИМ, тетр. Чертк. б-ки, с тем же загл. Относится к В. А. Лопухиной (см. о ней примеч. 289).

342. ОЗ. 1839, № 5. - - Стих. 1840, где ошибочно датировано 1836 г. Копия — ПД, тетр. 15; под загл. зачеркнуто: «Посвящается А. М—ву», т. е. писателю Муравьеву Андрею Николаевичу (1806—1874), который в своих воспоминаниях сообщает, что «Ветка Палестины» была написана у него на квартире 20 февр. 1837 г. перед арестом

Лермонтова, когда тот приезжал к нему в связи с начавшимся следствием по делу о ст-нии «Смерть поэта»: «Долго ожидая меня, написал он... чудные свои стихи «Ветка Палестины», которые по внезапному вдохновению у него исторглись в моей образной при виде палестинских пальм, принесенных мною с Востока» (Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1971. С. 24). В книге «Описание предметов древностей и святыни, собранных путешественником по святым местам» (Киев, 1872. С. 8) Муравьев, очевидно, ошибочно отнес ст-ние к 1836 г. А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях пишет о том, что ст-ние связано с А. Н. Муравьевым, и сообщает, что пальмовую ветку Муравьев подарил Лермонтову («Русское обозрение». 1890, № 8. С. 747). «Ветка Палестины» напоминает ст-ние Пушкина «Цветок» (напечатано в 1829 г.) и состоит из ряда вопросов (как и у Пушкина), обращенных к пальме. *Солим* — Иерусалим. *Божьей рати лучший воин* — один из паломников к святым местам в Иерусалиме, приезжающий оттуда на родину с пальмовой ветвью. Таким паломником был А. Н. Муравьев, написавший книгу «Путешествие ко святым местам в 1830 г.» (Спб., 1832), ознаменовавшую начало его деятельности в качестве религиозного писателя и проповедника. *Кивот* — киот.

343. «Одесский альманах на 1840 г.». Одесса, 1839. - - Стих. 1840, датировано. Черн. автограф — ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Копия — ПД, тетр. 15. Написано в февр. 1837 г., когда Лермонтов находился под арестом за ст-ние «Смерть поэта». По словам родственника Лермонтова А. П. Шан-Гирея, поэт «велел завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках, с помощью вина, печной сажи и спички, написал несколько пьес, а именно: „Когда волнуется желтеющая нива...", „Я, матерь божия, ныне с молитвою...", „Кто б ни был ты, печальный мой сосед...", и переделал старую пьесу „Отворите мне темницу..."» (Воспоминания. С. 43). Действительно, материалом для «Узника» послужило раннее ст-ние «Желанье» (№ 298). Первые две строфы «Узника» бытовали в народно-песенном репертуаре, став в измененном виде частью многих тюремных песен.

344. Стих. 1840, датировано. Копия — ПД, тетр. 15. Написано в февр. 1837 г., когда Лермонтов находился под арестом за ст-ние «Смерть поэта» (см. примеч. 343).

345. Стих.1840, датировано. Автограф — ГБЛ. Копия — ПД, тетр. 15. Написано в февр. 1837 г., когда поэт находился в заключении. Обычно рассматривается как образец единого синтаксического периода (анализ периода дан в кн.: Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 421—431). Гл.Успенский в статье «Поэзия земледельческого труда» (1880) отметил как недостаток ст-ния смешение в нем различных сезонов, времен суток, отбор «самых лучших» видов флоры. Однако такое смешение продиктовано обобщенностью художественной мысли поэта, не ограниченной рамками одного конкретного пейзажа (см. об этом во вступ. статье, с. 20).

346. Стих.1840, датировано. Черн. автограф — ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Копия — ПД, тетр. 15. Напечатано в конце Стих. 1840 перед ст-нием «Тучи». Текст близок к раннему ст-нию «Я не люблю тебя; страстей...» (№ 244), от которого сохранилась концовка, восходящая к афоризму Ф.-Р. Шатобриана в его «Замогильных записках»: «...Бог не уничтожился оттого, что храм его пуст» (1807). В разговоре с

Е. А. Сушковой в 1834 г. Лермонтов противопоставил «Уверение» («Нет, обманула вас молва...») Е. А. Баратынского пушкинской элегии «Я вас любил, любовь еще быть может...», отдав предпочтение первому. Он объяснял это тем, что мысль о самоотречении в любви ему чужда, а по поводу своих стихов 1831 г. сказал: «Ради бога, отдайте мне их, я некоторые забыл, я переделаю их получше и вам же посвящу» (Зап. Сушковой. С. 176). В 1837 г. он вернулся к ст-нию, переадресовав его, скорее всего, В. А. Лопухиной (см. о ней примеч. 289).

347. Соч.1880, т. 1, где напечатано как одно из посвящений к поэме «Демон». Автограф — в собр. И. С. Зильберштейна (факсимиле—ЛН. 1941. Т. 43/44). Написано по дороге на Кавказ в первую ссылку, когда кавказской ред. «Демона» еще не существовало. Дата устанавливается благодаря тому, что автограф ст-ния находится на одном листе с рисунком и подписью под ним рукою Лермонтова: «21 мая после прогулки на мельницу Волобуева». Из сопоставления с выявленным недавно сходным рисунком с подписью Лермонтова: «1837 г. 13 мая. Волобуева мельница» (Герасимов В. Найден еще один рисунок Лермонтова // «Наука и жизнь». 1972, № 1. С. 18—20) становится ясно, что это не подвергнувшееся окончательной обработке ст-ние посвящено встрече поэта с горами Кавказа в 1837 г. Начало ст-ния было использовано Лермонтовым уже после возвращения на север в 1838 г. («На севере — в краю тебе чужом Я сердцем твой, всегда и всюду твой») для посвящения к ереванской (первой кавказской) ред. «Демона». Оно содержится в дошедших до нас копиях этой ред. (см. наст. том, с. 591). Начало ст-ния совпадает с посвящением поэмы «Аул Бастунджи» (№ 446).

348. ВиС, кн. 1, с ценз. изъятием ст. 7—8. - - Лермонтов М. Ю. Соч. Т. 1. Спб., 1891. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Датируется предположительно 1837 г., так как расположено на обороте листа, где написан текст ст-ния «Не смейся над моей пророческой тоскою...» (№ 349).

349. ВиС, кн. 2, без последнего ст. и ценз. пропуском слова «плаха» в ст. 4. - - Соч. 1873. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Ст-ние варьирует строфу 1 раннего ст-ния «К ***» («Когда твой друг с пророческой тоскою...», № 141). Тема гибели на плахе присутствует во многих юношеских ст-ниях Лермонтова, отчасти под воздействием «Андрея Шенье» Пушкина. Данное ст-ние завершает эту тему П. А. Висковатов считал, что ст-ние «хранит в себе намек на постигшую поэта катастрофу вслед за смертью Пушкина» (ПСС-1, т. 1. С. 370). Отсюда предположительная датировка: 1837 г. Отдельные строки Лермонтова близки к предсмертному монологу Андрея Шенье (ср., например, «недоцветший гений» с «недозрелым гением» у Пушкина). Оборванное на нерифмованной строке, ст-ние тем не менее вполне закончено (см.: ЛЭ. С. 337). Подобный прием довольно часто встречается в лирических ст-ниях (ср., например, «Из Пиндемонти» Пушкина).

350—351. ЛН. 1952. Т. 58. - - Печ. развернутый и краткий вар. эпиграммы по автографу ГПБ. Датируется по содержанию. *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859) — реакционный писатель, редактор полуофициальной газеты «Северная пчела», негласный агент III Отделения. Поводом для эпиграммы Лермонтова послужило

многотомное издание Булгарина «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературных отношениях...». Спб., 1837 (подлинный автор книги — Н. А. Иванов). Издание залеживалось в книжных лавках, не находя сбыта. Тогда Булгарин 30 и 31 марта 1837 г. в «Северной пчеле» напечатал обширное объявление, представляющее собой неслыханную саморекламу. Вскоре В. Ф. Одоевский написал сатирический фельетон, зло высмеивающий Булгарина, но оставшийся тогда не напечатанным (см.: ЛН. 1952. Т. 58. С. 364—365). Первая строка эпиграммы имеет двойной смысл: речь идет не только о продаже книги, но и о всем предательском поведении Булгарина во время Отечественной войны 1812 г.: военнослужащий русской армии, а по происхождению польский шляхтич, Булгарин переметнулся на сторону французской армии, а после краха Наполеона превратился в верноподданного российского императора.

352. ЛН. 1952. Т. 58. - - Печ. по автографу ГПБ. Написано летом 1837 г. на Кавказских Минеральных водах. Автограф этой и последующей эпиграммы находится на обороте листа с эпиграммой на Булгарина. *Маккавей* — иудейский полководец II в. до н. э. Адресат эпиграммы не установлен, поэтому смысл сравнения неясен. Высказывалось предположение, что речь идет о каком-то доносчике, агенте III Отделения. *Корпия* — ветошь или надерганные из ткани нитки, употреблявшиеся при перевязывании ран.

353. ЛН. 1952. Т. 58. - - Печ. по автографу ГПБ. См. предыдущее примеч.

354. РА. 1864, № 7, под загл. «Ребенку (В альбом Аркадию Павловичу Петрову)», с искажением ст. 1—2. - - РА. 1867, № 7. Датируется на основании свидетельства А. П. Петрова, опубликовавшего ст-ние в РА. Написано в альбом родственника поэта, А. *Петрова* (1825—1895), у отца которого, генерала П. И. Петрова, начальника штаба войск Кавказской линии и Черноморья, Лермонтов пользовался гостеприимством во время своего пребывания в Ставрополе в 1837 г.

355. ВиС, кн. 1, под загл. «Казбеку». - - Изд. 1926. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Написано, судя по всему, в конце 1837 г., на пути с Кавказа в Петербург, когда Лермонтов получил перевод из Нижегородского в Гродненский полк, стоявший тогда в Новгороде. В двух последних ст.— реминисценция ст-ния А. И. Одоевского «Куда несетесь вы, крылатые станицы...» (1837). Эта перекличка не случайна, потому что в разговорах Лермонтова с декабристами одной из главных тем была характеристика современного поколения: «...Когда в невольных странствованиях и ссылках удавалось ему встречать людей другого закала, вроде Одоевского, он изливал свою современную грусть в души людей другого поколения, других времен... еще ныне живущий М. А. Назимов мог бы засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором он описывал ему, выходцу из Сибири, ничтожество того поколения, к коему принадлежал»,— писал А. И. Васильчиков (Воспоминания. С. 371—372). Декабрист М. А. Назимов подтвердил достоверность этого свидетельства (Воспоминания. С. 373). Строфа 2-я текстуально близка к заключительным строкам поэмы «Демон».

356. «Атеней». 1858, № 48, без загл. - - БЗ. 1859, № 1. С Михаилом Ивановичем *Цейдлером* (1816—1892), товарищем по юнкерской школе, поэт встретился в 1838 г. в лейб-гвардии Гродненском полку. Согласно «Воспоминанию о Лермонтове» А. М. Меринского, экспромт написан во время проводов Цейдлера в армию на Кавказ 3 марта 1838 г. (Воспоминания. С. 135). *Русский немец.* Предки Цейдлера были немцы. Выражение «русский немец» было распространенным; оно встречается, например, в одной из агитационных песен К. Ф. Рылеева — А. А. Бестужева («Царь наш — немец русский...»). *Но иной, не бранной сталью.* Игра слов: Цейдлер был влюблен в жену дивизионного командира Софью Николаевну Стааль фон Гольштейн (1814—1893).

357. ОЗ. 1841, № 6, с искажением ст. 11. - - Печ. по ОЗ с уточнением ст. 11 по черн. автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Копия — ПД, тетр. 15, с первоначальным зачеркнутым и замененным загл. «Подарок». Судя по содержанию, написано после возвращения Лермонтова в Россию из первой ссылки, что подтверждается черн. автографом ст-ния, находящимся на одном листе с черн. наброском посвящения к «Тамбовской казначейше» (начало 1838 г.).

358. ВиС, кн. 1, с искажениями. - - ПСС-1, т. 1. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Датируется началом 1838 г., так как находится на одном листе с автографом посвящения к «Тамбовской казначейше», написанного в начале этого года. Один из исповедальных монологов, предшествующих созданию «Думы» (№ 368). Генезис ст-ния восходит к более раннему ст-нию «Мое грядущее в тумане...» (№ 328). *И, как преступник перед казнью* — цитата из баллады Жуковского «Адельстан» (1813).

359. БЗ. 1859, № 1. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Автограф находится на одном листе с посвящением к «Тамбовской казначейше» (начало 1838 г.). Ст. 5—8 — переделка ст. 9—12 из ст-ния «Она не гордой красотой...» (№ 305). Ст-ние вместе с двумя последующими (см. № 360—361) представляют три разные вариации одной темы. Все они посвящены одной и той же женщине. Об адресате и особенностях этих ст-ний см.: Найдич Э. Московский соловей // «Огонек». 1964, № 35. С. 17. Из текста ст-ний видно, что они посвящены певице, обладательнице прекрасного голоса. Это была Прасковья Арсеньевна Бартенева (1811—1872). Еще в Москве Лермонтов посвятил ей в 1831 г. мадригал: «Скажи мне: где переняла Ты обольстительные звуки...» (см. № 253); в ее альбом сделал запись Пушкин «Из наслаждений жизни одной любви му́зыка уступает, но и любовь — гармония». Более двух десятилетий, до самой смерти М. И. Глинки, Бартенева была в дружбе с композитором, помогавшим становлению ее таланта, посвятившим ей несколько романсов, в том числе и на слова данного ст-ния Лермонтова. Бартеневой посвящено ст-ние Е. П. Ростопчиной «Певица» (1831), которое, очевидно, хорошо запомнилось Лермонтову. Каждая строфа в нем начинается словами «Она поет...». Это напоминает начало лермонтовского ст-ния. В ст-нии «Слышу ли голос твой...» (№ 361) Лермонтов повторяет слова Ростопчиной из этого же ст-ния «И плакать хочется», а в черн. вар. зачеркивает ст. «Мне больно, холодно» (ср. у Ростопчиной «Она поет, и сердцу больно»). Особенно большим успехом Бартенева пользовалась после переезда в Петербург в 1835 г. Она становится фрейлиной, а вскоре

камер-фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Прасковья Бартенева и ее сестра Мария (также фрейлина) посещали салоны А. О. Смирновой и С. Н. Карамзиной, где в 1838—1841 гг. они встречались с Лермонтовым, а в сент. 1838 г. Лермонтов вместе с певицей участвовал в репетициях к любительскому спектаклю. К этому времени, очевидно, и относится данное ст-ние (см.: Майский Ф. Лермонтов и Карамзины // М. Ю. Лермонтов: Сборник статей и материалов. Ставрополь, 1960. С. 151. Ср.: Мануйлов В. А. Лермонтов и Карамзины // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. Л., 1981. С. 350.). Но, пожалуй, самый главный аргумент, подтверждающий адресат лермонтовского ст-ния, заключается в том, что 4 авг. 1839 г. Лермонтов вписал в альбом Марии Бартеневой ст-ние «Есть речи — значенье...» (см. с. 522), генетически связанное с другими ст-ниями, посвященными ее сестре. Высказывались предположения о том, что ст-ния посвящены С. М. Виельгорской (Герштейн. С. 78—106) или Е. А. Чавчавадзе (Шадури В. А. За хребтом Кавказа. Тбилиси, 1977. С. 19—29).

360. БЗ. 1859, № 1. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Датируется началом 1838 г., так как находится на одном листе с черновым автографом последних строф поэмы «Тамбовская казначейша». Об адресате см. примеч. 359.

361. ВиС, кн. 1. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Датируется 1838 г., так как находится на обороте листа с записью «Я в Тифлисе...», относящейся к 1838 г. и представляющей набросок к «Тамани». Об адресате см. примеч. 359.

362. ВиС, кн. 2. - - Печ. с исправлением ст. 9 по БЗ. 1859, № 1. Перевод ст-ния А. Мицкевича «Widok gór ze stepów Kozłowa» из цикла «Крымские сонеты». Датируется, по воспоминаниям А. И. Арнольди, первой половиной 1838 г. (Воспоминания. С. 219). Перевод сделан по подстрочному переводу с польского, выполненного офицером Н. А. Краснокутским, с которым поэт служил в лейб-гвардии Гродненском полку. Лермонтов ориентировался также и на перевод И. И. Козлова: он избирает тот же размер (четырехстопный ямб) и вместо сонета пишет двадцатичетырехстишное ст-ние. Лермонтов повторяет ошибку Козлова, принявшего слово «зарево» (польск. «łuna») за луну (см.: Мицкевич А. Сонеты. Л., 1976. С. 324, примеч. С. С. Ланды). О Лермонтове и Козлове см. примеч. 365. *Козлов* (по-турецки Гёзлев) — старинное название Евпатории. *Дивы* (иран. миф.) — «злые гении, некогда царствовавшие на земле, потом изгнанные ангелами и ныне живущие на конце света, за горою Каф» (примеч. Мицкевича). *Мирза* — титул грамотного, образованного (знатного) мусульманина. *Чатырдаг* — один из крупнейших массивов главной гряды Крымских гор.

363. ОЗ. 1843, № 11. Авториз. копия — ПД, без загл., текст находится под рисунком А. Н. Долгорукова, изображающим Н. И. Бухарова верхом на коне. Рукой Лермонтова помета: «Рис. князь Долгорукий 2, 1838 г.» — и подпись. *Бухаров* Николай Иванович (1799—1862) — полковник, сослуживец поэта (с 1837 г.) по лейб-гвардии гусарскому полку.

364. Альм. «Молодик на 1844 г.». Спб., 1844, под загл. «К Буха-

рову», с искажением в ст. 6. - - Изд. 1926. - - Печ. по автографу ЦГАЛИ. Ст. 9—12 почти совпадают со ст. 3—4 предыдущего ст-ния. Датируется приблизительно по связи с этим ст-нием. *Бухаров* — см. о нем примеч. 363. В своем послании Лермонтов призывает адресата на пирушку в Петербург (из Царского Села, где квартировали лейб-гусары). Последние четыре строки перефразируют ст. из «Моей родословной» Пушкина.

365. Альм. «Молодик на 1844 г.». Спб., 1844, без загл. - - РА. 1867, № 7. Автограф находился в Берлинской гос. библиотеке (собр. Варнгагена фон Энзе), ныне его местонахождение неизвестно. По свидетельству племянницы А. Г. Хомутовой — Е. И. Розе, это ст-ние — отклик Лермонтова на рассказ поэта И. И. Козлова о его встрече после двадцатилетней разлуки в 1838 г. с Анной Григорьевной Хомутовой (1784—1856), которая приходилась Козлову двоюродной сестрой и испытала к нему «одну из самых сильных привязанностей в годы первой молодости» (вступ. заметка к «Запискам» А. Г. Хомутовой // РА. 1867, № 7. Стб. 1050—1051). Эта встреча вдохновила Козлова, в то время уже тяжело больного и слепого, на ст-ние «К другу весны моей после долгой разлуки» (1838). С Хомутовой Лермонтов виделся в доме своего полкового командира — ее брата М. Г. Хомутова. В 1838—1840 гг. Козлов каждый вторник проводил в доме родственников Лермонтова Столыпиных. Особенно дружен он был с Екатериной Аркадьевной Столыпиной — вдовой Дмитрия Алексеевича Столыпина, брата бабушки Лермонтова. Частым гостем этого семейства был и Лермонтов (см.: ЗОР. С. 48—49). Заключительные строки: «Хоть на единое мгновенье Сумела снять венец мученья...» перекликаются с посланием Пушкина «Козлову» (1825): «А я, коль стих единый мой Тебе мгновенье дал отрады, Я не хочу другой награды».

366. ОЗ. 1840, № 2. - - Стих. 1840, где ошибочная дата: 1840 г. Список — в письме Е. А. Арсеньевой (бабушки Лермонтова) к А. М. Верещагиной от 23 нояб. 1838 г., посланном по случаю рождения ее дочери Елизаветы: «Посылаю Вам для новорожденного дитяти баюкашную песню, отгадать не трудно, чье сочинение» (ЗОР. С. 61—62). Список датирован 1838 г. По преданию, ст-ние было навеяно пением молодой казачки Дуньки Догадихи над колыбелью ребенка, которое Лермонтов слышал в станице Червленой (Ткачев Г. А. Станица Червленая. Владикавказ, 1912. С. 211—212). Мотив «военной службы» взят Лермонтовым из казачьих колыбельных песен; некоторые подробности, видимо, подсказаны гребенскими лирическими песнями: «проводы добра молодца — красной девицей или молодой женой», которые стоят «у стремячка у правого» (см.: Мендельсон Н. М. Народные мотивы в поэзии Лермонтова // «Венок Лермонтову». М.; Пг., 1914. С. 194). Особенности народного стиля и миросозерцания переданы Лермонтовым так точно, что песня без изменений вошла в народно-поэтический репертуар.

* **367.** ОЗ. 1839, № 3. Черн. автограф — ГИМ, тетр. Чертк. б-ки; в нем упоминается мастер Геург (Елизарошвили), имя которого Лермонтов мог услышать в Тифлисе в 1837 г. Ст-ние, очевидно, написано вскоре после возвращения с Кавказа. Воспринималось в контексте многочисленных выступлений в печати об упадке современного искусства: ст-ние «Последний поэт» Е. А. Баратынского

(«Московский наблюдатель». 1835, ч. 1, март, кн. 1), статья С. П. Шевырева «Словесность и торговля» (там же), сборник «Арабески» Н. В. Гоголя (1835), где в повестях «Портрет» и «Невский проспект» звучала тема разрушительной для искусства власти денег. О превращении поэзии в «игрушку» писал В. Г. Белинский (Т. 1. С. 364—365) в статье о сборнике ст-ний В. Г. Бенедиктова 1835 г., подчеркивая их изысканность, вычурность и внешний блеск. Исследователи отмечали перекличку лермонтовского «Поэта» со ст-нием О. Барбье «Мельпомена» (из сборника «Ямбы», 1831) и ст-нием А. С. Хомякова «Клинок» (1830) (см. примеч. Б. М. Эйхенбаума к ПСС-3. С. 199).

368. ОЗ. 1839, № 2, с ценз. купюрой ст. 11—12. - - Печ. по ОЗ, с восстановлением ст. 11 по БЗ. 1859, № 12, а ст. 12 — по Изд. 1862. Датируется по Стих. 1840. С «Думой» Лермонтов выступил впервые в обновленных ОЗ, которые перешли в руки А. А. Краевского. Своей характеристикой общества «Дума» перекликается с «философическим письмом» (опубл. в 1836) П. Я. Чаадаева. Скептицизм, посеянный кризисом общественной жизни после поражения декабристского восстания, разочарование в идеалах Великой французской революции сочетаются в «Думе» с верой в достойное потомство, которое «со строгостью судьи и гражданина» осудит безвременно одряхлевшее поколение.

369—370. ОЗ. 1840, № 2 и 1839, № 3. - - Лермонтов М. Герой нашего времени. Спб., 1840. Второе ст-ние в «Тамани» предваряет запись в дневнике Печорина: «...Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух... Прислушиваюсь... напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась вдаль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала песню. Я запомнил эту песню от слова до слова». (Соч. АН, т. 6. С. 254-255). Образы и стиль ст-ния навеяны русскими удалыми песнями (см. о них в статье: Акимова Т. Н. О жанровой природе русской «удалой» песни // Русский фольклор: Материалы и исследования. М.; Л., 1960. Т. 5. С. 183—191). Песня Казбича — вариант «Черкесской песни» из поэмы Лермонтова «Измаил-Бей» (см. № 444). В романе сопровождено примеч. Лермонтова: «Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка вторая натура» (Соч. АН, т. 6. С. 214).

371. ОЗ. 1843, № 12. В ПСС-2, т. 4, напеч. по утраченному ныне автографу. Написано по поводу рождения сына Александра (13 февр. 1839 г.) у одного из ближайших друзей Лермонтова, Алексея Александровича Лопухина. Ст-ние было послано в письме к Лопухину: «Кстати о стихах; я исполнил обещание и написал их твоему наследнику, они самые нравоучительные (à l'usage des enfants ⟨для детского употребления⟩)... я так рад за тебя, что завтра же начну сочинять новую арию для твоего маленького крикуна» (Соч. АН, т. 6. С. 448).

372. Соч. АН, т. 2. - - Печ. по копии ГПБ, сделанной рукой Варвары Олениной, старшей сестры адресата. Ниже приписка: «При-

ветствие больного гусарского офицера и поэта г. Лермонтова Анне Алексеевне Олениной в ее альбом 1839 года». В другой копии (ЦГАЛИ) приписка дополнена словами: «В день ее рождения». *Оленина* А. А. (1808—1888) — дочь директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств А. Н. Оленина (день ее рождения — 11 авг.). Первый опыт применения Лермонтовым макаронического стиха. (Ср. № 400).

373. ОЗ. 1839, № 5. -- Стих. 1840, датировано. Эпиграф — из Пролога к сб-нику ст-ний «Ямбы» (1831) французского поэта О. Барбье (1805—1882). Лермонтов изменил первый ст.: вм. «Какое мне дело» — «Какое нам дело», тем самым передав суд над поэзией «толпе». Ст. 23—24 близки по образному звучанию к соответствующим строкам ст-ния Барбье «Мельпомена» из указ. сборника. Ст. «Оно тяжелый бред души твоей больной» — автоцитата из посвящения к шестой ред. «Демона» («тяжелый бред души больной»). Взаимоотношения поэта и «толпы» изображены Лермонтовым сложно и драматично. Смысл ст-ния противоречив и не сводим к какой-либо последовательной программе. В суждениях Лермонтова все же ясно просматривается тенденция к реабилитации «толпы», наряду с критикой субъективно-гипертрофированного лиризма и горделивых притязаний углубленного в себя поэта. Образ «Мечтателя молодого» — это и духовный портрет самого Лермонтова, и характеристика современного поэта, чьи творческие усилия не находят оправдания перед судом скептического анализа. «Не верь себе» вызвало полемический отклик молодого стихотворца М. П. Розенгейма (1820—1886), знавшего Лермонтова с 1834 г. До нас дошел устный ответ Лермонтова (в передаче В. Р. Зотова) на письмо к нему Розенгейма, содержащее восторженный отзыв о «Герое нашего времени»: «Передай от меня юноше спасибо, поклон и совет: пусть читает чаще „Не верь себе“» (анонимный биографический очерк о Розенгейме // Розенгейм М. П. Стихотворения: Изд. 5-е, дополн. Спб., 1896. Ч. 1. С. XIX). В своем послании «Лермонтову» (в начале 1841 г.), написанном с либерально-гражданских позиций, Розенгейм убеждал Лермонтова отрешиться от скепсиса и проникнуться верой в могучую силу своего таланта (см.: Там же. С. 21—22). Призывом сосредоточить свой внутренний мир на вере в лучшую жизнь и откровениях любви был проникнут ответ на ст-ние Лермонтова (1840 г.) В. Ф. Одоевского. Текст этот также долгое время оставался неопубликованным:

Земных не бойся сновидений,
В борьбе с собой не унывай
И таинства высоких наслаждений
Толпе безумной не вверяй!
Среди молитвы обновленья
Погаснут смертные огни;
Души заблещут откровенья
В горниле веры и любви»

(см.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. М., 1913. Т. 1. Ч. 2. С. 100). В эпилоге к «Русским ночам», написанным при жизни поэта, Одоевский явно под влиянием лермонтовского ст-ния обратился к характеристике современного состояния искусства: «В искусстве давно уже истребилось его значение: оно уже не переносится в тот чудесный мир, в котором, бывало, отдыхал

человек он грусти здешнего мира: поэт потерял свою силу, он потерял веру в самого себя — и люди уже не верят ему; он сам издевается над своим вдохновением — и лишь этой насмешкою вымаливает внимание толпы... искусство погибает» (Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 147).

374. ОЗ. 1839, № 8. Датируется по Стих. 1840. Лермонтов пользуется рядом пушкинских образов из IX «Подражания Корану» («И путник усталый на бога роптал...»), применяет тот же размер стиха (четырехстопный амфибрахий) и строфику. Однако смысл баллады полемичен по отношению к пушкинскому ст-нию. Ст. 55—60 Н. А. Добролюбов взял в качестве эпиграфов для разделов своей статьи «Темное царство» (Добролюбов Н. А. Собр. соч. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 66, 85). *Фарис* (арабск.) — всадник, наездник.

375. ОЗ. 1839, № 11, с вар. - - Стих.1840, датировано. Ст-ние обычно связывают с именем М. А. Щербатовой (см. о ней примеч. 382), ссылаясь на автобиографию А. О. Смирновой-Россет, где она цитирует «Молитву» и вспоминает: «Он ⟨Лермонтов⟩ ухаживал за вдовой Щербатовой... Машенька велела молиться, когда у него тоска. Он ей обещал и написал эти строки» (Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1931. С. 247). Замысел «Молитвы», возможно, внушен и тем, что осенью 1839 г. В. Ф. Одоевский, которого связывали с Лермонтовым теплые приязненные отношения, передал ему Евангелие и книгу Паисия Величковского «Добротолюбие». Об этом свидетельствует записка Одоевского к поэту, датируемая после 5 авг. 1839 г. (см.: Найдич Э. Э. Еще раз о Штоссе // «Лермонтовский сборник». Л., 1985. С. 210—211). В записке Одоевский просил поэта читать Евангелие. По поводу книги П. Величковского Одоевский писал: «О другом ⟨издании⟩ напиши, что почувствуешь прочитавши» (Соч.АН, т. 6. С. 471). Вскоре в № 11 ОЗ появилась «Молитва» (ценз. разреш. 14 нояб. 1839 г.). Передавая состояние душевной просветленности, Лермонтов, возможно, откликнулся на просьбу друга и вместе с тем выразил одно из своих сокровенных убеждений в магической власти слова над человеком.

376. ОЗ. 1839, № 12. Датируется по Стих.1840. В ст-нии отразилось знакомство Лермонтова с песнями и сказами гребенских казаков.

***377.** ОЗ. 1839, № 12, с ценз. заменой слова «бог» в ст. 16 на «рок». - - Печ. по ОЗ с исправлением ст. 16 по черн. автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Датируется по Стих. 1840. В ст-нии использованы и переработаны созданные ранее строки из юношеских ст-ний «К ***» («Когда твой друг с пророческой тоскою...») (№ 141) и «Он был рожден для счастья, для надежд...» (№ 311), а также близкие к строфам 3, 4 и 5 ст-ния — строфы 3, 4, 136 и 137 поэмы «Сашка» (№ 449). Посвящено памяти поэта-декабриста Александра Ивановича *Одоевского* (1802—1839), автора знаменитого ст-ния «Струн вещих пламенные звуки...», написанного в ответ на «Послание в Сибирь» Пушкина. В 1837 г. Одоевский был переведен из Сибири на Кавказ рядовым солдатом Нижегородского драгунского полка, где встретился и подружился с Лермонтовым. Умер Одоевский 15 авг. 1839 г. от лихорадки, находясь в действующей армии на берегу Черного моря. В ст-нии воссоздан облик и духовный мир декабриста, сохранившего *«веру гор-*

дую в людей и жизнь иную». Этот оптимизм был выражен Одоевским в названном выше ответе на послание Пушкина.

378. С. 1854, № 1, строфы 1—2, под загл. «Отрывок». - - С. 1857, № 10, под загл. «Казот». - - Изд. 1926. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки, включая 3-ю зачеркнутую строфу. Датируется 1839 г., так как написано на одном листе с окончанием ст-ния «Памяти А. И. О⟨доевско⟩го» (№ 377). Связано с рассказом французского писателя Ж.-Ф. Лагарпа «Пророчество Казота» (перевод опубл. в 1806 г.). Ж. Казот — французский писатель-монархист, казненный в 1792 г. Лагарп рассказывает, что на обеде у одного знатного вельможи Казот якобы предсказал в 1788 г. французскую революцию и казнь на гильотине присутствующих на пире гостей, в том числе и собственную гибель.

379. РВ. 1860, № 4, кн. 2. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Датируется 1839 г., так как находится на одном листе с автографом окончания ст-ния «Памяти А. И. О⟨доевско⟩го» (№377). Относится к графине Эмилии Карловне *Мусиной-Пушкиной*, урожд. Шернваль (1810—1846), которая славилась своей красотой.

380. ОЗ. 1840, № 1. В ОЗ и в Стих. 1840 авторская дата перед текстом («1-е января») дана в оглавлении в качестве загл. В ночь с 1-го на 2-е января 1840 г. Лермонтов был на новогоднем бале в Большом каменном театре в Петербурге, где присутствовали император и наследник — этот факт установлен на основе записи в «Камер-фурьерском журнале», где регистрировался распорядок дня Николая I (см.: Яшин М. А. История гибели Пушкина // «Нева». 1969, № 4. С. 80; Андреев-Кривич С. А. Загадочная помета Лермонтова // Лермонтов и Кабардино-Балкария. Нальчик, 1979. С. 192; Герштейн. С. 45). Уже 15 янв. 1840 г. ст-ние было напечатано в ОЗ. В свете этих данных становится понятным враждебное отношение Николая I к автору ст-ния. «Когда в „Отечественных записках" появилось стихотворение „Первое января", многие выражения в нем показались непозволительными. Нашли ⟨речь идет о мнении царя⟩, что поэт начинает в поведении своем заходить за границу дозволенного» (Висковатов. С. 282). За несколько дней до новогоднего бала И. С. Тургенев увидел Лермонтова на одном из светских вечеров и был поражен его мрачностью. Спустя много лет, Тургенев в «Литературных и житейских воспоминаниях» писал: «...ему ⟨Лермонтову⟩ не давали покоя; беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда показалось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки... и т. д.»

(Воспоминания. С. 228—229). Высказывалось мнение, что критический пафос ст-ния отчасти был возбужден повестью В. А. Соллогуба «Большой свет» (ОЗ. 1840, № 3), вызвавшей подозрение, будто в ней высмеян Лермонтов: герой повести — Михаил Леонин, гусарский офицер, в детстве потерявший родителей, любимец бабушки (см.: Висковатов. С. 290). Однако портрет Леонина не имеет ничего общего с обликом

Лермонтова. П. А. Висковатов комментирует ст. «Когда касаются холодных рук моих» и след.: «Две сестры — дамы в голубом и розовом домино, проходя мимо поэта, задели его словом, и он ответил дерзостью». Висковатов намекает, что это были дочери царя — великие княгини (Висковатов. С. 282). По другой версии, под масками скрывалась императрица с одной из своих приятельниц и речь шла о маскараде в начале 1839 г. (Герштейн. С. 54—55).

381. ЛГ. 1840, 20 янв. - - Печ. по Стих. 1840, с исправлением ст. 8 («так» — вместо «там») по черн. автографу ЦГАЛИ, тетр. С. А. Рачинского. Датируется по Стих. 1840. Эти несколько строк Белинский отнес к величайшим созданиям поэзии, «которые когда-либо, подобно светочам эвменид, освещали бездонные пропасти человеческого духа...» (Белинский. Т. 4. С. 526).

382. ОЗ. 1842, № 1, с ошибкой в ст. 2: «на блеск упоительный... бала», датировано. - - ПСС-1, т. 1. - - Печ. по автографу ЦГАЛИ. Копия — ПД, тетр. 15. Вскоре после гибели поэта автограф был передан кн. Марией Александровной *Щербатовой* (урожд. Штерич, ок. 1820—1879) А. А. Краевскому для публикации в ОЗ. Родственник поэта М. Н. Лонгинов назвал ст-ние Лермонтова «вдохновенным портретом нежно любимой им женщины» (Лонгинов М. Н. Библиографическая заметка // РВ. 1860, № 4, кн. 2. С. 388). Друг поэта А. П. Шан-Гирей писал, что «зимой 1839 г. Лермонтов был сильно заинтересован кн. Щербатовой... она была молодая вдова, а от него слышал только, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать» (Воспоминания. С. 46). Об увлечении Лермонтова Щербатовой знал и первый биограф Лермонтова (Висковатов. С. 288). Щербатова также была захвачена чувством к Лермонтову. Об этом свидетельствует запись в дневнике А. И. Тургенева 10 мая 1840 г.: «Был у кн. Щербатовой. Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова» (ЛН. 1948. Т. 45/46. С. 420). В своем ст-нии поэт запечатлел пленительный облик женщины и образ ее родины. Лермонтов знал ст-ние Е. П. Гребенки «Признание» (ОЗ. 1839, № 2. С. 140—141), проникнутое привязанностью к родной Украине, которую Гребенка изобразил аллегорически в образе красавицы. Лермонтов в своем «признании» Щербатовой как бы перевернул сравнение. Он сравнил реальную прекрасную женщину с Украиной и нашел в ее внешнем и внутреннем облике отпечаток родины (Найдич Э. Э. Стихотворение «М. А. Щербатовой»: Лермонтов и Е. П. Гребенка // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. Л., 1979. С. 403—408. См. также: Назарова Л. Н. М. А. Щербатова и стихотворения Лермонтова, ей посвященные // Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 278—284). В 1840 г. произошла дуэль между Лермонтовым и сыном французского посланника Э. де Барантом. Причиной ссоры считалось явное предпочтение, которое оказывала Лермонтову Щербатова. На самом деле причина дуэли была сложнее (Герштейн. С. 6—35). Е. П. Ростопчина в письме к А. Дюма писала: «Несколько успехов у женщин, несколько салонных волокитств вызвали против него вражду мужчин; спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и г. де Барантом...» (Воспоминания. С. 284). Это свидетельство полностью подтверждают найденные в Центральном Гос. архиве древних актов письма М. А. Щербатовой к А. Д. Блудовой от 22 и 23 марта 1840 г. (см.: Юш-

кин Ю. Когда открывалась дуэль... // «Лит. Россия». 1987, 24 июля). См. также примеч. 466.

*** 383.** ОЗ. 1841, № 1. Автограф — ПД, тетр. 15. Датируется 1840 г. на основании данных П. А. Висковатова (С. 328) и приведенного ниже рассказа А. А. Краевского, где говорится о том, что Лермонтов приехал к нему со ст-нием из Царского Села (т. е. еще служил в лейб-гусарах) и что к этому времени относится его увлечение М. П. Соломирской. Имеется ранняя ред.— ЛГ. 1963, 9 апр.— публикация И. Л. Андронникова по автографу в альбоме М. А. Бартеневой с датой 4 сент. 1839 г., и поздняя ред. (отвергнутая Лермонтовым), опубликованная В. А. Соллогубом в ВиС, кн. 2, под загл. «Волшебные звуки». Тема ст-ния намечена в ст-нии 1832 г. «К *» (№ 302). Затем она была развита в ст-ниях 1838 г., посвященных П. А. Бартеневой (№ 360—362). Первые две строфы сложились в ранней ред. (см. с. 522 наст. тома). Висковатов записал рассказ А. А. Краевского (ПД) об основной ред. ст-ния, которая была напеч. в ОЗ при жизни поэта: «Раз утром будит меня в 7 часов... я вскакиваю, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ даром не приедет человек из Царского Села, ведь не по ж⟨елезной⟩ д⟨ороге⟩... «Вот уж подлинно „счастлив в любви, несчастлив в картах“. Вчера наконец удалось дело с Соломирской... Прихожу домой, сел с товарищами играть в карты и проиграл, брат, все... А кстати, вот тебе новое стихотворение»: Лермонтов вынул листок и подал мне. Это были „Есть речи — значенье...“. Я смотрю и говорю: «Да здесь грамматики нет — ты ее не знаешь. Как же можно сказать: „Из пламя и света?“ Из пламени!». Лермонтов схватил листок, отошел к окну, посмотрел.— «Значит, не годится?» — сказал он и хотел разорвать листок. «Нет, постой, оно хоть и не грамматично, но я все-таки напечатаю».— «Как, с ошибкой?» — «Когда ничего другого придумать не можешь. Уж очень хорошее стихотворение».— «Ну черт с тобой, делай как хочешь»,— сказал Лермонтов» (Андроников. С. 507—508). И. И. Панаев подтверждает этот рассказ (см.: Воспоминания. С. 234—235). Лермонтов пытался исправить эту строку, но, очевидно, остался недоволен своими поправками (см. наст. том, с. 522). Подобная грамматическая форма встречается и в других ст-ниях Лермонтова: «Ни даже имя своего» в ст-нии «А. О. Смирновой» (см. вар. на с. 523), «Не выглянет до время седина» («Сашка», строфа 146) и др. Известный исследователь русского литературного языка Л. А. Булаховский, отмечая, что во многих русских говорах слова «имя», «время» и подобные склоняются по образцу «поле», указывает, что ряд русских писателей XVIII — начала XIX в. относительно свободно употребляли живые народные формы этих слов (Кантемир, Радищев, Державин, Крылов, Кольцов, Лермонтов) и даже позднее — Л. Н. Толстой в «Войне и мире» (Булаховский Л. А. Исторический комментарий к русскому литературному языку: 5-е изд., доп. и перераб. Киев, 1958. С. 163—164).

*** 384.** ОЗ. 1840, № 4, с опечаткой в ст. 84. - - Печ. по ОЗ, с исправлением ст. 84 по автографу ПД, тетр. 15. Копия (рукою В. А. Соллогуба) — ПД, с датой: 20 марта 1840 г. Написано, когда Лермонтов находился под арестом на Арсенальской гауптвахте за дуэль с Э. де Барантом. Эпиграф — прозаический перевод двустишия из «Sprüche in Reimen» («Изречений в стихах») Гёте с иронической надписью Лермонтова: «Неизданное». «Журналист, Читатель и Писатель» создан накануне выхода в свет «Героя нашего времени». Аналогичное

по жанру ст-ние в 1824 г. написал Пушкин, сопроводив им первую главу «Евгения Онегина» («Разговор книгопродавца с поэтом»). В ст-нии обобщена литературная ситуация и отобраны черты литературного быта, типичные для конца 30-х — начала 40-х гг., что не исключало возможности включения в текст заготовок «с натуры», т. е. мнений и замечаний конкретных современников, например Н. А. Полевого (см. об этом: Мордовченко Н. И. Белинский и русская литература его времени. М.; Л., 1950. С. 99—103). Однако нет оснований отождествлять образ Журналиста с портретом Полевого. Строка «А деньги всем ведь платят ровно» говорит не о продажном писаке, а о журналисте, который подчиняется требованиям коммерции. Здесь Лермонтов опирается на хорошо ему знакомый опыт издания ОЗ. В шутливом, но весьма обстоятельном рассказе об издании ОЗ поведал В. Ф. Одоевский под псевдонимом С. Разметкин (фельетон «Утро журналиста» // ОЗ. 1839, № 12). В ст-нии Лермонтова есть перекличка с этой публикацией. В строке «Нападки на шрифт, виньетки, опечатки» передана общая черта журнальной критики того времени, а не только Полевого. В «Утре журналиста» упоминается, что Выбойкин (под которым имелся в виду Булгарин) прислал в ОЗ список опечаток за целый год. Булгарин видел в ОЗ опасного конкурента и пытался подорвать престиж нового журнала. Жалобы Журналиста: «Скажите, каково прочесть весь этот вздор, все эти книги...» и далее — передают типичное положение журнальных рецензентов, в частности А. А. Краевского, который в 1839 г. вел отдел рецензий в ОЗ, причем слово «вздор» было его обычным определением в оценке плохих книг, а вывод многих его рецензий совпадал со строками Лермонтова: («...чтобы сказать, что их не надобно читать»). Однако это не значит, что Краевский был прототипом Журналиста. Говоря о Читателе, П. А. Висковатов заметил, что это «лицо из высшего круга... глядящее на литературу, не скажем как на приятную забаву, нет — глядящее на нее серьезнее: как на полезную пищу для тонкого воспитания...» (Висковатов. С. 330). Мнение Висковатова подтверждается репликой Журналиста, обращенной к Читателю: «Читает нас и низший круг». Слова Читателя «Да как-то страшно без перчаток» — скрытая цитата из афоризма П. А. Вяземского, напечатанного в альм. «Денница» (М., 1830) в «Отрывке из письма к А. И. Готовцевой» (см.: Герштейн. С. 115). Из этого следует, что фигура Читателя мыслилась как лицо из высших кругов общества. При всем том образ Читателя настолько типизирован, что считать Вяземского его прототипом нельзя. Строки «Стихи такая пустота... Возьмешь ли прозу? — перевод» выражают состояние литературы тех лет, недавно лишившейся Пушкина. Лермонтов мало ценил переводы и упрекал даже Жуковского за то, что он почти не пишет оригинальных стихов. По свидетельству Вяземского, слова из ст-ния Лермонтова «Войдите в наше положенье» были подхвачены в литературном салоне Карамзиных, где использовались в качестве шутки (Герштейн. С. 118). *Над Москвой смеются Или чиновников бранят.* Здесь прежде всего подразумеваются низкопробные нравственно-сатирические очерки и повести, публиковавшиеся в петербургской периодике, в первую очередь — в изданиях Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча. На это обратил внимание еще в 1831 г. в статье «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» Пушкин, скрывшийся под маской безвестного Феофилакта Косичкина. Пушкин отметил, что «Северная пчела» «возобновила свои нападения на первопрестольную столицу», а журнал «Сын отечества» издевается «над нашей древнею Москвою» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.

[М.; Л.], 1949. Т. 11. С. 213). Другая часть критического замечания Читателя метит в журнальную прозу 30-х гг., в которой, не без влияния Гоголя, получили распространение повести второстепенных литераторов, изображавших быт и нравы чиновников. Конкретные данные об этой прозе см.: Цейтлин А. Г. Повести о бедном чиновнике Достоевского (К истории одного сюжета). М., 1923.

*** 385.** ОЗ. 1840. № 5. Датировано в Стих. 1840. Более точное время написания — март 1840 г., когда Лермонтов находился под арестом за дуэль с Э. де Барантом. Белинский писал В. П. Боткину 15 марта 1840 г., что Лермонтов «переводит Зейдлица и не унывает» (Белинский. Т. 11. С. 496). «Воздушный корабль» — вольное переложение баллады австрийского поэта Й.-К. Зейдлица (1790—1862) «Das Geisterschiff» (1832). В строфах 7 и 12 ощутимо воздействие другой баллады этого же автора.— «Die Nächtlische Heerschau» («Ночной смотр», 1829). Свой перевод Лермонтов выполнил с оглядкой на перевод В. А. Жуковского (напечатан в С. 1836, № 1). Подобно Жуковскому, Лермонтов освобождает балладу от нагромождения устрашающих деталей, свойственных Зейдлицу — типичному представителю романтики визионерства. По поводу своего перевода «Воздушного корабля» на французский язык В. Ф. Одоевский справедливо отметил в примеч. к нему, «что дарование Лермонтова более широкое, у него больше р е а л ь н о с т и в ф а н т а с т и ч е с к о м» (Заборова. С. 190). *Оставил наследника-сына* — Наполеона II (см. примеч. 408). *В равнине, где Эльба шумит.* В долине Эльбы — под Йеной и Ауэрштадтом — в 1806 г. произошли кровопролитные сражения, приведшие к победе наполеоновских войск над прусской армией и завоеванию германских территорий вплоть до Эльбы.

386. ОЗ. 1842, № 2. - - Печ. по автографу ПД, тетр. 15. Написано в ордонанс-гаузе, где Лермонтов в марте-апр. 1840 г. находился под арестом за дуэль с Э. де Барантом. По свидетельству А. П. Шан-Гирея, поэт изобразил в этом ст-нии реальное лицо: «Она действительно была интересная соседка; я ее видел в окно, но решеток у окна не было, и она вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при ордонанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери» (Воспоминания. С. 48). В. А. Соллогуб сообщал биографу поэта П. А. Висковатову, что даже видел портрет этой девушки, нарисованный Лермонтовым с подписью «la jolie fille d'un sous-officier» (хорошенькая дочь унтер-офицера) (Висковатов. С. 294). Ст-ние вскоре получило широкое распространение в народном песенном репертуаре.

*** 387.** ОЗ. 1841, № 8. - - Печ. по копии ПД, тетр. 15. Датируется предположительно 1840 г. Ст-ние завершает тюремную тему в творчестве Лермонтова и, скорее всего, написано в марте-апр. 1840 г., когда поэт находился под арестом за дуэль с Э. де Барантом. Э. Герштейн относит ст-ние к 1841 г. на том основании, что оно объединено со ст-ниями этого времени темой смерти (№ 406, 414 и др.). Однако к этой теме Лермонтов обращался и в 1840 г. (№ 392 — «Благодарность»; № 399 — «Завещание»). Едва ли ст-ние написано в первые месяцы 1841 г., когда Лермонтов был в отпуске в Петербурге (до 14 апр.): ст-ния более позднего периода вошли в зап. кн., где автографа «Пленного рыцаря» нет.

388. РС. 1875, № 9, строфа 3. - - ПСС-1, т. 1, под загл. «Гусару-поэту». - - Изд. 1926. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Обращено к Александру Львовичу Потапову (1818—1886), товарищу Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку. Ответ на послание Потапова, переданное Лермонтову под расписку о получении, наводит на мысль, что поэт находился тогда под арестом. Отсюда и ст. «И легче стал судьбы удар». Послание Потапова и его ст-ния неизвестны. Датируется временем совместной службы Лермонтова и Потапова в лейб-гвардии гусарском полку (Потапов был выпущен в полк из школы юнкеров в сент. 1837 г.) и периодом ареста Лермонтова. Это могла быть Царскосельская гауптвахта, где в сент.-окт. 1838 г. Лермонтов отбывал наказание за гусарскую шалость (появление на параде с короткой саблей), или Арсенальная гауптвахта, где в марте-апр. 1840 г. он был под арестом за дуэль с Э. де Барантом. *Премудрый пастырь Аарон* и т. д. Чудо с жезлом, по библейской легенде, на самом деле совершил не первосвященник Аарон, а его брат Моисей, предводитель евреев, оказавшихся в пустыне и изнемогавших от жажды. С посохом же Аарона произошло другое чудо: он неожиданно расцвел, покрылся листвой и принес плоды миндаля.

389. ОЗ. 1842, № 10. *Соломирская* Мария Петровна (1811—1859), жена В. Д. Соломирского, брат которого в 1837 г. командовал лейб-гвардии гусарским полком; светская красавица (см. о ней примеч. 383). *Так, разбирая в заточенье Досель мне чуждые черты.* Очевидно, Лермонтов получил, находясь под арестом, записку от Соломирской. Ст-ние, вероятно, написано в альбом Соломирской вскоре после освобождения из-под ареста (апр. 1840 г.).

390. ОЗ. 1840, № 6 (ценз. разреш. 14 июня). - - Стих. 1840, датировано. Предположение о том, что ст-ние обращено к М. А. Щербатовой (см. примеч. Б. М. Эйхенбаума к ПСС-3, т. 2. С. 248) вполне правдоподобно. По содержанию оно перекликается со ст-нием № 382: «И в гордом покое насмешку и зло переносит». О «коварном гоненье молвы» Щербатова писала в письме к А. Д. Блудовой от 21—23 марта 1840 г.: «Вы знаете, моя дорогая, нет ничего более позорного для женщины, чем отвратительные предположения на ее счет со стороны тех, кто ее знал. Но если женщина слишком горда, она скорее предпочитает склонить голову перед бесчестной клеветой, чем оказать честь людям, на нее нападающим, представляя им доказательства своей невиновности» (Юшкин Ю. Когда открывалась дуэль... // «Лит. Россия». 1987, 24 июля. С. 16).

391. ОЗ. 1840, № 6 (ценз. разреш. 14 июня). - - Стих.1840, датировано. Автограф — ПД, тетр. 15. Ироническая благодарность к богу в сборнике 1840 г. была замаскирована в местоимении «ты» строчным «т» (в автографе прописное «Т»). Тем самым и все ст-ние воспринималось как обращение к женщине. «Благодарность» полемична по отношению к религиозно-сентиментальному ст-нию В. И. Красова «Молитва» (ОЗ. 1839, № 12, С. 133), которое заканчивалось словами: «Благодарю, творец, за всё благодарю» (см.: Бухштаб Б. Я. «Благодарность» // ЛН. 1952. Т. 58. С. 406—410).

392. ОЗ. 1840, № 7. Датируется по Стих. 1840. Вольный перевод песни Гёте «Wanderers Nachtlied» («Über allen Gipfeln...»). Поэт и переводчик А.Н.Струговщиков вспоминал о своем разговоре

с Лермонтовым на квартире В. А. Соллогуба (до отъезда в ссылку) по поводу этого ст-ния: «На вопрос его ⟨Лермонтова⟩: не перевел ли я „Молитву путника“ Гёте? — я отвечал, что с первой половиной сладил, а во второй — недостает мне ее певучести и неуловимого ритма. „А я, напротив, мог только вторую половину перевести“,— сказал Лермонтов и тут же, по просьбе моей, набросал мне на клочке бумаги свои „Горные вершины“» (Струговщиков А. Н. Михаил Иванович Глинка: Воспоминания // PC. 1874, № 4. С. 712). «Wanderers Nachtlied» состояло из двух песен. Первой половиной ст-ния Струговщиков назвал первую песню («Der du von dem Himmel bist...»). Лермонтов перевел вторую песню («Über allen Gipfeln...»).

393. ОЗ. 1840, № 9. - - Датируется по Стих.1840. Автограф — ПД, с датой рукою В. А. Соллогуба: 1838, видимо, ошибочной. Навеяно встречей с дочерью В. А. Лопухиной (см. о ней примеч. 289). Об этом свидании писал П. А. Висковатов (С. 262—263). В ряде изданий адресат оспаривается на том основании, что речь идет о ребенке-мальчике. В ст. 8 и 24 — мужской род («Ты на нее похож...»), но это объясняется грамматическим согласованием со словом «ребенок».

394. ОЗ. 1840, № 10, без ст. 1—4. - - Печ. по автографу ПД, альбом А. О. Смирновой, так как публикация в ОЗ явно неавторская: Лермонтов такие альбомные стихи едва ли бы напечатал. Неполная копия рукой В. А. Соллогуба — ПД (очевидно, с черн. ред.). Автограф другой ред.— ГИМ, альбом М. П. Полуденского (опубл.: БЗ. 1858, № 6). Датируется по времени публикации в ОЗ и местонахождению в альбоме А. О. Смирновой. Александра Осиповна *Смирнова*-Россет (1809—1882) была в дружеских отношениях с Пушкиным, Гоголем, Жуковским. Лермонтов во время непродолжительного пребывания в Петербурге в 1840—1841 гг. часто посещал ее литературный салон, а также встречался с нею в доме своих друзей Карамзиных. «Софи Карамзина мне раз сказала,— вспоминает Смирнова,— что Лермонтов был обижен, что я ничего ему не сказала об его стихах. Альбом всегда лежал на маленьком столике в моем салоне. Он пришел как-то утром, не застал меня, поднялся вверх, открыл альбом и написал эти стихи» (Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1931. С. 213). Высказывалось мнение, что следует передатировать ст-ние (см.: Прохоров Е. О тексте и дате стихотворения «А. О. Смирновой» // «Рус. литература». 1960, № 4. С. 133), что представляется ошибочным. В альбоме Смирновой действительно на одном листе написаны ст-ния Лермонтова и (ниже) Е. П. Ростопчиной, но после ст-ния Ростопчиной, названного «Воспоминания вдалеке», стоит не дата записи в альбом, а дата написания: «Село Анна. Апрель 1839 г.». Ростопчина в 1838—1839 гг. не жила в Петербурге, а находилась в воронежском имении — с. Анна; приехала она в Петербург лишь в 1840 г. Из этого следует, что Лермонтов не мог написать свое ст-ние раньше 1840 г.

*** 395.** ОЗ. 1840, № 12. В автографе ЦГАЛИ помета П. А. Вяземского: «Это портрет графини Воронцовой-Дашковой». В черн. автографе ЦГАЛИ загл.: «Портрет. Светская женщина». Третий автограф — Берлинская гос. библиотека, собр. К. А. Варнгагена фон

Энзе с пометой: «Von Paulina Bülübin» («От Полины Билибиной»). В 1840 г. известная петербургская красавица графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова (1818—1856) получила из Парижа свой портрет, литографированный Греведоном. Лермонтов, с симпатией относившийся к Воронцовой-Дашковой, тогда же (до отъезда на Кавказ) создал ее стихотворный портрет.

396. Стих.1840, датировано. В. А. Соллогуб засвидетельствовал, что ст-ние написано в день отъезда в ссылку на Кавказ, на квартире у Карамзиных, где собрались друзья, чтобы проститься с поэтом. По свидетельству Соллогуба, приведенному П. А. Висковатовым, Лермонтов слагал ст-ние стоя у окна и глядя на тучи, плывшие над Невою и Летним садом. Карамзины жили в доме напротив Летнего сада, у «Соляного городка» (Висковатов. С. 300). «Тучами» Лермонтов заключил сборник своих ст-ний и поставил дату: апрель 1840, тем самым обозначив и дату своего изгнания.

397. БЗ. 1858, № 20. - - Печ. по автографу ЦГАЛИ, тетр. С. А. Рачинского. Автограф — Берлинская гос. библиотека, с датой. Черн. автограф — ЦГАЛИ, архив П. А. Вяземского. Стихотворная шутка вписана в альбом поэтессы К. К. Павловой в Москве, где Лермонтов был проездом по дороге во вторую ссылку на Кавказ.

*** 398.** Альм. «Утренняя заря на 1843 г.» Спб., 1843 под загл. «Валерик», без ст. 173, 200-204, с искажением ст. 39, 89, 121, 139, 140, 150, 151, 174, 205—208, 225. - - ПСС-1, т. 1, под загл. «Валерик». - - Полн. собр. соч. М.; Л., 1926 (под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума). - - Печ. по черн. автографу ГБЛ. Текст «Утренней зари» и близкая к нему копия ГБЛ (архив Ю. Ф. Самарина), также под загл. «Валерик», восходят к этому автографу, порою трудно поддающемуся прочтению. Так называемые разночтения между этими источниками — следствие неправильного прочтения текста черн. автографа. Наличие в списке Самарина 11-ти зачеркнутых в автографе ст. объясняется тем, что переписчик воспроизвел зачеркнутое, но не свидетельствует, что эта копия восходит к другому, более позднему источнику. Таким образом, нет основания для введения загл., отсутствующего в единственном автографе. Загл. малохарактерно для жанра послания. Адресатом обычно считалась В. А. Лопухина (см. о ней примеч. 289), хотя в ст-нии имеются строки, противоречащие этому: «В заботах света вам смешны Тревоги дикие войны», «На вашем молодом лице Следов заботы и печали Не отыскать». Известно, что Лопухина была далека от «светских забот», и все мемуаристы как раз находили на ее лице «следы печали». О сражении, которое описано в ст-нии, Лермонтов писал 17 июня 1840 г. А. А. Лопухину: «Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг в Чечню брать пророка Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке» (Соч.АН, т. 6. С. 454). 12 сент. Лермонтов сообщал Лопухину: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте — кажется, хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью» (Соч. АН, т. 6. С. 456). Действующий отряд, о котором пишет Лермонтов,— это отряд генерала А. В. Галафеева, выступивший 6 июля 1840 г. из лагеря при крепости

Грозной в западном направлении. 11 июля из лагеря при деревне *Гихи* (Гехи) отряд двинулся к речке Валерик, где и произошел бой. *Валерик* — приток Сунжи — реки, впадающей в Терек. Этимологически сложное происхождение слова Валерик, по-видимому, означающего «речка смерти», подробно проанализировано в статье: Чокаев К. З. Еще раз о «речке смерти» // Кавказ и Россия в творчестве М. Ю. Лермонтова. Грозный, 1987. С. 126—130. О сражении при Валерике и участии в нем Лермонтова рассказывает К. Х. Мамацев (Воспоминания. С. 257—260). Вслед за «Бородином» это ст-ние — новое слово в батальной поэзии, предвосхищающее военные эпизоды в прозе Л. Н. Толстого. *Ермолов* Алексей Петрович (1777—1861) — полководец, дипломат, герой Отечественной войны 1812 г., в 1816—1827 гг.— главнокомандующий на Кавказе. *Авария* — в ту пору Аварское ханство в Дагестане. *Ноговицы* — род голенищ, застегивающихся вокруг голени. *Мюрид* — у мусульман последователь духовного наставника, в данном случае сподвижник Шамиля, возглавлявшего движение горцев Дагестана и Чечни за освобождение их от власти царизма. *Ичкерия* — территория Сев. Кавказа, граничащая с Большой Чечней, находилась южнее Терека и Сунжи, населена была чеченцами и ичкеринцами.

399. ОЗ. 1841, № 2. Написано, по-видимому, в конце 1840 г., когда Лермонтов участвовал в военных действиях на кавказской линии.

400. ОЗ. 1842, № 9, под загл. «В альбом автору „Курдюковой“». - - Печ. по автографу ЦГАЛИ. Датируется временем выхода в свет юмористического романа в стихах Ивана Петровича Мятлева (1796—1844) «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границей, дан л'Этранже» (1840). Роман написан макароническим стихом, основанным на смешении разноязычных слов. Лермонтов, встречавшийся с И. П. Мятлевым в салонах А. О. Смирновой и С. Н. Карамзиной, ценил его шутливые стихи. Мятлев написал ответное ст-ние «Мадам Курдюкова Лермонтову». Ст. *«На наших дам морозных»* — каламбур, основанный на созвучии русского слова «мороз» с французским словом «morose» (т. е. угрюмый, мрачный). Каламбур заключен и в слове «фигура» (figure — по-французски: лицо).

401. «Русская беседа: Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина». Спб., 1841. Т. 2, без последней строфы. - - «Русский библиофил». 1916. № 6. - - Печ. по фотокопии ПД с утраченного автографа. Датируется предположительно 1840—1841 гг. Софья Николаевна *Карамзина* (1802—1865) — старшая дочь писателя и историка Н. М. Карамзина. Лермонтов во время своих приездов в Петербург часто посещал Карамзиных и подружился с С. Н. Карамзиной, «умной и вдохновенной руководительницей и душой... гостеприимного салона» (Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1928. Т. 1. С. 70—71). Здесь Лермонтов встречал друзей Пушкина — В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, В. Ф. Одоевского, А. И. Тургенева и других выдающихся литераторов своего времени. *Смирнова* — см. примеч. 394. *Саша* — Александр Николаевич Карамзин (1815—1888), сын историка. *Ишка Мятлев* — И. П. Мятлев (см. о нем примеч. 400). Признания Лермонтова об отказе от романтических традиций сделаны в русле пушкинского реализма и перекликаются со строфой «Иные нужны мне картины...» в «Отрывках из путешествия Онегина».

402. ОЗ. 1843, № 5. Датируется предположительно 1840—1841 гг.

***403.** PC. 1887, № 12, с искажением в ст. 6: «укроюсь от твоих вождей». - - РА. 1890, № 11, где снабжено примеч. П. И. Бартенева: «Записано со слов поэта современником». Имеются две копии ст-ния, также исходящие от Бартенева: в письме последнего к П. А. Ефремову от 9 марта 1873 г.— ПД («Вот еще стихи Лермонтова, списанные с подлинника») и в архиве Н. В. Путяты — ЦГАЛИ. Основное разночтение этих списков: вм. «пашей» — «царей». Однако при чтении «царей» исчезает смысловая связь между строфами. Кроме того, неоправданным остается и множественное число в слове «царей»; нехарактерна для Лермонтова и неточная рифма («царей» — «ушей»). Подробный стилистический анализ, доказывающий достоверность ред. РА, см.: Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 104—119. Датируется временем отъезда Лермонтова в ссылку на Кавказ (начало мая 1840 г.) или последним отъездом на Кавказ (середина апр. 1841 г.), когда поэту было предписано в 48 часов покинуть Петербург. *Мундиры голубые* — жандармы, обмундирование которых было голубого цвета.

404. ОЗ. 1841, № 3. Здесь получает развитие тема двух юношеских ст-ний 1831 г.— «Романс к И⟨вановой⟩» (№ 193) и «Когда одни воспоминанья...» (№ 195), включенного в трагедию «Странный человек». Строфа 1 второго ст-ния повторена почти без изменения. Остальные строфы написаны заново. «Оправдание» предшествует мотивам губительной силы страсти и женской жертвенности в поэзии Н. А. Некрасова и Ф. И. Тютчева.

405. ОЗ. 1841, № 4.- - Печ. по ОЗ с исправлением ст. 16 по автографу ПД («ночующий» вм. «кочующий»). Автограф под загл. «Отчизна», с вар. Датируется по упоминанию в письме Белинского к В. П. Боткину от 13 марта 1841 г. Ст-ние отвергает официальные представления о патриотизме («слава, купленная кровью»), а также славянофильские воззрения, выраженные А. С. Хомяковым в ст-нии «Отчизна» (1839): «Полного доверия покой», «темной старины заветные преданья». Финал ст-ния перекликается с размышлением Гоголя в «Тарасе Бульбе» о том, что раб чувствует себя вольным лишь в бешеном танце. К этому финалу близки и строки из «Путешествия Онегина»: «Теперь мила мне балалайка Да пьяный топот трепака...»

406. Альм. «Утренняя заря на 1842 г.». Спб., 1842.- -Печ. по авториз. копии ПД, где зачеркнуто загл. «Влюбленный мертвец». Автограф — ПД, в альбоме М. А. Бартеневой, с датой: 10 марта 1841 г. Черн. автограф — ГПБ, альбом Лермонтова (1840—1841 гг.), вначале озаглавлено: «Новый мертвец», затем: «Живой мертвец». Уже давно было высказано предположение о том, что «Любовь мертвеца» связана со ст-нием А. Карра (1808—1890) «Le mort amoureux» («Влюбленный мертвец»). См.: Штейн С. В. «Любовь мертвеца» у Лермонтова и Альфонса Карра // «Известия отделения рус. языка и словесности Академии наук». 1916, кн. 1. С. 1—10. В 1963 г. в альбоме Бартеневой было обнаружено, что на листе, предшествующем автографу Лермонтова, вписан текст ст-ния

А. Карра с датой 14 сент. 1839 г. Очевидно, Лермонтов, написавший ранее в этот альбом другое свое ст-ние («Есть речи — значенье...»), обратил внимание на ст-ние «Влюбленный мертвец», использовал его мотивы, а затем, снова получив альбом, отыскал лист с французским текстом и вписал свое ст-ние. «Любовь мертвеца» Лермонтова лишь местами близка к тексту «Le mort amoureux», однако связь между ними несомненна (см.: Андроников. С. 488—492).

* **407.** ОЗ. 1842, № 1, под загл. «Сосна».- - Печ. по копии ПД, тетр. 25 (на обороте авториз. копии ст-ния «Любовь мертвеца»). Другая копия окончательной ред.— ПД, тетр. 15. Черн. автограф этой ред.— ГПБ, альбом Лермонтова (1840—1841 гг.), под текстом слева — карандашный рисунок, изображающий сосну на вершине и в отдалении пальму на скале; справа — два мужских профиля. Автограф ранней ред.— ГПБ, с эпиграфом — цитатой двух первых строк ст-ния Г. Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam...» из «Книги песен» (1827), опубликован в «Ниве». 1888, № 46. Другой автограф ранней ред.— ПД, в альбоме З. И. Юсуповой-Шове, без эпиграфа. П. П. Вяземский вспоминал: «Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе мне перевел шесть ⟨?⟩ стихов Гейне «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро... набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году, и который ныне хранится в императорской Публичной библиотеке» (Воспоминания. С. 264). Лермонтов переакцентировал смысл ст-ния Гейне: «сосна» по-немецки мужского рода, т. е. вместо разлуки влюбленных темой ст-ния стало одиночество, разрыв связей между людьми вообще.

408. ОЗ. 1841, № 5. Авториз. копии — ПД, тетр. 15, совпадающие с печ. текстом. Черн. автограф — ГПБ, альбом Лермонтова (1840—1841 гг.). Автограф — ПД, из альбома А. Д. Абамелек (текст с разночтениями). Написано по поводу перенесения праха Наполеона с острова Св. Елены в Париж 15 дек. 1840 г. Оценка Наполеона как величайшего гения в «Последнем новоселье» ближе всего к характеристикам Гёте, приведенным И.-П. Эккерманом в «Разговорах с Гёте» (Eckermann J.-P. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Leipzig, 1836). Торжественная церемония похорон Наполеона в Париже вызвала в России ряд поэтических откликов, в том числе ст-ния А. С. Хомякова «На перенесение Наполеонова праха», «7 ноября», «Еще об нем». Однако эти ст-ния были пронизаны славянофильскими тенденциями. «Русскому смирению и религиозности» здесь противопоставлен неистовый честолюбец, воплощавший будто бы дух европейского общества (см.: Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976. С. 126—128). Ст-ние Лермонтова включилось в контекст полемики, развертывающейся между славянофилами и западниками. Резкая характеристика современной Франции Лермоновым и была многими воспринята как проявление «французоедства», свойственного славянофилам. Так понял ст-ние Белинский, в письме которого к В. П. Боткину от 27—28 июня 1841 г. сказано: «Кстати: какую гадость написал Лермонтов о французах и Наполеоне — то ли дело Пушкина "Наполеон"» (Белинский. Т. 12. С. 54). Вскоре появилось

ст-ние Н. М. Сатина «Поэту-судие» (ОЗ. 1841, № 8. С. 189), содержащее упрек Лермонтову, призывающее его к сдержанности чувства и точности лирических высказываний (см.: Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX в. М., 1959. С. 42). Подробно об истории публикации ст-ния Сатина см. в примеч. В. С. Киселева-Сергенина к сб. «Поэты 1820—1830-х годов» (Л., 1972. Т. 2. С. 728—729). Заметим, что романтическое противопоставление гения толпе превратилось в «Последнем новоселье» в гневную характеристику мещанской Франции, разорвавшей с наполеоновскими традициями воинской доблести и патриотизма, связанными, по убеждению Лермонтова, с заветами революции, с Верой, Славой и Гением, которыми Наполеон возвысил Францию. Тема трагического одиночества героя, присущая всей поэзии Лермонтова, достигает здесь кульминации. Принципиальное отличие этой трактовки Наполеона от своей Хомяков свел к мнимому художественному несовершенству «Последнего новоселья»: «Лермонтов сделал неловкость: он написал... стихи слабые; а еще хуже то, что в них слабее моего сказал то, что было сказано мною. Это неловкость, за которую на него сердятся лермонтисты... Лермонтов так вообще хорош, что на него досадно, когда он ниже себя» (Письмо к Н. М. Языкову, лето 1841 г. // Хомяков А. С. Полн. собр. соч., М., 1904. Т. 8. С. 104). В связи с переводом «Последнего новоселья» на французский язык Э. П. Мещерским (1842) А. Х. Бенкендорф 4 янв. 1843 г. писал министру народного просвещения С. С. Уварову, «что издание подобной пьесы мне кажется неприличным и несоответствующим отношениям нашим к иностранным державам. Сильные выходки против Франции усилены переводчиком до неприличной брани» (Боград В. Э. Журнал «Отечественные записки». 1839—1848: Указатель содержания. М., 1985. С. 437—438). «Последнее новоселье» перевел на французский язык также Д. П. Ознобишин (автограф — ПД). *Из славы сделал ты игрушку лицемерья, Из вольности — орудье палача.* По мысли Лермонтова, Наполеон вывел Францию из жесточайшего кризиса, к которому ее привел якобинский террор. *Вы сына выдали врагам.* Сын Наполеона I и Марии-Луизы — Наполеон II Бонапарт (1811—1832) после падения Наполеона в 1814 г. был увезен в Австрию; умер от чахотки в возрасте двадцати одного года. В большинстве изданий, начиная с ОЗ, слова, относящиеся к Наполеону, печатаются с прописных букв («Он», «перед Ним», «Его», «Столица», «Скала», «Океан»).

409. Альм. «Радуга». Пб., 1922. Т. 2.- - Печ. по автографу ПД, лист из альбома А. А. Углицкой (по мужу — Альбрехт). Обращено к кузине Лермонтова Александре Александровне *Углицкой* (1822—1862) в связи с ее предстоящим замужеством (в апр. 1841 г.). Написано макароническими стихами в стиле ст-ний И. П. Мятлева (см. № 400). Упоминание *армейского чина* — намек на перевод Лермонтова за дуэль с Э. де Барантом из гвардии в Тенгинский пехотный полк.

410. «Русская беседа: Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина». Спб., 1841. Т. 2. Датируется апр. 1841 г. на основании воспоминаний Е. П. Ростопчиной (см.: «Стихотворения графини Ростопчиной». Спб., 1857. Т. 2. С. 85, примеч. к ст-нию «Пустой альбом»). Лермонтов был знаком с

поэтессой Ростопчиной (см. о ней примеч. 255) еще в годы ранней молодости, когда она разделяла взгляды передовой молодежи и писала стихи, мысленно обращаясь к сосланным декабристам (см. его мадригал, посвященный ей, № 255). Во время последнего приезда в Петербург поэт почти ежедневно встречался с Ростопчиной; уезжая на Кавказ в середине апр. 1841 г., он подарил ей альбом, в который вписал это ст-ние.

411. ОЗ. 1842, № 3.- - Печ. по копии ПД, тетр. 15. Переработка юношеского ст-ния «Прелестнице» (№ 279). По-видимому, также обращено к Е. П. Ростопчиной (см. о ней примеч. 255) и датируется 1841 г. В списке, которым располагал Белинский, «Договор» заканчивался двадцатью заключительными строками ст-ния «Графине Ростопчиной» (Белинский. Т. 12. С. 85). В письме к В. П. Боткину от 17 марта 1842 г. он писал: «“Договор” — чудо как хорошо,— и ты прав, говоря, что это глубочайшее стихотворение, до понимания которого не всякий дойдет; но не такова ли же и большая часть стихотворений Лермонтова?» (Там же. С. 84).

412. ОЗ. 1843, № 4.- - Печ. по автографу ГПБ, Зап. книжка. Датируется по расположению в Зап. книжке.

413. «Москвитянин». 1841, № 6, с искажением ст. 23.- - Печ. с исправлением этого ст. по автографу ГБЛ. Беловой и черн. автографы — ГПБ, Зап. книжка. Написано в Москве во второй половине апр. 1841 г. Ю. Ф. Самарин 15 июня 1841 г. писал М. П. Погодину (редактору журнала «Москвитянин»): «Посылаю Вам приношение Лермонтова в Ваш журнал. Он просит напечатать его просто, без всяких примечаний от издателя, с подписью его имени. Радуюсь душевно и за него, и за Вас, и за всех читателей “Москвитянина”» (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1892. Кн. 6. С. 236—237). На обороте предшествующего автографу ГПБ листа рукою Лермонтова написано: «Восток». Возможно, этим ст-нием Лермонтов хотел открыть новый цикл стихов (далее в Зап. книжке следуют «Тамара», «Свидание»). А. С. Хомяков летом 1841 г. писал: «В “Москвитянине” был разбор Лермонтова Шевыревым, и разбор не совсем приятный, помоему несколько несправедливый. Лермонтов ответил очень благоразумно: дал в “Москвитянин” славную пьесу “Спор Шата с Казбеком”, стихи прекрасные» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1904. Т. 8. С. 104). «Спор» отличается многоплановостью общественно-исторических и философских исканий Лермонтова, поднимает обширный круг вопросов: предназначения России, отношений Востока и Запада, цивилизации и природы. Россия предстает здесь живой, активной силой, противодействующей «дряхлому» Востоку, погруженному в многовековой сон. Строки, посвященные Казбеку, характеризуют сочувственное отношение поэта к судьбам народов Востока. О художественных особенностях и проблематике ст-ния см. статьи: Усок И. Е. «Спор» // ЛЭ. С. 525—526; Пумпянский Л. В. Стиховая речь Лермонтова // ЛН. 1941. Т. 45 / 46. С. 412—416; Коровин В. Н. Творческий путь М. Ю. Лермонтова. М., 1973. С. 51—57. *Генерал седой* — А. П. Ермолов (см. о нем примеч. 398).

414. ОЗ. 1843, № 4.- - Печ. по автографу ГПБ, Зап. книжка; там же — черн. автограф. Ст-ние имеет кольцевую композицию.

«Сон героя и сон героини — это как бы два зеркала, взаимно отражающие действительные судьбы каждого из них и возвращающие друг другу их отражения» (см. коммент. Б. М. Эйхенбаума к ПСС-3, т. 2. С. 252). Возможно, замысел ст-ния связан с В. А. Лопухиной (см. о ней примеч. 289).

415. ОЗ. 1844, № 2.- - Печ. по черн. автографу ГПБ, Зап. книжка. Набросок. *Капгар* — по-видимому, от тюркск.: Қап-Қара — черный, смуглый. *Туксус* (тюркск.) — безбородый юноша.

416. ОЗ. 1844, № 2.- - Печ. по черн. автографу ГПБ, Зап. книжка. Начало ст-ния связано с предыдущим по содержанию, размеру и рифмовке.

* **417.** ОЗ. 1843, № 12.- - Печ. по автографу ГПБ, Зап. книжка; там же два черн. автографа. Вольный перевод ст-ния Гейне «Sie liebten sich beide doch keiner...» из «Книги песен» (1827), начало которого приведено Лермонтовым в качеств эпиграфа. Воссоздание и анализ вар. см.: Бухштаб Б. Я. К истории текста стихотворения Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...» // «Известия АН СССР». Серия литературы и языка. 1988, № 2. С. 181—185.

418. ОЗ. 1843, № 4.- - Печ. по автографу ГПБ, Зап. книжка. Черн. автограф — ГПБ. В Грузии сохранилась легенда о коварной княжне Дарье, которой принадлежал Дарьяльский замок (само имя мифической княжны возникло в связи с названием ущелья: Дарьял — Дарья). Французский путешественник Ж.-Ф. Гамба приводит эту легенду в книге («Voyage dans la Russie meridional...». Paris, 1826. T. 2. P. 21—22), упоминаемой самим Лермонтовым в «Герое нашего времени». Легенда совпадает с сюжетом ст-ния. Поскольку в Грузии все постройки приписывали царице Тамар (1184—1213), то появление ее имени вполне естественно, хотя Лермонтов мог слышать и другие предания, например связанные с имеретинской царицей Тамарой, жившей в XVII в. и соединявшей редкую красоту и вероломство. Одним из источников ст-ния, возможно, были «Египетские ночи» Пушкина (опубл. посмертно: С. 1837, т. 8). Лермонтов создал вполне оригинальный образ грузинской Клеопатры. О фольклорной и исторической основе баллады см.: Андроников. С. 299—302; Шадури В. С. За хребтом Кавказа. Тбилиси, 1977. С. 58—64.

419. ОЗ. 1844, № 2.- - Печ. по автографу ГПБ, Зап. книжка; там же — черн. автограф. Вместе со «Спором» и «Тамарой», «Свиданье», видимо, предназначалось для задуманного цикла «Восток» (название имеется на отдельном листе в Зап. книжке).

420. ОЗ. 1843, № 6.- - Печ. по автографу ГПБ, Зап. книжка. Черн. автограф — ГПБ. Строки «До срока созрел я», «Один и без цели» связывают балладу с «Думой» (№ 368), а образ молодой чинары воспринимается как попытка преодолеть одиночество на иной почве, в другой среде. Н. Г. Чернышевский в «Повести в повести» переосмыслил образ молодой чинары из лермонтовского «Листка», связав с ним размышления о судьбах России, о силах, которые приблизят ее светлое будущее (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 12. С. 274—275).

421. ОЗ. 1843, № 4.- - Печ. по автографу ГПБ, Зап. книжка. Музыкальный строй и поэтическая логика ст-ния раскрыты в статье: Максимов Д. Е. О двух стихотворениях Лермонтова // Русская классическая литература: Разборы и анализы. М., 1969. С. 127—147. Один из центральных образов ст-ния был навеян ст-нием Гейне «Der Tod, das ist die kühle Nacht...». В нем говорится: «Смерть — это прохладная ночь. Жизнь — это знойный день. Уже темнеет, меня клонит ко сну, день утомил меня. Над моим ложем поднимается дерево, на нем поет молодой соловей; он все поет о любви, я даже во сне слышу эту песню».

422. ОЗ. 1841, № 5.- - Печ. по автографу ГПБ, Зап. книжка.

* **423.** ОЗ. 1844, № 2.- - Печ. по автографу ГПБ. Черн. автограф — ГПБ. Лермонтов продолжил здесь пушкинскую тему («Пророк», 1826 г.). Возможно, последние строки ст-ния Лермонтова были полемическим ответом на евангельское изречение из Апостола Павла, выписанное В. Ф. Одоевским для Лермонтова перед его отъездом на Кавказ в Зап. книжку: «Держитеся любве, ревнуйте же к дарам духовным да пророчествуете. Любовь же николи отпадает» (Заборова. С. 188).

424. ОЗ. 1843, № 6.- - Печ. по автографу ГПБ, Зап. книжка. Черн. автограф — ГПБ. Высказывалось предположение, что ст-ние обращено к Екатерине Григорьевне Быховец (1820—1880), с которой Лермонтов встречался в Пятигорске. В письме от 5 авг. 1841 г. Быховец писала: «Он был страстно влюблен в В. А. Бахметеву ⟨Лопухину⟩... я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был» (Воспоминания. С. 347). По мнению П. А. Висковатова, обращено к Софье Михайловне Соллогуб (урожд. Виельгорской, 1820—1878), жене писателя В. А. Соллогуба (Висковатов. С. 291). В ст-нии развит близкий по замыслу мотив юношеского ст-ния «Я видел раз ее в веселом вихре бала...» (№ 145), в свою очередь восходящий к пушкинской «Дориде» (1820).

Стихотворения неизвестных лет

425. БЗ. 1861, № 16. Вольный перевод пятой песни из поэмы Байрона «Мазепа» (1818).

426. БЗ. 1861, № 1. Пародия на ст-ние В. А. Жуковского «Старый рыцарь» (1832).

427. РС. 1872, № 2.- - Печ. по автографу ГПБ, тетр. «Лекции из географии», с восстановлением пяти зачеркнутых здесь последних строк.

428. ВиС, кн. 1, без последнего ст.- - Печ. по ВиС, с восстановлением последнего ст. по БЗ. 1859, № 1. Это неоконченное произведение относится к последним годам жизни Лермонтова. Поэт обратился к гекзаметру, может быть, под воздействием вышедшей в 1837 г. отдельным изданием повести В. А. Жуковского «Ундина» (свободная переработка прозаической повести немецкого писателя Ф. де ла Мотт Фуке). Характер гекзаметра, интонации живой разговорной речи напоминают повествовательную манеру Жуковского. Обращает на себя внимание сходство первой строки «Это

случилось в последние годы могучего Рима» (у Жуковского: «Лет за пятьсот и поболе это случилось»). Действующие лица повести Лермонтова — «старуха простого званья» и ее муж. Они просят праведного старца воскресить внезапно умершую дочь. Это в известной степени перекликается с началом «Ундины», где старый рыбак и его жена внезапно потеряли любимую дочь и при таинственных обстоятельствах «получили взамен» девочку «чудной прелести» — Ундину. *Тиберий* — римский император (14—37). Лермонтов допустил неточность: во времена Тиберия гонения на христиан еще не начались.

429. ОЗ. 1843, № 6. Написано в последние годы жизни Лермонтова. Драматическое положение героини ст-ния, страдающей от охлаждения к ней возлюбленного, являет сходство с участью Бэлы (в «Герое нашего времени»).

ПОЭМЫ

Лермонтовым написано (считая и незавершенные произведения) около тридцати поэм. В истории русской литературы подобная интенсивность в работе над этим жанром не встречается.

При жизни поэта было опубликовано лишь четыре поэмы: «Хаджи Абрек» (1834) — без разрешения автора, «Тамбовская казначейша», «Песня про... купца Калашникова» (1838), «Мцыри» (1840). Бóльшая часть поэм написана Лермонтовым в юношеские годы (1828—1834). Уже в ученическом подражании «Кавказскому пленнику» Пушкина поэт по-своему истолковал характер главного героя, видоизменил центральный конфликт. Опираясь на традиции восточных поэм Байрона, Лермонтов в то же время пытался сказать свое слово. В поэмах «Каллы́», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек» господствует тема кровной мести, которая решается здесь значительно шире кавказского материала и ведет к выводам, имеющим общее философско-нравственное значение.

Следует отметить устойчивость отдельных ситуаций и образов, целых стихотворных фрагментов, переходящих из поэмы в поэму. Так, «Исповедь», «Боярин Орша», «Мцыри» связаны не только сюжетно, но и содержат также текстовые повторы (они каждый раз фиксируются в соответствующих примеч.).

Особо следует сказать о поэме «Демон», к работе над которой Лермонтов возвращался на протяжении почти всей своей творческой жизни, создав восемь основных редакций этого произведения. Такая сосредоточенность над воплощением этого замысла объясняется тем, что поэт хотел выразить здесь необычайно волнующие его художественные истины, и тем, что образ Демона позволил в наибольшей мере сконцентрировать черты других героев поэта (Вадим, Арбенин, Печорин), а также лирического героя многих ст-ний Лермонтова.

Рукописи поэм Лермонтова в основном сосредоточены в ПД (тетр. 1, 3, 5, 10—14, 20, 21 — Казанск. тетр., 22), ГПБ, ГБЛ. Основные сведения о рукописях поэм зафиксированы в след. трудах: Модзалевский Л. Б. Краткое описание автографов М. Ю. Лермонтова... // Бюллетени Рукоп. отдела Ин-та русской литературы АН СССР. 1950. Т. 2; Михайлова А. Н. Рукописи М. Ю. Лермонтова: Описание // Труды Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1941. Т. 2. К сожалению, не сохранились ни автографы, ни авторизованные

списки «Песни про... купца Калашникова», «Тамбовской казначейши». В настоящее изд. не включены юнкерские поэмы «Гошпиталь», «Петергофский праздник» и «Уланша», как неудобные в печати. Следует также иметь в виду, что автографы этих поэм отсутствуют и степень авторского участия в них Лермонтова не установлена. Юнкерские поэмы напечатаны с купюрами в ПСС-3, т. 3. Ввиду отсутствия документальных данных датировки ряда поэм остаются приблизительными («Последний сын вольности», «Каллы́», «Исповедь» и др.).

430. Соч. 1860, т. 2, от половины 1-го до ст. 44.- - ПСС-1, т. 3, с некоторыми отступлениями от авториз. копии ГПБ. - - Изд. 1926.- - Печ. с исправлением явных описок и ошибок переписчика по копии ГПБ, где имеется помета рукою Лермонтова: «В Чембар за дубом». В Чембаре (уездный город Пензенской губ., ныне город Белинский) Лермонтов мог бывать в летние месяцы 1828 г. Близ Чембара находилось имение Е. А. Арсеньевой — Тарханы. «Черкесы» — один из самых ранних поэтических опытов Лермонтова. На полях против ст. 106—132 рукой бабушки Лермонтова написано: «Зиновьев нашел, что эти стихи хороши». А. З. Зиновьев (1801—1884) — надзиратель и преподаватель русского и латинского языков в Благородном университетском пансионе, с осени 1827 г.— домашний учитель Лермонтова. В тетр. ПД с автографами поэм «Кавказский пленник» и «Корсар» Лермонтов нарисовал титульный лист поэмы «Черкесы» (рукопись которой неизвестна) — лира с венками по сторонам, под загл.— ядра и скрещенные пистолеты, ниже — эпиграф из эпилога пушкинского «Кавказского пленника» (с вар. Лермонтова):

Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет брани вещий глас,
Оставит стрелы боевые...
...И к тем скалам, где крылись вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы!..

В поэме отразились детские воспоминания Лермонтова о Кавказе и рассказы его родственников П. П. Шан-Гирея и Е. А. Хастатовой. В свою поэму Лермонтов включил ряд строк (дословно или с изменениями) из «Кавказского пленника» Пушкина (ст. 36—37), из пушкинской «Эпиграммы. Из антологии» (ст. 227: «Лук звенит, стрела трепещет...»), из поэмы «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» И. И. Козлова (ст. 103—104, 111—112, 133—138), из «Причудницы» (ст. 16—23) и «Освобождения Москвы» И. И. Дмитриева (ст. 176—178, 181, 184—190), «Сна воинов» Э.-Д. Парни в переводе К. Н. Батюшкова (ст. 197—207, 216—221). Ученическое произведение Лермонтова свидетельствует не только о большой его начитанности, но и о стремлении к самобытности. Он устранил любовную интригу, изменил традиционную романтическую ситуацию: в плен попадает не европеец, а черкес. **4.** *Уздени* — в Кабарде горцы-землевладельцы. **10.** *Лоар* — река Луара во Франции.

431. ОЗ. 1859, № 7, ст. 1—9, 17—35, 54—65, 70—74, от половины ст. 85 до 109, 319—346, 367—370, 437—438, 455—458, 461—468, от половины ст. 489 до 505, 511—518, 529—531, от 539 до по-

ловины ст. 544, 547—548, 557—558, 561, 565—578, 582, 598—605.- - Соч. 1860, т. 2, ст. 1—35, 54—74, 85—109, 319—346, 366—370, 437—438, 455—468, 479—518, 529—531, 539—544, 547—558, 561—578, 582, 598—606.- - ПСС-1, т. 3, без ст. 129—130.- - ПСС-2, т. 3.- - Печ. по автографу ПД. В тетр. 1, где находится автограф,— на титульном листе помета: «Москва. 1828». На обороте листа — рисунок Лермонтова, изображающий конного черкеса, который тянет на аркане русского пленника. Эпиграф (в переработанном виде) — из ст-ния немецкого поэта Карла Филиппа Конца (1762—1827) «Оракул мудрости» (1791). Сочинение Лермонтова представляет собой подражание пушкинскому «Кавказскому пленнику», местами переходящее в пересказ текста этой поэмы, откуда заимствовано — дословно или с изменениями — немало строк (ст. 36—37, 103—109, 227—228, 338—339, 341, 347—348, 440—441, 445, 485, 487—488) и отдельных словосочетаний. Некоторые строки (иногда с изменениями) взяты из «Бахчисарайского фонтана» (ст. 38—39), «Евгения Онегина» (ст. 395—397), «Эпиграммы. Из антологии» Пушкина (ст. 299), поэм А. А. Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский» (ст. 165—170, 263—265), И. И. Козлова «Чернец» (ст. 208—209), ст-ния В. В. Капниста «Обуховка» (ст. 429—433). Лермонтов ввел этнографический материал, свидетельствующий об его интересе к нравам и быту горцев. Юный поэт изменил характер пленника, лишив его черт разочарованности и пресыщенности жизнью, усилил драматизм поэмы: черкешенка требует любви пленника, и они оба гибнут. *Сайгак* (сайга) — разновидность диких коз в степях Сев. Кавказа. *Тулук* — бурдюк.

432. ОЗ. 1859, № 7, эпиграф и ст. 1—18, 23—26, 41—48, 60—64, 114—116, 134—138, 161—178, 183—186, 190—194, 202—209, 215—221, 224—227.- - ПСС-1, т. 3, с некоторыми неточностями. - - ПСС-2, т. 1.- -Печ. по автографу ПД, тетр. 1. Начало поэмы написано под воздействием «Братьев разбойников» Пушкина как продолжение его поэмы. Название восходит к одноименному произведению Байрона. Так же как в «Черкесах» и «Кавказском пленнике», в «Корсаре» имеются заимствования из пушкинского «Кавказского пленника» (ст. 61—62, 400), «Евгения Онегина» (ст. 313—315), из поэм А. А. Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский» (ст. 171—172), И. И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» (ст. 300—303), Байрона «Абидосская невеста» в переводе Козлова (ст. 236—238, 242—245). В описании бури (ст. 330—336) использовано семь строк из оды Ломоносова «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» (1746). Эпиграф — из романса французского поэта и драматурга Жана Лагарпа (1739—1803) «Геро и Леандр», французский текст изменен применительно к содержанию поэмы. У Лагарпа:

Longtemps il eut le sort prospère
Dans ce trajet si dangereux.
Las! il devint trop téméraire
Pour avoir été trop heureux.

(Долго ему благоприятствовало счастье
На таком опасном пути.
Увы! он стал чрезмерно смелым,
Потому что был чрезмерно счастливым.)

Ст. 2 у Лермонтова звучит по-иному: «на таком опасном пути» — «в таком опасном ремесле». Поэма, раскрывающая образ «благородного разбойника», выполнена в байронической традиции. Затрагивается греческая тема, интерес к которой обострился в связи с русско-турецкой войной 1828—1829 гг. **Часть 2.** *Геллеспонт* — древнегреческое название Дарданелльского пролива. *Афос* — греческая форма названия горы Афон. *Лемос* (правильно: Лемнос) — остров в сев. части Эгейского моря.

433. ОЗ. 1859, № 7, без ст. 77—78, с воспроизведением описок автографа.- - Соч.АН, т. 3.- - Печ. по автографу ГБЛ (тетр. А. С. Солоницкого). Датируется по месторасположению в тетр. В стихотворной повести заметно влияние поэмы Пушкина «Братья разбойники». *Служитель Аарона* — здесь: еврей; Аарон — см. примеч. 388. *Пени* — жалобы, упреки.

434. Отрывок неоконченной поэмы, начало которой сохранилось в трех вар.: ОЗ. 1859, № 7, вар. 3-й; РМ. 1881, № 12, вар. 1-й; ПСС-1, т. 1, сводный текст трех вар.- - Печ. по автографу ПД, тетр. 3. Датируется по месторасположению в тетр. Замысел поэмы, очевидно, возник в связи с русско-турецкой войной 1828—1829 гг. Осенью 1829 г. русские войска начали приближаться к Константинополю. К образу киевского князя Олега (ум. 912) обращались Пушкин («Песнь о вещем Олеге», 1822), К. Ф. Рылеев («Олег Вещий», 1822), Ф. И. Тютчев («Олегов щит», 1829), *Лада* — имя псевдославянской богини, о которой писали мифологи конца XVIII — начала XIX в., вследствие чего оно вошло в поэтический лексикон. На самом деле «ладо» — компонент припевов старых народных песен (типа: «Ой, дид ладо!» и т. п.). *Ловитва* — охота. *Стрибог* — древнеславянский бог ветров, изваяние которого было уничтожено в Киеве по принятии христианства. *Пред кем дрожали печенеги.* Здесь историческая неточность: набеги печенегов на Киевскую Русь начались уже после смерти Олега. *Казары* — хазары, тюркоязычные племена, составившие государственное образование Хазарский каганат в Причерноморье и каспийских степях; в 965 г. был разгромлен Русью.

435. Начало неоконченной поэмы. ОЗ. 1859, № 7, ст. 41—46. - - РМ. 1881, кн. 12.- - Печ. по автографу ПД, тетр. 3. Датируется по месторасположению в тетр. 3. Против ст. 19—24 в автографе неизвестной рукою сделана помета на полях: «contre la morale» («против нравственности»). В ст. 41—48 — отзвуки чтения VI главы «Евгения Онегина». Ст. 16 — реминисценция ст. из «Кавказского пленника» Пушкина. Неожиданное перенесение действия в Финляндию (поэма начиналась с древнерусских реалий) могло быть навеяно описаниями финской природы в произведениях К. Н. Батюшкова («Отрывки из писем русского офицера в Финляндии») и Е. А. Баратынского (элегия «Финляндия», поэма «Эда»). *Лада* — см. примеч. 434. *Шелом* — шлем.

436. «Русское слово». 1910, 21 марта и ПСС-2, т. 1.- - Печ. по авториз. копии ГБЛ. Датируется предположительно 1830 г. Эпиграф — из трагедии Шекспира «Отелло» (действие III, сцена 3, слова Яго). Замысел «Двух невольниц» подсказан поэмой Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Своим героям Лермонтов присвоил имена,

традиционные в западноевропейской художественной литературе, посвященной Востоку (*Заира* — из одноименной трагедии Вольтера, *Гюльнара* — героиня поэмы Байрона «Корсар»). *Гвадалквивир* — река в Испании. *Правоверная земля* — страна, населенная мусульманами.

437. Соч.1860, т. 2, ст. 1—49.- - ПСС-1, т. 3.- - Печ. по автографу ПД, тетр. 5. В автографе на листе 1 рукою Лермонтова написано: «Вступление (1830 года)». Рядом помета: «(великим постом и после). Я слышал этот рассказ от одного путешественника». На л. 2 об.: «Джюлио. Повесть. 1830». Предпоследний лист рукописи утерян (неизвестно ок. 45 ст. текста), поэтому после ст. «Отдохшие под свежею росой» следует ряд точек. Некоторые мотивы и строки поэмы перекликаются с юношеской лирикой, а порою прямо используются: ст. 293, 489—490 в ст-нии «1831-го июня 11 дня» (№ 192). Ст. 159—160, 342—347, 489—492 в переработанном виде использованы в поэме «Литвинка» (ст. 49—50, 359—366, 345—349), а ст. 293 — в «Измаил-Бее» (ст. 2181). Ст. 212—219, заключенные в кавычки («Заботы вьются в сумраке ночей...» и далее), — вольное переложение двух строф оды XVI Горация (II книга). *Чичисбей* — в XVI — XVIII вв. в Италии спутник знатной дамы, который ее сопровождает на прогулке; здесь — любовник. *Домино* — см. т. 1, примеч. 330, с. 676. *Аквилон* (лат.) — холодный, резкий северный ветер.

438. «Русское слово». 1910, 20 марта и ПСС-2, т. 1.- - Печ. по автографу ПД (из архива Н. С. Шеншина). В рукописи после текста поэмы находится авторизованная копия ст-ния «Романс к И⟨вановой⟩» (№ 193), написанного не позже июля 1831 г. Ст. 109: «С руками, сжатыми крестом» — отзвук VII главы «Евгения Онегина» (опубликованной в 1830 г.). Тем самым определяется приблизительная датировка поэмы. Эпиграф — из поэмы Байрона «Гяур» (ст. 6). Заключительная цитата на английском языке — из поэмы Оссиана «Картон» (ее же приводит Пушкин в поэме «Руслан и Людмила»: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»). Посвящена Николаю Семеновичу *Шеншину* (1813—1835), одному из участников «лермонтовской пятерки» (друзей поэта университетской поры). К образу *Вадима* Храброго — полулегендарного предводителя движения новгородцев (864 г.) против князя Рюрика (у Лермонтова — *Рурик*) и его варяжской дружины (о чем имеется запись в Никоновской летописи) — обращались писатели, поднимающие тираноборческую тему (Вадим в трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», незавершенная дума К. Ф. Рылеева «Вадим», отрывки из поэмы «Вадим» Пушкина и др.). Рюрик (шведское имя Хрёрекр) в 862 г. захватил власть в Новгороде и объявил себя князем. По содержанию и лексике лермонтовское посвящение перекликается со стихотворным посвящением А. А. Бестужеву поэмы К. Ф. Рылеева «Войнаровский» (1824). В лермонтовской поэме есть строки, очевидно подсказанные судьбой сосланных декабристов — тех, кто «не перестали помышлять В изгнанье дальнем и глухом, Как вольность пробудить опять. Отчизны верные сыны Еще надеждою полны». Во вставной «Песне Ингелота» заключен намек на восстание декабристов («Тридцать юношей сбираются, Месть в душе, в глазах отчаянье»). *Чернобог* (слав. миф.) — бог, воплощающий начала зла (в противоположность Бел-

богу). *Гостомысл* — новгородский старейшина, известен по летописи как первый посадник. *«Край наш славен, но порядка нет»* — слова, с которыми, согласно летописи, будто бы обратились послы славян, призывавшие варягов править на Руси. *Синав* (Синеус) и *Трувер*. В летописи сказано, что Рюрик пришел с «роды своими» («sine huse») и с верной дружиной» («thru waring»). В летопись попал пересказ какого-то скандинавского сказания, а новгородец, плохо знавший шведский язык, принял упоминание традиционного окружения шведского конунга за имена его братьев, которые до недавнего времени считались легендарно-историческими личностями (см.: Рыбаков Б. А. Мир истории: Начальные века русской истории. М., 1987. С. 48—49). *Лада* — см. примеч. 434. *Священный истукан* — идол Перуна.

* **439.** Соч. 1860, т. 2, ст. 1—37.- - РМ. 1882, № 11.- - РС. 1882, № 12, другая ред.- - Печ. по авториз. копии ПД, тетр. 21, недостающие строки которой (утрачен последний лист поэмы) дополнены по списку В. Х. Хохрякова (ГПБ), скопировавшего последний лист (ст. 147—152), когда он находился в тетр. Хохряков привел также одиннадцать ст. (между 146 и 147), поврежденных в автографе (в тексте их заменяет строка точек):

Быть может
В его чертах
Следы страда
Но укрывал
Под башлы
И больше
Он не госп
И верно б
На том к
Встречал ли
Ему открыт был

Реставрация утраченной части текста с некоторыми разночтениями и дополнительными строками (представляющими будто бы первоначальную ред.) была сделана П. А. Висковатовым якобы по списку А. М. Верещагиной, что вызывает сомнение, поскольку в архиве и альбомах Верещагиной список «Каллы́» отсутствует, а ст. 147—152, дошедшие частично в копии В. Х. Хохрякова (ПД), в ряде случаев Висковатовым произвольно изменены. Поэма основана на черкесском предании (см.: Андреев-Кривич. С. 63). Слово каллы́ происходит от тюркского «канлы» — кровник, т. е. человек, на котором лежит обязанность совершить кровную месть. Тема кровной мести нашла продолжение в поэмах «Измаил-Бей», «Хаджи Абрек», «Беглец», незавершенном романе «Вадим». *Белеет памятник простой: Какой-то столбик округленный! Чалмы подобие на нем.* Над могилами убитых, кровь которых осталась неотомщенной, устанавливались, согласно обычаю, такие столбики. Чалма высекалась над могилой хаджи, т. е. мусульманина, совершившего паломничество в Мекку.

440. ССЛ. 1876, 26 февр. с некоторыми неточностями.- - ПСС-2, т. 1.- - Печ. по копии ПД, тетр. 20. Загл., отсутствующее в копии, восстановлено по тексту начала поэмы (ст. 1—37), вписанному при-

ятелем Лермонтова А. Д. Закревским в альбом литератора Ю. Н. Бартенева (ПД) с датой: 15 авг. 1831 г. За год перед этим Пушкин вписал в альбом Ю. Н. Бартенева свой сонет «Мадона». Песня девушки («Ветер гудёт...») была также с вар. ст. 1—2 использована в юношеском романе Лермонтова «Вадим». *Азраил* (Исфраил) — ангел смерти у мусульман; здесь: отверженное богом бессмертное существо. В поэме ощутимо воздействие «Каина» Байрона и его же мистерии «Земля и небо». Возможно, миф об Азраиле привлек внимание Лермонтова благодаря ст-нию Пушкина «Из Гафиза» («Не пленяйся бранной славой...») 1829 г. или «Невестой Абидосской» того же Байрона (гл. 11) в переводе И. И. Козлова (опубл. 1826). В Азраиле есть черты, роднящие его с образом Демона. Поэма близка к третьей ред. «Демона»: ропот на бога, одиночество, любовь к смертной девушке. Стилистическим диссонансом в «Азраиле», сюжет которого, очевидно, привязан к Ближнему Востоку, выглядит навеянная русским фольклором песня Девы («Ветер гудёт...») *Закон Моисея* — здесь: Пятикнижие Ветхого завета, в котором рассказывается о творении богом мира и людей. О существовании каких-либо духов до создания земли и людей там действительно ничего не сказано. Автором Пятикнижия считается Моисей — первосвященник и вождь древних евреев. Упоминание о кресте на груди девушки (в одной из ремарок) указывает на то, что действие поэмы отнесено к эпохе христианства.

* **441.** Лермонтов М. Ю. Ангел смерти: Восточная повесть. Карлсруэ, 1857; на титульном листе: «Печатано с тетради, писанной собственной рукой автора и хранящейся у одной из его родственниц, имени которой посвящена эта повесть»; под этой справкой дата: «1831 года сентября 4-го дня», посвящение: «А. М. В—й». - - Печ. по автографу ГБЛ, архив А. М. Верещагиной. По сообщению П. А. Висковатова, «Ангел смерти» был издан в Карлсруэ одновременно с «Демоном» А. И. Философовым — родственником Лермонтова (Висковатов П. А. Литературная деятельность Лермонтова в университетские годы // РМ. 1884, кн. 4. С. 76—77). Черн. автограф — ПД, тетр. 11, где посвящение записано после текста поэмы; в той же тетр. поэме предшествует заметка Лермонтова: «Написать поэму „Ангел смерти“. Ангел смерти при смерти девы влетает в ее тело из сожаления к любезному и раскаивается, ибо это был человек мрачный и кровожадный, начальник греков.— Он ранен в сражении и должен умереть; ангел уже не ангел, а только дева, и его поцелуй не облегчает смерти юноши, как бывало прежде. Ангел покидает тело девы, но с тех пор его поцелуи мучительны умирающим. Ангел говорит: "Море колеблется, и цветок, отраженный его волнами, должен колебаться; скажи, отчего ты так беспокоен".— Повесть кончается вот чем: "...С тех пор хладнее льда его объятье, И поцелуй его — проклятье!"» Сюжетная основа «Ангела смерти» восходит к новелле Жана Поля Рихтера (1763—1825) «Смерть ангела» (1788). См.: Richter J. P. Der Tod eines Engels // Sämmtliche Werke. Berlin, 1826. Bd. 4. S. 4—46. См.: Недосекина Т. А. Ранние поэмы М. Ю. Лермонтова. Л., 1973. С. 12—14. В стилистике «Ангела смерти» ощутимо воздействие поэмы «Каин», мистерии «Небо и земля» Байрона. Александра Михайловна *Верещагина* — см. о ней примеч. 462.

442. РС. 1887, № 10.- - Печ. по авториз. копии Центрального

гос. архива Октябрьской революции и высших органов гос. власти СССР, архив Якушкиных с восстановлением ст. 1—60 (утраченных в копии) по черн. автографу ПД, тетр. 21, содержащему ст. 1—110 и 180—193. Имеется копия В. Х. Хохрякова ПД (снята с авториз. копии). Датируется предположительно второй половиной 1831 г., так как, вероятно, связана со след. планом Лермонтова, относящимся к тому времени: «Написать записки молодого монаха 17-ти лет.— С детства он в монастыре: кроме священных книг не читал.— Страстная душа томится.— Идеалы...» (Соч. АН, т. 6. С. 375). «Исповедь» — одна из ранних попыток Лермонтова передать в жанре романтической поэмы основные настроения своей лирики. Некоторые ст. «Исповеди» включены в поэму «Боярин Орша» (ст. с половины 27 до 66 совпадают со ст. первой половины 578 до 617 «Боярина Орши», ст. 67—82 — со ст. 434—449, ст. 153—155 — со ст. 1055—1057) и в поэму «Мцыри» (ст. 67—72 во многом совпадают со ст. 76—83 «Мцыри», ст. 45—66 — со ст. 128—149). «Исповедь» ближе к «Мцыри»: образ Арсения в «Боярине Орше» отличается тем, что герой в борьбе за свои права преступает нравственные нормы. *Гвадалквивир* — см. примеч. 436.

443. «Раут: Лит. сборник в пользу Александринского детского приюта». М., 1851, ст. 1—18, 33—36, 43—48, 63—96, 105—112, по авториз. копии К. К. и Н. Ф. Павловых.- - Печ. по «Русскому библиофилу». 1913, № 1, где опубликовано факсимиле полного текста названной рукописи, которая не сохранилась. Загл., эпиграф и дата (1832) были вписаны в нее Лермонтовым. Ст. 76—82, 87—92 вошли с небольшими изменениями в Пятую ред. «Демона», исключенные затем Лермонтовым из текста этой ред. (см.: Соч. АН, т. 4. С. 386—387). Поэма представляет собой монолог героя, перекликающийся также с заключительной частью ст-ния О. Барбье «La Popularité» из его сборника стихов «Ямбы» (1831) (см.: Меднис Н. О датировке пятой редакции поэмы «Демон» // «Рус. литература». 1964, № 3. С. 67). «Моряк» написан онегинской строфой.

* **444.** ОЗ. 1843, № 3, с неточностями и ценз. пропусками ст. 54, 149—169, 171, 182—189, 235—252, 271—329, 334—348, 803—838, 841—845, 965—968, 1023, 1193, 1223, 1231—1237, 1503—1512, 1538—1543, 1709, 1985—1987, 2139—2142, 2214—2215, 2272—2289, а также без ст. 33—36.- - Соч. АН, т. 3.- - Печ. по авториз. копии ПД с включением загл. частей, эпиграфов и ст. 33—36 — по выпискам В. Х. Хохрякова (ГПБ). На обложке копии Хохрякова надпись, имитирующая почерк Лермонтова: «Измаил-Бей. Восточная повесть. 1832 год 10 мая». В копии Хохрякова имеется исключенная позднее строфа, следующая после строфы 25 первой части. В черн. автографе посвящения к поэме (ПД, Казанск. тетр.) имеется 8 ст., не вошедших в окончательный текст и относящихся к В. А. Лопухиной (см. вар. с. 528). Посвящение написано в окт.-нояб. 1832 г. Ст. 408—415 в измененном виде вошли в поэмы «Аул Бастунджи» (ст. 51—54), «Мцыри» (ст. 617—629) и «Демон» (ст. 1092—1098). Ст. 2181 «Измаил-Бея» взят из поэмы «Джюлио» (ст. 293). Сюжет поэмы соотнесен с реальными событиями, происходившими на Кавказе в начале XIX в. Прототип Измаил-Бея — кабардинский князь Измаил-Бей Атажуков. Он получил военное образование

в России, служил в русской армии, участвовал в штурме Измаила. В 1804 г. в Кабарде происходили волнения, возбуждаемые кабардинскими феодалами и мусульманским духовенством. Именно в это время правительство Александра I отправило на родину Измаила Атажукова с тем, чтобы он мирными средствами добился согласия между русскими и кабардинцами. Подробно об исторической основе поэмы и о народных преданиях об Измаил-Бее, которые, очевидно, знал Лермонтов, см.: Андреев-Кривич. С. 17—71. Личность Измаила Атажукова, а также политическую ситуацию, сложившуюся в Кабарде в первое десятилетие XIX в., освещают документы, опубликованные в трудах: Косвен М. О. Кабардинский патриот Измаил Атажуков // «Ученые записки Адыгейского научно-исслед. ин-та». Т. 1 Майкоп, 1957. С. 43—48; Туганов Р. У. Измаил-Бей: Исторический очерк о герое одноименной поэмы Лермонтова. Нальчик, 1972. Туганов установил, что в отличие от сюжета лермонтовской поэмы, очевидно основанного на одной из распространенных версий, в действительности был убит Росламбек (по приказу его двоюродного брата Измаил-Бея). Поэма «Измаил-Бей» — этапное произведение, синтезирующее достижения всего юношеского творчества Лермонтова. Историческая основа поэмы, изображение природы и людей Кавказа, симпатия к горцам, отстаивающим свою свободу, позволяют Лермонтову развернуть проблемы, имеющие общее значение. Главная из них — отношение к мести, кровопролитию. Измаил (это много раз подчеркивается) допускает месть и кровопролитие только для «общего дела», для защиты Родины. Вместе с тем личность главного героя построена противоречиво и многопланово. Он разочарован, испытал на себе «язвы просвещенья». Его характеристика порою интонационно и лексически (см. строфу 28 первой части) дается в духе пушкинского Онегина. Отзвуки «Бориса Годунова» (вышел в свет в дек. 1830 г.) слышатся в строфе 3 второй части (отношение к власти у Росламбека). Ст. 409—415 «Измаил-Бея» (описание змеи) в переработанном виде Лермонтов использовал в поэмах «Аул Бастунджи» (ст. 51—56), «Мцыри» (617—629) и «Демон» (1092—1098). Песня Селима включена в поэму «Беглец». **Часть первая.** *Подкумок* — приток Кумы, протекающий в Минераловодском районе Кавказа, где находится и гора *Машук* (возле Пятигорска). *Бешту* — Бештау, самая высокая гора этого района с пятью вершинами (по-татарски «бештау» — «пять гор»). *Джяур* (или гяур) — у мусульман слово, обозначающее иноверца, презрительная кличка всех немусульман. *Шат* — Эльбрус. *Кинжалы с набожным стихом*, т. е. кинжалы, на которых вычеканены изречения из Корана. *Пери* — в персидской мифологии добрая фея, охраняющая людей от злых духов; в поэзии синоним женской красоты. **Часть вторая.** *Аргуна* — Аргун, река на территории Чечни. *Роса перловая* — подобная жемчужинам. *Дивы* (дэвы) — духи зла и тьмы в мифологии древних народов Средней Азии и Ирана. *Байран* — байрам (тюркск.) — праздник. *Черкесская песня.* В ее основу положена русская народная песня «Дума моя, думушка...» (Собрание различных песен М. Д. Чулкова. Спб., 1770—1773. Ч. 3. С. 95—96), где имеются строки: «Не женись ты, добрый молодец, А на те деньги купи коня». Ср. с песней Казбича в «Бэле» (№ 369). *Уздени* — см. примеч. 430. *Здесь три столетья очарован, Он тяжкой цепью был прикован.* Речь идет об одном из вариантов мифа о Прометее, который похитил огонь у богов, принес его в дар людям и в наказание был

прикован Зевсом к скале на Кавказе, где орел клевал его печень. Ср. в «Демоне»: «То гордый дух, прикованный в пещере, стонет». **Часть третья.** *Украсит Север Августом другим.* Лермонтов имеет в виду Николая I, сравнивая его историческую роль с ролью римского императора Кая Юлия Цезаря Октавиана Августа (63 до н. э.— 14 н. э.). См. характеристику Николая I в ст-нии «Опять народные витии...» (№ 320). *Оссаевское* поле. В начале XIX в. так называли равнину, по которой протекает река Асса (Оссая) в Кабарде. *Питомец смелых трамских табунов.* Аул Трам в Пятигорье, уничтоженный в 1818 г., славился породой своих коней. *Ширванские полки.* Ширванский 84-й пехотный полк был сформирован в 1724 г. из частей Азовского и Казанского полков. Участвовал в подавлении восстаний в Кабарде. *И белый крест на ленте полосатой.* На груди мертвого Измаила черкесы обнаружили Георгиевский крест, который носили на черно-оранжевой ленте. Исторический Измаил-Бей (Атажуков) был награжден орденом Георгия 4-й степени за участие в штурме Измаила.

445. Соч.1860, т. 2, ст. 1—32, 71—100, 467—491.- - РС. 1882, № 12 и РМ. 1882, № 12.- - Печ. по авториз. копии ПД, Казанск. тетр. Датируется по местонахождению в тетр. Несколько ст. перенесено в измененном виде из поэмы «Джюлио» (см. примеч. 437) и из ст-ния «1831-го июня 11 дня» (ст. 345—348). Действие в поэме отнесено ко времени русско-ливонских войн XV — начала XVI в. Образ девы-воительницы, очевидно, возник у Лермонтова под воздействием поэмы А. Мицкевича из древнелитовской жизни «Гражина» (1822), некоторые мотивы сближают «Литвинку» с «Конрадом Валленродом» (1828) того же Мицкевича. Описание Клары на поле боя навеяно «Орлеанской девой» Ф. Шиллера (1801). Образ русского боярина Арсения предвосхищает одноименного героя «Боярина Орши»: в борьбе за личное счастье Арсений преступает нравственные начала.

446. Соч.1860, т. 2, ст. 33—64.- - РМ. 1883, кн. 2, с неточностями (исправления — в ССЛ. 1884, 11/13 марта).- - ПСС-1, т. 3.- - Печ. по автографу ПД, тетр. 22. Датируется предположительно 1832—1833 гг. На об. последнего листа автографа написан черн. текст ст-ния «На серебрянные шпоры...», относящийся к юнкерскому периоду. «Аул Бастунджи» создан ранее поэмы «Хаджи Абрек». *Аул Бастунджи* (точнее: Бостанджи или Бустанджи) находился в районе Пятигорья между Машуком и Бештау и был разрушен после 1804 г., когда его жители ушли в горы. В 1825 г., во время поездки на Кавказ, Лермонтов мог видеть развалины этого аула. Бостанджи — производное от «бостан» (тюркск.) — бахча, огород. Возможно, что Лермонтову было известно популярное черкесское предание о двух братьях — Канбулате и Атвонуке (в других записях — Антиноко), враждовавших из-за жены Канбулата (см.: Андреев-Кривич. С. 60—63). Начало посвящения к поэме совпадает со ст-нием 1837 г. «Тебе, Кавказ, суровый царь земли» (см. № 347) и с посвящением к ереванской ред. поэмы «Демон» (1838). См. с. 591 наст. тома. Некоторые образы этой поэмы Лермонтов позднее использовал в поэме «Хаджи Абрек» (убийство героини). Тема ревности имеет параллели в восточных поэмах Байрона и «Бахчисарайском фонтане» Пушкина. Образ оторванного бурей листка (ст. 351—352) проходит в ст-ниях № 14 «Портреты» (ст. 19—20), № 181

«К***» (ст. 15—16), в поэмах «Демон» (пятая ред., ст. 25—26) и «Мцыри» (ст. 104—105). Этот образ завершает ст-ние № 420 «Листок».

Глава первая. *Машук, Бешту* — см. примеч. 444. *Подкумок* — см. примеч. 444. *Арчаг* (арчак) — деревянный остов седла. *Симун* — самум. **Глава вторая.** *Див* — см. примеч. 444.

447. БдЧ. 1835, № 8. Первое произведение Лермонтова, появившееся в печати с его полной подписью. До этого было опубликовано лишь ст-ние «Весна» (см. № 69). История публикации поэмы известна со слов А. П. Шан-Гирея: «С нами жил в то время дальний родственник и товарищ Мишеля по школе, Николай Дмитриевич Юрьев, который, после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи, передал тихонько от него поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому, и она, к нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро появилась напечатанная в «Библиотеке для чтения». Лермонтов был взбешен; по счастью, поэму никто не разбранил, напротив она имела некоторый успех...» (Воспоминания. С. 40—41). По свидетельству Н. Н. Манвелова, Лермонтов представил «Хаджи Абрека» преподавателю словесности в школе юнкеров В. Т. Плаксину, который, прочитав поэму, приветствовал с кафедры ее автора как «будущего поэта России» (Воспоминания. С. 146). В тексте использованы имена и названия, которые Лермонтов мог узнать от своих родственников, приезжавших с Кавказа, или от юнкеров-дагестанцев Шах-Вали или Мехти Ассан-Хана. Поэт мог также слышать о широко известном на Кавказе чеченском наезднике Бей-Булате Таймазове (упоминается Пушкиным в «Путешествии в Арзрум»), который в 1831 г. был убит своим кровником (см. примеч. И. Л. Андроникова к изд.: Лермонтов М. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 2. С. 484; Попов А. В. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь, 1954. С. 18—20). *Абрек* — здесь: не собственное имя, а прозвище; оно означает горца, порвавшего со своим родом, ведущего скитальческую или разбойничью жизнь. Аул *Джемат* находился, скорее всего, в Теберде у крутого ущелья быстрой горной реки Джемаат (Семенов Л. П. Лермонтов и Кавказ. Пятигорск, 1939. С. 58—60). Поэма очень понравилась бабушке поэта Е. А. Арсеньевой: «Стихи твои, мой друг, я читала бесподобные, а всего лучше меня утешило, что тут нет нонешней модной неистовой любви и невестка сказывала, что Афанасью ⟨брату Арсеньевой Афанасию Аркадьевичу Столыпину⟩ очень понравились твои стихи и очень их хвалил... Стихи твои я больше десяти раз читала...» (Письмо Е. А. Арсеньевой из Тархан от 18 окт. 1835 г.// Соч. АН, т. 6. С. 470). *Уздени* — см. примеч. 430. *Пени* — жалобы, упреки.

448. ОЗ. 1842, № 7, без эпиграфов, с ценз. изъятиями ст. 17—18, 145—152, 214—218, 333—335, 444—466, 484, 510—519, 530—533, 572—573, 612—617, 1044—1057; с ценз. купюрами в ст. 332, 574, 578.- - Соч. 1860, т. 2.- - Печ. по авториз., подготовленной Лермонтовым к печати копии ПД, тетр. 12. По автографу ГПБ, текст которого предшествовал копии, восстановлены эпиграфы и не включенные в нее по ценз. соображениям ст. 444—449. Против них на полях рукою Лермонтова сделана помета: «вымарать». Имеется также автограф (набросок гл. 2 — ст. 420—433) — ГИМ, тетр.Чертк. б-ки; черн. автограф — ПД (набросок гл. 3 — ст. 747—815 и следующий за ним отрывок, не вошедший в окончательный текст). Издатель ОЗ А. А. Краевский писал в примеч. к первой публикации: «Эта поэма принадлежит

к числу первых опытов Лермонтова. Она написана в 1835 году, когда Лермонтов только что начал выступать на литературном поприще. Впоследствии, строгий судья собственных произведений, он оставил намерение печатать ее, и даже взяв из нее целые тирады, преимущественно из II главы, включил их в новую свою поэму «Мцыри»... Рукопись поэмы, данная мне автором еще в 1837-м году и едва ли не единственная, хранилась у меня до сих пор, вместе с другими оставленными им пьесами» (ОЗ. 1842, № 7. С. 1—2). В авториз. копии ПД рукою Краевского обозначена дата: 1836. Эпиграф к гл. 1 (в несколько измененном виде) — из поэмы Байрона «Паризина», близкой по своему сюжету к «Боярину Орше»; эпиграфы к гл. 2—3 — из его же поэмы «Гяур». В «Боярине Орше» Лермонтов использовал некоторые ст. из поэмы «Исповедь» (см. примеч. 442). Ст. 434—449, 483—494, 512—519, 552—554, 596—617 с теми или иными изменениями были использованы в «Мцыри» (ст. 76—83, 106—117, 225—232, 443—445, 128—149), ст. 882—885 — в «Демоне» (ст. 944—945, 947—948). Лермонтов передает глубокую противоречивость характеров враждующих героев. Приближенный царя — тиран Орша — доблестно сражается с врагами родины. Безродный бедняк Арсений в борьбе за свои права переступает границы нравственности. Горячий защитник свободы личности оказывается «преступником и злодеем». Во время Ливонской войны он попадает в стан врагов. В поэме «Боярин Орша», созданной почти одновременно с «Сашкой», Лермонтов приблизился к овладению конкретным, предметным миром. Не напечатанная при жизни Лермонтова поэма подготовляла зрелые произведения: «Песню про... купца Калашникова» (эпоха Грозного, фольклорные мотивы) и «Мцыри» (исповедь Арсения, тема протеста против угнетения личности, «монастырского закона», идущего вразрез с «законом сердца»). Высоко оценил поэму В. Г. Белинский: «Сейчас упился я „Оршею“,— писал он В. П. Боткину летом 1842 г.— Есть места убийственно хорошие, а тон целого — страшное дикое наслаждение» (Белинский. Т. 12. С. 111).

* **449.** БЗ. 1861, № 18, строфы 1—3, 6, 12—14, 27—28, 32, 45 по ныне утраченному автографу (принадлежавшему Б. Н. Чичерину). - - РМ. 1882, кн. 1, по копии И. А. Панафутина, восходящей к утраченному беловому автографу поэмы (публикация П. А. Висковатова со множеством опечаток, неточностей и произвольных изменений текста), с ошибочным присоединением восьми строф, обозначенных: «Глава вторая».- - Соч. АН, т. 4.- - Печ. по списку Н. Н. Буковского ГПБ, представляющему собой текст РМ, сверенный с ныне утраченной копией И. А. Панафутина. Некоторые явно дефектные ст. исправляются по БЗ и черн. автографу ГПБ. Черн. автограф строф 62, 75, 87, 90, 95— в учебной (юнкерской) тетр. «Лекции из географии» (ГПБ). Ст. 669 восстановлен по помете Висковатова (в печ. тексте «Сашки» в РМ), очевидно восходящей к копии Панафутина (ГПБ, ф. П. А. Висковатова. Конволют «Сочинения П. А. Висковатова. С. 24). Ст. 1620 «И смело вкривь и вкось глаголет он» восстановлен по позднейшей пометке П. А. Висковатова в печатном тексте РМ (оттиск ГПБ), сделанной после дополнительной сверки этого текста с ныне утраченным источником. Ст. 703: «Пишу, что мыслю, мыслю, что придется», заменивший дефектную строку, восстановлен по цитате из несохранившегося автографа «Сашки», выписанной В. Х. Хохряковым в качестве эпиграфа к его тетради «Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова» (ПД). Строфа 53 состоит из 13-ти ст.— по всей вероятности, в текст ошибочно включены черн. вар. двух строк. О реконструкции текста

поэмы см.: Найдич Э. Э. О тексте и датировке поэмы М. Ю. Лермонтова «Сашка» // Труды Гос. Публ. б-ки. 1958. Т. 5 (8). С. 201—208. Лермонтов начал работать над поэмой в 1835—1836 гг. Это подтверждается следующими аргументами: 1) свидетельство А. П. Шан-Гирея, приведенное П. А. Висковатовым: «тогда же ⟨речь идет о февр. 1836 г.⟩ Лермонтов в Тарханах стал писать поэму „Сашка", пользуясь набросками, сделанными в разное время» (ПСС-1, т. 2. С. 344); 2) текст, напеч. в БЗ, находился в тетр. со ст-ниями, написанными до 1837 г.; 3) черновые отрывки ГПБ находятся в юнкерской тетради 1834 г.; 4) в строфах 47 и 127 («на этих днях мы ждем к себе комету, Которая несет погибель свету») говорится о знаменитой комете Галлея, появившейся 13 нояб. 1835 г. Последующая обработка текста поэмы, очевидно, относится к годам после первой ссылки. В строфе 33 (ст. «И недозревший он угас в изгнанье») говорится о смерти А. И. Полежаева (ум. 16 янв. 1838 г.). Словами «Сашка — старое названье» (строфа 33) Лермонтов обозначил преемственную связь своего произведения с одноименной поэмой Полежаева, за сочинение которой ее автор по приказу Николая I был отдан в солдаты. Однако лермонтовский герой принадлежит к более позднему поколению и иной социальной среде. Строфа 137 как будто бы снова посвящена смерти Полежаева: «Ты не хотел насмешки выпить яд, С улыбкою притворной, как Сократ, Ты умер чуждый жизни...» Древнегреческий философ Сократ (ок. 469—399 до н. э.), приговоренный к смерти афинскими властями за проповедь нравственно вредных, с их точки зрения, взглядов, покончил самоубийством, выпив яд. Упоминание Сократа, видимо, связано с тем, что Полежаев был переводчиком отрывка из поэмы Ламартина «Смерть Сократа», опубликованного в «Трудах Общества любителей российской словесности при имп. Московском университете». 1826, ч. 6. (см.: Бродский Н. Л. М. Ю. Лермонтов: Биография. М., 1945. Т. 1. С. 129). По предположению В. В. Баранова, у Полежаева вследствие этого перевода появилось прозвище «Сократ» (см. коммент. В. В. Баранова к изд.: Полежаев А. И. Стихотворения. Л., 1933. С. 661). В строфах 137 и 138 речь идет не о гибели лермонтовского героя, а о смерти не названного поэта. Ст. «И сумрачен и тесен твой приют» — близок к строке из «Смерти поэта» («Приют певца угрюм и тесен»). Нельзя также исключить предположение, что строфы 137 и 138 были созданы в 1839 г., как отклик на смерть поэта-декабриста А. И. Одоевского, погибшего 15 авг. 1839 г. Во всяком случае, заключительные ст. строфы 138: «И всё ль как прежде Ты любишь нас и веруешь надежде?» — можно, скорее всего, отнести к Одоевскому. Вместе с тем особый характер этих строк позволяет понять их как замаскированную автоэпитафию, намекающую на убийственную жестокость современной поэту действительности. Строфа 3 написана до 1837 г., но это не помешало использовать ее вместе со строфой 4 в ст-нии 1839 г. «Памяти А. И. О⟨доевско⟩го». (№ 377), а также включить в это ст-ние строки 1832 г. «Он был рожден для счастья для надежд» (№ 311), где мы встречаем характеристику, казалось бы, тесно связанную с личностью Одоевского: «И мир не пощадил — и бог не спас!» (в 1839 г.: «И свет не пощадил — и бог не спас!»). Лирические отступления в «Сашке» усиливают гневный пафос поэмы, который достигает вершины в строфе 147, стоящей по силе обличения и лаконичности в одном ряду со ст-нием «Прощай, немытая Россия...». Подзаг. «Сашки» — «Нравственная поэма» — внушен эротическими сценами произведения, проникнутыми издевкой над прописной, лицемерной моралью «приличий», и имеет иронический смысл.

Тот же характер носит и эпиграф, скопированный в списке Н. Н. Буковского в искаженном виде (очевидно, тем же писцом, который исказил эпиграфы в авториз. копии поэмы «Боярин Орша»). Предположительная расшифровка эпиграфа (пер. с немецкого)

[Шутка! Это было бы смешно
Только не будьте так строги к глупости]

дана в статье: Заборова Р. Б. Новонайденные рукописи Лермонтовского музея // «Рус. литература». 1962, № 3. С. 216. Почти одновременно с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым Лермонтов воспринял сенсимонистские идеи освобождения человека от гнета собственнической и христианской аскетической морали, в частности идею «реабилитации плоти». Поэт обратился к изображению материального мира, предметному, конкретному быту, преодолев налет отвлеченности своей юношеской поэзии (см.: Найдич Э. Э. Поэма «Сашка» // Творчество М. Ю. Лермонтова: 150 лет со дня рождения. 1814—1964. М., 1964. С. 132—148). Вместо необыкновенных исключительных героев предыдущих поэм, в «Сашке» главным действующим лицом впервые у Лермонтова становится «добрый малый»; его характер определяется средой и воспитанием. Это традиция «Евгения Онегина». В то же время ощутимо воздействие поэм Байрона «Беппо» и «Дон Жуан», а также юмористических поэм Пушкина «Граф Нулин» и «Домик в Коломне» (есть реминисценции из последней поэмы, заимствованы имена — Параша и Мавруша). Одиннадцатистишная строфа «Сашки» создана на основе октавы Байрона и Пушкина и своеобразно дополнена тремя заключительными строками, связанными парной рифмой (8—9; 10—11). Очевидно тождеством строфики объясняется присоединение в копиях поэмы восьми строф, обозначенных П. А. Висковатовым как «глава вторая». По предположению Б. М. Эйхенбаума, «Сашка» — законченное произведение, на что указывает и последняя строфа: «Я кончил... Так! дописана страница...» и т. д. Эйхенбаум отмечал, что «Сашка» создан в традиции иронических поэм, со свойственной им фрагментарностью, внезапным обрывом текста (см. его примеч. к Полн. собр. соч. М.; Л., 1947. Т. 2. С. 504). Так называемая «вторая глава» печ. в наст. изд. отдельно под условным названием «Начало поэмы» (№ 450). **Строфа 7.** *Чуждый властелин* — Наполеон I. *Ты вздрогнул — он упал!* и др. ст. перекликаются со ст-нием «Два великана» (№ 301). **Строфа 9.** *Листок свой подорожный.* Лицам, ездившим на почтовых лошадях по казенной надобности, выдавалась так называемая подорожная, дававшая право на получение лошадей в станциях всего маршрута. *Зоил* (IV—III в. до н. э.) — древнегреческий ритор и софист, придирчиво и мелко критиковавший «Илиаду» и «Одиссею». Имя его стало нарицательным для обозначения несправедливого и завистливого критика. **Строфа 10.** *По вольности дворянской* — намек на манифест Екатерины II «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» от 18 февр. 1762 г. (Полн. собр. законов Рос. империи. Спб., 1830. Т. 15. С. 912—915). **Строфа 11.** *Фризовая шинель* — шинель из толстой ворсистой байки. **Строфа 13.** *Как для хромого беса, каждый дом Имеет вход особый.* В романе «Хромой бес» французского писателя Алена Рене Лесажа (1668—1747) бес, летая над городом, приподнимал крыши домов и проникал в домашние тайны людей. **Строфа 16.** *Как Сусанна, Она б на суд неправедный пошла.* Сусанна — библейская красавица, была ложно обвинена раз-

вратными старцами в супружеской неверности, приговорена к смертной казни, но затем спасена и оправдана. *Полька из-под Праги.* Здесь Прага — предместье Варшавы. *Мы — варяги.* Легендой о призвании варягов начинается в летописи рассказ об истории Русской земли. На этой легенде была основана норманская теория русской государственности, долгое время продержавшаяся в историографии. **Строфа 17.** *Когда Суворов Прагу осаждал.* Речь идет о подавлении восстания Т. Костюшки (1794). **Строфа 24.** *Скажу ль, при этом имени, друзья, В груди моей шипит воспоминанье.* Речь идет о В. А. Лопухиной (см. о ней примеч. 289). **Строфа 31.** *За белый крестик жизнью рисковать.* Подразумевается орден Святого Георгия, имевший форму креста и жаловавшийся за воинские заслуги. **Строфа 33.** *Но «Сашка» тот печати не видал* и т. д. Поэма А. И. Полежаева «Сашка» (1824—1825) не предназначалась к печати, но получила широкое распространение в списках. **Строфа 39.** *Соломон* — царь Иудейско-Израильского царства в 965—928 гг. до н. э. Согласно библейской традиции, славился необычайной мудростью, имел сотни жен и наложниц. **Строфа 45.** *Лазарони* (лаццарони) — наименование нищих в южной Италии. **Строфа 46.** *Саул* — библейский царь; чтобы заглушить мучения совести, приказал играть для него на арфе. **Строфа 50.** *Уволен был в отставку бригадиром.* В XVIII в. бригадир — чин, промежуточный между полковником и генерал-майором (упразднен Павлом I); согласно сложившейся практике, уходящим в отставку офицерам присваивался следующий чин. **Строфа 53.** *Демосфен* (384—322 до н. э.) — выдающийся афинский оратор. **Строфа 54.** *Шар Дианы* — Луна. **Строфа 66.** *Гамлет сказал: «Есть тайны под луной И для премудрых».* Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт 1, сцена 5). **Строфа 74.** *С труфлями пирог.* Трюфели — один из видов грибов. **Строфа 75.** *Marquis de Tess.* Прототипом маркиза де Тесса, очевидно, был гувернер Лермонтова Жан-Пьер Келлет-Жандро, французский эмигрант, роялист. **Строфы 76—81.** Здесь говорится о событиях французской революции 1789—1793 гг., о казни короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты. **Строфа 76.** *Парижский Адонис* — модный красавец; Адонис — божество, которому поклонялись в Финикии, а затем в Греции и Риме, изображался в виде прекрасного юноши. **Строфа 79.** *И ты, поэт, высокого чела Не уберег.* Речь идет об Андре Шенье (1762—1794), французском поэте и публицисте, казненном якобинским правительством. В русской традиции, идущей от Пушкина и декабристов, Шенье воспринимался как певец свободы и мужественной борьбы против тирании. **Строфа 87.** *Фоблаз* — герой французского романа «Приключения кавалера Фобласа» Жана Батиста де Кувре (1760—1797). **Строфа 94.** *Ариадна* (греч. миф.) — дочь критского царя; спасла жизнь афинскому герою Тесею, который безжалостно бросил ее. **Строфа 95.** *Абаддона* — изгнанный из рая падший ангел в поэме «Мессиада» немецкого писателя Ф.-Г. Клопштока (1724—1803). **Строфа 99.** *Старухи, из картин Рембрандта взятой.* Из картин Рембрандта, изображающих старух, Лермонтову могли запомниться: «Портрет Бартье Мартенс Домер» (1640), «Портрет старушки с очками в руках» (1643), «Портрет старушки» (1654), «Портрет пожилой женщины» (ок. 1650), «Портрет старушки» (1654); две последние он мог видеть в Румянцевском музее (в Москве), остальные — в Эрмитаже. **Строфа 102.** *Гвидо Рени* (1575—1642) — итальянский художник; его картину, изображающую раскаянье *Магдалины,* Лермонтов мог видеть в картинной галерее Строгановых. Мария Магдалина — в Евангелии раскаявшаяся грешница, преданная последо-

вательница Христа. **Строфа 108.** *На Восток, Где свиньи и вино так ныне редки.* По предписаниям Корана мусульманам запрещается есть свинину и пить вино. **Строфы 116—119.** Описание пансиона и Московского университета имеет автобиографический характер. **Строфа 129.** *Три беленьких бумажки* — три сторублевых ассигнации. **Строфа 130.** *Стоял арап, его служитель верный.* П. А. Висковатов писал: «Арап этот был слугою в доме Лопухиных, близких друзей Лермонтова. Он его очень любил и в одном из писем упоминает о нем, как о друге своем» (Висковатов П. А. «Сашка», поэма М. Ю. Лермонтова // РМ. 1882, кн. 1. С. 111). Сохранился портрет этого арапа, выполненный Лермонтовым в альбоме А. М. Верещагиной (см. об этом в кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979. С. 59—61). **Строфа 130.** *Зубов перловых* — равных по красоте жемчужинам. **Строфа 133.** *Быстрей китайской тени.* Подразумевается китайский театр теней — вид ярмарочного театра, на экране которого передвигались тени, отбрасываемые плоскими кукольными фигурками, нередко очень быстро перемещавшимися кукловодом. *Мефистофель* — образ дьявола, злого духа в фольклоре и художественном творчестве народов Европы, литературный персонаж в народной книге «Повесть о докторе Фаусте...» (опубл. 1587); в «Фаусте» И. В. Гёте — спутник и искуситель Фауста. **Строфа 145.** *Подобно сумрачному диву.* Дивы — см. примеч. 444. **Строфа 147.** *И поклоняться немцам до конца.* Засилье немцев в высшем государственном аппарате России оценивалось патриотами (в частности декабристами) как измена царя национальным интересам России. **Строфа 148.** *Пифия* — жрица-прорицательница в храме древнегреческого бога Аполлона в Дельфах. Свои прорицания произносила, сидя на треножнике.

450. РМ. 1882, № 1, где ошибочно опубликовано в качестве второй гл. поэмы «Сашка». - - Печ. по списку Н. Н. Буковского (ГПБ). Данный текст представляет собой начало другой поэмы, а не продолжение «Сашки». Указание времени написания фрагмента — в строфе 6, где речь идет о «допожарной Москве»: «О, если б этот дом знавали вы Тому назад лет двадцать пять и боле!» Эти строки позволяют считать, что Лермонтов начал работу над текстом не раньше 1837 г. Начальные строфы фрагмента (ст. 1—4) имеют характер типичного зачина. Это еще один довод против мнения о том, будто Лермонтов продолжает здесь текст «Сашки». Два последние ст. в строфе 5 процитированы в «Сказке для детей». **Строфа 1.** *Асмодей* (евр. миф.) — демон, злой дух. **Строфа 4.** *Русский бог* — идиоматическое выражение, приписывается Мамаю после его поражения на Куликовом поле. Восходит к памятникам XI—XII вв. (Успенский Б. М. Филологические разыскания в области русской фразеологии. М., 1982. С. 119—122). В николаевскую эпоху формула «Русский бог» входит в официальный лексикон. См.: Рейсер С. А. «Русский бог» // «Известия отд. литературы и языка АН СССР». 1961. Т. 20, вып. 1. С. 64—69. *Кто над землей промчался как комета* — Наполеон Бонапарт. **Строфа 8.** *Аи* — марка французского шампанского.

451. «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"». 1838, 30 апр. В Стих.1840 (где поэма датирована 1837 г.) пропущены по недосмотру ст. 41—44 и произведена без согласования с автором некоторая нивелировка русской народной речи (ст. 14 — «три дня» вм.

«три дни»; ст. 70 «Да об чем тебе» вм. «Да об чем бы тебе»; ст. 159 «ходят» вм. «ходют»; ст. 208 «смотрят» вм. «смотрют»; ст. 213 «Что одёжа вся твоя изодрана» вм. «Что одёжа твоя вся изорвана»; ст. 221 «Чтобы свету» вм. «Чтоб свету»; ст. 305 «выйду» вм. «выду»; ст. 367 «небойсь» вм. «небось»; ст. 371 «на обе стороны» вм. «в обе стороны»; ст. 396 «от света» вм. «от свету»; ст. 398 «по одном из нас» вм. «об одном»; ст. 500 «безыменный» вм. «безымянный»). В ст. 188 изменение носит иной характер: «Вот уж поп прошел домой с молодой попадьей» вм. «Вот уж поп прошел с молодой попадьей». А. А. Краевский рассказывал биографу Лермонтова П. А. Висковатову: «Когда стихотворение обыкновенным порядком было отправлено в цензуру, то цензор нашел совершенно невозможным делом напечатать стихотворение человека, только что сосланного на Кавказ за свой либерализм» (Висковатов. С. 237). Лишь после обращения В. А. Жуковского к министру народного просвещения С. С. Уварову Краевский добился разрешения напечатать поэму, но без имени автора, за подписью «— въ» (в общем оглавлении за год: «М. Ю. Лермонтов»).

В 1837 г. среди друзей и знакомых Лермонтова были деятели, для которых вопросы народности, национальности, народно-поэтических традиций находились в центре литературных и научных интересов. В. Х. Хохряков (первый биограф Лермонтова) предполагал, что именно «по внушению Св. Аф. ⟨Раевского⟩, втягивавшего Лермонтова в нашу народность, Лермонтов написал... песнь про купца Калашникова» (Андроников. С. 589). С. А. Раевский был знатоком и собирателем фольклора, близким знакомым будущих славянофилов, в том числе П. В. Киреевского, располагавшего огромным рукописным собранием русских народных песен. Предполагают, что эти песни были в поле зрения Лермонтова (см.: Азадовский М. К. Фольклоризм Лермонтова // ЛН. 1948. Т. 43/44. С. 244—245). Теперь об этом можно говорить с большей уверенностью: Лермонтов по дороге в первую кавказскую ссылку в 1837 г. в Москве познакомился с Киреевским. Имеется лермонтовская портретная зарисовка Киреевского, относящаяся к году создания «Песни...» (установлено А. Н. Марковым в 1987 г.). См. список иллюстраций к т. 1. Из рукописных вариантов исторической песни о «Мастрюке Темрюковиче» (собрание П. В. Киреевского) Лермонтов, по-видимому, заимствовал имя своего героя (Калашникова). В «Песне...» можно обнаружить следы знакомства автора с «Древними российскими стихотворениями, изданными Киршею Даниловым» (М., 1818) и другими фольклорными источниками. Лермонтов использует разнообразные жанровые особенности русского фольклора, свойственные не только былинам и историческим песням, но и балладам, лирическим песням, причитаниям, раешнику (см.: Вацуро В. Э. Лермонтов и фольклор // Русская литература и фольклор. Л., 1973. С. 226—238). Воспроизведение народной речи, стилистики, синтаксиса и стиха не мешает Лермонтову создавать такие ситуации, которые характерны не для фольклора, а для художественной книжной литературы. Так, например, противопоставление опричника и купца, демонической своевольной натуры и характера, вобравшего «народные» начала, борца за справедливость. Что касается образа царя, то поэт не стремился запечатлеть образ исторического Ивана Грозного. Это скорее «грозный царь разбойничьих песен, носитель абсолютной власти и комплекса некоторых представлений и этических понятий» (В. Э. Вацуро. Цит. соч. С. 234). Для сюжета «Песни...» очень важно, что гуслярам принадлежат слова в конце первой части: «обманул тебя твой лукавый раб», которые иногда ошибочно воспри-

нимаются как часть монолога Кирибеевича. Белинский проницательно сказал в статье о «Стихотворениях Лермонтова»: «Поэт вошел в царство народности как ее полный властелин, и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество» (Белинский. Т. 4. С. 517). Социальное звучание песни подчеркнул А. В. Луначарский, заявивший, что в ней заключен «заряд огромного мятежа» (Луначарский А. В. Классики русской литературы. М., 1937. С. 187). *Из роду ты ведь Скуратовых, И семьею ты вскормлен Малютиной.* Малюта Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (ум. 1572) — приближенный царя Ивана IV, доверенное лицо по руководству опричниной, активнейший участник многих злодеяний царя, палач и убийца. *Седельце... черкасское* — в народно-песенном творчестве седло особо качественной выделки. *Бесталанная* — несчастная.

452. С. 1838, № 3, под загл. «Казначейша», без подписи, с пропусками (название города заменено буквой Т с точками, отдельные строки — черточками), с ценз. искажениями и редакторской правкой В. А. Жуковского. Из-за отсутствия рукописи восстановить подлинные строки автора и восполнить пропуски не представляется возможным. Восстанавливается лишь первоначальное загл. по цитируемому ниже письму Лермонтова к М. А. Лопухиной и название города в тексте поэмы. Черн. наброски посвящений и двух строф (51—52) — ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Датируется концом 1837 или началом 1838 г. В письме к М. А. Лопухиной от 15 февр. 1838 г. Лермонтов писал (по-французски): «Я был у Жуковского и по его просьбе отнес ему „Тамбовскую казначейшу", которую он просил; он понес ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе; им очень понравилось, напечатано будет в ближайшем номере „Современника"» (Соч. АН, т. 5. С. 444). Лермонтов сообщает Лопухиной об этой поэме как о произведении, известном ей. Из этого можно заключить, что к моменту отъезда Лермонтова из Москвы, в середине янв. 1838 г., поэма полностью или частично была уже написана. В ст. строфы 29: «О, скоро ль мне придется снова Сидеть среди кружка родного... И скоро ль ментиков червонных Приветный блеск увижу я...» — Лермонтов говорит о своем желании вернуться в лейб-гвардии гусарский полк, из которого он был исключен за «Смерть поэта» (червонные ментики носили лейб-гусары). Датировка поэмы самым концом 1837 — началом 1838 г. поддерживается также положением черновых набросков в тетр. Чертк. б-ки. Черновик посвящения к поэме находится на обороте листа со ст-нием «Кинжал», написанным после возвращения поэта с Кавказа (т. е. в начале 1838 г.). Имеется и другое предположение, что начало работы над «Казначейшей» относится к 1836 г. и в поэме непосредственно отразились впечатления от посещения поэтом Тамбова в 1836 г., когда он заезжал туда по дороге в Тарханы (Герштейн. С. 158—159). Искажения в тексте первой публикации поэмы вызвали негодование поэта. И. И. Панаев рассказывает, что он «застал Лермонтова у г. Краевского в сильном волнении... Он ⟨Лермонтов⟩ держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не допустил его до этого. «Это черт знает что такое! Позволительно ли делать такие вещи! — говорил Лермонтов, размахивая книжечкою...— Это ни на что не похоже!» Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., 1950. С. 135). П. А. Висковатов включил в текст поэмы несколько пропущенных

строк, указав, что они были продиктованы ему А. П. Шан-Гиреем. Ввиду того что свидетельства Висковатова не всегда достоверны, эти строки не вводятся в основной текст. Дополнения Висковатова таковы: «Там зданье лучшее острог...» (строфа 1); «У них! — О том причины скрыты»; «Но есть в Тамбове две кумы, У них, пожалуй, спросим мы» (строфа 12); «И не смущен бы был и раем. Когда б попался и туда» (строфа 16); «Увы! молясь иной святыне» (строфа 33); «За злато совесть и закон Готов продать охотно он» (строфа 44). В ст. 236 Висковатов предлагает чтение: «Чтоб от кнута избавить вора». П. А. Ефремов, не ссылаясь на источник, печатал этот ст. иначе: «Иль стал душою заговора».

Поэма продолжает традиции шутливых поэм Пушкина «Граф Нулин» и «Домик в Коломне» и связана с «Евгением Онегиным» пародированием некоторых сцен (см., например: «Дверь настеж — и в дверях супруг»). Пушкинские традиции сочетаются с гоголевскими — изображением чиновничьей и офицерской среды. По своей художественной природе поэма Лермонтова близка к «Коляске» Гоголя (С. 1836, № 1), шутливой новелле, в основе которой простой анекдот: «Городок Б. очень повеселел, когда начал в нем стоять кавалерийский полк. А до этого времени в нем было страх скучно». И далее: «на званом обеде у бригадного генерала ⟨ср. у Лермонтова «А уж бригадный генерал, Конечно, даст блестящий бал»⟩ ... в одном углу штаб-ротмистр... рассказывал довольно свободно и плавно любовные свои приключения». Лермонтов шел по пути, обозначенному Гоголем в статье «Несколько слов о Пушкине»: изображение обыденного не означает отказа от исключительного и необычайного. «Они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на внимание» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 8. С. 53).

Посвящение. *Пишу «Онегина» размером.* «Тамбовская казначейша» написана, подобно «Евгению Онегину», четырехстопным ямбом и онегинской 14-строчной строфой. **Строфа 1.** *Он прежде город был опальный.* Существовала легенда, что Тамбов был в XVIII в. местом ссылки. **Строфа 4.** *Марш из «Двух слепых».* «Два слепых из Толедо» — опера французского композитора Этьена Мегюля (1763—1817), тогда очень популярного в России. **Строфа 8.** *Рутёркой понтирнуть.* Рутёрка (от фр. «руте») — особо удачное положение при игре в банк, когда выигрывает несколько раз одна и та же карта. Понтировать — играть против банкомета, игрока, делающего ставку. *Талья* — круг игры, в течение которого перекидываются все карты или срывается (выигрывается) банк. **Строфа 15.** *На курьерских.* По курьерской подорожной (с правом не задерживаться на промежуточных станциях) ездили курьеры со специальными поручениями от высших государственных и военных чинов. *Ремонтёр* — офицер, занимающийся закупкой лошадей для пополнения лошадей («ремонта») в случае их убыли в войсках. **Строфа 19.** *Архалук* — легкий азиатский кафтан из цветной или шелковой ткани, собранный в талии. **Строфа 27.** *Амфитрион* (греч. миф.) — царь; после комедии Мольера «Амфитрион» его имя стало синонимом гостеприимного хозяина. **Строфа 34.** *Шлафор* — халат. **Строфа 53.** *Вы ждали действия? страстей?* По-видимому, иронический ответ на слова Ф. В. Булгарина, который, поучая Пушкина, писал в «Северной пчеле» (1836, 6 июня): «Давайте действия, давайте страстей,— поэзия воскреснет» (см. Герштейн. С. 159).

453. ВиС, кн. 2, с искажениями в ст. 6, 21, 32, 53, 55, 78, 82, 87, 127.

- - ПСС-1, т. 2. - - Печ. по автографу ГИМ, тетр. Чертк. б-ки. Датируется предположительно 1838 г. на основании свидетельства А. П. Шан-Гирея (см. примеч. П. А. Висковатова в ПСС-1, т. 2. С. 302). Ключевая для юношеской поэзии Лермонтова тема мести получает в «Беглеце» завершение. Месть в борьбе за свободу и независимость может быть не только оправдана, но и необходима. Поэму можно рассматривать как произведение, адресованное поколению, которое отказалось от борьбы и примирилось с действительностью. Возможно, что на разработке сюжета «Беглеца» сказалось знакомство с поэмой Пушкина «Тазит» (С. 1837, т. 7), ошибочно напечатанной под названием «Галуб». Лермонтов читал эту поэму, поскольку в ст-нии «Я к Вам пишу, случайно, право...» он упоминает имя Галуб (вместо Гасуб в автографе Пушкина). Патриархальная мораль в «Тазите» противопоставлена гуманистической европейской морали. Лермонтов взял из нравственного кодекса горцев иную сторону — их доблесть и мужество. Назвав поэму «горской легендой», поэт точно передал исторический и национальный колорит, опираясь при этом на бытующий на Кавказе сюжет. В книге Тетбу де Мариньи «Путешествие в Черкесию» (Брюссель, 1821) есть упоминание о черкесской песне, содержащей «жалобу юноши, которого хотели изгнать из страны, потому что он вернулся один из экспедиции против русских, где все его товарищи погибли» (см.: Андреев-Кривич. С. 84). Песня «Месяц плывет...» в несколько измененном виде перенесена из поэмы «Измаил-Бей»: вм. «любви изменивший, погибнет без славы» — «своим изменивший», что резко меняет смысл.

* **454.** ОЗ. 1842, № 6, отрывки из списка, собственноручно изготовленного Белинским, представляющего произвольное соединение текстов двух ред.— шестой и восьмой.- - «Демон». Восточная повесть, написанная Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Карлсруэ, 1856 (воспроизведение титульного листа см. в наст. томе, с. 437), публикация по списку А. И. Философова; ст. 742—749, исключенные по ценз. причинам, введены из зачеркнутого текста того же источника; в ст. 36, 77, 90, 290, 974 ошибки переписчика исправлены по авторизованному списку шестой ред. поэмы (ГПБ). - - Соч.1860, т. 1 — первая публикация в России последней ред. поэмы с некоторыми неточностями и вар. ст. 145—149, 245—247, 338, 438, 454, 525, 667, 874, 1001; после ст. 595 напечатан отрывок «не буду я ничьей женою...» (из шестой ред.), а ст. 366—405 последней (восьмой) ред. даны в подстрочном примеч. как вар.; после ст. 598 следует ст. из шестой ред.: «Едва надежда расцветет»; после ст. 599 — два ст. из шестой ред.: «И всё живущее клянет; Ничто пространство мне и годы»; после главки 13 (часть вторая) следует отрывок из шестой ред.: «И всё, где пылкой жизни сила...», а ст. 933—970 последней (восьмой) ред. приведены как вар.; после главки 13 (часть первая) нумерация главок не совпадает с последней ред.- - Соч. АН, т. 4. - - Печ. (вслед за Соч. АН, т. 4) по так назыв. «придворному» списку Философова (рукопись — ЦГИА, обнаружена в 1939 г.), с восстановлением и исправлением указанных выше ст.

Публикация отрывков в 1842 г. проходила с большими ценз. трудностями. См.: Здобнов Н. В. Новые цензурные материалы о Лермонтове // «Красная новь». 1939, № 10/11. С 260—261; Михайлова А. Н. Белинский — редактор Лермонтова // ЛН. 1951. Т. 57. С. 261—272). При жизни Лермонтова поэма получила широкое распространение благодаря множеству списков. Они восходили к различным ред. поэмы, которые иногда искусственно комбинировались переписчиками.

Автографа или авториз. копий последней ред. «Демона» не сохранилось. Поэтому долгое время установление текста и датировка поэмы вызывали затруднения: ее завершение относили к 1841 г. Теперь документально установлено, что Лермонтов окончил работу над «Демоном» в начале 1839 г. и что дошедшая до нас копия («придворный» список ЦГИА), сделанная родственником поэта А. И. Философовым, достаточно точно воспроизводит утраченный автограф этой ред. (см.: Найдич Э. Э. Последняя редакция «Демона» // «Рус. литература». 1971, № 1. С. 72—78). Выяснено также, что 10 марта 1839 г. рукопись «Демона» получила ценз. разрешение, но по каким-то причинам поэма не была напечатана (см.: Вацуро В. Э. К цензурной истории «Демона» // Лермонтов: Исследования и материалы. Л., 1979. С. 410—411). Философов напечатал поэму в Карлсруэ (1856) ограниченным тиражом (28 экз.), чтобы раздать их «высоким особам» и добиться ценз. разрешения в России. В том же году «Демон» был опубликован в Берлине, а в 1857 г. снова в Берлине и Карлсруэ. Однако все эти издания в текстологическом отношении значительно уступали в точности первой публикации в Карлсруэ.

Лермонтов начал писать поэму в четырнадцатилетнем возрасте и возвращался к ней на протяжении почти всей жизни. Несмотря на многочисленные переделки, первая строка «Печальный демон, дух изгнанья», возникшая в 1829 г., сохранилась в последней ред. Ранний набросок 1829 г. содержал всего 92 ст. (характеристика демона, незаконченный диалог демона и монахини), а также прозаическое изложение сюжета ранних ред. Дальнейшую разработку сюжет получил во второй ред. (начало 1830 г.), содержащей 442 ст. и оканчивающейся двумя ст., вошедшими в поздние ред.: «Посла потерянного рая Улыбкой горькой упрекнул». Первоначальный текст автографа с датой: «в начале 1830 года» представляет вторую ред. Дополнения и поправки на нем образуют третью ред. 1831 г. Здесь впервые появляется диалог «Зачем мне знать твои печали...». К 1831 г. относится запись: «Memor: написать длинную сатирическую поэму: приключения Демона» (Соч. АН, т. 6. С. 379). План сатирической поэмы о Демоне не был осуществлен; в четвертой ред. 1831 г. Лермонтов набрасывает 7 строф пятистопным ямбом. Затем следует приписка: «Я хотел писать поэму в стихах, но нет.— В прозе лучше». К 1832 г. относится запись: «Демон. Сюжет. Во время пленения евреев в Вавилоне (из Библии). Еврейка; отец слепой; он в первый раз видит ее спящую. Потом она поет отцу про старину и про близость ангела; и проч. как прежде. Евреи возвращаются на родину — ее могила остается на чужбине» (Соч. АН, т. 6. С. 382). В пятой ред. 1833—1834 гг. (авториз. копия) Лермонтов обращается к третьей ред., заново обрабатывает ее, детализирует сюжет. Это итог работы над «Демоном» в ранний период творчества. По-прежнему действие поэмы развивается как бы вне времени и пространства. Последующие ред. написаны Лермонтовым уже после возвращения из кавказской ссылки (в 1838 г.). Первоначальный вар. шестой кавказской ред.— так называемый ереванский список — переносит действие на Кавказ. Здесь имеется 76 ст., не совпадающих с какими-либо другими ред. Ереванский список относится к началу 1838 г. Безымянная монахиня превращается в красавицу Тамару — дочь грузинского князя Гудала. Соперником Демона становится жених Тамары — удалой князь, «властитель Синодала». В поэме обрисован феодальный быт Грузии, ее природа. Поэма насыщается кавказским фольклорным материалом. Впервые появился первоначальный вар. фрагмента — «На воздушном океане...» (он был написан другим

стихотворным размером и начинался ст. «Взгляни на свод небес широкий...»), возникли стихи об улыбке мертвой Тамары со знаменитыми словами, цитированными Белинским (в письме к В. П. Боткину от 17 марта 1842 г.// Белинский. Т. 12. С. 85), выражавшими, по его мнению, основную мысль поэмы: «И с небом гордая вражда». Ереванская ред. сопровождена также посвящением поэмы: «Тебе, Кавказ, суровый царь земли...», присутствующим только в этом вар. текста. Первое четверостишие посвящения совпадает со ст-нием 1837 г. «Тебе, Кавказ, суровый царь земли...» (ср. посвящение к поэме «Аул Бастунджи»). Последующий вар. шестой ред. поэмы — так называемый лопухинский авториз. список — датирован 8 сент. 1838 г. По сравнению с ереванским списком в тексте произведены некоторые сокращения. Вместе с тем формируется окончательный текст фрагмента «На воздушном океане...», вводится диалог о боге. Список от 8 сент. 1838 г. содержит посвящение В. А. Лопухиной, написанное рукою поэта («Я кончил — и в груди невольное сомненье!..»). О седьмой ред. (дата: 4 дек. 1838 г.) мы можем судить по списку Философова, представляющему собой скопированный им беловой текст утраченного автографа седьмой ред. с поправками и вставками на полях, превращающими эту ред. в последнюю — восьмую. На заглавном листе придворного списка (после слов: «Демон. Восточная повесть») имеется сделанная рукою Философова надпись: «...сочиненная Михаилом Юрьевичем Лермонтовым 4-го декабря 1838 года — переписана с первой своеручной его рукописи, с означением сделанных им на оной перемарок, исправлений и изменений.— Оригинальная рукопись так чиста, что, перелистывая оную, подумаешь, что она писана под диктовку или списана с другой». Эта надпись, за исключением даты, воспроизведена на титульном листе карлсруйских изданий. Смысл этой надписи ранее был непонятен. Исследователи считали, что Философов опирался на несколько источиков, и поэтому издание 1856 г. не является авторитетным. Однако в письме Философова к директору Публичной библиотеки М. А. Корфу от 11 (25) дек. 1856 г., которым сопровождался отсылаемый ему экземпляр «Демона», говорится совершенно отчетливо, что эта копия «Демона» списана Философовым в 1841 г. с рукописи самого Лермонтова (автографа 1839 г.) «со всеми перемарками и изменениями», тщательно сверена с нею, даже правописание автора, не всегда правильное, «соблюдалось с точностью». Философов отметил, что автограф утрачен после пожара в доме родственника Лермонтова А. А. Хастатова (письмо приводится в указанной статье Э. Э. Найдича). Дата 4 дек. 1838 г. относится к седьмой ред., где вводится клятва Демона со строками о его стремлении к добру и примирению, исключается ст. «И с небом гордая вражда». Эти изменения связаны, по-видимому, с тем, что Лермонтов, готовя поэму к печати, стремился устранить возникшие противоречия в тексте. В последней (восьмой) ред., предназначенной для чтения при дворе, Лермонтов вычеркнул диалог «Зачем мне знать твои печали...» и изменил концовку поэмы. Из воспоминаний А. П. Шан-Гирея было известно: «Один из членов царствующей фамилии пожелал прочесть „Демона", ходившего в то время по рукам, в списках, более или менее искаженных. Лермонтов принялся за поэму в четвертый (sic) раз, отделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически и, по одобрении к печати цензурой, препроводил по назначению. Через несколько дней он получил ее обратно, и это единственный экземпляр полный и после которого „Демон" не переделывался. Экземпляр этот должен находиться у г. Алопеуса ⟨офицера лейб-гвардии гусарского полка⟩, к которому

перешел от меня через Обухова, товарища моего по артиллерийскому училищу. Еще один экземпляр „Демона“, писанный весь рукой Лермонтова и переданный мною Дмитрию Аркадьевичу Столыпину» (Воспоминания. С. 44). Эти данные в дальнейшем документально подтвердились. Выяснилось, что интерес к поэме проявила императрица Александра Федоровна, которой «Демон» был прочитан 8—9 февр. 1839 г. (см. Герштейн. С. 38). Список каллиграфической копии хранится в ПД (копия О. И. Квиста), а с автографа Лермонтова, утраченного при пожаре, как уже сказано, была снята копия Философовым («придворный список»). Установлено, что оба эти списка не имели каких-либо существенных различий. Таким образом, определяется датировка последней ред. поэмы (начало 1839 г.) и подтверждается авторитетность ее текста в списке Философова. В эпилоге «Демона» (последняя ред.) имеются ст. 1080—1081: «Но грустен замок, отслуживший Года во очередь свою». В лопухинском списке от 8 сент. 1838 г. ст. 1081 звучит иначе: «Когда-то в очередь свою». Сделав поправку в последней ред., Лермонтов не зачеркнул первоначальный текст, поэтому в различных изданиях эта строка печ. по-разному. Начиная с 1975 г. и до нашего времени во всех изданиях, в том числе и массовых, миллионными тиражами публиковался бессмысленный текст: «Когда во очередь свою». В наст. изд. этот ст. печ.: «Года во очередь свою».

В «Демоне» Лермонтов использовал ст. из своих ранних поэм (см. примеч. 443, 444, 448). Ст. 402 последней (восьмой) ред.— реминисценция ст-ния «Война» (1821) Пушкина: «Я таю, жертва злой отравы».

Часть первая. *Столпообразные раины* — пирамидальные тополи. *Синодал* — приблизительно переданное название грузинского селения Цинандали. **Часть вторая.** *Власяница* — грубая волосяная одежда монахов. *Муэцин* — муэдзин. *То горный дух Прикованный к пещере стонет!* Здесь Лермонтов передал народные грузинские и осетинские легенды о горном духе Амирани, подобно Прометею похитившем огонь с неба. *Звезды восточной* — Венеры; называлась «восточной», так как хорошо видна ранним утром на восточной стороне неба. *Койшаурская долина* — известная своей красотой верхняя часть долины Арагви (неподалеку от Тбилиси). *Прядет сетей своих основы.* Основа — здесь: продольные, параллельно идущие нити ткани (в отличие от поперечных — утка́).

Первая ред., 1829 г. ОЗ. 1859, № 7, вместе с текстом третьей и четвертой редакций «Демона».- - Печ. по автографу ПД, тетр. 3. Ст. 3 первой и последующих ред. поэмы «И лучших дней воспоминанья» — цитата из «Кавказского пленника» Пушкина. Заключительные две строки 2-го посвящения к первой ред. Демона «И вот печальные мечты, Плоды душевной пустоты» — реминисценция ст-ния Пушкина «Я пережил свои желанья...» (1821): «Я пережил свои мечты; Остались мне одни страданья, Плоды душевной пустоты». Ст. 78—79 первой ред. (ст. 56—57 второй ред.) «Всё оживалось в нем, и вновь Погибший ведает любовь» восходят к пушкинской «Полтаве»: «Но чувства в нем кипят, и вновь Мазепа ведает любовь».

Вторая ред., нач. 1830 г. «Труды Самаркандского гос. пед. ин-та им. А. М. Горького». 1942, т. 4 (публикация Н. Ф. Бабушкина), с неточностями. - - «Ученые записки Томского гос. ун-та». 1951, вып. 16, более точная публикация. - - Печ. по автографу ПД, тетр. 4 (нижний, первоначальный слой текста).

Третья ред., 1831 г. ОЗ. 1859, № 7, с пропусками. - - Изд. 1926. - - Печ. по автографу ПД, тетр. 22. Черн. автограф — ПД, тетр. 4 (верхний слой текста), с черн. наброском посвящения «Когда последнее мгновенье». - - ПСС-1, т. 1 (в наст. изд. Т. 1, № 284), без ст. 276—294, 353—360 и без посвящения «Прими мой дар, моя мадона». Черн. автограф — ПД, тетр. 11, с черн. наброском посвящения «Прими мой дар, моя мадона». Посвящение «Прими мой дар, моя мадона» — «Москвитянин». 1855, № 6, по автографу ПД, тетр. 22. Черн. автограф — ПД, тетр. 11.

Четвертая ред., 1831 г. ОЗ. 1859, № 7. - - Печ. по автографу ПД, тетр. 10.

Пятая ред., 1833—1834 гг. Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч./ Под ред. А. И. Введенского. Спб., 1891, т. 2 и ПСС-1, т. 3 - - Печ. по авториз. списку ПД (рукой А. П. Шан-Гирея). Список К. А. Булгакова — ПД (более ранний вар. пятой ред.). Ст. 26 («Грозой оторванный листок») повторяется в поэме «Мцыри». Ст. 339—341 — реминисценция поэмы «Исповедь», повторенная затем в «Боярине Орше». Об использовании ст. из поэмы «Моряк» см. примеч. 443.

Шестая ред. Первонач. вар. шестой ред. (нач. 1838 г.) — ЛГ. 1939, 10 сент., с искажениями в тексте фрагмента «Взгляни на свод небес широкий...» (ст. 7, 12). - - Лермонтов М. Ю. Демон: Восточная повесть. Ереван, 1941. - - Печ. по ереванскому списку Гос. архива Арм. ССР (архив О. Х. Кучук-Ованесяна), а также по совпадающему с ним списку Олимпиады Степановны Лермонтовой (дальней родственницы поэта и его поклонницы), хранящемуся в семье Сергиевских (ксерокопии — ПД, ГПБ).

Более поздний вар. шестой ред. (8 сент. 1838 г.) — ОЗ. 1842, № 6, отрывки в контаминации с последней ред. - - Соч. АН, т. 4. - - Печ. по авториз. копии ГПБ. Текст последней строфы посвящения восстанавливается по ОЗ. 1843, № 6, где загл.: «Посвящение, приписанное в конце одного из экземляров поэмы „Демон“». Имя В. А. Лопухиной, которой оно адресовано, при жизни ее мужа Н. Ф. Бахметева не могло появиться в печати. Ст. 58—59 шестой (и восьмой ред.) «И на челе его высоком Не отразилось ничего» — реминисценция «Кавказского пленника» Пушкина. Ст. 864—868 шестой ред. (и ст. 944—948 восьмой ред.) — автоцитата из «Боярина Орши»: «Спокойны были все черты, Исполнены той красоты, Лишенной чувства и ума, Таинственной, как смерть сама».

Ввиду небольшого количества вар. в с е д ь м о й р е д. «Демона» по сравнению с последней ред. поэмы (об их соотношении см. на с. 647), седьмая ред. в наст. изд. не приводится. Текст седьмой ред. напечатан А. Н. Михайловой (см.: Соч. АН, т. 4. С. 370—373).

***455.** Стих. 1840, с ценз. пропусками ст. 227—229, 716—722, датировано. - - ПСС-1, т. 2, с восполнением купюр по авториз. копии ПД, тетр. 13. - - Печ. по Стих.1840, с аналогичным восполнением пропусков текста. На обложке тетр. 13 дата окончания работы: «1839 года августа 5». Различия авториз. копии и печ. текста незначительны. В тетр. ПД озаглавлена: «Бэри», с примеч. Лермонтова: «Бэри, по-грузински: монах». Здесь же первоначальный (вычеркнутый Лермонтовым) вар. эпиграфа: «On n'a qu'une seul patrie» («Родина бывает только одна»). Позднее эпиграф был заменен словами из Библии: «Вкушая вкусих мало меда и се аз умираю» (из Первой книги Царств, гл. 14).

Замененное загл. более точно отражает сюжет поэмы: по-грузински «мцыри» означает, во-первых, «послушник», а во-вторых, «пришелец», «чужеземец», прибывший добровольно или привезенный насильственно из других краев, одинокий человек, не имеющий родных или близких людей (см.: Шадури В. За хребтом Кавказа. Тбилиси. 1977. С. 52). Об использовании в тексте «Мцыри» ст. из поэм «Исповедь» и «Боярин Орша» (см. примеч. 442 и 448) П. А. Висковатов, на основе свидетельства А. П. Шан-Гирея и А. А. Хастатова, сообщает следующее: «Как раз в то время, когда Лермонтов, странствуя по старой Военно-Грузинской дороге, изучал местные сказания, видоизменившие поэму «Демон», он наткнулся в Мцхете... на одинокого монаха, или, вернее, старого монастырского служку, «бэри» по-грузински. Сторож был последний из братии упраздненного близлежащего монастыря. Лермонтов с ним разговорился и узнал от него, что родом он горец, плененный ребенком генералом Ермоловым во время экспедиции. Генерал его вез с собою и оставил заболевшего мальчика монастырской братии. Тут он и вырос; долго не мог свыкнуться с монастырем, тосковал и делал попытки к бегству в горы. Последствием одной такой попытки была долгая болезнь, приведшая его на край могилы. Излечившись, дикарь угомонился и остался в монастыре, где особенно привязался к старику монаху. Любопытный и живой рассказ «бэри» произвел на Лермонтова впечатление... и вот он решился воспользоваться тем, что было подходящего в «Исповеди» и «Боярине Орше», и перенес все действие из Испании и потом Литовской границы — в Грузию. Теперь в герое поэмы он мог отразить симпатичную ему удаль непреклонных свободных сынов Кавказа, а в самой поэме изобразить красоты кавказской природы» (Висковатов П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Неизданное его юношеское стихотворение «Исповедь» 1829—1830 гг.// РС. 1887, № 10. С. 124). В начале поэмы описан собор в Мцхете, где похоронены последние грузинские цари Ираклий II и Георгий XII, при котором состоялось в 1801 г. присоединение Грузии к России. Эпизод битвы Мцыри с барсом основан на распространенной в Грузии старинной народной песне о битве юноши с барсом, нашедшей отражение в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (Андроников. С. 271—272).

О чтении Лермонтовым своей поэмы сохранилось свидетельство современника. «Мне случилось однажды в Царском Селе,— вспоминал А. Н. Муравьев,— уловить лучшую минуту его 〈Лермонтова〉 вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» — спросил я. «Сядьте и слушайте»,— сказал он и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне, от начала до конца, всю свою великолепную поэму «Мцыри»... которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера... Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления» (Воспоминания. С. 198). По данным другого мемуариста, 9 мая 1840 г. (в день именин Гоголя) Лермонтов в Москве «читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри» и читал, говорят, прекрасно». Аксаков отметил, что на этом обеде были А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, М. Н. Загоскин, профессора А. О. Армфельд и П. Г. Редкин (Воспоминания. С. 250—251). В дневниковой записи А. И. Тургенева от 9 мая 1840 г. среди слушателей Лермонтова упоминаются также Е. А. Баратынский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, М. С. Щепкин, Ф. Н. и А. П. Глинки (Воспоминания. С. 479).

«Мцыри» — произведение больших творческих итогов. См.: Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. М.; Л., 1964. С. 178—246; Манн Ю. В. Завершение романтической традиции: (Поэмы «Мцыри» и «Демон») // Лермонтов и литература народов Советского Союза. Ереван, 1974. С. 32—62; Найдич Э. Э. О поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри»: Творческий процесс и эстетические принципы писателя // Сб. научных трудов Иркутского гос. университета. Иркутск, 1980. С. 3—10.

1-я Книга царств — одна из книг Ветхого завета, часть которой составляют три «Книги царств». 1. *Как удручен своим венцом* и т. д. Переход Грузии под покровительство России был осуществлен в 1783 г. по просьбе царя Ираклия II (1720—1798).

*** 456.** ОЗ. 1842, № 1. - - Печ. по авториз. копии ПД. Черн. автограф — ПД, тетр. 14. Поэма осталась незаконченной. Упоминание о турецко-египетском конфликте 1839—1841 гг. (см. «Другие редакции и варианты», с. 596) говорит о том, что поэма не могла быть написана ранее второй половины 1839 г. (новый султан — Абдул-Меджид — вступил на престол 30 июня 1839 г.). Скорее всего, «Сказку для детей» следует датировать весною 1840 г., когда Адольф Тьер возглавил новый французский кабинет (1 марта 1840 г.). К словам Тьера особенно прислушивались после того, как он стал главою правительства. В строфе 11 ст. «Минувших лет событий роковых Волна следы смывала роковые» в первой публикации были вычеркнуты цензурой. Лермонтовский оборот достаточно емок, он, безусловно, мог подразумевать и восстание декабристов. В дошедшем до нас отрывке имеется вступление, декларирующее шутливый отход от прежней поэтической манеры, рассуждение о жанре, стихе, рифме и т. п., несомненно связанное с «Домиком в Коломне» Пушкина. Затем как будто бы намечается новый герой поэмы — Мефистофель (см. примеч. 449), дается характеристика прежнего Демона, демоническая тема получает как бы сатирическое завершение, причем даже пародируется обращение Демона к Тамаре (строфы 8—9). Однако все это переходит в психологическую повесть в стихах, с главной героиней Ниной, которая рисуется в высоко лирических тонах. Намеченный Лермонтовым образ молодой женщины, исполненной противоречивых страстей, находящейся в конфликте с окружающей средой, оставил заметный след в русской литературе, воздействовал на поэмы Тургенева «Параша» и «Андрей», на произведения складывающейся натуральной школы, на развитие русского романа. **Строфа 20.** *Перуджино Пьетро* (ок. 1446—1523) — итальянский живописец, учитель Рафаэля.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПОЭМА «МОНГО»

457. БЗ. 1859, № 12 (в «Библиографических заметках о Лермонтове» А. Меринского), ст. 41—44, 245—250, с вар. - - БЗ. 1861, № 20, с пропусками ст. 206—207 и неточностями. - - Соч. АН, т. 4. Единственный дошедший до нас список О. И. Квиста — ПД, неисправен. Список, по которому в БЗ 1861 г. напечатал поэму П. А. Ефремов, не сохранился, однако в бумагах публикатора имеется копия с этого списка (ПД), на основании которой сделаны поправки и дополнения.

Исправляются явно дефектные ст.: «Летят, склонившись над лукой, Два всадника лихим полетом». Переписчик не разобрал слово «наметом» (намет — бег лошади галопом) и заменил его невозможным для Лермонтова — «летят... полетом» (см.: Семенов В. К. Об ошибке публикаторов поэмы Лермонтова «Монго» // «Рус. литература». 1977, № 1. С. 173). В списке О. И. Квиста рядом с загл. имеются следующие пометы: «30 августа» и ниже «19 сентября» (пометы перечеркнуты). По-видимому, эти даты обозначают время написания поэмы. Такое предположение поддерживается содержанием поэмы (здесь описывается приключение, которое произошло летом в период лагерных учений во время поездки Лермонтова и Столыпина к балерине Е. Е. Пименовой на дачу, находившуюся на Петергофской дороге близ «Красного кабачка»). В воспоминаниях В. П. Бурнашева указано, что поэма написана в первой половине сент. 1836 г. (РА. 1872, № 9. Стб. 1779). *Монго* — прозвище Алексея Аркадьевича Столыпина (1816—1858), двоюродного брата матери поэта и его близкого товарища (прозвище Монго возникло от клички собаки Столыпина). В 1835 г. по окончании Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Столыпин был выпущен в лейб-гвардии гусарский полк, где служил вместе с Лермонтовым (об А. А. Столыпине и его отношении к Лермонтову см.: Ашукина-Зенгер М. О воспоминаниях В. В. Боборыкина о Лермонтове // ЛН. 1948. Т. 45/46. С. 749—754). *Маёшка* — прозвище Лермонтова от имени Mayeux (Майё), популярного в те годы карикатурного персонажа французской сатирической литературы. *Изгага* (простореч.) — изжога. *И там — для блага человека Построен сумасшедших дом.* На седьмой версте Петергофской дороги в 1832 г. была открыта больница Всех скорбящих (ведомства благотворительных учреждений императрицы Марии Федоровны). В 1941 г. здание было разрушено немецкими захватчиками и после войны заново отстроено в старых стенах (ныне пр. Стачек, д. 158). *Люнель* — французское десертное вино из мускатного сорта винограда. *Флёри* Бернар — известный артист балета и преподаватель танцев. *Жалонёр* (фр.) — солдат, поставленный на параде для обозначения линии построения и движения войска. *И право, Пушкин наш не врет, Сказав, что день беды пройдет, А что пройдет, то будет мило.* Имеются в виду строки Пушкина в ст-нии «Если жизнь тебя обманет...» (1825): «Всё мгновенно, всё пройдет, Что пройдет, то будет мило».

II. СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

458. РС. 1882, № 8. - - Печ. по копии ПД из бумаг А. М. Верещагиной. В ПСС-1, т. 1 датировано 1832 г. и напеч. с посвящением А. М. Верещагиной.

459. Андроников И. Исследования и находки. М., 1964. - - Печ. по автографу ГБЛ — приписке Лермонтова к письму Елизаветы Аркадьевны Верещагиной к дочери Александре Михайловне Верещагиной (в замужестве Хюгель) от 16/28 нояб. 1838 г. Об А. М. Верещагиной см. примеч. 462. Лермонтов возле текста ст-ния нарисовал коленопреклоненную фигуру в умоляющей позе.

460. РС. 1887, № 5, без загл., с вар. ст. 5 («bouleau» вм. «saule»)

по черн. автографу ГПБ. - - ЛН. 1935, № 19/21. - - Печ. по автографу ПД, в письме Лермонтова к С. Н. Карамзиной от 10 мая 1841 г. из Ставрополя, где имеются строки: «...во время путешествия мной овладел демон поэзии, или — стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский... Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи,— о разврат! Позвольте мне написать их Вам здесь; они очень красивы для первых стихов и в жанре Парни...» (Соч. АН, т. 6. С. 460). Ранее ошибочно считалось, что ст-ние посвящено французской поэтессе Омер де Гелль, жене французского консула в Одессе, и написано в окт. 1840 г. Так сообщал в 1887 г. автор «Писем и записок» Омер де Гелль П. П. Вяземский (сын П. А. Вяземского). Мистификация Вяземского, опубликовавшего поддельные письма, раскрыта советскими исследователями (см.: Попов П. С. Мистификация: (Лермонтов и Омер де Гелль) // «Новый мир». 1935, № 3. С. 287—293; Каплан Л. П. П. Вяземский — автор «Писем и записок Омер де Гелль» // ЛН. 1948. Т. 45/46. С. 761—766; Попов П. С. Отклики иностранной печати на публикацию «Писем и записок Омэр де Гелль» // ЛН. 1948. Т. 45/46. С. 767—775). Вместе с тем это не исключает возможности знакомства Лермонтова с Адель Омер де Гелль (1812—1848) во время кавказской ссылки. В 1963 г. опубликована эпиграмма Н. С. Мартынова на Лермонтова, где упоминается имя Адель (Гладыш И. К истории взаимоотношений М. Ю. Лермонтова и Н. С. Мартынова (Неизвестная эпиграмма Мартынова) // «Рус. литература». 1963, № 2. С. 136—137).

461. БЗ. 1859, № 1, по тетр. копий Л. И. Арнольди. Дата и адресат не установлены. Копии Арнольди не вызывают сомнений, так как в основе их — автографы, переданные ему в 1842 г. А. П. Шан-Гиреем (см.: Воспоминания. С. 51). Написано в жанре любовного послания в духе Парни.

III. КОЛЛЕКТИВНОЕ

462. Анненкова Варвара. Для избранных. М., 1844, под загл. «Югельский барон». - - Печ. по автографу в альбоме А. М. Верещагиной в семейном архиве фон Кениг (ФРГ) (см.: Андроников. С. 256—259; снимок автографа — Андроников. С. 256). Лермонтову принадлежат ст. 1—15, остальной текст, написанный В. Н. Анненковой, печ. в наст. изд. петитом. Ст-ние представляет пародию на балладу Жуковского «Смальгольмский барон», начинающуюся словами: «До рассвета поднявшись, коня оседлал...». Пародия посвящена А. М. Верещагиной (1810—1873), родственнице и близкой приятельнице Лермонтова. Написана весной 1837 г., когда Лермонтов по пути в кавказскую ссылку виделся в Москве с Верещагиной, помолвленной с бароном Хюгелем (министром иностранных дел Вюртембергского королевства) и уезжавшей навсегда за границу. От его имени (Hugel — Югель) произошло название баллады. Поэтесса Варвара Анненкова (1795—1866) была двоюродной сестрой Верещагиной. Имеется приписка последней рядом с автографом, раскрывающая историю создания ст-ния: «Сочинено Михаилом Лермонтовым и Варварой Анненковой в то время, когда я читала письмо от моего жениха» (подлинник по-французски).

463. ЛН. 1952. Т. 58. - - Печ. по тексту записки В. А. Соллогуба

к В. Ф. Одоевскому (авг. 1839 г.) с просьбой сочинить на стихи музыку (ГПБ. Фонд В. Ф. Одоевского). Написано в 1839 г. в соавторстве с Соллогубом. Известен также черновой автограф строфы в коллекции Н. П. Лихачева (архив Ин-та истории АН СССР), опубликованный в «Рус. литературе». 1965, № 3. Из автографа видно, что Лермонтову принадлежат в строфе 1 второе и третье двустишия, а также отдельные слова, исправленные в других строках. В строфе 2 Лермонтовым, по-видимому, написано двустишие «И звезды, украсив чертог голубой, Сверкают и гаснут одна за одной». В черн. автографе имеется позднейшая приписка: «Черновое стихотворение (перевод с немецкого) графа В. А. Соллогуба с поправками рукою Лермонтова». Оригинал не установлен. Владимир Александрович *Соллогуб* (1813—1882) — граф, рус. писатель. Сблизился с Лермонтовым в салоне Карамзиных. По заказу вел. княжны Марии Николаевны написал повесть «Большой свет», породившую слух, будто в ней был выведен Лермонтов (см. примеч. 380). Сам поэт не считал, что повесть имеет к нему отношение. В марте 1840 г. Соллогуб посетил поэта на гауптвахте. После смерти Лермонтова собирал и публиковал некоторые его произведения. Автор «Воспоминаний» (М.; Л., 1931), где ряд страниц посвящен Лермонтову.

IV. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ЛЕРМОНТОВУ

В этот раздел не вошли три экспромта, включавшиеся в Собр. соч. Лермонтова: «Поверю совести присяжного дьяка...», «Винтовка пулю верную послала...», «Приветствую тебя я, злое море...». Они будто бы находились в тетр., которая была обнаружена среди вещей убитого Лермонтова при перевозке его тела в Пятигорск. Владелец тетр. офицер Трофимович продиктовал якобы эти экспромты по памяти поэту Н. Ф. Щербине, опубликовавшему их в «Сборнике литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного А. Ф. Смирдина». Т. 3. Спб., 1858. С. 356 (перепеч. в Соч. АН, т. 2. С. 252—253). История происхождения этих текстов не вызывает к ним доверия. Крайне сомнительно, чтобы Лермонтов отправился на дуэль, захватив с собой столь незначительные по содержанию стихи. В данный раздел не включено и недавно опубликованное И. С. Чистовой ст-ние «В. В. Толбину», список которого имеет подпись: Лермонтов (см.: ЛГ. 1985, 31 июля и альм. «Прометей». Т. 14. М., 1987. С. 262—272). Атрибуция этого текста поэту нуждается в дополнительных разысканиях.

464. Недумов С. И. Неизвестное стихотворение, приписываемое Лермонтову // М. Ю. Лермонтов: Сборник статей и материалов. Ставрополь, 1960. Копия — ГБЛ (архив Веневитиновых — Виельгорских), рукою М. А. Веневитинова с его примеч.: «Неизвестно, кому написано. Со слов. Вас. Петр. Ушакова, знавшего Лермонтова, написано Лермонтовым в 15—16-летнем возрасте».

465. Головачев Г. Ф. Университетские воспоминания // «День». 1863, 19 окт. По словам Головачева, учившегося вместе с поэтом в Московском университете, ст-ние, из которого он привел эти строки, было известно студентам после увольнения Лермонтова из университета.

466. Меринский А. М. Ю. Лермонтов в юнкерской школе // «Русский мир». 1872, 10 авг. По данным мемуариста, это четверостишие — эпиграмма Лермонтова на его соученика по юнкерской школе князя И. Шаховского, который «часто влюблялся в молодых девиц и ... всегда называл предмет своей страсти богинею» (Воспоминания. С. 127). Под богинею подразумевалась гувернантка семейства, посещаемого Шаховским; под французом — офицер юнкерской школы Клерон, который ради шутки притворился увлеченным гувернанткой. Эпиграмма Лермонтова позднее кем-то из его недоброжелателей была переадресована ему самому в связи с его увлечением княгиней М. А. Щербатовой (см. о ней примеч. 382), за которой ухаживал Э. де Барант; при этом ст. 1 был соответственно переделан: «Ах, как мила моя богиня».

467. ПСС-1, т. 1, с примеч. П. А. Висковатова: «Несомненно лермонтовским является следующее, находящееся в материалах г. Хохрякова, ст-ние, полученное им от С. А. Раевского. К какому году оно относится, нельзя определить,— вероятно, ко второй половине 30-х годов». Четверостишие в измененном виде вошло в текст драмы «Арбенин» (1836) — как реплика 2-го гостя (действие 2, явл. 1). Однако в ст-ниях Лермонтова часто встречаются цитаты и реминисценции из других авторов.

468. Толычева. Исторические рассказы, анекдоты и мелочи // РА. 1877, № 2. Ссылаясь на рассказ декабриста В. М. Голицына, встречавшегося с Лермонтовым на Кавказе в 1837 г., Толычева пишет, что Лермонтов не пришел на один вечер, когда его поджидали приятели, а прислал записку с текстом этого ст-ния. Пародийная перелицовка баллады Пушкина «Черная шаль» (1820).

469—484. Мартьянов П. К. Последние дни жизни М. Ю. Лермонтова // «Исторический вестник». 1892, № 2, экспромты 1—14. О публикации 15—16 экспромтов см. ниже примеч. к ним. Если автор экспромтов действительно Лермонтов, то очевидно, что тексты их дошли до нас с грубыми искажениями.

1. Записано П. К. Мартьяновым со слов поручика Куликовского, который сообщил, что экспромт был произнесен Лермонтовым на одной из пирушек во время последнего пребывания в Пятигорске. *Монако* — княжество на побережье Средиземного моря, граничащее на севере и востоке с Францией; издавна известно своими игорными заведениями в г. Монте-Карло.

2. Этот и следующие экспромты сообщил П. К. Мартьянову в 1841 г. В. И. Чиляев, плац-адьютант пятигорского комендантского управления. Лермонтов снимал у него дом. Экспромт написан во время карточной игры и обращен к брату А. С. Пушкина, майору Льву Сергеевичу *Пушкину* (1802—1852). Лермонтов поставил на черного туза и, пока Пушкин метал банк, произнес этот экспромт.

3. Экспромт сочинен в тот же вечер, что и предыдущий. Михаил Павлович *Глебов* (1818—1847) — офицер, принадлежал к кругу молодежи, с которой проводил время в Пятигорске Лермонтов. Был секундантом на дуэли Лермонтова с Н. С. Мартыновым 15 июля 1841 г. *Надя* — Надежда Петровна Верзилина (младшая дочь генеральши Верзилиной), за которой ухаживал Глебов.

4. Обращено к Николаю Соломоновичу Мартынову (1815—1875),

убийце поэта. В вечер, когда был написан этот экспромт, Мартынов, одевавшийся из франтовства по-горски, жаловался на жару. *Хожалый* — младший полицейский чин.

5. Обращено к кн. Сергею Васильевичу *Трубецкому* (1814—1859), который, по словам В. И. Чиляева, вел в этот вечер разговор о «пире жизни».

6. Обращено к кн. Александру Илларионовичу Васильчикову (1818—1881), будущему секунданту на дуэли 15 июля 1841 г. В 1882 г. опубликовал статью «Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым», в которой стремился фальсифицировать историю дуэли и оправдать убийцу поэта. *Велик князь Ксандр.* Васильчиков был высокого роста. Экспромт был сказан лунным вечером на пятигорском бульваре, когда тень Васильчикова, беседовавшего с каким-то сановником, «длинной полосой ложилась на песок площадки» (Мартьянов П. К. Дела и люди века. Спб., 1893. Т. 2. С. 153).

7. Эпиграмма сообщена В. И. Чиляевым. По его словам, была записана мелом на игорном столе после того, как Васильчиков (см. о нем предыдущее примеч.) употребил в разговоре грубое слово (см. об этом указ. соч. Т. 2. С. 153).

8. По сообщению П. К. Мартьянова, эпиграмма произнесена в ответ на чьи-то слова о Мартынове: «Ну что вы хотите, господа, ведь он не Соломон же у нас». Мартынова звали Николай Соломонович. *Шалим* (Солим) — одно из библейских названий Иерусалима.

9. Дом «вдовы-генеральши» Екатерины Ивановны *Мерлини*, (р. 1793) был центром светской жизни на водах. Установлено, что Мерлини доставляла информацию жандармским офицерам, наблюдающим за посетителями вод. Мерлини принадлежала к злобным врагам Лермонтова и играла коварную роль в последние дни его жизни. В экспромте упоминается княгиня Эристова, поссорившаяся с Мерлини из-за некоего П. В. Волкова (*верный паладин*). *Шотландка*, или Каррас,— немецкая колония близ Пятигорска.

10. П. К. Мартьянов писал (со слов В. И. Чиляева), что эпиграмма относится к калужскому помещику, который привез на воды трех дочек с расчетом выдать их замуж за кавказских офицеров, но, не найдя женихов, оставил дочерей и уехал к себе домой один.

11. Относится к падчерице П. С. Верзилиной — Эмилии Александровне Клингенберг (1815—1891), впоследствии по мужу Шан-Гирей. См. примеч. 484.

12. По словам В. И. Чиляева, экспромт сложился во время разговора Лермонтова с комендантом пятигорской крепости полковником Василием Ивановичем Ильяшенковым (гг. рожд. и смерти неизвестны), когда поэт обратился к нему с просьбой продлить курс лечения. После официальной части разговора Ильяшенков стал его журить за шутки и эпиграммы. «Посмотрите, сколько врагов вы себе нажили, а ведь это все друзья ваши были»,— сказал он.

13. Экспромт произнесен во время того же разговора с Ильяшенковым в ответ на слова: «Бросьте все это... ведь они убьют вас!..»

14. П. К. Мартьянов рассказывает (со слов В. И. Чиляева), что Лермонтов после ссоры с Мартыновым в доме Верзилиных 12 июля 1841 г. произнес этот экспромт. «Молодежь молча переглянулась. Никто не понял, о каком Миллере и Эмме говорил им Михаил Юрьевич. И только после дуэли, когда хоронили предательски убитого поэта, кто-то, кажется Дмитриевский, разгадал смысл сказанных слов. Под именем Миллер были скрыты инициалы поэта — Ми Лер., а под Эм-

ма — инициалы Мартынова — М(эм)а или же инициалы Эмилии ⟨падчерицы Верзилиной⟩ и Мартынова: Эм Ма».

15. Рассказ Раевского о дуэли Лермонтова. Записано В. Желиховской // «Нива». 1885, № 8. Н. П. Раевский — кавказский офицер, проводивший лето 1841 г. в Пятигорске, сообщил, что экспромт адресован полковнику Александру Логгиновичу Манзею (ум. 1854).

16. ПСС-3, т. 2. - - ПСС-1, т. 6, другая ред. - - Печ. по копии ПД. Относится к падчерице и двум дочерям генеральши Верзилиной — *Эмилии* Александровне, *Надежде* Петровне (1826—1863) и *Аграфене* Петровне (ок. 1820 — после 1901). Аграфена Верзилина была помолвлена с поручиком Тенгинского пехотного полка В. Н. Диковым (отсюда каламбур: *Дикий человек*).

485. Шан-Гирей Э. А. (урожд. Клингенберг). Еще по поводу воспоминаний Раевского о Лермонтове // «Нива». 1885, № 27. - - Печ. по копии ПД, лист из альбома Н. П. Верзилиной, запись от 7 дек. 1842 г. Другие вар. эпиграммы (в устной передаче) напеч. в записи В. Желиховской («Нива». 1885, № 7) и в воспоминаниях К. И. Карпова, записанных С. Филипповым («Русская мысль». 1890, № 12). Карпов рассказывал, что Надежда Верзилина, которой в ту пору еще не исполнилось 16 лет, обиженная замечанием матери, выбежала из комнаты, где находились гости. Через некоторое время она возвратилась с сердитым лицом: глаза ее еще не совсем высохли от слез, волосы хранили следы поспешного туалета. К поясу она прицепила маленький кинжальчик. Лермонтов рассмеялся и написал по этому случаю экспромт. Это единственный из экспромтов 1841 г., дошедший до нас не только в устной передаче, но и в записи, внесенной в альбом Верзилиной. *Надежда Петровна* — Верзилина (см. примеч. 483).

486. Dumas A. Le Caucase: Nouvelle impressions, Leipzig, 1859, T. 2, во французском переводе. Русский текст неизвестен. В своей книге о путешествии по Кавказу в 1858 г. Дюма приводит написанную для него Е. П. Ростопчиной записку о Лермонтове, а в следующей главе («Citations») печатает несколько ст-ний поэта в своем переводе. Кроме известных ст-ний Лермонтова, Дюма перевел ст-ние «Le blessé» («Раненый»), сопроводив его комментарием: «Мы выписали из одного альбома следующее стихотворение, которого нет в собрании сочинений Лермонтова. Возможно, что оно составляло часть той последней посылки, которую потерял курьер». Далее после «Le blessé» следует ст-ние «Моя мольба» («La boutade») 1830 г. с пояснением: «В том же альбоме было написано четверостишие, которое мы цитируем по памяти». О каком альбоме писал Дюма, не установлено. Ст-ние «Раненый» следует рассматривать в одном ряду со ст-ниями 1840—1841 гг. об умирающем воине: «Завещание» и «Сон» (№ 399, 414).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Фронтиспис. Автопортрет М. Ю. Лермонтова. Акварель. 1837—1838. Гос. литературный музей.

1. *С. 10—11.* Черн. автограф ст-ния «Смерть поэта». ЦГАЛИ. Мужской профиль внизу имеет сходство с чертами лица убийцы Пушкина Ж. Дантеса. Новейшая атрибуция изображенного лица: А. Н. Марков. Рисунок на полях чернового автографа Лермонтова//«Вперед» (г. Пушкин). 1989, 5 окт.

2. *С. 67.* Автограф ст-ния «Родина» (в рукописи под загл. «Отчизна») ПД.

3. *С. 77.* Обложка записной книжки, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским перед последним отъездом поэта на Кавказ. Надпись на обложке гласит: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную. К⟨нязь⟩ В. Одоевский. 1841, апреля 13-го» Далее помета: «19-го мая — буря». Внизу: «Сия книга покойного Лермонтова возвращена мне Екимом Екимовичем Хастатовым 30 декабря 1843 года. К⟨нязь⟩ В. Одоевский».

4. *С. 437.* Обложка первого издания поэмы «Демон» (Карлсруэ, 1856).

5. *С. 467.* Автограф посвящения шестой редакции «Демона» В. А. Лопухиной (см. о ней т. 1, примеч. 289).

6. *С. 470.* Страница автографа поэмы «Мцыри». ПД.

Цветные иллюстрации

Между с. 128 и 129.

1. Лермонтов. Парус. Акварель. 1828—1831. Альбом М. А. Шан-Гирей. ГПБ.

2. Лермонтов. Нападение. Акварель. 1829. Альбом М. А. Шан-Гирей. ГПБ.

3. Лермонтов. Пейзаж с березами. Акварель. 1828—1832. Альбом М. А. Шан-Гирей. ГПБ.

4. Лермонтов. Окрестности селения Караагач в Кахетии. Холст. Масло. 1837—1838. Музей Института русской литературы АН СССР. Вершина изображенной скалы увенчана башней — так назыв. «замком царицы Тамары», находящимся не в Дарьяльском ущелье, а в Кахетии.

5. Лермонтов. Крестовая гора. Картон. Масло. 1837—1838. Гос. музей-заповедник М. Ю. Лермонтова в Пятигорске.

6. Лермонтов. Дарьяльское ущелье. Итальянский карандаш. 1837. Музей Института русской литературы АН СССР. На рисунке изображены арба, запряженная парой волов, и маленькая осетинская мельница.

7. Лермонтов. Вид Пятигорска. Картон. Масло. 1837—1838. Гос. литературный музей. На картине справа: тропинка, ведущая к гроту, позднее названному Лермонтовским; вдали: долина Подкумка, вершины Юцы и Джуцы, а за ними — двуглавый Эльбрус.

8. Лермонтов. Портрет писателя-декабриста А. А. Бестужева-Марлинского (1797—1837). Гос. литературный музей. Новейшая атрибуция изображенного лица: А. Н. Марков. Портрет А. А. Бестужева работы М. Ю. Лермонтова // «Вперед» (г. Пушкин). 1987, 20 июня.

Черно-белые иллюстрации

Между с. 320 и 321.

9. Л. О. Пастернак. Умирающий гладиатор. Фототипия (М. Ю. Лермонтов. Сочинения. М. Художественное издание Н. И. Кушнерева. 1891. Т. 1).

10. Л. О. Пастернак. «Леила бубен свой берет...». Иллюстрация к «Хаджи Абреку». Фототипия (Там же. Т. 2). Оригинал — Гос. Русский музей.

11. Л. О. Пастернак. Прощание Измаил-Бея с Зарой. Черная акварель, белила, тушь. Сепия. Гос. Третьяковская галерея.

12. А. М. Васнецов. Кирибеевич и Алена Дмитриевна. Фототипия (М. Ю. Лермонтов. Сочинения. М. 1891. Т. 1).

13. К. А. Трутовский. «И бросила ему в лицо свое венчальное кольцо...» Иллюстрация к «Тамбовской казначейше». Фототипия (Там же. Т. 2).

14. М. А. Врубель. Демон и Тамара. Черная акварель, белила. 1890—1891. Гос. Третьяковская галерея.

15. В. А. Серов. Демон и Тамара. Черная акварель. 1890—1891. Гос. Третьяковская галерея.

16. Л. О. Пастернак. Исповедь Мцыри. Сепия. 1891. Гос. литературный музей.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ [1]

[1] Римская цифра указывает номер тома, арабская — страницу текста.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ
1837—1841

Стихотворения неизвестных лет

ПОЭМЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПОЭМА

II. СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

III. КОЛЛЕКТИВНОЕ

IV. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ЛЕРМОНТОВУ

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Лермонтов М.

Л49 Полное собрание стихотворений: В 2-х т. Т. 2. Стихотворения и поэмы / Сост., подг. текста и примеч. Э. Э. Найдича.— Л., Сов. писатель, 1989— 688 с. 1 л. портр., 16 илл.— Б-ка поэта. Большая серия.

ISBN 5-265-01559-0

Второй том издания составляют разделы: «Стихотворения» (1837—1841), «Поэмы» (1828—1841), «Приложения», «Другие редакции и варианты». В «Приложениях» помещены рассказ в стихах «Монго», коллективные, написанные на французском языке и приписываемые Лермонтову стихотворения.

Л $\frac{4702010102-370}{083(02)-89}$ 428—89 **ББК 84. Р1**

ПОПРАВКА

В т. 1 в списке иллюстраций на с. 679 ошибочно указано расположение портретов Е. А. Сушковой (следует читать: *Вверху*) и Н. Ф. Ивановой (следует читать: *Внизу*).

Михаил Юрьевич Лермонтов

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Том второй

Художник *В. В. Еремин*
Худож. редактор *Б. А. Комаров*
Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*
Корректоры *Е. Я. Лапинь и Е. А. Омельяненко*
ИБ № 7274

Сдано в набор 6.02.89. Подписано к печати 9.10.89. Формат 84 $\times$ 108 $^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 37,06. Уч.-изд. л. 39,17. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1948. Цена 3 р. 60 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.